

3

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

3

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

**Собрание сочинений
в десяти томах**



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1984

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Собрание сочинений

ТОМ ТРЕТИЙ

Я, СЫН ТРУДОВОГО
НАРОДА...

Повесть

ЖЕНА

Повесть

СЫН ПОЛКА

Повесть

ПОЕЗДКА НА ЮГ

Повесть



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1984

P2
K29

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

К 4702010200-017 подписное
028(01)-84

© Состав, оформление. Издательство «Художественная литература», 1984 г.

Я, СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА...

Повесть

Глава I

БОМБАРДИР-НАВОДЧИК

Шел солдат с фронта. На войну уходил молодым ка-
нониром, возвращался в бессрочный отпуск бомбардир-
паводчиком. На руках имел револьвер, наган солдатского
образца, штук десять к нему патронов и бебут — кривой
артиллерийский кинжал в шагреновых ножнах с медным
шариком на конце.

Это казенное оружие было перечислено в демобилиза-
ционном удостоверении за голубой батарейной печатью
с куцым орлом Временного правительства (без коро-
ны, державы и скипетра), отслужившим свой недолгий
срок.

Кроме того, подхватил еще наш батареец на всякий
случай по дороге драгунскую винтовочку и пару ручных
гранат-лимонок.

Сунув на глаза папаху из телячьих лапок, в аккурат-
ной шинельке, раздутой в бедрах, маленький и бойкий,
шел Семен Федорович Котко по замерзшей к вечеру степ-
ной дороге, подкидывая спиной ранец, туго набитый вся-
кой всячиной.

Давно бы уже следовало ему сделать привал: пере-
обуться и скрутить папиросу из крупно нарезанного ру-
мынского тютюна. Но каждый шаг приближал его к до-
му. А дома он не был больше четырех лет.

Чем ближе к родному селу, тем проворнее двигались
ноги. Места становились знакомее. Последние восемь
верст не шел солдат, а почти бежал.

Револьверный шнур морковного цвета болтался на
груди. Подошвы горели.

В небе стоял ледяной месяц с острой звездой, кото-
рая, казалось, слетела с пего вбок да так, на лету, и вмер-
зла в синий воздух, не достигнув земли. Февральский

ветер, поднявшийся к ночи, с сухим шелестом пролетел в кукурузной ботве.

Скоро послышался собачий лай. Показались хаты. Семен узнал длинную кузню. Вязка подков висела на косяке, вбитом в облупленную стену, голубую от лунного света. Он обогнул знакомую коновязь, обгрызенную лошадьми. Знакомая телега со снятыми дробинами стояла среди знакомого двора в косо́й тени мазанки.

Солдат остановился и перевел дух. Затем с детскими ужимками он подобрался на цыпочках, стукнул в темное окошко и тотчас отскочил в сторону, прижавшись ранцем к стене. Он расставил руки и задрал подбородок. Не в силах вздохнуть от волнения, он закусил небритую губу. Загадочная улыбка остановилась на его круглом лице с крепко зажмуренными глазами. Сердце стучало в ключицы.

Четыре года он предвкушал эту шутку. Четыре года снилось ему: вот он возвращается с фронта домой, вот он подбирается на цыпочках к родной мазанке и стучит в родное окно; мать выходит из хаты и спрашивает: «Кто там? Чего надо?» Она сердито смотрит на незнакомого солдата, а он по-походному, грубо и весело, кричит: «Здорово, хозяйка! Принимай на ночлег героя-артиллериста, георгиевского кавалера! Вынимай из печки галушки или что там у вас есть в казане! Бомбардир-наводчик хочет исты!» Она невесело смотрит на него и все-таки не узнает. Тогда он вытягивается во фронт, прикладывает руку к головному убору и отчетливо рапортует: «Ваше высокоблагородие, так что из действующей армии сего числа прибыл в бессрочный отпуск Семен Федорович Котко, ваш законный сын. Накрывайте на стол, давайте борща, и больше никаких происшествий не случилось!» Мать вскрикнет, схватится за грудь, повиснет на шее у сына, — и пойдет веселье!

Но из хаты никто не выходил. Остатки высохшего снега мерцали вокруг села, как слюда. Вдруг брякнула щеколда. Дверь открылась. На пороге стояла высокая косячая женщина в домотканой спиднице и суровой рубашке, раскрытой на жилистой шее.

Без страха и удивления она посмотрела на солдата, притаившегося в тени.

— Кого надо? — сказала она простуженным голосом.

Звук материнского голоса коснулся солдатского сердца, и сердце остановилось.

Солдат выступил из тени, обеими руками снял папаху и виновато опустил стриженую голову.

— Мамо,— сказал он жалобно.

Она посмотрела на него пристально и вдруг положила руку на горло.

— Мамо,— сказал он еще раз, рванулся, обхватил ее костлявые плечи и вдруг, прижавшись носом к рубахе, от которой пахло сухой овчиной, заплакал, как маленький.

Глава II

ФРОСЯ

Семен Федорович выспался на славу. Уже было позднее утро, когда он открыл глаза. Но что за странное пробуждение для солдата: проснуться от жары! Яркий солнечный свет смешивался с розовыми отблесками печки, затопленной сухими кукурузными кочанами. Стеклам тоже было жарко — они потели.

Семен Федорович скинул с себя ватное ситцевое одеяло, чересчур большое, тяжелое и плоское, как галушка. Старая еловая кровать затрещала. Бедная хата была наполнена превосходными солдатскими вещами.

Одежда и оружие занимали стены и подоконники, так что за ними скрылась вся домашняя утварь: сита, часы-ходики, картинки, восковые пасхальные писанки.

«Ишь чего только может нанести с фронта домой один солдат! — не без хвастовства подумал Семен Федорович, опоминаясь ото сна.— Полная хата вещей! Да еще полный ранец!»

Между тем девочка лет четырнадцати, повязанная коленкоровым платком, откуда ее лицо выглядывало, как из фунтика, в теплом мужском пиджаке рыжего домотканого сукна и громадных чеботах, уже давно с дерзким любопытством смотрела из-под руки, как на солнце, то на Семена Федоровича, то на раскиданные повсюду солдатские вещи.

Солдат заметил девочку. С некоторым недоумением он рассматривал ее.

— Тю! — вдруг воскликнул он с радостным изумлением.— А я смотрю и думаю: что это за такая кукла? Откуда она взялась? А это, оказывается, наша Фроська! Смотри ты, как выросла... Ну? Чего же ты молчишь,

сестричка? Язык скушала? Да ты Фроська или вовсе не Фроська? Отвечай, как полагается по уставу!

— Фроська,— сказала девочка смело, ничуть не смущаясь тем, что разговаривает с солдатом.

— Где ж ты была вчера, что я тебя не заметил?

— А на печке. Вы меня не бачили, зато я вас бачила. Вы — кавалер?

— А, чтоб тебя! Кавалер! — захохотал Семен. — Такая малявка, а уже понимает, что за такое кавалер... Где ж это ты видишь, что я кавалер?

— У вас на груди крест,— сказала девочка, подходя к солдатской гимнастерке, раскинутой рукавами врозь на столе. Она потрогала крестик, пришитый к карману. — Беленький. Без бантика. Значит, четвертой степени. Георгиевский. Скажете — нет? Ой, что это! Накажи меня бог — драгунская винтовка! — продолжала Фрося болтать, не обращая внимания на брата.

Он смотрел на нее во все глаза, дивясь тому, как она выросла за эти четыре года: уходил на войну — была совсем маленькая, незаметная; возвратился — и на тебе: высокая, ничего не стесняется, с дерзкими глазами (как у той козы), а главное, понимает солдатские дела, — хоть замуж выдавай!

— Дивитесь, — говорила девочка, переходя от вещи к вещи, — дивитесь, сколько богатой справы! Бачьте — какие сапоги: юфтовые, и головки совсем ще целые! А нож какой кривой! Артиллерийский. Скажете — нет? Ух ты, а ранец! Тяжелый. Двумя руками не подынешь. Целый чемойдан. Что в нем такое?

— Не касайся до ранца.

— Та я ж не касаюсь. Я только побачу и положу на место.

— Ой, Фроська, заработаешь по рукам!

— Ни. Вы меня с кровати не достанете.

— А ну, где мой пояс с медной бляхой? Он достанет.

— Нема вашего пояса с медной бляхой, — хохотала девочка, — я его на горище закинула!

— Ну тебя к черту, на самом деле! Положь ранец. Хочешь хату подорвать, чи що? Может, в этом ранце ручные гранаты лежат, откуда ты знаешь?

— Лимонки или бутылки? — быстро, с живым любопытством спросила Фрося, не выпуская из рук ранца.

Солдат всплеснул руками.

— Что вы скажете? — ахнул он. — Лимонки или бу-

тылки! Где это ты научилась понимать? Допустим, что лимонки. Ну?

— Я знаю! Лимонку сначала надо об такую маленькую терочку чиркнуть, а без того она все равно не погорвется. Скажете — нет?

— А вот я тебя сейчас чиркну по одному месту, — пробормотал Семен и вдруг выскочил из постели с проворством, которого никак нельзя было угадать по его лицу — блаженному и слегка опухшему от долгого и счастливого сна.

Но Фрося оказалась еще быстрее и проворней брата. В мгновение ока со страшным визгом она шмыгнула в сени, — платок упал с головы и повис на крепком маленьком плечике, только довольно длинная тугая коса, заплетенная ситцевой лентой, мелькнула перед носом Семена.

Из темноты сеней на солдата смотрели блестящие глаза, круглые и настороженные.

— А вот не споймаете!

— Очень мне это надо, — с напускным равнодушием сказал Семен.

Он хитрил. Ему до страсти хотелось поймать нахальную девчонку и шлепнуть ее для примера, чтобы она имела уважение к воинскому званию.

Но он хорошо понимал — нахрапом тут ничего не выйдет. Надо действовать осторожно.

Не обращая внимания на Фросю, он озабоченно прошелся по хате, как бы разыскивая какую-то нужную ему вещь. Он даже нарочно отошел как можно подальше от двери и копался на подоконнике, чтобы усыпить всякие подозрения.

— Все равно не споймаете, — слышался сзади Фроськин голос.

Он покосился через плечо. Нахальная девочка стояла уже одной ногой в хате, держась на всякий случай за щеколду, чтобы в любой момент захлопнуть дверь перед самым носом брата.

— Очень мне это надо, — бормотал он, неторопливо перебирая вещи, а самого так и подмывало кинуться и схватить девчонку.

— А вот все равно не споймаете.

— Очень надо. Захочу, так споймаю. Вот сейчас надену сапоги и шаровары, возьму в руки пояс...

— Ни!

— Тогда побачишь.

Семен лениво потянулся к шароварам и вдруг, сделав страшное лицо, кинулся за Фроськой. Но она уже, как ветер, мчалась через сени. Упало коромысло, загремели ведра. Брякнула щеколда наружной двери. Солдат не сдержался и, как был, в бязевых кальсонах, выскочил во двор и побежал босиком по мокрой, холодной земле, ослепительно сверкавшей под сильным солнцем февральской оттепели.

Несколько любопытных дивчат и бабенок с ведрами, уже с утра околачивавшихся возле хаты, чтобы посмотреть на вернувшегося с войны мужчину — котковского Семена, — с визгом кинулись в разные стороны, притворно закрываясь платками и крича на всю улицу:

— Черт, бесстыдник! Ратуйте, люди добрые! Караул!

Семен заслонился рукой от солнца. Ему показалось, что среди бегущих дивчат одна, в короткой черной жакетке и сборчатой юбке, особенно часто оглядывается, особенно громко кохочет и особенно стыдливо закрывается концом розового платка с зелеными розами, блестя из-под него черными, как вишни, глазами.

И вдруг все его широкое, добродушное, с мелкими чертами лицо пошло бурым солдатским румянцем. Он схватился за распахнувшийся ворот, стыдливо подтянул кальсоны и, погрозив Фроське кулаком, рысью побежал в хату.

— А что, поймали? — раздался с улицы Фроськин голос.

Глава III НЕРУШИМОЕ СЛОВО

«Кто ж это был: Соня или не Соня?» — размышлял Семен, рассматривая в зеркальце свой неделю не бритый подбородок. Намылив самодельным алюминиевым помазком щеки, он задумался: оставлять усы или не оставлять? Усы, если сказать правду, были неважные. Редкая рыжеватая щетина. Росли они только по краям рта. Под носом же ничего не росло. Так что можно было свободно сбрить. Но, с другой стороны, Георгиевский крест и воинское звание безусловно требовали усов. Усы для бомбардир-наводчика были такой же необходимой принадлежностью, как две белые лычки — одна поперек, другая

вдоль погона. И хотя погоны Семен спорил давно, еще на позициях, но расставаться с усами не хотелось.

— Только усов не режьте, пускай остаются,— жадно сказал из сеней Фроськин голос.— У всех у наших у солдат, которые повозвращались с фронта, отросли усы.

— Ты опять тут?

— Тут.

— Чего ж ты прячешься? Заходи в хату.

— Хитрые!

— Ничего, заходи.

— А вы будете биться?

— Не буду.

— Перекреститесь.

— А если я в бога не верю?

— Ни. Верите.

— Откудова ты знаешь?

— Вот знаю. Которые с артиллерии — те чисто все в бога веруют, а которые с пехоты или же с Черноморского флоту матросы — те все чисто не верят.

— Смотри на нее: все она знает. А, например, с кавалерии или же с инженерных войск, то те как: верят или не верят?

— Те — я не знаю. С кавалерии и с инженерных у нас еще не возвращалось.

Разговаривая таким образом с братом, Фрося мало-помалу вошла в хату и доверчиво остановилась совсем недалеко от него, глядя во все глаза и наслаждаясь увлекательным зрелищем бритья.

Ловко вывернутая бритва сверкала в руке Семена, разбрасывая вокруг себя по хате зеркальных зайцев. Лезвие осторожно очищало с подбородка мыло. Под ним обнаружилась чистая, до красноты натертая кожа.

Девочка склонила набок голову и, затаив дыхание, прислушалась.

— Слушайте... Не слышите? Все равно как сверчок.

— Что?

— А бритва. Верещит. Тонюсенько-тонюсенько. Как сверчок. Скажете — нет?

— Это, наверное, у тебя в носе сверчит.

Фрося фыркнула и сконфузилась.

Некоторое время она молчала, переминаясь с ноги на ногу. Ей уже давно надо было сказать брату одну вещь. Но вещь эта была такая важная и секретная, что де-

вочке все никак не удавалось среди шутивного разговора кинуть нужное словечко. Кроме того, мешала мать, которая не отходила от печи, стряпая сыну добрый борщ из кислой капусты, пшена и свинины. Но вот она вышла из хаты за салом.

Фрося завернула руку за спину, подошла вплотную к брату и подергала себя за рыжую косу. Рыжие брови ее строго нахмурились. Вокруг пухлого рта сошлись морщины оборочкой, как у старухи.

— Слышь, Семен,— быстро сказала она, косясь на дверь,— посылает тебе один человек поклон — а какой человек, ты сам знаешь,— и пытается тебя той человек: какие дальше твои думки? Будешь ты посылать до нее сватов или не будешь? Или, может, ты уже забыл про того человека вспоминать?

Дернулась бритва в руке у Семена.

— А, чтоб тебя! — сердито сказал он. — Гавкаешь под руку глупости. Свободно мог порезаться!

Сердце его горячо ёкнуло. Он изо всех сил наморщил лоб, старательно вытирая бритву бумажкой.

— Передашь тому человеку,— сказал он, глядя в сторону,— что, может, она забыла про меня вспоминать, а я про нее никак не забыл, и мое слово как было, так и есть — нерушимое.

Фрося важно кивнула головой. Но вдруг, в одиный миг, лицо ее стало хитрым и оживленным, как у старой деревенской сплетницы. Она припала к плечу брата и жарко зашептала в самое его ухо, на котором, шурша, сохло мыло:

— Приходи сегодня на вечерку в хату до Ременюков; только не до тех Ременюков, который баштан коло баштана Ивасенко, а до тех Ременюков, у которых двух сыновей на фронте в пехоте убило, которых хата сейчас за ставком. Сегодня очередь Ременюковой Любки. Там можешь встретить того человека. Гроби у тебя е, чтоб дивчат пряниками угощать?

— Гроби найдутся.

— Не надо. Я смеюся. С демобилизованных дивчата ничего не берут.

А уже в хату входила мать, на вытянутых жилистых руках подавая сыну вынутый из сундука праздничный утиральник, богато вышитый в крестик черной и красной бумагой.

Глава IV

ХОЗЯИН

Давненько не ел Семен такого густого и горячего борща с красным перцем, с чесноком, с хорошей картошкой. Серый плетеный хлеб из чистой пшеничной муки грубого помола показался ему вкусней белых румынских булок.

От сала трудно было оторваться. Сало это специально хранилось для него с прошлой пасхи, когда в последний раз кололи кабанчика. Густо посыпанное крупной солью и завернутое в полотняную тряпку, оно было закопано глубоко в землю и в таком виде могло лежать не портясь хоть три года. От долгого лежания в земле оно только становилось нежным, как масло.

Какое наслаждение было делить его толстый мраморный брус на тонкие ломти, счищая походным пожиком землю и соль и срезая твердую кожу, желтоватую и полупрозрачную!

Добре наевшись и запив обед кружкой чаю внакладку,— в ранце у Семена нашлись и заварка, и поряточная торба колотого сахару,— солдат встал из-за стола, поклонился низко матери,— мать тоже низко ему поклонилась, как хозяину,— кинул на плечо ватную стеганую телогрейку, которая опять-таки нашлась у него все в том же ранце, и вышел во двор хозяйновать.

Конечно, сегодня он мог бы и погулять. Но обычай требовал в первый день не отлучаться со двора. По этому признаку общество отличало человека достойного и положительного.

До этого дня Семен еще никогда не чувствовал себя хозяином вполне. Хотя батька умер года за два до войны, но оставался еще крепкий дед, который вместе со своей дочерью — матерью Семена — свободно управлялся в кузне. А ему было семьдесят с лишним лет.

Вот это был человек так человек! Высокий, сухой,— все зубы на месте,— он шутя мог пронести на плечах из конца в конец через все село два мешка пшеницы, по пяти пудов каждый. И если бы в начале войны его не ударила в грудь гусарская лошадь, которую он ковал, то жить бы ему да жить. Но удар оказался чересчур сильный. Дед стал каплять кровью, слег, да так уже и не встал. На второй год войны его похоронили, и кузню заперли на замок.

Земли не было. Скота не было. Приходилось как перебиваться. Не случись в семнадцатом году Октябрьская революция — неизвестно, чем бы кончилось дело.

Теперь же дела поправились. Землю, взятую осенью у помещика Клембовского, общество разделило поровну между всеми незаможными дворами, и вдове Котко отрезали полоску десятин в шесть — по две десятины на душу. Из запасов того же помещика Клембовского земельный отдел помог семенами, а при дележе скота дал лошадь, корову и трех овец. Так что теперь две десятины были засеяны озимой пшеницей, а остальные четыре дожидались Семена, как он решит — сажать ли на них подсолнух, поднимать ли баштан или целиком пустить под овес и жито.

Все эти новости мать, не торопясь, рассказала Семену за обедом, и теперь, выйдя во двор, он с удовольствием принялся осматривать свое хозяйство.

Прежде всего он отправился в сарай, где помещалась новая лошадь. Ему не терпелось посмотреть на кобылку, которая еще так недавно стояла в барской конюшне и хрустела барским ячменем, а теперь стоит в сарайчике бедняка бомбардир-наводчика Семена Котко и понятия не имеет, на какую работу поставят ее завтра: пахать ли бывшую землю помещика Клембовского под овес или запрягаться в подводу и ехать на речку за очеретом для новой крыши. Семен уже успел заметить, что крыша на хате порядком подгнила и не мешало бы ее перекрыть заново.

Новая кобыла очень понравилась Семену. Она оказалась гораздо лучше, чем он предполагал. Он потрогал ее за нежный, бархатный храп, погладил под брюхом и тут же пожалел, что не сообразил захватить с собой с батареей щетку и скребницу. Корова оказалась так себе. От помещицкой коровы можно было ожидать большего.

Что касается овец, то две из них только что обьягнились. Семен подобрал с соломы тяжеленького курчавого ягненка с костяными копытцами и твердой, как бы из дерева точенной мордочкой, широко улыбаясь, подул ему в нос и закричал хозяйственно:

— Эй, мамо, надо будет, чтобы вивцы ночевали в хате, а то еще, не дай бог, ягняточки померзнут!

Глава V

СОСЕДИ

Семен отомкнул кузню. Здесь было темно и холодно. Наковальню покрывала могила старого, обледеневшего снега, нанесенного в трубу.

Семен потянул за ржавый дрот. Тяжко заскрипела, вздохнула тугая гармоника мехов. Ветер дунул по очагу, подняв тучу золы. Нищенский запах холодного железа и каменного угля наполнил кузню. Сразу стало печально и скучно. Семен машинально перекрестился и вышел, осторожно притворив за собой дверь — широкоую, как ворота.

Тут, возле двери, должен был лежать жернов, знакомый с детства. И верно: жернов лежал на своем месте. И тотчас Семен вспомнил, как интересно бывало летом, хорошенько натужившись, приподнять этот жернов с травы и заглянуть, что под ним делается. А под ним всегда кишел и копошился целый мир каких-то бесцветных, прозрачных червячков, личинок, букашек и бледно прорастали жалкие, лишенные солнечного света корешки и травинки, такие же бесцветные, как и эти червячки.

Сейчас, хотя уже начиналась весна, камень еще крепко вмерз в землю. Стало опять печально и скучно.

Но яркий февральский день был так прелестен, — он весь казался вылитым из чистейшего льда: синий в тени и текучий, сверкающий на солнце, — что Семен веселым командирским взглядом окинул свой двор и, заметив посредине двора смерзшуюся кучу навоза, которому здесь было не место, взялся за вилы.

Отвыкнув от настоящей полезной работы, — ведь не работа же для человека, на самом деле, все время ездить и ездить со своим орудием по чужим полям, копать блиндажи и, припав глазом к панораме, торопливо искать точку отметки, а потом, по команде орудийного фейерверкера: «Третье, огонь!», дергать за шнур и отскакивать от оглушившей и ослепившей пушки, — отвыкнув от настоящей полезной работы, Семен с удовольствием поднимал вилами легкие пласты навоза и переносил их за сарайчик.

Иногда он останавливался и, вытирая рукавом лоб, думал: «Нет, за такого самостоятельного человека можно смело отдать наикрашую дивчину на селе!» Эта дума и подогревала его в работе.

Выпуклые глаза девушки, черные и блестящие, как вишни, ее сморщенный от улыбки носик не выходили у него из ума. Чем ниже склонялось солнце, тем настойчивей становились думы Семена. Нетерпеливое беспокойство охватило его.

Между тем с улицы к плетню то и дело подходили соседи повидаться с Семеном. Этого также требовал обычай. Подходили, не торопясь, на согнутых ногах один за другим старики, любопытные, как бабы, в просторных ватных пиджаках, просаленных, вытертых до глянца, и в лохматых бараньих шапках, насунутых на лохматые брови. Переложив стариковскую палку из правой руки в левую, они протягивали Семену через плетень сложенную дощечкой черствую руку и говорили, сочувственно кивая: «Семену Федоровичу», или: «Нашему кавалеру», или: «Бог помощь».

Не выпуская из рук вил, Семен подходил к плетню, где на боку стояла исправная борона с зубьями, увешанными глечиками, и здоровался с людьми, отвечая на вопросы и восклицания. Отвечать требовалось бойко, за словом в карман не лезть, в чем также был признак человека самостоятельного и свойского.

— Григорию Ивановичу,— отвечал Семен старикам, снимая папаху и почтительно кланяясь.— Дал бог побачиться. Взаимно и вам, Кузьма Васильевич.

Подходили бабы, любопытные, как старики. Их приветствия были не так церемонны и простосердечны и содержали в себе порядочную порцию женского перца: «Здравствуйте, Семен Федорович! Очень приятно вас видеть. Слава богу, что вы наконец возвратились. Мы уже думали, что вы как погнались за немцем, так доси бегаете. А это, говорят люди, он за вами бегаёт. Ну, слава богу». — «С приездом. Что вы так мало на фронте крестов заслужили?» — «Кавалер, где твои погоны?»

— Никак нет,— мелкой скороговоркой отгрызался он от баб.— Зачем мне казенные патроны даром на немцев расходовать, когда лучше дома на печке по внутреннему врагу, по бабам, крыть прямой наводкой? Мне там, на позициях, давали ще один крест, только деревянный, а я не схотел. А погоны я на табак поменял у одного дурня.

Старые деревенские приятели-сверстники, по большей части уже давно успевшие «демобилизоваться» из армии и вернуться в село, выставляли из-за плетня солдатские

груди, увешанные знаками отличия, заломив походные фуражки, а некоторые были в желтых стальных французских касках,— они первым долгом протягивали кисеты или жестяные коробочки с табаком и бумажкой. Только скрутив вместе с Семеном по сигарке, затянувшись и сплюнув, они приступали к приветствиям и расспросам: «Здоров, годок! Как дело?» — «Что слыхать на позициях? Окончательно замирились или ще стреляют?» — «Ты какой части, шестьдесят четвертой артиллерийской бригады, чи шо? Я как раз восьмого гаубичного. Зимой шестнадцатого мы рядом с вами стояли на Вилейке под Сморгонью. Только вы по правую сторону от дороги, а мы по левую, аккурат на повороте за деревней Бялы». — «Не слыхал там, Ленин ще заправляет делами?» — «Керенского ще не споймали?»

— Здоров, земляк,— отвечал Семен годкам своим.— Наши дела — лишь бы хата цела. По приказу верховного главнокомандующего ровно с двенадцатого сего февраля полное замирение по всем фронтам и полная демобилизация действующей армии. Первой батареей шестьдесят четвертой бригады, и зимой шестнадцатого года, верно, стояли под Сморгонью по правой стороне дороги, коло самого березового лесочка. За Ленина слыхать, что он сидит на своем старом месте, заправляет всеми делами и увольняться по чистой не интересуется. А гадюку Керенского так-таки и не споймали, потому что ему англичане фальшивый литер выписали, и он с тем фальшивым литером теперь ездит по всем железным дорогам, переодетый или в женщину, или в гимназиста.

Мальчишки, подталкивая друг друга, жались у плетня и кричали придушенными голосами:

— Дядя Семен, чи вы не большевик?

— Дядя Семен, у вас нема какого-нибудь патрона чи старой люминиевой фляжки? Позычьте нам!

— Е для вас добрый ремешок с медной бляхой на конце! — кричал Семен мальчишкам, притворно сердясь.— А ну, голота, отойдите мене от плетня и не балуйте, а то нарву уши!»

И мальчишки с топотом разбегались во все стороны, только из-за углов хат торчали красные носы да блестели любопытные глаза.

Наконец настал вечер.

Шел на убыль февраль, а вместе с ним кончалась и зима. Какая-нибудь неделя, не больше, оставалась до первого весеннего месяца — марта.

Чуя впереди тяжелые работы в степу, хлопцы и дивчата торопились досыта нагуляться. Каждый день то в одну хату, то в другую собирались они на вечерку.

Сегодня держать хату был черед Любы Ременюк. Она дополна налила керосином, заправила и засветила большую висячую лампу с двенадцатилинейным стеклом, чисто-начисто подмела мазаный пол, расставила скамейки, убрала из хаты лишнее, а сама, в будней юбке и кофте, скромно села за прялку.

Проворные пальцы ущипнули кудель. Побежала изпод пальцев ссученная нить. И, вися на конце этой тоненькой нити, шибко закрутилось веретено, то опускаясь до самого пола, то волшеббно поднимаясь к играющим, будто намагниченным пальцам.

Скоро стали собираться дивчата. Они рассаживались вдоль стен и, сбросив с плеч платок, тотчас вынимали из-за пазухи какое-нибудь рукоделье, начатое еще поздней осенью и специально предназначенное для работы на вечерках.

Издавна повелось, чтобы дивчата на вечерках не сидели без дела. Здесь каждая могла щегольнуть перед хлопцами своим мастерством и предстать перед избранником в лучшем виде.

Едва только последняя девушка вошла в хату, как за окошком послышался вкрадчивый и вместе с тем небрежный перебор гармоники. В стекло легонько стукнули. Несколько мужских лиц мелькнуло снаружи. Но девушки в хате и бровью не повели, как будто все это их никак не касалось. Глаза были холодно опущены к рукоделью, лбы прилежно наморщены, и только одна, общая для всех, еле уловимая усмешка пролетала по лицам, мимолетно трогая край то одного, то другого ротика.

За окошком послышалось шушуканье, приглушенный смех. Дверь осторожно приоткрылась. В нее вдвинулось сначала плечо с широким ремнем гармоники, а потом и стриженная лобастая голова в матросской фуражке на затылке. Матрос, как лисица, повел по сторонам конопатым носом.

Девушки не удостоили его ни одним взглядом, целиком поглощенные работой.

— Ноль внимания, фунт презрения, — многозначительно заметил матрос, мигая хлопцам, напирившим сзади из сеней.

Девушки оставались равнодушными. Матрос двумя руками снял фуражку и лъстиво раскланялся.

— Разрешите до вас зайти?

— Заходите, если вам интересно, — ледяным тоном ответила хозяйка, не глядя на матроса, и пожала плечом, заодно поправив им сползающий платок. — Мы свою хату ни от кого на замок не запираем.

Она презрительно сложила жесткие губы.

— Очень приятно, — сказал матрос.

Он опять мигнул хлопцам, видно собираясь отпустить по адресу высокомерных дивчат какое-нибудь особенно ядовитое замечание. Но не успел. Сзади на него надели, поддали коленкой, и гурьба нетерпеливых кавалеров е молчаливым смущением вступила в хату.

Когда явился Семен, вечерка была в разгаре. Правда, дух чинного, даже несколько чопорного присутствия все еще царил в хате. Однако кое-кто из кавалеров, наскучив подпирать плечом стенку, подсел, как бы нечаянно, на самый краешек скамьи, шепча своей красавице всякие секреты. В свою очередь и дивчата уже не так прилежно следили за иглой, протыкавшей толстую бумажную канву, и уже не на одном рассеянно уколотом пальце висела смородинка крови. Общее строгое молчание нарушилось. Хлопцы лениво перебрасывались с дивчатами как бы незначительными замечаниями, за которыми иной раз угадывалось столько скрытой игры, что многие щеки уже горели жгучим до слез румянцем.

Даже сама рассудительная хозяйка хаты Любка Ременок позабыла на минуту свою прялку, прижалась плечом к матросскому бушлату и сидела так, с бледным очарованным лицом, полузакрытыми глазами и блуждающей улыбкой, точно нанюхалась дурману, машинально перебирая дрожащими пальцами георгиевские ленты матросской фуражки.

Семен остановился у двери, незаметно отыскивая глазами ту, ради которой сюда пришел. Но первая, кого он увидел, была... Фроська. Это было так удивительно, что в первое мгновение ему даже показалось, не обознался ли он. Как? Сестра Фроська!

...Два белых гуся, качаясь, идут один другому в затылок, а за ними поспекает босиком по колючкам голенастая девчонка с длинным прутом березы в руке. Под носом запачкано, на голове торчит косичка, тонкая, как мышиный хвост. Именно такой сохранилась в представлении Семена Фроська... И вдруг — на тебе! Сидит теперь эта самая Фроська на вечерке среди взрослых дивчат-невест, такая важная, глазом не сморгнет... Тю, черт, подросла как!

А Фрося и вправду сидела в большой ситцевой коффе, с гребенкой в волосах и с чрезмерной серьезностью четырнадцатилетней невесты старательно подрубала большой старинной иглой мужскую рубаху.

Мало того. Рядом с ней, неловко сложив на коленях длинные руки, сидел лохматый хлопец лет восемнадцати, в белой свитке — видать, не успевший попасть под мобилизацию, — и тревожно смотрел в сторону.

При виде этого Семена разобрал такой смех, что он топнул сапогом, воскликнул: «А, чтоб вас!» — и уже собирался отпустить насчет Фроськи подходящее замечание, как вдруг слово застряло у него в горле. Вылетели из головы всякие шутки. Он увидел Софью.

Девушка искоса следила за ним из-под выпуклых век вишневыми глазами. Маленькая ямка дрожала на одном краю натянутых губ, чуть открывших чистые зубы — тесные, как зерна молодой кукурузы.

Четыре года думал солдат об этой встрече. Теперь он стоял в замешательстве, не зная, как себя держать.

Хлопцы многозначительно покашливали. Дивчата украдкой бросали на Софью красноречивые взгляды. Фроська поглядывала на брата с нежным, но лукавым сочувствием.

Софья с досадой повела плечом, медленно залилась румянцем и закрылась рукой с наперстком, делая вид, что поправляет на лбу волосы. Богатый рушник тонкого городского полотна, который она вышивала по канве шелком, скользнул с колена.

Семен готов был пропасть. Но в это время матрос, который знал все на свете не только матросские, но и солдатские песни, тронул гармонику и запел подходящую к случаю артиллерийскую:

Раз ко мне пришел
Артиллерист и речь такую мне завел:
«Здравствуй, милая моя,
Вот скоро кончится война...»

И вечерка продолжалась как ни в чем не бывало.

Но вот хозяйка зевнула, посмотрев на лампу. Дивчата спрятали за пазуху рукоделье и стали одна за другой выходить из хаты. Следом за ними лениво, сохраняя достоинство, потянулись и хлопцы. Это был долгожданный миг проводов до дому, законная возможность побыть наедине.

Хлопец и дивчина встречались в темных сенях. Слышался скорый шепот. Через минуту две тени, обнявшись, уже шли по темной улице.

Наконец, вслед за другими поднялась со своего места и Софья. Она прошла близко мимо Семена, мелко переступая козловыми башмачками и опустив небольшую красивую голову. Он посмотрел на нее. Она мимолетно опустила веки. Он подождал для приличия минутку и, не торопясь, вышел за ней в сени. Она ждала его.

Невидимые в темноте руки обхватили его за плечи. Голова в платке прижалась к солдатской груди.

— Ой, Семен! — прошептал обессиленный голос. — Ой, Семен, любый мой, целый, не убитый!

Далеко за полночь ушел блестящий по-зимнему месяц. Спала деревня. Семен провожал Софью. Бережно прижавшись друг к другу под артиллерийской шинелью внакидку, держась за руки, шли они по безмолвной улице, медленно, будто ослепли.

Семен, притаив дыхание, вел девушку с осмотрительной нежностью по обледеневшим колеям улицы.

И все же он не был спокоен. Привычное сомнение смущало его горделивую радость. Согласится ли Ткаченко отдать за него дочку? Не отступит ли от своего слова? Но для того, чтобы понять все эти сомнения, надобно знать, кто таков был Ткаченко и почему боялся Семен отказа.

Глава VII БОГАТАЯ НЕВЕСТА

Ткаченко принадлежал к тому типу крестьян, которые, будучи однажды призваны в солдаты, быстро привыкали к солдатской жизни, находили в ней выгоду и не скоро возвращались домой, добровольно оставаясь на сверхсрочную службу лет на пять — десять, а то и на все пятнадцать. В свое время Ткаченко был призван в артиллерию, окончил действительную службу в звании бомбар-

дира, на сверхсрочную перешел младшим фэйерверкером, за русско-японскую войну получил два Георгиевских креста, третью нашивку и, таким образом, незаметно превратился в господина взводного, строгого службиста, правую руку своего офицера и грозу батарейцев,— словом, в то, что называется — шкура.

Раз или два в год приезжал он на побывку в село, где у него были жена и хата. Он привозил с собой все накопленное в батарее жалованье и с толком вкладывал его в хозяйство. А денег каждый раз было рублей восемьдесят — девяносто. Деньги по деревенской жизни — громадные. Жена его, простая бедная баба,— он взял ее сиротою, которую в первые годы сверхсрочной службы все очень жалели,— вдруг, к собственному удивлению, оказалась одной из самых богатых хозяек села. Теперь уже люди ей завидовали и ее уважали. Но она, кроткая, неграмотная и чистая сердцем, никак не могла привыкнуть к своему новому положению, да вряд ли его как следует и понимала.

Она продолжала ходить так же просто и даже бедно, так же работала, не разгибая спины, и в доме своего мужа скорее казалась наймишкой, чем хозяйкой. Она мужа любила и боялась, как существа высшего. Он ее снисходительно терпел. У них родилась дочь. Он прислал из части письмо, приказав окрестить девочку в честь жены командира дивизиона Софией.

Девочка росла, воспитываемая матерью в простоте и любви. Отец для нее был тоже существом высшим. Накануне войны ей исполнилось шестнадцать лет. Два года она уже считалась невестой и гуляла с Семеном.

Хотя он был беден, а она богата, препятствий не предвиделось. Мать Софьи была рада выдать дочку за хорошего, работающего человека.

Сговорившись с девушкой и разузнав стороной о настроении ее матери, Семен уже было решил посылать сватов. Но как раз в это время на побывку приехал сам Ткаченко, только что произведенный в фельдфебели. Он узнал о предстоящей свадьбе и пришел в ярость.

В его планы никак не входило выдавать единственную дочь за бедняка. Наоборот. Он давно уже мечтал породниться с кем-нибудь побогаче, повыше, купить через банк хороший, большой хутор, уволиться, наконец, из части и стать если не помещиком, то, во всяком случае, вроде того.

Он велел передать Семену, что переломает ему руки и ноги, если когда-нибудь увидит его около своей хаты; жену обозвал старой макитрой, а дочку хотел добре перетянуть по лопаткам ножнами новой фельдфебельской шашки — и даже уже замахнулся, — но, увидев ее красивые черные глаза навывкате, круглые от испуга, пожалел свое дитя, налилсь кровью и закричал страшным голосом непонятное, но явно оскорбительное слово: «Хивря!»

В ближайший же праздник, надев полную парадную форму, при шашке, крестах и оранжевой медали за трехсотлетие дома Романовых, фельдфебель лично повез невесту на базар в Балту. На низко склоненной голове девушки был надет батистовый чепчик с числом, вышитым малиновыми нитками. Число это показывало, сколько рублей дается в приданое за невестой. Таков был старинный сельский обычай, от которого не пожелал отступить Ткаченко.

Базар ахнул. Обычно на чепцах местных невест скромно значилось: 35, 50, много — 75. Цифра 100 вызывала почтение. Вокруг 150 собирались любопытные, и об этом толковали потом целый год. На чепце Софьи крупной школьной прописью было вышито 300.

Народ столпился вокруг новой зеленой повозки с рессорной коляской, расписанной розочками. Слезы смущенья и обиды текли по пунцовым щекам девушки. А отец стоял перед повозкой, как перед своей батареей, ни на кого не глядя, и, по-фельдфебельски отставив ногу в вытяжном сапоге со шпорой, тремя пальцами разглаживал темные усы.

Глава VIII СОЛДАТСКОЕ ЛИХО

Но честолюбивые мечты не сбылись. Ударила всеобщая мобилизация. Ткаченко срочно отбыл в часть. Началась война. Семена забрали. Он тайком прощался с Софьей, плакавшей у него на плече. И случилось так, что попал он именно в ту самую артиллерийскую бригаду, в тот самый дивизион и даже в ту самую батарею, где был фельдфебелем Ткаченко.

Тут, очутившись на позициях, да еще под властью своего врага, Семен узнал, почему фунт солдатского лиха,

С того самого дня, когда Ткаченко, заложив руку за пояс, впервые прошелся перед фронтом батареи и с недоброй усмешкой покосился на вытянувшегося из всей мочи канонира Котко, и вплоть до семнадцатого года не было часа, когда бы Семен не чувствовал на себе подавляющей власти фельдфебеля.

Ткаченко назначал его в самые тяжелые наряды — на земляные работы, на рубку леса. Он взыскивал с него за малейшее упущение. Часто приходилось Семену выстаивать под ранцем с полной походной выкладкой. Еще чаще назначали его не в очередь на кухню чистить картошку, что считалось работой хоть и легкой, но увизительной.

К счастью для себя, Семен не пал духом и не опустил. Иначе бы он пропал. Наоборот. От природы настойчивый и смысленный, он понял, что ему остается одно: тянуться. Он так и сделал. Скоро он стал, несмотря ни на что, одним из самых исправных солдат батареи.

Между тем Ткаченко продолжал идти в гору. За бои в Восточной Пруссии он получил Георгиевский крест второй степени. За Августовские леса — первой.

В конце пятнадцатого года, после отступления, под Молодечно состоялся царский смотр. Батареям выдали новые шинели. Маленький бородатый полковник в полном походном снаряжении, с белым крестиком на груди, пропустил мимо себя армейский корпус. Крича «ура» и не слыша собственного голоса, Семен мельком увидел над лошадиной мордой желтое лицо с узкими глазами в лучистых морщинах. Лицо было знакомое — точь-в-точь как на полтиннике.

После смотра посыпались награды. На батарею пришлось десять крестов. Командир бригады, торопливо обходя фронт, пришил Семену «Геоorgia», похлопал его по рукаву и сказал: «Молодец!» Семен был в недоумении. Однако он поднял подбородок и крикнул: «Рад стараться, ваше превосходительство!»

В этот же день Ткаченко произвели в подпрапорщики. Он надел на солдатскую шашку офицерский темляк, вставил в папаху офицерскую кокарду и нашёл на погоны широкий золотой басон.

Это был предел, выше которого нижний чин подняться уже не мог.

Таким образом, Ткаченко превратился из господина фельдфебеля в господина подпрапорщика. Новое звание окончательно отделило его от солдат, ничуть не приблизив к офицерам. Ткаченко перестал курить деревянную люльку с жестяной крышечкой и перешел на дешевые папиросы. Вместо спичек он стал пользоваться зажигалкой, сделанной из патрона. У него завелся собственный холуй вроде денщика, которого он взял из обоза второго разряда.

Война продолжалась.

Однажды, в шестнадцатом году, под Сморгонью, проходя по батарее, Ткаченко увидел Семена. Семен сидел на корточках перед небольшим костром, в котором калился шрапнельный стакан. В этом стакане плавилась немецкие алюминиевые дистанционные трубки. Семен отливал из алюминия ложки.

Ткаченко незаметно остановился за спиной Семена, рассматривая весь этот маленький литейный двор с земляными формами и готовыми ложками, белыми и поздраватыми, остывавшими рядом в песке. Вокруг никого не было. Пользуясь затишьем, батарейцы занимались каждый своим делом: кто стирал белье, кто играл в скракли¹, кто писал письмо на самодельном шашечном столике, вбитом в землю возле орудия, обсаженного елочками маскировки.

Розовый майский вечер просвечивал сквозь молодую зелень столетних берез вдоль знаменитого Смоленского шоссе, по которому некогда двигалась армия Наполеона. С тугим жужжанием пролетал иногда над ухом майский жук, и, как бы отзываясь ему, издалека доносилось слабое стрекотанье немецкого аэроплана, летевшего с разведки.

— Хозяйство делаешь? — спросил Ткаченко.

Семен вздрогнул и вскочил, вытянувшись перед фельдфебелем. Ткаченко прищурился, погладил тремя пальцами усы и, не торопясь, прошелся мимо Семена туда и назад, как перед фронтом. Наконец он остановился боком и отставил ногу.

— Ну что, Котко, — трогая ребром руки козырек фуражки, сказал он, пасмурно усмехаясь, — выбросил ты уже из головы или еще не выбросил?

¹ Ск р а к л и — игра в городки. (Примеч. автора.)

— Не могу знать, господин подпрапорщик, — ответил Семен, опуская глаза.

Ткаченко помолчал. Его худощавое мускулистое лицо с лилово-сизым румянцем выразило зловещую задумчивость.

— Как хочишь. Твое дело. Помни.

Ткаченко, не торопясь, подошел к орудию Семена, открыл затвор и заглянул в дуло.

— Так. Очень приятно. На два пальца грязи. Возьмешь четыре наряда не в очередь.

— Слушаюсь, господин подпрапорщик! — молодежато крикнул Семен, вычистивший свое орудие керосином не больше часа назад.

Скоро начались солдатские отпуска. Нижние чины по очереди уезжали домой на двадцать один день. Перебывала на побывке вся батарея. Но Семен так и не дождался очереди.

Кончилось лето шестнадцатого года.

Глава IX СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

Шел третий год войны. Бригаду бросали с фронта на фронт. Всюду гремели бои. Леса вдоль Вилейки были выжжены на пятнадцать верст удушливыми газами. Они стояли сухие и желтые, как осенью.

За Барановичами, под Двинском и дальше, до самой Риги, целыми неделями, без передышки, тряслась земля. По ночам над брошенными, гибнущими полями висело скалистое зарево ураганного огня.

По раскаленным улицам Черновиц, перегоняя обозы, мчались грузовики с резервами наступающего Брусилова. Дорна-Ватра гремела молниями.

Пыльные сливы висели в садах Буковины.

В августе Румыния вступила в войну. Русский корпус переправился через Дунай и быстро прошел через всю Добруджу. Уже с наблюдательного пункта артиллеристы видели за кукурузными полями и баштанами минареты болгарского города Базарджик.

Но тут превосходящими силами ударил Макензен. Все смешалось. Немецкие самолеты проносились бреющим полетом над открытыми степными дорогами, расстреливая из пулеметов походные колонны. Старинные румын-

ские пушки, запряженные волами, вязли в грязи. Немцы брали их голыми руками. Осенняя луна холодно освещала валявшиеся в кукурузе раздутые трупы и раскиданную амуницию.

Неподвижные чабаны в высоких бараньих шапках, с высокими посохами в руках, стояли, окруженные овцами, возле каменных колодцев, круглых, как жернова. Они равнодушно смотрели на армию, в беспорядке кочующую по степи.

Водянистое солнце слабо светило на желтую листву, устилавшую подножья буков.

Непроглядная осень висела над Дунаем. Сквозь пресный речной туман еле-еле виднелись зубчатые отроги Карпат. Оттуда слышалась канонада. Конец войны не было видно. «Из терпенья вышла окопная мука солдата», — писал зимой Семен на село матери. В конце февраля в Петрограде восстали рабочие. Царь отрекся от престола. Солнце сверкало в льющихся ручьях. Синее небо, отражаясь в медных трубах полковых оркестров, выглядело зеленым.

Откуда взялось столько шелковых красных бантов и кумачовых полотниц! Комиссары Временного правительства — солидные штатские господа в хороших драповых шубах и каракулевых шапках — в сопровождении секретарей разъезжали по обозам первого разряда митинговать. Возбужденные солдаты не спали по ночам и толковали в блиндажах о земле и мире. Семен ходил одуревший от нетерпения. Всем казалось, что война кончена.

Первое время Ткаченко был весьма смущен. Он еще не мог сообразить, выгодно это все для него или невыгодно. Но скоро понял, что вернее всего — выгодно. Отменяя сословные привилегии, революция открывала для него возможность стать офицером.

Он надел на грудь красный бант. Его выбрали в батарейный комитет.

Весна прошла в дурмане. Наступало лето. Измученные солдаты с минуты на минуту ожидали мира. Вместо этого Керенский объявил о наступлении. Маршевые роты с развернутыми красными знаменами прибывали из запасных частей на фронт.

Опять появились комиссары Временного правительства. Теперь это были патлатые крикуны в пенсне и крагах, с морскими кортиками вместо шапек, увешанные бинок-

лями и полевыми сумками. Их сопровождали вольноопределяющиеся батальонов смерти с черепами на рукавах.

Они пробирались в окопы по ходам сообщения, кланяясь шальным пулям, задевая плечами углы и поднимая страшную пыль.

В то лето батарея стояла в Румынии, за Яссами, под высотой 1001. День и ночь по узкоколейке катились вагоны с огнеприпасами. В склоне горы были вырыты погреба, тесно заставленные ящиками с французскими тротильными гранатами и зажигательными бомбами. Саперы бетонировали площадки для дальнобойных орудий Виккерса. В пехотных окопах минометы устанавливались сотнями.

Зной жег перекопанную землю.

В дивизию приезжал сам Керенский, по-штатскому сутулый, — висячий нос бульбой, — в суконном английском картузе с отстегнутым козырьком, с больной рукой в замшевой перчатке, прижатой к нагрудному карману френча; он стоял в штабном автомобиле, окруженный любопытными солдатами. Глубоко разевая бритый рот, он сипло кричал на них, именем свободы и революции требуя наступать.

Он кричал, по крайней мере, полчаса. Солдаты молча слушали. Некоторые устали стоять и сели на землю.

Во время длинной паузы, когда Керенский, опираясь здоровой рукой о красный погон шофера, обводил слушателей медленным взглядом «гражданина и вождя», вдруг раздался хотя и смущенный, но вместе с тем довольно бойкий вопрос, произнесенный тульским говорком:

— В роте спрашивают: замиренье-то скоро выйдет? А то домой надо.

Керенский быстро оборотился и увидел коротенького пехотинца в большом французском шлеме, из-под которого торчали загнутые детские уши, черные от румынской пыли снаружи и особенно внутри. Он смиренно сидел по-турецки в первом ряду на выгоревшей траве.

— Молотить пора, — разъяснил он соседям.

В толпе раздался смешок. Зацыкали.

— Ничего нет смешного, — сказал кто-то ворчливо, — все интересуются. Молотить надо.

А пехотинец продолжал сидеть как ни в чем не бывало и, задрвав замурзанное лицо, простосердечно смотрел на главковерха, жмурясь от солнца.

— Товарищи солдаты! — очнувшись, закричал Керенский. — Свободные граждане! Братья! Революция дала вам крылья. История вложила в вашу руку меч. Вы победите. Но среди вас есть предатели, для которых личное благополучие дороже великих идеалов свободы. Вот один из них! — Главковерх раздраженным жестом протянул здоровую руку к пехотинцу, который уж не рад был, что ввязался в разговор с начальством. — Вот один из этих предателей. Скажите мне сами: что сделать с этим человеком? Предать революционному суду? Расстрелять на месте, как изменника?

Солдаты молчали, чувствуя неловкость.

Керенский повернулся и посмотрел в упор на пехотинца.

— Ступайте! — крикнул он вдруг, делая трагический жест.

— Никак нет, — жалобно проговорил солдатик, вставая и складывая руки лодочками по швам.

— А я вам приказываю именем революции: ступайте! Ступайте домой. Я лишаю вас высшего звания — солдата русской армии. Вы свободны.

Пехотинец топтался с ноги на ногу, растерянно вертя головой по сторонам. А главковерх уже опять обводил митинг «гражданским» взглядом.

— Может быть, здесь есть еще трусы? В таком случае пусть они все уходят домой. Они свободны. Мы с презрением отворачиваемся от них. Революции не нужны предатели. Уходите же!

И тут произошло нечто до такой степени неожиданное, что Семен долго потом не мог очухаться. Рядом с ним стоял немолодой канонир Биденко, ничем не замечательный, многосемейный и малограмотный, молчаливый ездовой. Во все время, пока Керенский митинговал, лицо его было мучительно сморщено, как у больного. Вместе с тем он жадно прислушивался к каждому слову. Было похоже, что он несколько раз порывается что-то сказать. Когда же Керенский произнес последние слова: «Революции не нужны предатели. Уходите же!» — и сделал паузу, Биденко вдруг застонал, странно оскалился, плюнул и, сказав довольно громко: «А нехай они все с тою войною идут у болото», как был в стеганой телогрейке и с недоуздкой в руке, повернулся пропотевшей спиной и ушел пешком с позиции домой, в Херсонскую губернию.

Глава X

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ САМСОНОВ

Восьмого июля вечером началась артиллерийская подготовка. Свыше ста батарей легкой и тяжелой артиллерии работало в течение трех суток без перерыва на небольшом участке одной дивизии. Солдаты оглохли. Три дня земля была покрыта тяжелым, как ртуть, удушающим дымом. Три ночи молнии не сходили с неба. Проволочные заграждения немцев были начисто уничтожены ураганным огнем. На рассвете одиннадцатого вдруг наступила полная тишина. Пехота вышла из окопов. В последнем порыве, страшном в своем молчании, русские войска ворвались в первую линию баварских окопов. Вторую линию заняли через двадцать минут. Немцы бросали батареи. Вспаханное снарядами поле было покрыто трупами рослых баварцев в нательных сетках под расстегнутыми мундирами. Они лежали в разных позах, уткнувшись в развороченную землю, пахнущую жженым гребнем. Каски в серых чехлах и тесаки валялись всюду. Русские прорвали третью линию и стали окапываться. Но в это время по ним с правого фланга вдруг ударило шрапнелью. Это было совершенно неожиданно, а главное — необъяснимо. В первое мгновение всем даже показалось, что батареи не успели перенести огонь вперед и случайно бьют по своим. Из дыма рвущихся снарядов раздался крик отчаяния. Сигнальные ракеты полетели вверх. Но огонь не прекращался. С каждой минутой он становился сильнее. Цепи, лежавшие на открытом месте без прикрытия, пришли в смятение. Снаряды летели неизвестно откуда. Они ложились точно, за один раз уничтожая целые взводы. Пехота побежала и смешалась с резервами. Почти сейчас же к ним присоединились батареи, менявшие в это время позиции. Беспорядочное скопление людей, лошадей, зарядных ящиков, пушек и санитарных двуколок, окутанных черным дымом взрывов, представляло ужасное зрелище. Никто ничего не понимал. Прапорщики бегали среди солдат, размахивая револьверами. Началась паника, которую не скоро удалось остановить. Тем временем немцы подтянули резервы и ударили в контратаку. Бойня продолжалась пять суток без передышки. 16 июля все было кончено. Русские и немцы, обессиленные, стояли друг против друга на исходных позициях. Впоследствии выяснилось, что произошло. В то время когда русская

пехота пошла в наступление и заняла три линии немецких окопов, рядом румынская дивизия задержалась и тем самым обнажила правый фланг русских. Этим воспользовалась неприятельская артиллерия и сбоку, почти сзади, ударила по русским. Высшее же командование не учло этого, растерялось и не приняло никаких мер. Неслыханными потерями заплатили солдаты за глупость генералов.

С начала войны не было в батарее Семена столько раненых и убитых. Два орудия и четыре зарядных ящика разнесло в щепки. Восемь батарейцев остались лежать неподвижно, как куклы, в черных шароварах и хороших сапогах, припав восковыми щеками к черствой румынской земле. Двенадцать человек, наскоро перевязанных розовыми индивидуальными бинтами, увезли санитарные двуколки. О пехоте печего и говорить. Ее потери были страшны. В иных батальонах уцелело всего несколько человек.

Требовались пополнения. Они приходили туго. Маршевые роты разбегались по дороге на фронт. Части пополнялись без всякого плана — кем попало. Главным образом это были возвратившиеся из госпиталей раненые и молодежь последнего призыва. Они приносили с собой грозные требования тыла. В частях объявилось множество большевиков.

Личный состав батареи резко изменился. Она имела совсем не тот вид, что месяц назад. Офицерам больше не доверяли. Их ненавидели. Ненавидели всех, желавших продолжать войну.

Из госпиталя в батарею неожиданно вернулся раненный в шестнадцатом году вольноопределяющийся, из студентов, Самсонов, любимец солдат. Он вернулся с обритой головой, худой и возмужавший, слегка опираясь на палочку. Его юношески голубые глаза дерзко улыбались. Он небрежно явился к фельдфебелю и тотчас отправился в палатку команды телефонистов-наблюдателей, по спискам которой числился младшим фейерверкером.

Всю ночь в палатке горела большая керосиновая лампа, та самая, которую хозяйственные телефонисты раздобыли еще в конце пятнадцатого года в залитых окопах второго гвардейского корпуса. Слышались смех, говор и дрымбанье балалайки. Никто во всей бригаде не мог соперничать с вольноопределяющимся Самсоновым в игре на этом инструменте. Раза четыре кипятили на костре и

заваривали чай в знаменитом ведерном чайнике телефо-
нистов, добытом все в тех же окопах гвардейского корпуса
под Сморгонью. Вся батарея побывала в гостях у вольно-
определяющегося, всем хотелось послушать тыловые ново-
сти. И было чего послушать. Где только не побывал Сам-
сонов за это время: и в Москве, и в Петрограде, и в
Одессе.

На другой день вся батарея только и говорила что о
большевиках и о Ленине. Последними словами ругали
Керенского. По рукам ходила партийная газетка «Сол-
дат».

Ткаченко вызвал к себе вольноопределяющегося, за-
ложил руку за пояс, отставил ногу и долго молчал, про-
нзительно всматриваясь в его юное лицо своими красивы-
ми карими, почти черными глазами. Вдруг он налился
кровью и закричал:

— Вы здесь кто такой, чтоб агитировать на ба-
тарее?

— А вы кто такой?

Ткаченко немножко подумал.

— Председатель батареинного комитета.

— Я вас не выбирал.

— На пятнадцать суток!

— Меня?

Самсонов стиснул зубы и сделался белый.

— У меня на руках мандат армейской военной орга-
низации большевиков.

Он вырвал из наружного кармана гимнастерки вчет-
веро сложенную бумагу и протянул прапорщику.

— Наденьте очки, если вы неграмотный.

Слово «очки» в применении к нему и студенческие
глаза вольноопределяющегося привели фельдфебеля в
ярость. Но он подавил ее.

— У нас на батарее пока, слава богу, большевики
еще не командуют, — сказал он и подмигнул столпившим-
ся вокруг солдатам: видали, мол, гуся? Но никто не улыб-
нулся.

На другой день батареинный комитет был переизбран.
Теперь его председателем стал Самсонов. В резолюции,
принятой большинством, говорилось: «Мы, собравшиеся
4 сентября солдаты второй батареи, заявляем, что будем
стоять: 1) за немедленное оглашение тайны договоров,
2) за немедленные переговоры о мире, 3) за немедлен-
ную передачу всех земель крестьянским комитетам,

4) за контроль над всем производством, 5) за немедленный созыв Советов. Мы, артиллеристы, хотя и не принадлежим к партии большевиков, но за все требования и лозунги будем умирать вместе с ними».

Хотя, правду сказать, Семену не хотелось умирать вместе с кем бы то ни было, а больше всего на свете хотелось жить и ехать домой, все-таки он с удовольствием поднял вверх руку, ставшую от солнца табачного цвета, и долго держал ее над фуражкой. Ткаченко смотрел на него с ненавистью. Командир бригады подал рапорт о болезни и уехал с фронта. За ним последовали многие офицеры.

Наступала осень четвертого года войны.

Глава XI ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ

В лесах металась гнилая листва. Черная ночь, полная дождя и ветра, висела над фронтами. По дорогам в размокших обмотках шли дезертиры. Прячась в шумящих кустах, солдаты подбирались к офицерским землянкам и подслушивали у окон.

Изредка ухал орудийный выстрел.

Однажды ночью в дивизии восстал полк. Солдаты не захотели идти из резерва в окопы. Командир корпуса приказал окружить их и расстрелять из пулеметов. Пулеметная команда отказалась.

В три часа ночи на батарею явился в плаще с капюшоном капитан — командир батареи. За ним шел старший офицер — поручик. Фельдфебель освещал им дорогу электрическим фонариком.

— Батарея, к бою! — скомандовал старший офицер.

Номера выскочили из землянок и, дрожа под дождем, бросились к орудиям. Капитан поднес к глазам карту в целлулоидной рамке. Фельдфебель осветил ее фонариком. Капитан справился с компасом, подумал и приказал два орудия второго взвода выкатить из блиндажа и повернуть назад. Припав глазом к папораме, он лично выбрал точку отмерки и установил угол.

— Шрапнелью, — спокойно сказал он и, отойдя, еще раз взглянул на карту: — Прицел семьдесят пять, трубка семьдесят. Третье и четвертое, огонь!

Не сообразив спросонья, что происходит, Семен привычным движением поставил прицел, выровнял горизонт, хлопнул затвором и уже готов был рвануть за шнур, как вдруг сзади раздался страшный крик:

— Стой! Не стреляй!

Семен замер со шнуром, зажатым в кулаке.

Размахивая над головой фонарем, из телефонного окопа, шинель внакидку, бежал вольноопределяющийся Самсонов. Он расшвырял оружейную прислугу, — откуда только взялась сила, — и, подойдя вплотную к командиру, взял его за горло.

— А вы сказали товарищам солдатам, в кого им приказано стрелять? Сказали?

В тот же миг Ткаченко развернулся и ударил Самсонова кулаком по лицу. Вольноопределяющийся упал.

— Огонь! — закричал капитан.

Наводчики медлили. Тогда капитан шагнул к Семену, сказал «виноват» и вынул из его оцепеневшей руки шнур.

— Поручик, потрудитесь стать к четвертому орудию наводчиком. Огонь! — крикнул капитан — и тут же свалился с простреленной головой.

Вторая пуля уложила наповал поручика. Кто стрелял — осталось неизвестным. А уже на батарею, с развернутым красным флагом на палке и винтовками наперевес, шла депутация от восставшего полка.

Телефонисты держали Ткаченко за руки. Другие срывали с него револьвер и шапку. Он был тут же арестован. Самсонов встал, шатаясь, с земли, выплюнул кровь и приказал взять фельдфебеля под стражу. Его отвели в пустой блиндаж и поставили часового, с тем чтобы утром отправить Ткаченко в штаб восставшего полка. А в то время солдаты шутить не любили.

Перед рассветом на пост к арестованному заступил Семен. Взяв обнаженный бебут к плечу, Семен несколько раз прошелся туда и назад вдоль блиндажа.

В крошечном окошечке, из-под земли, виднелся свет. Семен наклонился и заглянул туда. Ему хотелось знать, что делает Ткаченко в эти последние часы своей жизни.

Отец Софьи сидел без пояса на нарах, положив руки и голову на маленький дощатый столик, вбитый в землю. Фуражка с офицерской кокардой лежала рядом. Керосиновая коптилка, висевшая на столбе, освещала черную с сединой голову и вишнево-красные уши. Лица не было

видно. Виднелся только краешек черного уса с искрами седины.

Семен сам себе покачал головой и опять принялся ходить. Минут через тридцать он еще раз заглянул в блиндаж. Ткаченко сидел все в том же положении. Семену показалось, что подпрапорщик плачет. Ему стало его жалко. Семен отошел от окошка, раздумывая, не зайти ли к арестованному и не дать ли ему табачку на закурку.

Начало развидняться. На черном небе слабо проступала водянистая туча.

Вдруг из блиндажа постучали в окошко. Глухой голос фельдфебеля требовал, чтобы его вывели оправиться. Семен немного подумал, потом спустился по земляным ступенькам вниз, отпер дверь и, сказав: «Только без всяких глупостей», пропустил фельдфебеля вперед.

В предутреннем свете фельдфебель узнал Семена. Они молча отошли на несколько шагов в сторону, за кусты.

— Ну, раз-раз, и готово,— сказал Семен.

Фельдфебель стоял, опустив голову. Семен увидел его лицо. Это было жалкое лицо уже немолодого человека, только что плакавшего. Слезы еще висели на опустившихся усах.

— Слушай, Семен,— через силу сказал Ткаченко,— я тебя знаю, и ты меня добре знаешь. И хоть я перед тобой и перед людьми, может показаться, сильно виноватый, но то не моя вина, а вина всей нашей воинской жизни. Ты еще сосал мамкину цицьку, а я уже проходил учебную команду. Отпусти меня с батареи. Тебе ничего через это не будет, а мне...— Он всхлипнул.— Как-никак с одного села. Возьми это одно. И другое. Говорю, как перед истинным богом: вернешься домой целый — посылай сватов.

Он снял фуражку и длинным движением вытер глаза рукавом шинели, из-под которого потекли слезы.

Душа у Семена перевернулась. Он боязливо посмотрел по сторонам. Батарея спала.

— Слышь...— сказал он шепотом и решительно махнул рукой,— бежи. Я не видел.

Ткаченко осторожно вошел в кусты и в ту же минуту пропал из глаз.

Когда наутро за Ткаченко пришли из штаба полка, Семен просто сказал:

— А его уже в помине нет. Пошел до ветру и доси не возвращался.

— И пускай, ну его к чертям!— неожиданно воскликнул депутат полкового комитета, счищавший с обмоток щенкой слой жидкой грязи.— Еще руки марать об всякую шкуру! А что, товарищи батареицы, нет ли у кого табачку на одну закурку?

Семен с охотой достал из кармана шаровар жестяную коробочку, но в руки ее полковому депутату не дал, так как хорошо знал пехотные привычки, а открыл сам и положил в протянутую ладонь с черными линиями ровно одну щепотку.

При этом он вздохнул и сказал:

— С одного села. Как-никак. А па бумажку разживитесь у кого-нибудь другого.

Глава XII КОНЕЦ ВОЙНЫ

Двадцать пятого октября пришел копец окопной муке солдата. Вся власть перешла Советам.

«Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире».

Эти слова, сказанные Лениным на Втором Всероссийском съезде Советов, пронесли по фронтам.

Теперь уже никто не сомневался насчет мира. Не сомневался в этом и Семен.

Однако, пока шли мирные переговоры с немцами, мивуло еще три месяца. Правда, многие солдаты с оружием в руках уходили домой, не дожидаясь приказа. Остановить их было невозможно. Они шли отнимать у помещиков землю.

Части редели. Фронт еле держался. Но совесть не позволяла Семену бросить родное орудие без хозяина. Не подобало бомбардир-наводчику, старому солдату и георгиевскому кавалеру, уходить из батареи, не имея на руках увольнительной бумаги за подписью командира с приложением казенной печати.

Наконец, 12 февраля верховный главнокомандующий подписал приказ о демобилизации.

В это время бригада стояла в глубоком резерве под

Каменец-Подольском. Штаб батареи помещался в пустой конюшине сгоревшей помещичьей усадьбы. Дверь конюшни была отодвинута. За грубо сколоченным сосновым ящиком батарейной канцелярии, на походном офицерском сундучке, обшитом брезентом, сидел осунувшийся, но чисто выбритый вольноопределяющийся Самсонов — только что выбранный солдатами командир батареи.

Батарейный писарь стоял возле него на коленях и рылся в папках. На ящике, заменявшем стол, были разложены списки, готовые удостоверения, печати, пачки керенок в открытой несгораемой шкатулке.

Самсонов, в папахе без кокарды, в шведской кожаной куртке без погон, но в полном вооружении, сидел, вытянув далеко больную ногу.

Ветер вносил со двора сухие снежинки. Они летали, не тая, в темноватом воздухе конюшни.

Один за другим входили батарейцы, одетые по-походному, с вещевыми мешками и ранцами. С некоторой неловкостью останавливались они возле ящика и получали документы и деньги.

— Ну, Котко, надумали вы что-нибудь? — спросил Самсонов, когда Семен в свою очередь подошел к нему.

Семен замялся.

— Ну? Больше жизни!

— Ничего не выходит, товарищ батарейный командир, — со вздохом сказал Семен, — домой надо. Сеять.

— Да? Ну что ж. Ничего не попишешь. Жаль. Хороший наводчик. А может, еще переменишь? Вон, смотри — Ковалев остается, Попиенко остается, Андросов остается. Человек двадцать остается. Жалованье пятьдесят рублей в месяц. Все-таки как-никак Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

— Обратно воевать?

— Может случиться.

— С кем же это, когда скрозь со всеми замирились?

— Эх, друг ты мой ситный! — со вздохом сказал Самсонов и задумался, облокотившись щекой на кулак. — Ну, да ладно. Вольному воля. Расписывайся в получении и жарь сеять.

Семен получил бумагу и деньги — демобилизационные, за Георгиевский крест, приварочные и жалованье, всего рублей больше сорока: две желтые керенки да несколько почтовых марок, ходивших в те времена вместо мелочи.

Он крепко заховал все во внутренний, специально для этого случая пришитый карман шаровар, вытянулся, отдал командиру батареи честь и, повернувшись через левое плечо, вышел из конюшни.

Во дворе стояло шесть пушек с передками. Возле них с обнаженным бебутом ходил незнакомый часовой с красной лентой поперек папахи. Семен узнал свое орудие. Он узнал бы его среди тысячи других по множеству отметок, знакомых ему, как матери знакомы все родинки, пятнышки и кровинки на теле своего ребенка. Сердце сжалось у Семена.

— Хорошая была орудия, — строго нахмурившись, сказал он незнакомому часовому. — Произведено из нее три тысячи восемьсот двадцать девять боевых выстрелов. Всего-навсего.

И, не дожидаясь ответа, решительно пошел со двора, подкидывая спиной ранец.

Он шел и про себя пел известную фронтовую песню:

Шумел, горел лес Августовский,
То было дело в феврале.
Мы шли из Пруссии Восточной,
За нами немец по пятам.

Глава XIII

У ПЛЕТНЯ

Уже давно перестали лаять собаки. По селу пропели петухи. А Семен и Софья все никак не могли расстаться.

Добрых два часа назад поцеловались они на прощанье, и Софья вошла к себе в палисад, заложив за собой калитку дрючком. Да так и осталась возле плетня, как приклеенная.

— А батька что? — в десятый раз шепотом спрашивал Семен, норовя поверх плетня прикрыть ее плечо краем шинельки.

— Батька пришел с фронта в середине октября, — в десятый раз отвечала она шепотом.

— Злой?

— Хуже собаки.

— За меня не вспоминал?

— Ни.

— А может, вспоминал, только у тебя из головы выпало?

— Ей-богу, ни. Ну и с тем до свиданьчка. А то у меня уже ноги таки совсем замерзли. Побежу в хату,

— Подожди. А старый знает, что я тут?

— Его дома нема. Вчера в Балту на базар поехал. Ну, я побежу. А то, бачь, у людей из труб дым начинает идти.

— Та постой, ще успеешь...

Семену сильно хотелось рассказать девушке все, что произошло у него с ее баткой на позициях. Но он понимал: говорить об этом не следует. Мало ли какие дела могут быть между собой у двух человек с одной батареей. Кого это касается? С другой стороны, ему не терпелось поскорее узнать намерения Ткаченки: не думает ли он «сыграть назад» — отказаться от своего нерушимого солдатского слова. От такой шкуры всего можно ожидать.

Вдруг Софья схватила его руку и крепко сжала.

— Что, мое серденько? — нежно спросил он, заглядывая ей в глаза.

— Шш... — чуть внятно шепнула она, прислушиваясь. — Шш... Ничего не слышишь?

Семен повернул голову. В предутренней тишине раздавался звук едущей подводы. Звук этот слышался уже давно. Сначала он был очень далек и слаб — еле слышное однообразное брнчанье по твердой степной дороге. Теперь же он раздавался совсем близко. Ухо явственно различало шарканье копыт, подпрыгивающий стук колес и болтанье ведра.

Подвода уже ехала по улице, приближаясь к хате.

— Папа вертается с базара, побей меня бог, — сердито сказала Софья. — Доигралися, ну тебя, на самом деле, к черту! Бежи до дому, — и, в последний раз обхватив шею Семена, бросилась в хату.

Семен отошел на несколько шагов, притаился у плетня. Подвода остановилась. Раздался знакомый голос, насмешливый и властный:

— Эй, друзья! Жинка! Кто там есть в хате, отчиняйте ворота!

В офицерской папахе из серых смушек и брезентовом дождевике с капюшоном поверх тулупа, делавшего его чересчур толстым, Ткаченко, с кнутом в руках, возвышался над бричкой. Рядом с ним на мешках сидел, закутавшись в рваный козух, незнакомый Семену худой крестьянин с давно не стриженной узкой головой, насколько было заметно при слабом свете — не старый.

— Приехали,— сказал Ткаченко и тронул спутника за плечо.

— Я не сплю,— ответил тот, не шевелясь.

Бричка въехала в ворота, открытые босой заспанной бабой в старой спиднице.

«Кто ж бы это мог быть?» — размышлял Семен, возвращаясь домой.

Подходя к своей хате, он заметил две фигуры. Одна стояла по ту сторону плетня, другая — по эту.

— Ну, с тем и до свиданьчика,— услышал Семен быстрый и рассудительный голос Фроськи,— а то у меня уже ноги замерзли. Побегу в хату— пора печку топить.

— Та подожди одну минутку.

— За одну минутку украл черт Аниютку. Спокойной вам ночи, приятного сна.

— Та, Фросичка!..

— Кому Фросичка, а кому Евфросинья Федоровна. Еще один раз до свиданьчика. А то увидит наш Семен — руки-ноги переломает.

— Кому?

— Тебе.

— Мене? Ге! Еще не родился на свете тот человек!

— Вот тогда побачишь. Как споймает да как перетянет батарейским поясом с медною бляхой...

— Что ты меня пугаешь солдатом? Я сам свободно мог на позиции поехать, только до моего года очередь так-таки и не дошла.

— А ну, покажись, кто тут солдата не боится? — страшным голосом сказал Семен, появляясь рядом.

Долговязая фигура дернулась, будто ее тронули сзади шилом. Хлопец отскочил от плетня и кинулся по улице, пригнув голову и размахивая длинными руками, чтобы не поскользнуться.

Семен, не сходя с места, грозно потопал ему вдогонку сапогами. Фроська помирала со смеху, припав головой к глечичку, сидящему на дрючке плетня.

— Это какой же? — строго спросил Семен.

— А Ивасенковых Микола.

— Тот, который до войны ходил подпаском за клембовскими коровами?

— Эге.

— Тю! Ему ж тогда, дай боже, чтоб тринадцать лет было! Ну что ты скажешь: пока мы там четыре года тру-

били, тут уже все байстрюки женихами заделались. Давно с ним гуляешь, Фроська?

— Сегодня первый день, — застенчиво сказала девочка. — Еще года два-три погуляю, а там посмотрю: может, замуж пойду, — прибавила она, подумав.

— Кому ты сдалась, рыжая!

— Я не рыжая.

— А какая же ты?

— А каштановая.

— А, чтоб тебя! Много ты видела тех каштанов!

— А вот видела. Один матрос с города Одессы на побывку приезжал до Ременюков — он и доси тут коло Любки крутится — с посыльного судна «Алмаз», так он самых тех каштанов для дивчат привез пуда, может, полтора-два.

Семен сел на призбу и скрутил папиросу.

— Слышь, Фрося, седай, посидим. Воротился только что с Балты старый Ткаченко. И с ним на бричке сидел еще один. Кто такой, не знаешь?

— В порвatom таком кожухе?

— Да.

— Это они себе недавно работника взяли.

— Видать, не из наших?

— Ни. Его старый Ткаченко гдесь по дороге с фрон-та подхватил. Он чи с Польши, чи шо. Вроде беженец. Тоже солдат. Его губернию немцы заняли. Ему некуда было увольниться.

— Наделала тая война делов! — вздохнул Семен.

Брат с сестрой еще немножко посидели и, зевая, пошли в хату. Уже было утро. Так и не пришлось ложиться.

— Думаю я, — сказал за обедом Семен, играя скулами и сосредоточенно морща лоб, — думаю я посылать сватов до Ткаченко по Софью. Как будет ваш совет, мамаша?

Мать, не торопясь, вытерла алюминиевую ложку хлебом, — с тех пор как воротился Семен, в доме пошли в ход алюминиевые ложки, — не торопясь, повернула длинное костлявое лицо к сыну.

— Скажу только: слава богу, и больше ничего, — быстро сказала она, крестясь. — А Ткаченки наших сватов примут?

— Это мы побачим, — многозначительно ответил сын, поднимая брови. — Бывает, что и примут.

И в доме Котко поднялась возня.

Узнав от людей стороной, что Котко вернулся на село с войны целый и невредимый, Ткаченко не сказал ничего. Как будто до него это вовсе и не касалось. Только на сильном его лице яснее обозначились волоски жилок, тонкие, как волокна в промокательной бумаге.

За последнее время Ткаченко научился молчать. Весь день он занимался хозяйством: сам ходил в погреб, смотрел, по-фельдфебельски отставив ногу, как работник чистил и «напувал» лошадей, задавал им по артиллерийской норме ячменя, обмеривал лес для нового сарайчика, — словом, всячески старался по дому, как бы торопясь нагнать упущенное за время военной службы. Все это — молча, с неторопливым упорством и точностью сверхсрочного солдата.

И только вечером, когда жена поставила перед ним миску вареников с творогом, эмалированную кружку сметаны и отдельный прибор, — Ткаченко поставил свой дом почти на офицерскую ногу, — а сама, как обычно, пригюнилась возле двери, он не выдержал.

— Что это за такое, я не понимаю, — сказал он, сильно пожимая плечами, — другим людям на позициях сразу голову отрывает снарядом, а другие всю войну до одного дня сидят на батарее и только над этим насмеваются. Какая-то глупость. — Ткаченко покосился на жену. — Как там дело: выкинула Сонька из головы или еще мечтает?

Жена шепоткой вытерла глаза.

— А кто их теперь знает, Никанор Васильевич! Такое время, что все дивчата прямо-таки посказались.

— Хивря! — изо всех сил гаркнул Ткаченко и смахнул со стола кулаком кружку.

Тем часом Семен искал сватов, так называемых «старост». Дело это было далеко не простое. Оно требовало ума. А то на самом деле: пригласишь старост, не подумав, кое-каких, а норовистый фельдфебель, может, с ними и разговаривать не захочет, в хату не пустит. Нужно выбирать людей почтенных, для Ткаченки подходящих.

Вообще полагалось в старосты брать родственников или друзей жениха. Но родня Семена была незавидная.

Друзей, правда, было множество. Но все они — те, ко-

печно, которые вернулись с фронта живые, — для такого дела не годились: как ушли на войну рядовыми, так рядовыми и пришли назад; хоть бы для смеха кто-нибудь заслужил ефрейторские лычки.

А Семену при его сложных обстоятельствах требовались такие старосты, чтобы Ткаченке некуда было податься.

Недели две, не меньше, ломал себе голову Семен, не зная, кого выбрать. Наконец, он решил кланяться, во-первых, тому самому матросу Цареву, которого видел на вечерке и с которым уже успел добре подружиться, и, во-вторых, председателю сельского Совета большевику Трофиму Ивановичу Ременюку, но опять же не тому Ременюку, чей баштан около баштана Ивасенков, и не тому Ременюку, у кого двух сынов убило в пехоте (вообще, надо сказать, половина села были Ременюки), а тому Ременюку, который в семнадцатом году вернулся с бессрочной каторги, где он отбывал за убийство урядника.

Хотя матрос Царев в это время сам сватался и ходил совершенно очумелый, но, чтобы оказать другу одолжение, а также и для того, чтобы не пропустить случая погулять на хорошей свадьбе, быстро согласился.

Семен рассказал ему все, что у него произошло с Ткаченко.

— Ах, шкура! Ну что ты скажешь на эту шкуру! — воскликнул матрос почти с восхищением. — У нас в Черноморском флоте то же самое. Такие, знаешь, попадались гады, что одно — прикладом по голове, и в Черное море. Безусловно. Ну ничего, браток. Будет наша. Сделаем тебе зарученье.

Громадный человек без двух пальцев на правой руке, с вытекшим и давно уже зарубцевавшимся глазом, отчего ужасное лицо его казалось и вовсе незрячим, Трофим Иванович Ременюк в первый миг даже не совсем понял, чего от него хочет Семен.

В бывшей хате сельского старшины, с раскиданными по глиняному полу старорежимными делами в выгоревших на солнце папках и обрывками универсалов Центральной рады, с разломанной золотой рамой царского портрета, засунутой за еловый шкафчик, среди кожухов, солдатских шинелей и свиток, пришедших по делу и без дела, в махорочном дыму орудовал Трофим Иванович, возвышаясь над малюсеньким столиком присутствия. Здесь быстро, тут же, на месте, с суровым беспристра-

ствием революции, именем Украинской Советской Республики совершалась воля народа.

Печатка сельского Совета, закопченная на свечке и приложенная к восьмушке косо разлинованной и закорючками исписанной бумаги, сажей утверждала правду, сотни лет сгнившую деревне.

Трофим Ременюк уставился на Семена белым глазом. Толстая морщина поднялась по изуродованному лбу и волной прошла дальше под кожей наголо обритой, гелубой головы.

Семен повторил просьбу. Ременюк подумал и согласился, хотя при этом сказал:

— Смотрите пожалуйста! Понимает солдат, кого надо в старосты просить. Дурной-дурной, а хитрый.

Глава XV НЕПРОШЕННЫЕ ГОСТИ

Через несколько дней, под воскресенье, голова и матрос двинулись от хаты Котко на другой конец села — к Ткаченко. Они шли, не торопясь, посередине улицы. Бабы провожали их любопытными взглядами. Мужики молчаливо кланялись.

Ткаченко увидел их еще издали. Он сразу понял, что это сваты: в руках у них были полученные от жениха посохи, знак посольства, — свежеструганные батожки из белой акации. Кроме того, у матроса из-за пазухи выглядывал штоф, заткнутый кукурузным кочаном, а голова держал под мышкой круглый плетеный хлеб из пшеничной муки самого тонкого помола.

Ткаченко не успел хорошенько очухаться, как старосты стояли уже возле хаты, постукивая батогами: матрос в заломленной на затылок бескозырке и голова-циклоп в брезентовом пальто с клапаном и капюшоном, длины и ширины необъятной.

— А мы до вас, Никанор Васильевич, — сказал голова, поверх плетня подавая бывшему фельдфебелю бесплатную руку.

— До вас, товарищ Ткаченко, до вас — и ни до кого больше... — болтливо начал матрос, но голова остановил его взглядом.

Вообще, надо сказать, Ременюк оказался вдруг большим знатоком деревенских обычаев. Согласившись быть

свадебным старостой, он принялся за дело солидно, не пропуская ни одной мелочи. Он потребовал, чтобы жених вручил ему и матросу по посоху, чтобы мать Котко спекла хлеб и чтобы у матроса был штоф наилучшего сахарного самогона — все честь по чести, как полагается по старому обычаю, не ропяя достоинства жениха и оказывая уважение дому невесты.

Перед тем как тронуться в путь, Ремешок прочитал суетливому матросу длинное паставление, как надо себя вести и что говорить — опять-таки все по обычаю.

Мать Котко не нарадовалась на такого умелого свата. Шутка сказать: без малого двенадцать лет человек провел на страшной царской каторге, вид крестьянский потерял, а все обычаи помнит. Видно, не раз и не два в тайге, под высокими сибирскими звездами, снилось ему родное село, родная крестьянская жизнь.

— Прошу вашего одолжения, — сказал Ткаченко, подумав и примерившись к гостям соколиным взглядом.

С этими словами он собственноручно снял перекладную и отчинил ворота. Голова и матрос вошли через ворота, хотя свободно могли бы войти и в калитку. Но таков был обычай.

— Заходите в компаты.

Ткаченко не сказал: «в хату». Этим он давал понять непрошеным сватам, что они пришли в дом к человеку не простому, а привыкшему жить на богатую ногу.

И точно: домик Ткаченки не вполне можно было назвать хатой. Хотя был он и глиняный и мазаный и окошечки имел, обведенные синькой, как все прочие хаты села, но все же не было в нем того простодушия, какое придают украинской хате камышовая крыша, размалевавшая розочками призва и подкова, прибитая на счастье к порогу.

Крыша Ткаченкового домика была железная, голубого цвета; вместо призывы стояла длинная скамейка; над дверью имелся навес, подпертый шестью тонкими столбиками, как в волостной почтовой конторе.

Все это придавало жилищу Ткаченки вид хотя и богатый, но какой-то казенный.

Сваты мимолетно переглянулись. Подтолкнув друг друга локтями, они следом за хозяином вошли в хату.

Здесь также все было не так, как у других. Над раскладной походной кроватью, застланной новой попоной,

висела длинная артиллерийская шинель и фуражка с темным пятном на месте кокарды. Стоял канцелярский столик. Вокруг него три еловых стула — неуклюжее произведение деревенского столяра — с высокими спинками, решетчатыми, как лестница. У стены помещался городской комод с гипсовой вазой. Из нее торчало два султана ковыля, крашенного анилином: один — ядовито-розовый, а другой — зеленый до синевы. Над комодом на стене виднелась в узкой рамке под стеклом глянцеви́то-лиловая фотографическая группа учебной команды, где, если хорошенько поискать, можно было найти и самого молодого Ткаченка, сидевшего перед командиром в первом ряду на земле, скрестив по-турецки ноги в новых сапогах со шпорами. На окнах висели тюлевые занавески, но не было ни одного цветка. И было скучно.

— Извиняйте, — сказал Ткаченко. — Можно садиться на стулья.

Хозяин и сваты сели.

— Вполне как в городе, — заметил матрос, осторожно покосившись на Ременюка.

На этот раз голова, видимо, вполне одобрил политичное вступление матроса. По обычаю полагалось, прежде чем приступить к делу, потолковать о разных посторонних вещах.

— Что это вы, Никанор Васильевич, до нас в сельский Совет никогда не зайдете? — спросил Ременюк, кладя на столик хлеб и поглаживая его своей беспалой ладонью.

— Отчего ж, можно будет зайти, — ответил Ткаченко, проводя по усам тремя пальцами, сложенными как бы для крестного знамения, — только я не знаю, что я в том сельском Совете могу для себя иметь? Чужих лошадей мне не треба, потому что я, слава богу, пока что имею собственных. То же самое и без чужой земли я не страдаю.

— Они стоят на аграрной плацформе правых социалистов-революционеров, а то и обыкновенных кадетов, — пожав плечами, заметил матрос, обращаясь к голове. — Они не согласные с нашим лозунгом: забирай обратно награбленное. Как вы скажете, товарищ Ременюк?

— Я скажу, что среди местного крестьянства еще попадаются сильно-таки несознательные люди.

Пожелтели от ярости темные глаза Ткаченки. Каждый мускул стал отчетливо виден на его лице. Но и толь-

ко. Больше ничем не выдал себя бывший фельдфебель.

— А я скажу обратно,— проговорил он небрежно,— чересчур все стали сознательные.

Здесь разговор застрял. Хозяин и гости долго молчали. Наконец, помолчав столько, сколько допускало приличие, Ткаченко, не торопясь, повел речь о новом сарайчике, который собирался строить.

Но тут голова и матрос вдруг нетерпеливо застучали посохами. Этого мига больше всего боялся Ткаченко.

— Кланяется вам молодой князь,— сказал голова решительно.

— Известный вам товарищ Котко, Семен Федорович,— торопливо прибавил матрос,— человек вполне справный, здоровый, холостой, хоть сейчас может обкрутиться с кем угодно...

— Ты! — зловеще сказал матросу Ременюк. — Заткнись, ради бога. Поперед батьки не суйся в пекло! — и любезно продолжал, обращаясь к Ткаченко: — Кланяется вам молодой князь и просит спытать у вас, Никанор Васильевич, отдадите вы за него свою дочку, Софью Никаноровну?

— Ну, и то же самое,— пробурчал матрос. — А я что говорю?

— Привяжи свою балалайку... И мы, его старосты, так же точно кланяемся вам и просим уважить, чтоб нам не пришлось вертаться без зарученья обратно через все село, на смех людям.

Ременюк бил наверняка. Отказать таким сватам было не под силу хитрому Ткаченко. Ткаченко и сам понимал это. Однако он медлил, подперев кулаком подбородок.

— Знаете что, загадали вы мне задачу,— тянул он, жмурясь. — Не ожидал я такого дела.

Была б Софья моложе, он сумел бы отговориться ее годами. Но девушке исполнилось девятнадцать. Возраст для деревенской невесты критический. Почти старая дева.

— Дайте подумать.

— Чего там подумать! — недовольно сказал матрос, для которого всякие формальности и волокита были хуже черта. — На самом деле! Девушка согласная? Согласная. Семен согласный? Согласный. А что касается папы, то папа тоже согласный. Папа свое нерушимое слово да-

вал Семену еще на румынском фронте. Там у них один разговор был. Не молчите, папа, подтверждайте факты налицо или же начисто отрицайте.

— Я своего слова не вертаю. Как дочка, так и я,— сказал Ткаченко, не поднимая глаз.— Пускай она сама за себя скажет.— И с этими словами вышел.

Глава XVI ЗАРУЧЕНИЕ

Софья дожидалась решения своей судьбы во второй из двух комнат. Это была чистая, нежилая половина, со свежевывезанным глиняным полом, с ярко выбеленной печкой и припечкой, размалеванной цветами в горшках и птицами в коронах, как у павлинов. Вокруг бедной иконы киевского письма и по стенам висели на гвоздиках пучки и мешочки сухих, сильно пахучих трав и цветов: чернобрицев, чабреца, васильков, тмина, полыни. На печи была навалена грудка прошлогодних маковых головок. Тут же стояли две волнисто расписанные поливные миски: одна с горкой голубого мака, другая — палитая до краев темным медом, в котором плавали крылышки пчел.

И до того была не похожа эта горница на комнату, где помещался хозяин, до того была она милой и простодушной, так славно, так прохладно пахло в ней Украиной, что трудно было поверить, что находятся они рядом, в одной хате, и покрывает их одна крыша.

Софья, в козловых башмаках на резинках с торчащими ушками и в калошах «проводник», и ее мать, босяя, сидели на полу возле сундука с приданым, открытого впопыхах. (Едва только сваты вступили в дом, женщины бросились сюда, крестясь и роняя шпильки.)

Софья успела надеть новые башмаки, калоши и коленкорovou кофту. Мать не успела ни во что принарядиться.

Ткаченко вошел и запер за собой дверь.

— Ну? — сказал он.

— Пожалей свою дочку, Никанор Васильевич.

— С тобой не разговаривают,— прошептал он придушенно, чтобы в соседней комнате не услышали скандала, и пнул сапогом старуху.— Тебя спрашиваю, Сонька! Ну?

Софья проворно вскочила на ноги и прислонилась к припечке, вздернув вверх лицо — белое, в красных пятнах. Ее сухие, полопавшиеся губы дрожали.

— Я согласная! — крикнула она сорванным голосом и закрыла лицо рукой, как бы обороняясь от удара.

— Тшшш, — зашипел отец, — тшшш, дура... Убери с лица руку. Не моргай. Тшшш. Слышу, что ты согласная. А ты сварила своими мозгами, на что ты согласная? За кого собираешься идти? Какого мне зятя устраиваешь? Может быть, ты мечтаешь, что этот тарарам будет продолжаться в России еще десять лет? Так я тебе говорю — не мечтай. Позабрали клембовскую землю, поделили клембовский скот, клембовский дом стоит на горе пустой, с забитыми окнами, — и они себе радуются, песни играют. Советы депутатов сделали. Думают без хозяина обойтись. С одними каторжанами. Вряд ли. Я тебе говорю, через какой-нибудь, может быть, месяц все обратно станет — и что ты тогда будешь робить со своим лядащим Семеном, и с теми краденными клембовскими коровами, и с тою нахально посеянной клембовской землей? Под суд вместе со всеми хочешь попасть? На каторжные работы? Под расстрел? И меня через это на всю жизнь замарать?

Софья стояла перед отцом, неподвижно устремив на него выпуклые глаза.

Он смягчился, припав ее молчание за согласие.

— Слышь, — сказал он, — ты ему не верь, что он тебе поет. Я лучше его понимаю дело. Слава богу. Сюда скоро до нас немцы вступят, а за ними и государя императора недолго будет дожидаться. Верные люди говорили, с Балты, которые знают. Трошки подожди. — Он еще более понизил голос. — Если даст бог, то найдется тогда для тебя один человек...

Испуг мелькнул в ее глазах.

— Не треба мне от вас никакого другого человека, — скороговоркой сказала она и вдруг опять крикнула, с отчаянием и дерзостью: — Отчепитесь от меня, папа, бо я все равно ни за кого другого, кроме Семена, не пойду, и годи!

Он подошел к ней вплотную. Она уперлась ладонями в его грудь и изо всех сил оттолкнула.

— Скаженная!

— Сами вы скаженный! Последней совести человек

решился! Не трожьте меня, идите, вас там сваты дожидаются.

Он смотрел с изумлением на ее бешеное лицо с закушенными до крови губами. Но Софья не помнила себя. В беспамятстве она билась за свое счастье. Он никогда не предполагал, что она может быть такая. Он испугался.

— Тшшш, ну тебя к черту! Не делай мне тут в хате шкандал. Сполосни морду водой и зайдешь до нас.

Он вернулся к старостам, всем своим видом стараясь показать, что ничего особенного не произошло.

— Женские слезы, — сказал он, с иронией кивнув на дверь.

— Обыкновенное дело, — подтвердил матрос. — Одна соленая вода. Как у нас, в Черном море. Не больше.

Явилась Софья с матерью. В ушах у старухи болтались большие серебряные серьги, похожие на кружочки лука. На ногах скрипели новые чеботы, причинявшие страдание. Лицо Софьи было бесстрастно.

Женщины поклонились гостям.

— Кланяется вам молодой князь, — с легким раздражением сказал матрос, — известный вам человек Семен Федорович, под фамилией Котко. Какой будет ваш ответ? — и при этом посмотрел на Ременюка: — Так?

— Нехай так.

Ткаченко исподтишка посмотрел на дочь яростными глазами на усмехающемся лице. Он еще надеялся. Ей стоило только спеть:

Не ходи ко мне,
Не суши ты мене.
Коли я тоби не любя —
Обойди ты мене.

Это бы означало отказ.

Софья сделала угловатое движение плечом, поправляя неудобную кофту, и стала перед отцом и матерью на колени.

— Благословите меня за Семена.

— Сеанс окончен, — сказал матрос и поставил на стол штоф.

С той самой минуты, когда сваты, оставив Семена дома дожидаться своей судьбы, отправились к Ткаченкам, Фрося засуетилась и захлопотала неслыханно. У нее сразу же оказалась куча дел. Первым долгом приходилось подсматривать в окошки Ткаченковой хаты, следя за ходом событий. Вторым долгом следовало все новости тотчас передавать по селу. Наконец, третьим долгом надо было как можно скорее собрать дивчат — подружек невесты, — с тем чтобы в нужный миг они появились в хате Ткаченки.

Фрося носилась по селу, как скаженная, гукая громадными чеботами. Платок съехал с головы. Рыжая коса металась за худыми плечами. Козьи глаза стояли неподвижно на отчаянном лице, таком красном, точно его натерли кирпичом.

Со стороны можно было подумать, что это именно ее и сватают, — так она суетилась.

— Гей, Фроська, что там слышно? — кричали бабы из-за плетней. — Уже заручили?

— Ще ни! — отвечала она, с трудом переводя дух. — Ще только разговаривают. — И мчалась обратно к Ткаченковой хате подсматривать.

А через минуту опять бежала, размахивая длинными руками:

— Заручают! Заручают! Заручают, чтоб мне провалиться!

Едва только Софья навязала на рукава сватов рушники, вышитые красной бумагой, а мать приняла от Ременюка в дрожащие руки хлеб, — в комнату вошли, скрипя башмаками, подружки, умирающие от стеснения и любопытства. Они обступили невесту.

На столе появились холодец из телячьих ножек, квашеные зеленые перчики и четыре граненых стакана.

Матрос крикнул и, подмигнув дивчатам, среди которых находилась и его собственная невеста Любка, налил по первой.

— Ну, товарищи переплетчики...

Но голова бросил на него уничтожающий взгляд.

— Опять двадцать пять, — пробормотал матрос грустно,

Голова взял тремя целыми пальцами стаканчик, подумал и сказал:

— Нехай будут счастливые. С зарученьем вас. Прося покорно не отказать.

Он осторожно стукнул своим стаканчиком другие стаканчики, выпил и закусил перцем. Его примеру последовал матрос, но к закуске не притронулся, так как считал это ниже своего достоинства. Ткаченко выпил, ни на кого не глядя. А мать лишь приложила к стаканчику собранные в оборочку лиловые губы, закашлялась с непривычки, поперхнулась и залилась счастливыми слезами.

Матрос проворно взялся за штоф.

— Та подожди ты, ради бога,— плачущим голоеом сказал голова.— Человек с Черноморского флота, а доси пи об чем не имеет понятия. Как дитё. Поставь вино на свое место.

Тут подружки запели:

Что вы, старосты, сидите?
Чом до дому не идете?
Ще ж Соничка не ваша — наша,
Хоть заручена, да не звинчана,
Ще ж вона таки наша.

— Теперь можешь наливать, — сказал голова.— Понятно?

— Чего ж непонятно? Понятно.— И матрос мрачно налил.

Все выпили по второй.

Мать вынесла и подала голове другой хлеб в обмен на тот, который получила от него. Затем сваты церемонно раскланялись и пошли сообщить жениху, что предложение его принято.

Семен сидел с матерью в хате и ждал. Иногда он выходил во двор посмотреть вдоль улицы, не идут ли старосты.

Уже все село знало, что зарученье произошло. Лишь один Семен ничего не знал. Обычай не позволял ему выйти со двора и спросить людей.

Наконец показались сваты. Семен сразу распознал голову и матроса с полотенцами на рукавах, хотя до них еще было без малого полверсты. Вот когда пригодился Семену верный глаз наводчика!

— Можешь радоваться,— сказал Ременюк, входя во

двор и отдавая Семепу хлеб Ткаченко.— Сделали тебе зарученье. Старый черт покрутился-покрутился, ну только видит, что все равно пашла его коса на камень.

— Ты скажи спасибо, браток, мне,— прервал его матрос,— я этой сверхсрочной шкуре такой намек сделал, что под ним с одного разу земля загорелась.

Семен и его мать низко и важно поклонились сватам.

— И вот что,— сказал голова,— я и так из-за этих ваших глупостей целый день потерял. У меня в Совете дело стоит. Надо еще списки составлять на клембовские сельскохозяйственные машины. А то люди не смогут вовремя посеять. Так что будем это дело скорее кончать. Зарученье сделал, теперь тем же ходом сделаю змовины, а дальше крутите сами, только, за-ради бога, в церкву меня с собой не тащите, бо все равно не пойду.

Глава XVIII

ЗМОВИНЫ

Тем же вечером Семен в походной форме, с Георгиевским крестом и бебутом на поясе, но, конечно, без погон, в сопровождении старост, матери, Фроси и еще некоторых соседей, приглашенных в «бояре», вступил в дом Ткаченко.

— Ну что ж, Котко, здравствуй,— сказал бывший фельдфебель.

— Здравия желаю, Никанор Васильевич.

— Пришлось-таки нам с тобою еще раз побачиться.

— Так точно.

— Давно с батареей?

— Прошлого месяца пятнадцатого числа уволился по демобилизации.

— Очень приятно. Орудия и коней, звычайно, со всеми обозами так и покидали немцам?

— Коня и орудия остались на месте, только они уже теперь считаются Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

— Вот оно какое дело. Так, так. Значит, батарея целая. Кто же за командира?

— За командира наш вольноопределяющийся Самсонов.

Ткаченко чрезвычайно высоко поднял брови и, сделав детски невинные глаза, обернулся к гостям.

— И вы подумайте только,— восхищенно пропел он

тонким голосом, — вы подумайте только, господа, — чи, извиняйте, товарищи, — какая теперь в армии интересная служба пошла. Обыкновенный вольноопределяющийся целой батареей командует. Ну и ну! Довоевались. Когда так, ты бы себе, Котко, мог под команду взять не меньше как артиллерийскую бригаду. Очень свободно. Что ж вы, дорогие сваты и гости, стоите на ногах? Сядьте на стулья.

— Ваша хлеб-соль, наша шнапс, — сказал матрос, вытаскивая из-за пазухи новый штоф. — Итого один да один — два. Арифметика.

Тут как бы впервые соединились два хозяйства — жениха и невесты. И начался пир.

Пока голова и Ткаченко вяло стоваривались насчет приданого, пока матрос, еще не разыгравшись, осторожно прохаживался пальцами по басовым клапанам своей гармоники и бросал томные взгляды на Любку, пока обе матери, утирая новыми, еще не стиранными платками мокрые от слез носы, говорили друг другу в уголке ласковые слова, вспоминали молодость и считались родней, пока дивчата застенчиво пересмеивались, не решаясь запеть, — Семен сидел, задвинутый столом в угол, и старался не смотреть на Софью.

Она, как ей и полагалось по обычаю, одиноко стояла у порога. Маленькая слеза висела на ее слипшихся ресницах.

Но вот она одернула кофту, подошла к жениху, поклонилась ему и молча подала на тарелке платок.

— Правильно, — заметил голова.

Семен встал и в свою очередь молча поклонился Софье. Он взял с тарелки платок и заткнул за пояс рядом с бедутом.

Некоторое время жених и невеста не дыша стояли друг против друга. Наконец она обхватила его за шею и прижалась губами к солдатской щеке, жесткой, как доска. Он неловко поцеловал ее в соленный глаз. Потом, обнявшись, они долго целовали друг другу руки.

Тем временем дивчата, собравшись с духом, запели страстными голосами:

Рано, раненько!
Ой, на гори новый двор,
А в том дворе змовины,
Там брат сестру змовляе,
Да змовляючи пытае:

- Кто тебе, сестра, милейше?
— Милый мини батенько.
— Се твоя, сестра, неправда,
Рано, раненько!

Каждое слово этой старинной песни нежно отдавалось в сердце Семена.

Он обнял Софью за талию. Как бы желая снять его руку, она схватила его за пальцы, осторожно крутила их и еще теснее прижимала к своему боку.

Они сидели рядом за столом, прямые, неподвижные, охваченные блаженным стыдом.

Малиновое солнце низко прокатилось по окнам и спряталось за далеким степным курганом с ветряком, точно вырезанным из черной бумаги.

— А ну, кавалер, давай теперь свою саблю,— сказал голова, вытаскивая из ножен бегут Семена.

Услужливые руки дивчат тотчас прилепили к рукоятке принесенную матросом восковую свечу-тройчатку. По обычаю, ее следовало украсить васильками, калиною, колосьями. И хотя на дворе стоял месяц март, явились, как по волшебству, и васильки, и калина, и колосья — правда, сухие, но все же сохранившие свои сильные краски. Лето само вошло в хату.

Голова хозяйским глазом осмотрел дивчат.

— Требуется нам теперь добрая светилка.

На эту должность обыкновенно выбиралась девочка лет двенадцати — тринадцати и хорошенькая. Это было самое поэтическое лицо свадьбы — эмблема девичьей жизни.

— А ну, кто из вас подходящий?

Как только голова произнес это, Фрося вспыхнула до корней волос. Даже руки ее стали красные, как букрак. Сердце остановилось. Недаром же она целый день так хлопотала, старалась, била подметки и с плеч роняла платок.

Она уже давно тайно и страстно мечтала хоть разок в жизни побывать на свадьбе светилкой.

Девочка изо всех сил прикусила губу. Ее рыжие брови поднялись. Глаза вытаращились. Зеленые и неподвижные, они с отчаянием смотрели на Ременюка, просясь в самую душу: «Возьмите мене, дядечка! Возьмите мене, дядечка!»

Голова посмотрел на девочку ужасным глазом и взял ее тремя пальцами за пунцовую щеку.

— Ты кто здесь такая?

— Евфросинья, — одними губами прошептала она. — Котковых. Семена сестра.

— Годишься. Шаблю в руках удержишь? Держи. Будешь светилкой.

И вдруг такой страх напал на Фросю, что она кинулась в угол, закрыла лицо руками и затопала чеботами.

— Ой, ни! Ой, ни! — тряся косой, запищала она. — Ой, дядечка, ни! Я стесняюсь.

Но, впрочем, через минуту она уже, важная и от важности бледная, сидела рядом с головой, обеими руками держа перед собой кинжал с горящей свечой, украшенной колосьями, васильками и калиной.

Чистое пламя раскачивалось из стороны в сторону. Воск капал на подол нового Фросиноного платья. Ясно и выпукло освещенное лицо девочки, казалось, качается из стороны в сторону, как бы волшебным написанное в воздухе водяными красками.

А дивчата продолжали петь:

Ой, рано, раненько!
За городом дуб да береза.
А в городе червонная рожа.
Там Сонечка да рожу щипае.
Пришла до ей матюнка:
«Покинь, доню, да рожу щипаты,
Хочу тебе за Семена отдаты».
«Я Семена сама полюбыла,
Куда пошла, перстень покотыла,
А где стала — другой положила...»

Глава XIX НОВЫЙ РАБОТНИК

Несколько раз гости вставали с мест, собираясь уходить по домам, но каждый раз Ткаченко, злобно покосившись на свечку, говорил:

— Ничего. Сидите. Еще свечке много гореть.

По обычаю следовало сидеть до тех пор, пока не сторит бо́льшая ее часть. Матрос же, не любивший уходить из гостей рано, где-то раздобыл и принес свечку весом фунта на полтора, чем обеспечил танцы и ужин по крайности до двух часов ночи.

Давно выпили один штоф и другой. Посылали уже за третьим, за четвертым. Успели станцевать раза по

четыре польку-птичку, и престо польку, и польку-кокетку, и специальную солдатскую польку, вывезенную из Восточной Пруссии. Спели «И вихри в дебрях бушевали...», и «Позарастали стежки-дорожки...», и, конечно, «Шумел, горел лес Августовский...», «Реве тай стогне Днепр широкий...» и «Ой, на гори тай жнецы жнуть...».

Потом голова и матрос станцевали новый, еще не успевший дойти до деревни, очень модный танец «Яблочко», слова которого вызвали восторг, так как запоминались с одного раза, прямо-таки сами собой. Откуда ни возьмись появился скрипач и запиликал на своей скрипке. А свечка догорела едва до половины. Часу во втором голова, вышедший из хаты подышать свежим воздухом, заметил во дворе фигуру какого-то человека.

— Стой! Ты кто такой есть? — закричал он громким голосом, но тут же сообразил, что это новый работник Ткачки.— Тю, черт, обознался. Ты что тут один во дворе стоишь, а в хату не заходишь? Это при Советской власти строго запрещается. У нас теперь, при Советской власти, все люди одинаковые — нема ни хозяев, ни работников. Идем выпить и закусить. Видал у меня на рукаве полотенце? Как я здесь староста, должен мне подчиняться.

С этими словами голова сгреб его под мышку и, как тот ни отказывался, втащил в хату.

— Гуляй с нами, — сказал матрос и подал ему полный стакан. — Пей, не журись. Наш верх!

Гости с любопытством рассматривали нового работника. Хоть он жил на селе давно, люди видели его редко. Он никуда почти не выходил со двора. Если же и выходил, то ни с кем не заговаривал, а на вопросы отвечал односложно и бестолково.

Теперь он стоял посреди хаты со стаканом в белой, как у больного, руке и вопросительно смотрел на своего хозяина. На нем были разношенные солдатские валенки и козух, грубо сшитый из разных кусков овчины. Болезненное узкое лицо его заросло жидкими усами и бородой. Несколько месяцев не стриженные волосы лежали на сальном вороте козуха, как у дьячка. И никак нельзя было понять, сколько ему лет: двадцать пять, девятнадцать или пятьдесят. Словом, у него был вид неграмотного и опустившегося солдата нестроевой команды, выписавшегося недавно из околотка. Но вместе с

тем в самой глубине его темно-голубых, почти синих глаз светилось нечто до такой степени непонятное, что, глядя на него, каждый человек невольно загадывал себе: и в какой это губернии родятся такие люди?

Ткаченко с неудовольствием смотрел на своего работника. Видно, сильно не по душе пришлось бывшему фельдфебелю, что на змовинах его дочка присутствует его же собственный батрак. Однако он кивнул ему головой и сказал:

— Ничего. Надо выпить, раз люди просят.

— Будем здоровы, — сказал работник, непонятно усмехнулся и одним духом опрокинул в себя полный стакан.

Часа в два ночи свеча сгорела на три четверти.

— Эх, — сокрушенно вздохнул матрос, — не тую свечку принес! Совершенно не тую! Ну ничего. Буду сам змовляться — так на два пуда чистого воску расстараюсь. Верно, Любка?

Гости стали прощаться. Ткаченко их не задерживал. Ю селу пели петухи. Так окончились змовины.

Глава XX

СОН

И снится чудный сон Татьяне...

Пушкин

За змовинами полагались розгляды. Отец и мать невесты со всеми родственниками должны были отправиться в дом жениха посмотреть его житье-бытье. Здесь жених и невеста впервые вместе хозяйничали, принимая гостей. Эта часть сватовства являлась решительной. Жених и его хозяйство должны были предстать перед родителями невесты в наилучшем виде. От этого мог зависеть исход всего сватовства.

Как ни хотелось Семену поскорее сыграть свадьбу, как ни торопился он исполнить все формальности, все же пришлось ему на несколько дней отложить розгляды: надо было сделать новую крышу, съездить в Балту за подарками невесте и ее родичам.

Покончив с крышей, Семен заложил в подводу лошадей: свою клембовскую кобылу, успевшую к тому времени получить новое, очень интересное имя Машка, и

клембовского же мерина Гусака, которого одолжил ему для такого случая Микола Ивасенко — Фроськин кавалер; попрощался с Софьей и поехал в город.

Он поехал, а Софья рано легла спать, и ей приснился сон.

Снилось ей, что она проснулась в своей хате, там же, где и легла спать, проснулась и смотрит, а вокруг никого нет — ни отца, ни матери, ни Семена. И это недаром. Это все что-то значит. Решила она тогда пойти в парадную горницу, туда, где на печке мед и мак, — может быть, там кто-нибудь есть. Но тут же вспомнила, что комната, где она проснулась, и есть эта самая парадная горница, а другой у них в хате и сроду не бывало. Те же на стене пучки сухих пахучих трав, те же букетики калины, васильков, жита. Но всю мебель выносили. А на полу стоит восковая свеча и тихо горит. Наверное, только что зажгли — еще фитиль не почернел. Страх напал на Софью, и она поскорее вышла во двор. Может быть, во дворе кто-нибудь есть живой? Двор чисто подметен, даже еще видны свежие следы метелки, по вокруг — ни души. Может быть, хоть кони в конюшне есть? Но ни коней не видно, ни самой конюшни нигде нету. И стоит над пустым двором пыльный, скучный день, такой душный, как будто собирается пойти дождь. А посреди двора горит восковая свеча, и фитиль у нее уже почернел, и с одного боку капает воск. «Что ж это, на самом деле, такое делается?» — подумала Софья, жомая руки, и тотчас увидела работника. Он шел мимо нее, не глядя, но кивал ей головой. Софья сразу поняла, чего он хочет. Он звал ее пойти с ним в степь скорее, пока никого нема. Еще страшнее стало Софье. Стараясь, чтоб он не услышал, она выбежала босиком на улицу. Там было совершенно пусто. Не то что людей — ни одной курицы, ни одной собаки, ни воробья не было видно. И все село, из конца в конец, стояло, как на серой ладони, с церковью, погостом и сухими скирдами — пустое, до тошноты тихое. А работник уже подходил сзади, молча показывая в степь голубыми глазами.

— Чего ты за мной ходишь?

— А я за тобой не хожу, — ответил он по-турецки.

Вокруг стало еще серее и пустынное. Софья поняла, что надо бежать до Семена, пока не поздно. Но едва она пробежала полдороги, как стало ясно, что уже поздно. Все было потеряно. Тогда она решила спрятаться в кухне.

Тут дверь кузни растворилась, и навстречу ей вышел работник. Софья заметила, что посреди кузни на наковальне стоит свеча, сгоревшая уже наполовину. А работник показывает глазами в степь.

— Не ходи за мной, — заплакала Софья.

— А я за тобой не хожу.

И Софья увидела вдруг его черствую улыбку. Тут уже не страх — ужас охватил ее и потряс с головы до ног. Словно вихрь ударил ей в спину и немного приподнял от земли. Она изо всех сил побежала по воздуху, мелко-мелко семеня ногами и отталкиваясь иногда от подвернувшегося снизу холмика или камня. Так она, не помня себя, влетела в пустынную комнату с саблями на стене. Она со звоном захлопнула за собой дверь из разноцветных стекол, прижала ее плечом, два раза повернула ключ и тут же поняла, что попалась. Посреди комнаты пылала почти до конца истраченная свеча. Работник стоял в сером углу, сам серый, плохо видимый. Он торопливо снимал — нога об ногу — валенки.

— Пожалей меня! — закричала Софья, но не услышала своего голоса.

Он молчал. Теперь она поняла, что это не человек, а нечистая сила. Надо было сейчас же, не медля ни минуты, перекреститься. Но она вся оцепенела и стояла как каменная. Вдруг правая рука ее стала прозрачной, невесомой, как бы сделанной из света. Сама собой она поднялась и перекрестилась. И в тот же миг Софья увидела, что стоит в пустой церкви перед запертыми и задернутыми царскими воротами. А вокруг нее страшными, ангельскими голосами воет невидимый хор, поет панихиду. Все выше, все сильнее поднимаются голоса. А свечка уже совсем догорела. Один только язык пламени сам собой качается на каменных плитах. И вдруг царские ворота с силой распахнулись. Из алтаря воровато выглянул работник. Увидев, что в церкви, кроме них двоих, больше никого нет, он сбежал по ступенькам и, уже птаясь и не притворяясь, потянул ее к себе. Совсем близко она увидела ненавистные глаза. С неожиданной, последней яростью она схватила работника обеими руками за ремennую завязку на горле и порвала ее. Кожух распахнулся. Обнажилась шея. И на ней Софья увидела что-то: не то крест, не то ладанку.

— Ага, открылся! — закричала Софья злорадно.

А он вдруг стал бледный, красивый, печальный и стал бессильно никнуть, таять на глазах, расплываться, как ладан, пока совсем не пропал. И сон кончился.

Глава XXI В БАЛТЕ НА БАЗАРЕ

Через несколько дней воротился Семен и привез новость: немцы наступают на Украину.

Слухи об этом давно ходили в народе. Но толком никто ничего не знал. Теперь же из газеты многое стало известно достоверно. Центральная рада, на которую в конце января восставшие рабочие и крестьяне так нажали со всех сторон, что ее духа не осталось на Украине, в начале февраля очутилась в Житомире. Отсюда она обратилась к Германии с официальной просьбой о вооруженной помощи против большевиков, и германские войска вторглись в пределы Советской Украины.

Газетку, где это было напечатано, Семен позычил в Балте, на базаре, у одного солдата-барахольщика, суетливо продававшего отличную, почти новую палатку, четыре английские ручные гранаты и живую свинью, которая билась в мешке и кричала так страшно, как будто в нее воткнули нож.

Котко тут же прочитал сообщение и попросил газетку себе, чтобы повезти на село. Солдату ужасно жалко было отдавать зазря газетную бумагу. Он долго и мучительно морщил толстую переносицу, передвигая фуражку со лба на затылок и с уха на ухо, несколько раз вытирал рукавом мелкие росинки пота, выступившего на скулах, тронутых оспенными тлячками, но в конце концов согласился.

— Забирай! — закричал он на весь базар охрипшим голосом и так отчаянно ударил рукой по воздуху, точно отдавал с себя последнюю рубаху.— Пущай люди узнают, как буржуи продают их направо и налево немцам. Пущай узнают!..

Семен бережно сложил газетку и спрятал ее в шапку за подкладку.

Тут же, на базаре, узнал он и многое другое. Было доподлинно известно, что по договору, подписанному бывшей Киевской радой, Украина должна была отгустить Германии до конца апреля тридцать миллионов

пудов хлеба, а также разрешить свободный вывоз руды. Об этих условиях, правда, соглашались вести переговоры и большевики, но немцы предпочли заключить союз с изгнанной радой. А это значило, что немцы рассчитывали не только выкачать украинский хлеб, но главным образом задушить на Украине Советскую власть, признанную всем трудовым народом, вернуть старый режим.

— От це тоби и рада,— говорили, крутя головой, сельчане, приехавшие на базар по своим делам.— Она рада, только народ не радый,— и спешили назад до дому сообщить людям новости.

Очевидцы рассказывали, что севернее Волочиска идет наступление широким фронтом в направлении на восток и отчасти на юго-восток: Луцк, Ровно, Сарны, Коростень, Киев.

Одна мещанка, приехавшая на румынский фронт разыскивать пропавшего мужа и вместо этого в суматохе попавшая в Балку на базар, божилась, что собственными глазами видела немецкие эшелоны в Шепетовке и Казатине. Она даже показывала людям пропуск, написанный на пишущей машинке, по-видимому по-немецки, за печатью с чудачким немецким орлом и подписанный немецким комендантом.

— Впереди всех,— говорила она, проворно затыкая под платок растрепавшиеся волосы несгибающимся пальцем с серебряным кольцом,— впереди всех идут гайдамаки в смушковых шапках с красным верхом и желто-блукитными бантами на грудях, за теми гайдамаками идут какие только завгодно офицеры — тут тебе и русские с погонами и кокардами, тут тебе и польские — с чисто белым орлом на фуражке с розовым околышком, и мадьярские, и украинские, и галичанские. Ну злые все беспощадно! За теми офицерами идут военные-пленные галичане и украинцы. А уже за теми военными-пленными начинаются самые германцы. И чего только у ихних у эшелонах нема! Один полк — кавалерийский, один полк — королевский, один полк — чисто весь на велосипедах, один полк такой, что все германцы сидят в броневиках — ни одного человека на плацформе не видно... — Мещанка вдруг сморщила нос, по носу побежали слезы, заголосила: — Пропала наша Россия! Ратуйте, люди! Ратуйте! — и повалилась грудью на чей-то воз, заставленный мешками и кукурузой.

«Эге», — подумал Семен и, не теряя времени, повороти лошадей назад.

Тревога охватила его. Не жалея кнута, он лупил лошадей, в особенности бывшую клембовскую Машку, как бы вымещая на ее боках всю свою злобу.

— Вот халява! — крихтел он и, не надеясь больше на самый кнут, стучал, став на колени, по Машкиному хребту кнутовищем. — А еще помещицкая лошадь называется. Доси бежать, как полагается, не научилась. Ничего, я тебя научу!

Но едва Семен очутился в степи, как тревога малопомалу улеглась. Все вокруг было так обычно, так покойно.

Он ехал остаток дня и всю ночь по пустынной дороге, окруженный мартовской чернотой земли и с детства знакомыми звездами, по которым бежал широкий степной ветер. Перед рассветом ему стало холодно. Он лег в сено, натянул на голову по-солдатски кожух, угрелся и заснул в повозке, как в люльке. Когда же он, сырой от росы, проснулся, то увидел, что восходит солнце и он подъезжает к своему селу.

Телесным золотом светился крест на церкви. В неподвижном ставке отражался еще темный берег, несколько синих хат и журавель, уже ярко-розовый на самом конце. А вокруг раскинулись поля: огненно-зеленые полосы озимой и черные, как древесный уголь, клинья, приготовленные под яр. На горизонте, против самого солнца, двигался на высоких колесах длинный ящик. Приложив к глазам ладонь, Семен всмотрелся и узнал новенькую двенадцатирядную сеялку из экономии Клембовского. На ней сидел и правил лошадьми Фроськин жених Микола Ивасенко. Всюду виднелись фигуры людей, вышедших сеять. И надо всем этим невидимо бился в засиявшем небе ранний жаворонок.

«Пора и мне уже выходить сеять», — подумал Семен. Вчерашняя тревога показалась ему просто глупостью. Все же, распрягнув лошадей и покушав, он пошел в сельский Совет и показал Ременюку газетку. Голова прочитал ее несколько раз молча. В полдень, когда люди воротились с поля, он созвал сход. Коротко, но не торопясь, он рассказал, что произошло, и, рассказав, вдруг закричал во весь голос:

— Товарищи селяне! Слушайте все и понимайте. Сюда до нас идет немец, а вин шутковать не любит. Он хочет

взять в кабалу рабочих, забрать землю у крестьян, отнять волю у народа. Он хочет выкачать хлеба тридцать миллионов пудов и всевозможное продовольствие в Германию, хочет задуть Украину и Россию. Таковые цели германских и австрийских помещиков и капиталистов. Теперь не время разговаривать много. Надо робить. Товарищи селяне, мы должны теперь показать на деле, что мы не продажные шкуры, а будем до конца бороться с нашествием иноплеменников, — как и наши предки боролись, например сказать, со шведами, которые тоже один раз, слава богу, заскочили до нас на Украину и не знали, как потом оттуда вытянуть ноги. То же самое французский контрреволюционер Наполеон Бонапарт, нарвавшийся мордой об стол. Что это значит? Это значит — не давать им продовольствия, заморить их, к черту, голодом, жечь скирды хлеба, но не давать его германцам! Все, как один человек, встаньте на защиту революции и свободы.

Глава XXII РОЗГЛЯДЫ

А на другой день перед вечером в хату к Коткам пришли на розгляды всем семейством Ткаченки.

Хозяйство жениха было представлено в наилучшем виде. Новая крыша, толстая и аккуратная, связанная из отборного очерета, свежо золотилась на солнце. Хата была начисто выбелена, и земля вокруг нее хранила еще яркие подтеки известки. На дворе не виднелось ни одного птичьего пера, — так чисто он был выметен новым просяным веником. Стол, покрытый гвардейской палаткой, лучшей из всех палаток, принесенных Семеном с войны, мог удовлетворить самую богатую и требовательную родню.

На том столе по порядку были расставлены немецкие, австрийские и румынские алюминиевые фляжки, — обшитые серым сукном или вовсе не обшитые, — вычищенные песком, точно серебряные. За фляжками шли разных фасонов манерки со складными ручками и без ручек — тоже алюминиевые. Два медных стакана, сделанные из трехдюймовых русских гильз. И, наконец, баварские офицерские судки, состоящие из четырех жестяных тарелок, складного ножа, ложки и вилки и складного же стаканчика в кожаном футляре.

Главную же красоту и гордость стола составляла дюжина алюминиевых ложек, собственноручно отлитых Семеном из неприятельских дистанционных трубок и отделанных с терпением и вкусом. Это не были копии круглых деревянных ложек. Это были настоящие продолговатые городские ложки, отлитые по форме офицерской столовой ложки, найденной Семеном все в тех же знаменитых брошенных окопах второго гвардейского корпуса под Сморгонью.

Но только та офицерская ложка была куда беднее. Она была гладкая. Ложки же Семена были богато украшены веточками и каемками, выцарапанными шилом. И на одной из них, особенно чисто сделанной, виднелась надпись: «Софія».

Кругом по всей хате — и в жилой ее половине, и в парадной — лежали разложенные напоказ: шанцевый инструмент, почти новая попона, летние и зимние гимнастерки, немецкие дождевики и пыльники, палатки, английские башмаки, шаровары, бинокль Цейса, кожа на подметки, бязевые рубахи, ватные кацавейки, пачка румынского тютюна, кожаная австрийская амуниция и многое другое, поместившееся в ранец и вещевой мешок, — словом, самые разнообразные трофеи, подхваченные хозяйственным Семеном на полях сражения.

Софья, которая, по обычаю, впервые в этот день хозяйничала в доме своего будущего мужа и принимала гостей, не могла отвести глаз от всего этого богатства. Со скрытой гордостью она кланялась пирующим и ставила на стол миски, говоря изредка:

— Кушайте, мамо, ложкой, не обращайтесь внимания. Или:

— Наливай себе, Фросичка, в люминевый стаканчик.

Семен же, натужив скулы и тесно, изо всех сил сдвинув клочковатые брови, что, по его мнению, придавало человеку вид справного, самостоятельного хозяина, с небрежной строгостью бывалого мужа замечал:

— Что ж ты стоишь, Софья, я не понимаю, и руки сложила? Может быть, дорогие гости ще хотят исты? Там мама поставила у погреб холодец с телячьих ножек. Знаешь, где наш погреб? Принеси и поставь на стол, будь ласковая.

А сам изредка посматривал на старого Ткаченка, будущего своего тестя — какое на него производит впечатление их хозяйство?

Но бывший фельдфебель и бровью не вел, как будто ни на столе, ни в хате ничего не было достойного внимания. Лишь один раз, как только вошел в хату, покосился на вещи и сказал:

— Ну и покупил себе наш Котко предметов полный цейхгауз. На все грóши. Ничего не забыл. Дорого заплатил?

Лошадью, коровой и овцами будущий тесть и вовсе не поинтересовался. На просьбу матери Семена посмотреть, какая у них скотина, он ответил:

— А чего мне смотреть? Я ее добре знаю. С того времени, как она еще была клембовская,— и пасмурно усмехнулся.

Другой на месте Семена, может, и почувствовал бы в словах Ткаченки лютую, неистребимую ненависть, скрытую за этой короткой усмешкой. Но не до того было Семену, занятому своим счастьем.

После розгляд полагалось назначить день свадьбы. Тут уж дело целиком зависело от тестя. Все, а главным образом Семен и Софья, хотели сыграть свадьбу как можно скорее. Но шел великий пост. Надо было дожидаться красной горки. С этим и приступили к Ткаченке. Однако он решительно заявил, что раньше чем уберут с поля хлеб — о свадьбе нечего и говорить. А там как бог даст.

Всем стало ясно, что Ткаченко нарочно тянет. Но ничего нельзя было поделать. Это было его право.

Семен, впрочем, попытался нажать на тестя. Ткаченко посмотрел на Семена со странной лаской и сказал:

— Сперва ты меня, Котко, уважил. Потом я тебя. Теперь ты меня обратно уважь. Не так ли?

И Семен понял, что умолять упрямого фельдфебеля — мертвое дело. На этом покончили.

Семейство Котков проводило Ткаченка до палисада. Семен отчинил ворота, и Ткаченки, минуя калитку, вышли гуськом на улицу через ворота.

Не отошли еще Ткаченки от хаты Котко и на десять шагов, как по улице пробежали, задрав головы, два хлопчика и одна девочка, крича в восторге:

— Ой, бачьте, изроплан летит!

Высоко в чистом и нежном небе над селом летел аэроплан.

Село было глухое, дальнее, и появление аэроплана заинтересовало всех. Люди выбежали из хат и подняли головы вверх.

Аэроплан летел в глубь страны. Невысокое солнце отчетливо освещало его светлые ребристые крылья, немножко загнутые на концах назад. И на этих крыльях люди увидели два черных креста невиданной формы.

— Герман! — сразу сказал Семен и побежал в хату за биноклем.

Аэроплан скрылся из глаз, но скоро появился с другой стороны, опять пролетел над селом назад, блеснул и пропал окончательно.

Люди молча переглянулись.

Это был немецкий военный самолет.

В ту же ночь Ткаченко заложил коней и выехал со двора. Вернулся он лишь на другой день к вечеру.

Но прошел день, другой, третий. Все вокруг было тихо-спокойно... И село, занятое работой в поле, перестало думать о немцах. Перестал думать о немцах и Семен. За все четыре года войны он не видел немцев ни разу вблизи как следует и никак не мог себе представить, что они вдруг могут появиться тут, на селе. Это было невероятно. Нет. Наверное-таки, люди даром подняли панику. Как-нибудь, наверное, это минет.

Весна шла быстро и разворачивалась. Незадолго до пасхи, управившись с яровыми и засеяв небольшой баштан, Семен в первый раз пошел вечером к Софье в гости. Обычай давал ему это право. Тут уж фельдфебель ничего не мог поделать.

Они долго сидели, как брат и сестра, обнявшись, и шепотом разговаривали о своем будущем хозяйстве, о своих будущих детях. Он настаивал на хлопчике. Она застенчиво шептала жесткими губами в самое его ухо:

— Я боюсь.

— Чего ж ты, дурная, боишься?

— А вдруг как не выживу?

— Чего ж ты не выживешь?

— А кто его знает?..

— Не думай за это. Еще ничего не было, а ты уже так себя распускаешь.

— Слышь, Семен, а как мы будем его крестить? По дедушке Федору или как?

— Кого?

— Хлопчика.

— Якого?

— Та нашего ж.

Он тихонько засмеялся.

А Софьяна мать сидела тут же на полу, возле печки. Она прислушивалась к шепоту и уже чувствовала у себя на руках внука, завернутого в богатое одеяльце. Она уже слышала сонный скрип коляски и видела круглое личико ребенка с носиком, маленьким, как горошина. Слезы кусали ее морщинистый нос, но она боялась высморкаться, чтобы не спугнуть сосватанных.

Глава XIII

КАЗНЬ

Прошел великий пост. Пришла поздняя пасха. Южная весна кончилась роскошно и уже сторонилась, уступая лету пыльную дорогу, заросшую по краям будяком и бледно-розовыми граммофончиками повилики.

И вот однажды бабы, выдиравшие из зеленого жита перекати-поле и молочай, увидели на шляху трех человек в серых мундирах, с винтовками на ремне. Они шли в село.

Поравнявшись с бабами, окаменевшими от страха и любопытства, один из них — по солидности, видать, ихний старшой — приложил руку к бескозырочке блином, пошевелил задранными вверх усами тараканьего цвета, надул тугие щеки и низким басом буркнул нараспев, как из желудка:

— Мо-оэн!

— Бок помочь! — крикнул другой, приподнимая над головой свой блин с круглой кокардочкой, малюсенькой, как точка.

Бабы упали в жито и, накрыв головы спидницами, кинулись утикать.

Прежде чем чужие солдаты добрались до кузни, все село уже знало, что пришли немцы.

Из-за плетней и палисадов, с призб и порогов смотрели сельчане вдоль улицы скорее с любопытством, чем со страхом, на троих солдат с касками, привязанными сзади к толстым поясам.

Немцы шли посредине широкой деревенской улицы, поросшей кучерявой летней травкой, хоть и в узких, но вместе с тем мешковатых мундирах с расходящимся разрезом сзади и в толстых сапогах с двойным швом.

Судя по этим пыльным сапогам, порыжевшим от украинского солнца, и по ядовитым пятнам под мышками,

было ясно, что немцы уже прошли верст не менее пятнадцати.

Время от времени они останавливались возле какого-нибудь двора, и тогда старшой прикладывал толстую руку к бескозырке, надувал щеки и бурчал нараспев:

— Мо-оэн!

После этого вперед выступал другой, по-видимому считавшийся у немцев знатоком русского языка, и, приподняв над головой блин, бодро кричал:

— Бок помочь, казаин! Добри ден! Как есть здесь идти находить деревенски рада, пожалуйста?

Но хозяин или хозяйка — а то и хозяин и хозяйка вместе, да еще в придачу с парой голопузых хлопчиков, уцепившихся за мамкину юбку, — смотрели на гостей с молчаливым любопытством.

Постояв немного у палисада, немцы шли дальше.

Так они вежливо ходили по селу часа полтора, пока не попался старик Ивасенко, на двадцать верст кругом известный своим образованием и способностью говорить по любому поводу до тех пор, пока у собеседника не заболит голова.

— Так что же вы хотите? — начал старик Ивасенко и, предвидя интересный и длинный разговор, попрочнее установил локти на плетне. — Так что же вы хотите, господа? Вы хотите знать место и пребывание, где находится сельское присутствие, или — теперь одно и то же — сельская рада?

— Так есть, — радостно кивнул головой знаток русского языка.

— Ще подождите радоваться, — строго заметил старик Ивасенко, который совершенно не выносил, чтобы его перебивали, — ваше слово ще впереди. Так что же вы таки хотите? — назидательно продолжал он, наслаждаясь плавностью и красотой своего слога. — Вы хотите — или, то же самое, — вам треба явиться согласно воинского приказа до нашей сельской рады. Так я вам на это могу ответить только одно: того сельского присутствия, или, то же самое, той сельской называемой рады, у нас уже нема в помине с сего января месяца. Теперь, вы можете спросить, где ж оно, тое присутствие, или, то же самое, называемая рада? На это я вам отвечу так: ее нема. Ее уже нема. Ее уже нема давно, потому что она благополучно кончилась, или, то же самое, разогната сего месяца января. А ее место доси заступает присутствие, или,

то же самое, но только теперь не называемое сельская рада, а называемое теперь сельский Совет рабочих и крестьянских и солдатских депутатов. А рады уже нема в помине. В помине нема уже рады. Теперь. Вы хотите знать место и пребывание, где находится сельское присутствие, или, то же самое, теперь сельский Совет? То на это я вам могу ответить одно, но только не сразу, а трошки подумав...

Немцы слушали-слушали, а потом, не дослушав, поправили винтовки и пошли себе дальше, шаркая тяжелыми сапогами по вьюнкам.

Старик Ивасенко долго смотрел им вслед с ядовитой обидой в глазах и презрительно качал головой.

— И нехай. Когда они все такие умные — нехай шукуют сами. Нехай. Побачим.

Наконец, немцы кое-как добрались до сельсовета.

На камышовой крыше, рядом с аистом, стоявшим на одной ноге возле своего гнезда, они увидели похилившийся красный флажок, порядочно выгоревший на солнце.

По-видимому, это их очень удивило, так как старшой долго смотрел на флажок, потом надул щеки, высоко поднял брови и сказал желудочным басом:

— О!

Затем они вошли в хату.

В хате, как всегда, околачивалось много народа. Ременюк в своем неизменном брезентовом пальто с капюшоном, которое он не снимал ни зимой, ни летом, как ни в чем не бывало сидел за столиком и старательно вырисовывал водянистыми чернилами ведомость на распределение клембовского сельскохозяйственного инвентаря между незаможными дворами.

— Бок помочь! — хотя уже несколько утомленно, но все еще довольно бодро воскликнул знаток русского языка, снимая свой блин. — Добри ден.

С этими словами он строго обернулся лицом в угол и размашисто перекрестился слева направо на новенький московский цветной плакат, изображавший попа с лукошком яиц и стишками Демьяна Бедного:

Все люди братья —
Люблю с них брать я.

После этого старшой произнес свое утробное «мо-оэн» и положил на стол бумагу, вынутую из внутреннего кармана.

— Биттэ.

— Пожалуйста,— перевел лингвист.

Ременьок развернул добре-таки пропотевшую бумагу и прочел, не торопясь, вслух напечатанное на машинке по-русски требование начальника императорского и королевского соединенного отряда в трехдневный срок доставить на склад полевого интендантства 1200 пудов жита или пшеницы, 200 пудов свиного сала, 3750 пудов сена и 810 пудов овса. В случае невыполнения этого приказа виновные будут арестованы.

При общем молчании Ременьок сложил бумагу вчетверо, провел по сгибу ногтем, твердым, как ракушка, сунул ее себе под локоть и снова, наморщив лоб, принялся вырисовывать ведомость.

— Альзо? — после длительного молчания сказал старшой.

— Герр унтер-официр,— перевел знаток языка,— что есть по-русски — господин унтер-официр имеет знать от вас, господин, ответ для герр обер-лейтенант.

— Скажи ему, что безусловно,— ответил голова равнодушно, продолжая лепить свои закорючки.

Старшой одобрительно кивнул головой, но затем строго надулся, поднял вверх толстый указательный палец и отрывисто произнес желудочное слово:

— Абер!..

— Можешь не сомневаться,— сказал голова.

Немцы еще немного потоптались, суясь по углам. Как видно, искали напиток. Но воды не нашли. Затем переводчик опять перекрестился на попа с лукошком, сказал общительно:

— Добри ден. Спокойночи.— И, провожаемые молчаливыми взглядами, немцы вышли из Совета.

На обратном пути они зашли в один двор напиток. Пока старшой с наслаждением купал усы в ведре ледяной криничной воды, знаток русского языка успел перемолвиться словечком с хозяйкой, подававшей это ведро.

— Немножко кушать,— сказал он, делая красноречивые жесты.— По-русски то будет — собаки так есть голодни, как мы.

Хотя еще совсем недавно сельчане единогласно поднимали на митинге руки — ни в коем случае не давать немцам хлеба и гнать их чем попало вон с Украины, однако хозяйка по старой женской привычке пожалела солдатиков. Особенно пожалела она третьего из них — само-

го дохлого и маленького, с сухой морщинистой головкой черепахи и в круглых стальных очках, обмотанных ниткой.

Хозяйка сходила в хату и подала немцам на троих четверть буханки хлеба и порядочный шматок сала.

Ободренный удачей, знаток русского языка заходил по дороге из села еще в несколько дворов и там вступал в некие переговоры. Так что, когда немцы проходили мимо кузни, на штыке переводчика уже болтался довольно увесистый узелок, связанный из чистого носового платка с красной готической меткой.

Те же бабы, половшие жито, видели, как немцы, выйдя из села, присели под курганом и поснидали. А поснидавши, достали чудачкие фаянсовые, украшенные переводными картинками пипки с длинными чубуками и зелеными кисточками и сделали перекурку.

Потом они отправились дальше, причем старшой шел уже в расстегнутом мундире, под которым виднелась серая егерская рубаха с перламутровыми пуговичками, а также ладанка от насекомых. А дохлый, в очках, бабьим голосом спивал немецкие песни.

Одним словом, на селе немцы скорее понравились, чем не понравились. И о них забыли. Но ровно через четыре дня они появились снова и прямо направились в Совет. На этот раз Совет был заперт на замок, а на двери имелась прилепленная житным мякишем записка: «Кому меня треба, то я нахожусь старостой на змовинах матроса Царева у хате Ременюков за ставком. Председатель сельского Совета Ременюк».

Знаток языка читать по-русски отнюдь не умел, и немцы стояли перед запертой хатой в некотором затруднении.

Но тут, недалеко за ставком, им явственно слышались звуки скрипки, гармоники и бубна. Немцы посоветались и побрели по направлению музыки. Обогнув ставок, они сразу наткнулись на палисад, в котором происходили змовины матроса Царева с Любкой Ременюк.

Матрос пировал широко. Хата не вместила гостей. Столы поставили на дворе. Ременюк хотя и был занят выше горла — все же не мог отказать матросу. Голова сидел на видном месте с посохом и с полотенцем на рукаве и неторопливо вел змовины.

Старшой немец подошел ближе к столу, в упор выкатил на председателя глаза, светлые, как пули, страшно

надулся, двинул усами и гаркнул по-немецки так, что со стола свалилась ложка.

— Герр унтер-официр спрашивает, — объяснил переводчик, — где есть должные продукты?

— Якие продукты? — сказал голова.

Унтер-офицер достал из бокового кармана записную книжку, раскрыл ее и грозно постучал по страничке химическим карандашом с резинкой на конце.

— Айн таузенд цвайн хундерт, — сказал переводчик, — то по-русски будет одна и две сот тысяча пуд пченица и две сот пуд свинске сало и три и семь сот пятьдесят тисача пуд сено и восемь сот диесать пуд овес. Где есть эти?

— Та вы что, смеетесь над нами, чи що? — воскликнул матрос после некоторого общего молчания. Затем он налил из штофа полный стаканчик и подвинул унтер-офицеру. — Лучше на — выпей, чтоб дома не журились. Такого у вас в Германии нет и не будет.

— Найн! — сказал унтер-офицер и ребром ладони решительно, но вместе с тем осторожно, чтобы не разлить, отставил стаканчик, после чего произнес довольно длинную фразу и снял с плеча винтовку.

Переводчик немного помялся, оглядываясь на многочисленных подруг, гостей, любопытных и музыкантов. Он сделал осторожно улыбку и отступил шаг назад.

— Герр унтер-официр обладает сделать, господин председатель, что вы есть сейчас арестованный и должный иметь направление в комендатуру.

— Я! — сказал унтер-офицер. — Штейт ауф! — и взял винтовку на руку.

— Та вы что, на самом деле, смеетесь? — простонал матрос, чуть не плача от раздражения, что ему мешают змовляться, вырвал из рук унтер-офицера винтовку, молниеносно ее разрядил и с такой силой зашвырнул за погреб, что по дороге туда она вдребезги разнесла собачью будку и положила на месте серого гусака, подвернувшегося на тот несчастный случай.

Гости повскакали с мест, и через минуту остальные две винтовки тоже пронеслись через двор, подскакивая, как палки, пущенные в городки.

Немцев заперли в погреб и дали им туда большую миску холодца из телячьих ножек с чесноком, целый хлеб и манерку вина.

Змовины шли своим чередом.

Сначала немцы страшно стучались кулаками в дверь и что-то кричали. Но мало-помалу успокоились. А к вечеру из погреба уже слышался бабий голос «дохлого», спивавший немецкие песни.

Змовины кончились на рассвете, и тогда немцев выпустили из погреба. Они потребовали обратно свои винтовки. Но винтовки пропали.

До утра немцы ходили по дворам, спрашивая, не видел ли кто-нибудь их винтовок. Сельчане молчали. Тогда унтер-офицер приложил руку к бескозырке, пробурчал «мо-оэн», сделал своей команде знак поворачивать и зашагал из села с трясущимися от негодования щеками. А на другой день не взошло еще солнце, как за селом на шляху встало облако пыли.

Село было окружено немцами.

Пока серые солдаты снимали чехлы с четырех пулеметов, поставленных кругом на возвышенностях, взвод драгун ворвался в село. Возле церкви он разделился на три части. Один разъезд, не меняя аллюра, поскакал прямо к сельсовету. Другой — к хате Ткаченка. Третий остался на месте и спешился.

На этот раз немцам было прекрасно известно расположение села. Старик Ивасенко, страдавший бессонницей и поднимавшийся раньше всех, видел, как Ткаченко разговаривал со старшим немецкого разъезда, остановившегося около его хаты.

Сельчане еще не успели проснуться и выскочить на улицу, как драгуны, ездившие к сельскому Совету, уже на рысях возвращались обратно. За разъездом, в брезентовом пальто, разодранном сверху донизу, спотыкаясь и дергаясь, бежал голова Ременюк, скрученный по рукам веревкой, концы которой держали драгуны.

Сейчас же следом за первым разъездом показался второй, волочивший матроса Царева. Вид его был ужасен. Из разбитого прикладом рта на полосатый тельник широко падала кровь. Наполовину вырванный чуб прилип ко лбу, вывалянному в земле. Скрученная веревкой рука судорожно сжимала лохмотья гармоника, которой матрос отбивался, и на длинной георгиевской ленте, попавшей под веревку, болталась и била по босым ногам матросская шапка.

Перед церковью стояла старая сухая груша, в прошлом году разбитая молнией. Под ней, привстав на стременах, медленно поворачивался немецкий вахмистр.

Драгуны окружили пленных и накинули на них петли. Вахмистр махнул палашом. Казнь совершилась в ту же минуту. И тотчас раздался женский крик такой силы, что на колокольне явственно дрогнула и зазвучала медь большого колокола.

Любка Ременюк вытянула вперед руки, остановилась как вкопанная и с остекленевшими глазами на равнодушном лице рухнула навзничь, пяти шагов не добежав до груши.

В село при звуке рожков, с кухнями и обозами, входила немецкая пехота.

Глава XXIV ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ

Обер-лейтенант фон Вирхов, немецкий комендант уезда, прибыл в мятежное село после полудня. Рядом с ним, в пыльном экипаже с ефрейтором на козлах, сидел молодой чиновник нового правителя Украины гетмана Скоропадского.

В дороге было жарко.

Обер-лейтенант снял замшевые перчатки, — почти белые, но со слабым лимонным оттенком, — вывернул их наизнанку и повесил на эфес сабли, поставленной между колен. Чиновник позволил себе расстегнуть форменный сюртук с погончиками и снять белую фуражку, мокрую внутри. Но при въезде в село обер-лейтенант снова натянул перчатки, а чиновник министерства земледелия застегнулся и надел фуражку.

Часовой в глубокой каске, ходивший под деревом, на котором, уронив головы, висели Ременюк и матрос, остановился и сделал руки по швам.

Обер-лейтенант, не переставая смотреть вперед, приложил два пальца к фуражке. Чиновник искоса взглянул на грушу и, достав из узкого кармана брюк плетенный из египетской соломы портсигар с эмалевым жучком скарабеем вместо монограммы, решительно кинул в рот коричневую папироску Месаксуди.

Экипаж прокатил через село и въехал в экономию Клембовских, где уже был расквартирован штаб.

Во дворе дымилась кухня. Команда связи расставляла на желтых лакированных палках телефонный провод. Драгунские лошади у коновязи свистели хвостами, отма-

живаясь от слепней. На открытом крыльце стоял пулемет.

Часовые вытянулись. Обер-лейтенант поднялся по ступеням и сбросил на руки вестового серый плащ. Чиновник министерства земледелия рысью следовал за комендантом, на ходу сбивая с ботинок пыль носовым платком.

Не входя в дом, обер-лейтенант отвел руку назад и щелкнул пальцами. На крыльце тотчас появились два стула. Офицер уселся, закинул ногу за ногу и воздушным движением посадил в глаз стеклышко монокля.

Все внимание его было устремлено на большую палатку, разостланную посреди двора.

На палатке лежали две заржавленные обоймы трехлинейных винтовочных патронов русского образца, казачья шашка без ножен с кожаным темляком, старинная берданка и дробовик, из числа тех, которые сторожа на баштанах заряжают против хлопчиков солью.

Время от времени во двор входил кто-нибудь из сельчан — мужик или баба — и, пугливо озираясь, присоединял к этой коллекции и свой дар — ручную гранату или штык.

Старик Ивасенко пришел одним из первых. Ему и принадлежала упомянутая уже берданка — свидетельница турецкого похода Ивасенки.

Теперь старик стоял, опираясь на дрючок, в толпе сельчан перед крыльцом и пространно рассказывал, как он видел утром Ткаченка, который показывал немецким драгунам хату Ременюков, где в то время находился матрос Царев. Но рассказывал он, по своему обыкновению, так подробно и неинтересно, что его никто не слушал.

Обер-лейтенант посмотрел на часы. Было половина первого. По приказу, объявленному утром, все оружие, имевшееся на руках у населения, должно было быть сдано до часа дня. После этого срока каждый, у кого оно будет обнаружено, предавался военно-полевому суду и подлежал расстрелу.

В числе прочих пришел и Семен — положить свое оружие. Он пришел в чистой рубахе с расстегнутым воротом. Лицо его было белое, как та рубаха. В неподвижных глазах стояло и не кончалось видение страшного дерева, на котором висели его сваты.

Как только весть о казни дошла до него, он тотчас

закопал в кузне свой револьвер системы наган солдатского образца, патроны к нему, пару ручных гранат-лимонок, а также драгунскую винтовку — все это аккуратно смазанное салом и завернутое в холстину. Бебут Семен пока что оставил в хате. Теперь, чтобы отвести от себя подозрение, он — хотя и жалко ему это было и оскорбительно, — принес на клембовский двор свой бебут и, положив его в кучу другого оружия, сказал сокрушенно:

— Це все. Больше оружия нема.

И отошел в сторону к сельчанам.

За ним Фрося с сощуренными глазами положила на палатку штык, служивший в хозяйстве колом, к которому привязывали кабанчика.

— Запишите це мой штык. Больше ниякого оружия нема, хоть переройте всю хату! — дерзко сказала она вахмистру, который переписывал трофеи в записную книжку.

Но вахмистр не понимал по-русски.

Больше не подходил никто.

— Маловато, маловато, — жидким, но крикливым голосом сказал чиновник министерства земледелия. — Эть, народ! Натаскали с фронта полное село оружия, а сдают всякую дрянь. Не понимают, чудаки, что такое военно-полевой суд, а?

И он замурлыкал под нос романс, по-видимому имевший для него какое-то важное значение:

На пляже за старенькой будкой
Люлю с обезьянкой Шаритт
Меня называет Минуткой
И мне постоянно твердит:
«Ну постой, да ну погоди, моя Минуточка,
Ну погоди, мой мальчик пай...»

В это время во двор вошли Ткаченко и его новый работник.

Ткаченко был в погонах, в фуражке с кокардой и при всех своих четырех «Георгиях», лежавших оранжевой полосой поперек груди. Под мышкой он держал узкую конторскую книгу.

Если бы работник шел позади, как и полагается работнику идти позади своего хозяина, то, может быть, работника не сразу бы и заметили. Но работник шел впереди Ткаченко, и бывший фельдфебель следовал за ним почтительно, как за командиром батареи.

Работник был чисто обрит, причесан и вместо обыч-

ных валенок на ногах имел хромовые вытяжные сапоги с маленькими шпорами. Он нес перед собой на вытянутых руках офицерскую пашку с золотым эфесом и георгиевским темляком.

Он подошел к крыльцу и протянул коменданту золотое оружие.

При виде этого странного крестьянина в рваном кожане обер-лейтенант откинулся на спинку стула и удивленно произнес:

— О?

— Вы позволите мне говорить с вами по-французски? — сказал по-французски работник.

— Натюрельман, — ответил комендант, вставая.

— Я — штаб-ротмистр бывшей русской армии Клембовский, сын покойного генерала Клембовского и владелец этого поместья. Было бы слишком скучно объяснять вам сейчас историю этого маскарада. Теперь же позвольте мне, исполняя ваш приказ, вручить вам мое оружие.

И штаб-ротмистр Клембовский наклонился одной головой — узкой, с выдающимся затылком.

Обер-лейтенант почтительно взял пашку, подержал ее некоторое время перед моноклем и затем широким движением вернул обратно.

— О нет! Я прочитал здесь надпись: «За храбрость». Такое оружие не берут голыми руками. Оставьте его у себя. Немецкая армия умеет ценить благородного противника. Но извините меня за то, что я без позволения занял ваш дом.

— Я предлагаю его до тех пор, пока он будет вам нужен.

Обер-лейтенант, чиновник министерства земледелия и Клембовский вошли в дом. Входя, Клембовский три раза перекрестился.

За ними закрылась дверь, но тотчас открылась опять, и Клембовский крикнул:

— Эй! Ткаченко! Никанор Васильевич! Зайдите, голубчик, к нам.

Фельдфебель крепко заправил гимнастерку под пояс и прижал локтем книгу. Решительно потупившись, он прошел среди подавшихся на две стороны сельчан и скрылся в доме. Через десять минут чиновник министерства земледелия вывел Ткаченко на крыльцо.

— Вот что, братцы, — сказал чиновник министерства земледелия, — у всех законов имеется свой обычный пер-

воначальный смысл, и ни в одной стране мира грабеж не может быть узаконен. Власти, издавшие закон на право грабежа, отступив от общего смысла мировых законов, сами по себе незаконны. Дурак тот, кто мечтает получить что-либо даром, будь то земля, или скот, или сельскохозяйственный инвентарь, или что-нибудь другое. Земли бесплатно вы не получите: это так же верно, как то, что два и два четыре, а не пять. А теперь, вот вам будет новый староста. Нравится? Действуй, Ткаченко. До свиданья.

Оставшись на крыльце один, с глазу на глаз с сельчанами, Ткаченко задумчиво прошелся туда и обратно, как в былое время прохаживался он перед выстроенной батареей, затем отставил ногу, заложил руку за пояс и сказал такие слова:

— Вот что, друзья. Не скажу — товарищи, бо этого дурацкого слова у нас уже больше нема, а я его и раньше никогда, слава богу, не знал и знать не хотел. Так вот что, друзья односельчане. Безобразие кончилось. Хотите вы того или не хотите, а оно таки так. Различные непрошеные сваты,— вы сами знаете, где они сейчас находятся. Они находятся высоко. А если кто-нибудь из вас не видел, то еще имеется время посмотреть, потому что они так высоко будут находиться три дня, согласно приказу немецкого коменданта. И это сделано только для того, чтобы люди видели и выбросили у себя из головы всевозможные тому подобные глупости. Слава богу, теперь до нас вернулся обратно его высокоблагородие ротмистр Клембовский, так что без законного хозяина мы не останемся. Теперь. Многие из вас, друзья, воспользовались, благодаря случаю, кто чем успел, из чужого имущества, принадлежащего экономии Клембовского. Так это все, безусловно, надо вернуть, чтобы опять не вышло каких-нибудь происшествий еще хуже, чем были сегодня утром. А кто, может быть, тое имущество — коров там, или лошадей, или овец — не уберег, то те пускай приготовят грóши по установленной цене. Землю же клембовскую, нахально захваченную и засеянную, обязаны по закону до осени обрабатывать и снимать урожай, который пойдет полностью законному хозяину земли, Клембовскому, а люди получают только грóши за работу, как батраки. Так что приготовьтесь к этому. Что же касается оружия, то скажу, что сдаете вы его плохо. И предупреждаю. Но это пускай с вами имеет дело военная власть наших теперь

союзников и друзей — германцев, пришедших к нам на помощь против всяких безобразий. Вы это себе подумайте. Сегодня я вам больше ничего не скажу. А завтра созывается сход на одиннадцать часов утра. Будет с вами опять разговаривать чиновник с министерства земледелия. Быть всем. И выбросьте из головы. Понятно?

Ткаченко прошелся несколько раз туда и назад, не глядя на народ.

— Разойтись! — сказал он наконец.

Сельчане разошлись, поглядывая на небо.

Глава XXV ЧЕТЫРЕ ЧАРКИ

Иссиня-черная, пороховая туча заходила с края, поднимаясь над прошлогодними скирдами и неподвижными акациями села.

В этот день большая честь выпала дому Ткаченко. Проголодавшееся начальство не погнушалось отобедать у нового старосты.

Никогда еще хата фельдфебеля не видала у себя таких именитых гостей. Господин обер-лейтенант фон Вирхов, его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский, чиновник министерства земледелия Соловьев попробовали в этот день молочного супа, вареников со сметаной и жареной свинины подпрапорщика Ткаченки. Красавица Софья, бледная как смерть и оттого еще более прекрасная, подавала гостям блюда, не смея поднять слипшиеся ресницы.

Отец приказал ей для такого случая надеть лучшую юбку и лучшую кофту и лучшие свои монисты повесить на шею. Он осмотрел ее с ног до головы и, осмотрев, сказал:

— Одно: не выкинешь из головы — убью; ступишь за порог — убью; скажешь лишнее слово — убью.

Туча закрыла солнце. Ветер побежал и дунул жарким запахом конопли.

Лучшего девяностосемиградусного спирта, в меру разбавленного кипяченой водой, поставил на стол Ткаченко. Три чарки выпили гости. Первую чарку поднимал его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский.

— Пью эту чарку, — сказал он, — за спасителя моего, Никанора Васильевича Ткаченко, верного моего слугу и

друга; а также пью я за то, чтобы вперед господа помещики знали, как надо владеть и править своей землей, не чурались бы деревенской жизни, водили хлеб-соль с богатыми и преданными людьми и жен себе брали из наикраших сельчанок, не стесняясь их крестьянством; потому что за землю надо держаться не одной рукой, а двумя, а то не удержишь.

При этих словах его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский как бы вскользь окинул взглядом застывшую у дверей Софью и одним духом выпил свою чарку.

Вторую чарку поднимал чиновник министерства земледелия господин Соловьев.

— Эту чарку, господа, я предлагаю выпить за любовь.

И гости выпили по второй чарке.

Третью чарку пил обер-лейтенант фон Вирхов.

— За Индию! — сказал он по-французски и, заметив, что от него ждут продолжения, продолжил: — Да, господа. Здесь, в этой далекой украинской деревне, за этим грубым крестьянским столом, я пью за Индию.

Его глаза налились прозрачной голубой пустотой. Они были устремлены вдаль.

— Мы даем вам успокоение. Вы даете нам хлеб и открываете безопасный путь на Индию. Англия задушила нас на Западе. Но путь на Восток идет не только через Стамбул — Багдад. Он также идет через Киев, Екатеринослав и Севастополь. Оттуда германские корабли идут на Батум, Трапезунд. Я вижу Месопотамию. Аравийский ветер дует в лицо германских солдат! И — Индия! Индия! Мы вырвем у Англии сердце. За Индию!

Четвертую чарку поднял хозяин.

— Покорнейше вами благодарный, что не отказались от моего посильного угощения. Пью эту чарку за то, чтобы оправдать ваше доверие и справиться с народом.

В хате стало темно. Мимо окон пронеслась вырванная из акации ветка, до последнего листка освещенная на лету небывалой молнией. Гром взорвался, как бомба, попавшая в зарядный ящик, и посыпался на железную крышу.

Гости выпили четвертую чарку.

Ливень плющился о стекла.

Дымные водопады ливня один за другим пробегали по селу. Хаты стали тотчас с одного бока черно-лиловые. Улица вздулась, как река. По серой воде среди пузырей и сметья буря гнала в ставок убитую грозой ворону.

Небо, со всех сторон подоженное молниями, ежеминутно рушилось на потрясенную землю.

Тем часом по селу, закинув вверх слепое, но оживленное безумьем лицо, шла против ветра мокрая до ниточки Любка Ременюк. Она шла не спеша в длинной прозрачной юбке, в сорочке с расшитыми рукавами, вся в монистах и лентах. Буря вырывала их из слипшихся волос, черных, как деготь.

На каждом шагу она останавливалась и простирала к хатам руки, о которые вдребезги разбивался ливень.

Она пела страстным голосом нечеловеческой высоты и однообразия:

Ой, рано, раненько!
За городом дуб да береза,
А в городе червонная рожа.
Там Любочка да рожу щипае.
Пришла до ей матюнка:
«Покинь, доню, да рожу щипаты,
Хочу тебя за Василька отдаты».
«Я Василька сама полюбыла,
Куда пошла, перстень покотыла,
А где стала — другой положила...»

И она продолжала брести, шатаясь и расталкивая коленями сильную воду.

Гроза гремела за полночь, то уходя из села, то вновь в него возвращаясь.

Глава XXVI

ПОВСТАНЦЫ

Поздней ночью в хату Котко постучали. Семен бросился к окну. При судороге отдаленной молнии он узнал платок Софьи. Он торопливо отчинил дверь. Она вбежала и обхватила его трясущимися руками. С ее волос на его рубаху текла вода.

— Семен, бежи!

— Что? Батька?

— Батька.

— Лютует?

— Хуже собаки. Ой, меня больше ноги не держат.

— Сядь.

— Бежи, за-ради бога!

— Пей воду.

— Бежи, я тебе говорю...

Семен нашарил похолодевшей рукой на загнетке коробку серников. Она зашуршала.

— Стой. Не зажигай света. Может, с улицы смотрят.

Фрося и мать неслышно метались по хате, закладывая окна.

— Теперь свети,— прошептала Фрося, дрожа всем телом.

Маленькое беспокойное пламя каганца осветило хату с окнами, заложенными красными подушками. Софья сидела на скамейке под печкой, быстро крутя на груди стиснутые руки, и облизывала губы. Ее глаза блестели сухо и дико на бледном лице, заляпанном грязью.

— Бежи, Семен,— говорила она скоро и монотонно, как в беспамятстве.— Бежи сегодня, бо завтра уже будет поздно. Бежи, пока ночь. За-ради святого господа Исуса Христа, запрягай лошадей. Той старый черт, той проклятый сатана батька доказал на тебя немецкому коменданту. Он бумагу на тебя подавал, и немецкий комендант сказал: гут.

— Так,— сказал Семен, глядя в землю, и губы его горько тронулись.— Так. Выходит дело, что должен я темною ночью запрягать в подводу коней и выезжать потихоньку, как тот вор, со своего же собственного двора. Было у меня родное семейство: мама-вдова, сестричка-сиротка и дивчина, с которою мы по нерушимой любви заручались. Была у меня какая ни есть хата, и хозяйство, и земля, моими руками поднятая и потом моим политая. А теперь, выходит дело, налетели на нас откуда ни возьмись те злыдни, стали поперек крестьянской жизни и выжидают меня от моего счастья к чертовой матери, куда глаза смотрят, в ту темную ночь кочевать по степу, все равно как бродягу-цыгана или того серба с обезьяной. И должен я, не дожидаясь солнца, тикать из села, все на свете покинув — и мать родную, и сестричку-сиротку, и землю посеянную, и дивчину зарученную, и сватов своих, без погребенья повешенных на добычу воронам.— Тут Семен вспомнил свою батарею, командира Самсонова, прощальные его слова — и заплакал с досады.

Насухо вытер он концом бязевой солдатской рубахи слезы, выпил полную кружку воды и, стиснув мелкие зубы, заиграл скулами.

— Так нет же, злыдни, не дожидайтесь вы такого позора! Идите, мамо, на двор, положите в повозку сала

и хлеба и потихонечку выведете из сарайчика клембовскую Машку. А ты, Фросичка, надень на ноги чеботы и раз-раз бежи до Ивасенков. Скажешь своему черту Миколе, чтобы он той же секундой потихонечку завел до нас во двор своего Гусака. Я его думаю запрягать вместе с Машкой. Бо все равно того Гусака завтра заберут обратно в экономию.

Фроська проворно сунула ноги в громадные чеботы, но бежать ей не пришлось.

Дверь, которую забыли заложить палкой, приоткрылась, и в хату заглянула лохматая голова самого Микола. Он увидел, что в хате не спят, но не удивился. Вряд ли в какой-нибудь хате люди ложились спать в эту проклятую ночь.

— Извините, что заскочил в такое неподходящее время. Я до вас, дядя Семен...

С того дня, как Микола стал гулять с Фросей, он проникся к Семену страхом и уважением. Он не называл его иначе, как «дядя».

Микола был одет как для дальней дороги, и его молодое, еще ни разу не бритое, почти детское лицо было полно суровой решимости.

— Я вам, дядя Семен, давал своего Гусака, когда вы ездили в Балту. Теперь позычьте мне вашу Машку. Я ее думаю запрягать вместе с Гусаком.

— А я только что до тебя Фроську посылал с тем же самым.

Семен внимательно посмотрел на хлопца.

— Собираешься куда-то ехать?

— Собираюсь.

— Посреди ночи?

— Эге ж.

— Куда?

— Куда бы ни было. И еще, дядя Семен, низко вам кланяюсь и не откажите. Видел я у вас добрый револьвер, наган с патронами...

— А ну, выйдем на одну минуту из хаты,— сказал Семен, не дав Миколе договорить.

Они вышли, а не больше как через полчаса за кузней стояла подвода Семена, запряженная Машкой и Гусаком. Семен выносил из кузни и клал в подводу выкопанное оружие и шанцевый инструмент. Микола закладывал их соломой.

Софья кинулась к Семену на грудь,

— Не кидай меня тут. Забери с собою!

— Ни, Соню. За это и не мечтай. То не ваше женское дело, а наше — солдатское. Дождидайся меня, не журишь. Даст бог, скоро побачимся. Ще недолго тем злыдням хозьяйновать на нашей земле. С тем до свиданья.

Они обнялись и долго целовали друг другу мокрые от слез руки, как и в тот счастливый час их змовин.

Затем Семен низко поклонился матери, и мать низко поклонилась ему. А Фросе достался добрый братский тумак по спине.

Семен и Микола уселись в солому. Подвода тронулась. Но едва она обогнула кузню, как Фрося легче ветра полетела за ней и вскочила на ступицу.

— Так-таки мне ничего напоследок не скажешь? — шепнула она Миколе.

— Скажу то же самое: дожидайся и не журишь. Скоро побачимся.

— Куда же вы, скаженные, едете?

— Будем живые — услышишь.

Микола ударил по коням, и подвода пропала в непроглядной темноте.

— Ну, кавалер, у тебя ще душа в теле или уже вышла наружу? — вполголоса спросил Семен своего будущего шурина, когда подвода выехала на площадь против церкви.

Ни одной звезды не виднелось на небе. Но дождя уже не было. Старая груша еле выделялась из темноты.

— А я не чую, что такое за душа, — пробормотал шурина, вдруг осаживая лошадей. — Я ще не воевал.

— Хальт! — раздался вдруг рядом с подводой повелительный возглас немецкого часового.

И в тот же миг страшный удар прикладом обрушился на его голову в шлеме. Оглушенный часовой свалился без звука. Семен с драгунской винтовочкой и Микола с солдатским наганом выскочили из подводы, наклонились над телом. Семен успел перехватить руку шурина.

— Не стреляй, дурень. Тихо. Без паники.

Микола сорвал с головы часового шлем и несколько раз подряд изо всех сил ударил по ней рукояткой револьвера. Потом он неслышно взобрался на дерево и перерезал складным ножом веревки. Два несгибающихся тела тяжело, но мягко свалились на мокрую травку.

Шурья уложили их на подводу, заложили соломой, а сверху поспешно кинули труп часового и погнали лоша-

дей. Возле ставка они остановились и, раскачав немца, зашвырнули его в воду подальше от берега.

Осторожно выбравшись из села, они своротили с дороги в жито, сделали по степу несколько громадных кругов, чтоб сбить со следа, и наконец подались в глубь уезда, что есть мочи погоняя коней.

На рассвете, проехав верст восемнадцать, если не все двадцать, они достигли узкой и глубокой балки и спустились в нее. Место было глухое. Отсюда, продвигаясь по дну балки, можно было незаметно добраться до одного, не многим известного лесочка.

Стало развидняться. Солнце поднималось среди туч уходящей грозы. На колеса медленно наворачивались толстые шины грязи с прилипшими к ней степными цветами.

Микола сидел, опутив голову и закрыв лицо руками.

— Боже ж мий, боже,— шептали его побелевшие губы,— прости мене кровь, пролитую моими же собственными руками.

— Вот и сразу заметно, что ты ще настоящей войны не чул,— строго сказал Семен.— Бога не проси, бо он тебе все равно не уважит. Даже разговаривать с тобой, с дурнем, не схочет. А люди тебе простят. Еще спасибо скажут.

Желтое солнце мутно сияло в узеньких серебристых, как бы суконных листиках дикой маслины, на которой качалась сонная горлинка.

За полдень они въехали в лесочек, и в ту же минуту из орешника выскочило человек пять с поднятыми ручными гранатами и винтовками наперевес.

— Стой! Кто такие?

— Сельчане.

— Це нам подходит. Куда едете?

— Туда, где злыдней нема.

— Ще больше подходит. Значит, до нас. Оружие е?

— Револьвер-наган солдатского образца, драгунская трехлинейная винтовка, две ручные гранаты-лимонки и четыре немецких ружья — бис его знае, сколько они линейные.

Семен говорил чистую правду. Немецких винтовок было действительно четыре. Одна доставшаяся от часового, а три остальные — как раз те самые, что пропали у немецкого патруля на змовинах матроса Царева и Любки

Ременюк. Их тогда потянул и сховал в соломе не кто иной, как Микола.

— Це добре. Патроны до немецких винтовок тоже е?

— Патронов до немецких винтовок нема. Не сообразили разжиться.

— От, ей-богу, люди! И таскают, и таскают, и таскают теи немецкие винтовки, а чтобы кто-нибудь за патроны побеспокоился, то того нема. Продовольствие е?

— Сало е, хлеб.

— Це у нас у самих до чертовой матери. А случаем пулемета якого-нибудь нема?

— Пулемета нема.

— От, ей-богу, люди! Все равно как маленькие дети! А ще что лежит в подводе?

Семен и Микола отгорнули солому. Люди заглянули в подводу и молча скинули шапки. Кое-кто перекрестился.

— Наша Советская власть,— потупившись, сказал Семен.— Оба мои сваты. Оба меня заручали, и оба меня змовляли. А на свадьбе гулять так и не пришлось. Ни им обоим не пришлось, ни мне. Налетели откуда ни возьмись теи злыдни и порушили всю нашу крестьянскую жизнь.

А подводу уже окружало не пять, а по крайности человек сорок беглых селян, собравшихся сюда из разных волостей и сел, в которых хозяйничали гайдамаки и немцы, для того чтобы с оружием в руках встать за свою долю.

В молчании, поскидав шапки, фуражки и шлемы, проводили они подводу в глубину леса, где были разбиты землянки и в казанах варился кулеш, и тут на поляне, под молодым дубом, схоронили матроса Царева и председателя сельского Совета Ременюка, а на дубе вырезали их имена, крест и прибили матросскую шапку.

Глава XXVII ПОД КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА

Лето кончалось. Шел последний летний месяц — август.

«Товарищи! — говорилось в воззвании съезда революционных комитетов и штабов Киевской губернии к рабо-

чим и крестьянам Украины в середине августа.— Пять месяцев тому назад Украинская Центральная рада, состоявшая из правых эсеров и меньшевиков, поддержавших помещиков и капиталистов Украины, позвала немецкие штыки и с их помощью уничтожила Советскую власть. Уже пять месяцев господствуют они на Украине, и все пять месяцев их господства льется рабоче-крестьянская кровь во имя торжества капитала. За это время ими вырваны у трудового народа и растоптаны каблуком Гинденбурга все революционные завоевания Советской власти.

Земля отнята у крестьян и снова возвращена помещикам. Мало того: в каждую деревню были посланы гайдамацко-немецкие карательные отряды, и обнаглевшие помещики с их помощью отбирают у крестьян последний хлеб и последнюю копейку. Они сторицей вернули себе то, что отнято у них было Советской властью в дни господства трудового народа.

Их жадность ненасытна, и ненасытна их месть».

...От Ростова до Троянова вала и от Курска до Джанкоя и дальше, вплоть до самого Черного моря; по-над батькою Днепром, по-над тихим его братом Доном и по-над быстрым его братом Днестром; среди шведских могил и скифских курганов; вокруг мазанных мелом хат, приютившихся в тени пирамидальных тополей и акаций; вокруг одиноких степных ветряков; вдоль некошенных балок, где за полдень, как в люльке, спит лиловая тень тяжелого облачка,— словом, по всей богатой, обширной и красивой Украине в свой срок заколосились хлеба, зацвели, побелели на зное, склонились, и скоро украинские поля из края в край уставились соломенными ульями копиц, и вся Украина, как необозримая пасека, заблестела под убывающим солнцем.

Но не радовались люди в этот страшный год красоте и обилию своей земли. Сеяли свободными, а убирать урожаем довелось рабами...

«Теперь для всех трудящихся Украины стало ясно, что они потеряли с Советской властью»,— говорилось дальше в том же воззвании.

«И сердце рабочих и крестьян снова горит желанием бороться за Советскую власть, штурмом взять себе прежнюю крепость революции.

Не сегодня завтра немцы увезут весь хлеб с крестьянских полей.

Хлеб останется только у богатых. Рабочие и бедные крестьяне хлебородной Украины будут умирать с голоду, а помещики будут считать марки и кроны за крестьянский хлеб. Всем должно быть ясно, что если еще хоть неделю похозяйничают немцы и помещики со Скоропадским во главе, то нам неминуемо грозит голодная смерть! *Теперь или никогда!*

Через неделю будет поздно. Мы должны немедленно поднять массовое восстание, вступить в бой с врагами трудового народа. Кроме цепей, нам терять нечего. Или мы, как рабы, как скот, будем умирать голодные, умирать под ликование мировой буржуазии, или, на радость мировому пролетариату, мы сбросим наших угнетателей и завоюем царство труда и свободы — Советскую власть. В этот момент уже началось восстание по селам и деревням».

Бил народ панских сынков гетмана Скоропадского под Коростенем. Богунцы под Киевом и Щорс вместе с батюшкой Боженко на Черниговщине наводили ужас на гайдамаков и немцев, захотевших попробовать украинского хлеба и меда. На север от Могилева-Подольского, в области Куковки и Немирца, восстало две тысячи селян. Той же ночью под Проскуровом под откос свалился поезд.

Луганский слесарь Клим Ворошилов, бившийся с врагами весной под Змиевом, теперь собрал вокруг себя целую армию и с боем пробивался к Царицыну.

И где только ни показывались над степью его выжженные солнцем и пулями порванные знамена, всюду навстречу им выходили рабочие и селяне.

Выходили из-под земли и шли навстречу по рельсам отвыкшие от белого света шахтеры. Шли, таща за собой пулеметы и ведя крестьянских коней, одичавшие в лесах, до самых глаз заросшие и пять месяцев не выдавшие бани партизаны. Шли целыми взводами беглые солдаты ненавистной гетманской армии. Шли с Кубани и Дона казаки, вставшие за свою долю.

Шли и становились под те славные знамена и нашивали поперек шапок червонные ленты.

Глава XXVIII ВЕНЧАНЬЕ

Копав, копав крiниченьку
Недiленьку, двi.
Кохав, кохав дiвчиноньку
Людам — не собі.

Украинская песня

В том лесочке, где под молодым дубом схоронили магроса Царева и председателя сельского Совета Ременюка, теперь уже пряталось не сорок человек, а жило, самое малое, человек полтора, если не считать двух отчаянных баб, не захотевших далеко отпускать от себя своих чоловиков и основавшихся тут же, вместе с детьми и овцами.

Это уже была не маленькая шайка беглых, но хорошо вооруженный повстанческий отряд с собственным штабом, походной кухней, пулеметной командой, конницей и артиллерией.

Артиллерию представляла горная пушка, которую наш богатый партизанский отряд выменял у пробиравшегося мимо лесочка другого, бедного партизанского отряда на два ручных пулемета, четыре немецкие винтовки, австрийскую палатку и шесть фунтов сала.

Пушка была без передка, без зарядного ящика, и к ней не имелось ни одного патрона. Но ходили слухи, что за восемнадцать верст, в селе Песчаны, у одного человека в погребе закопан целый лоток подходящих патронов, так что была надежда как-нибудь выменять и этот лоток.

Пушкой командовал Семен Котко. Он учил молодых, еще не побывавших на войне хлопцев ставить прицел и обращаться с оптическим прибором.

В лесочке, возле молодого дуба, под брезентом стояли отбитые у немцев интендантские повозки, двуколки, мешки с мукой и сахаром, ящики табака, бочки керосина. Если бы не пулеметы, расставленные на опушке, и не кони под военными седлами, привязанные к деревьям, то легко можно было подумать, что это раскинул свою лавочку странствующий бакалейщик.

Теперь лесочек, как полагается по всем правилам позиционной войны, соединялся с балкой глубоким и со стороны незаметным ходом сообщения. На дереве с рога-

той трубой день и ночь сидел наблюдатель. У входа в землянку, с надписью на фанерном листе химическим карандашом «Штаб отряду», стоял на коленях Микола Ивасенко в солдатской фуражке козырьком на ухо и плачевным голосом кричал в полевой телефон Эриксона:

— Степа, ты меня слушаешь? Наблюдательный! Степа, ты меня слушаешь? Наблюдательный! Наблюдательный! Та наблюдательный же, ну тебя, на самом деле, к бису.

Но наблюдательный не отвечал.

Микола обругал «той проклятой эриксон, чтоб ему на том свете так разговаривать», и пошел проверять линию.

В тот день штаб отряда с нетерпением ожидал конного разведчика, тайно посланного для связи с подпольным губернским ревкомом. Уже давно отряд был готов к выступлению. Не хватало только артиллерии и точной боевой задачи. Но еще на прошлой неделе губернский ревком сообщил, что на соединение с отрядом идет легкая батарея Красной Армии, застрявшая на Украине и пять месяцев отсиживавшаяся от германцев и гетманцев по лесам и глухим пограничным уездам Приднестровья.

Сейчас это может показаться невероятным, но в то легендарное время, когда в иных крестьянских дворах, случалось, были спрятаны в сене, дожидаясь своего часа, четырехсполовинойдюймовые гаубицы с полным комплектом снарядов, — ничего необыкновенного в этом никто не видел.

Таким образом, за артиллерией дело не стояло. Батарея должна была приехать вот-вот. На крайний случай можно было бы ударить и так, с одними пулеметами.

Дело стояло за боевым приказом. Легко можно себе представить, с каким нетерпением весь отряд дожидался конного разведчика.

Между тем наблюдательный пункт не отзывался по довольно простой причине: наблюдатель, сидя на дереве, разговаривал с худой рыжей девчонкой лет четырнадцати, вдруг появившейся на опушке.

Она была в лохмотьях, покрытых густым слоем тяжелой августовской пыли. Длинные босые ноги с черными, сбитыми в кровь пальцами показывали, что она пробежала не один десяток верст. Пот бежал по черному носу и по костистым вискам. Рот, открывавшийся, как у рыбы, дышал тяжело. Зеленые глаза на воспаленном лице казались почти белыми.

Если бы не аккуратная ситцевая лента в рыжей косе, не круглый железный гребешок в волосах надо лбом, ее можно было бы признать за деревенскую побирушку.

— Стой! — закричал наблюдатель.

— Стою, — ответила девочка.

— Подойди к дереву.

— Уже подошла.

— Ты что в нашем лесочке делаешь?

— Брата своего шукаю.

— Та у тебя повылазило, чи шо? Какой может быть брат, когда тут позиция! Вертай назад, откуда пришла.

— А тут кака позиция? Гайдамацкая чи селянская?

— Селянская.

— Мне селянскую позицию и треба.

— Фрося?! — произнес вдруг Микола, как раз вышедший в это время к наблюдательному пункту. — Накажи меня бог, Фроська... — И он, повернувшись лицом к лесочку, закричал: — Гей, Семен! Бросай орудия, — до нас Фросичка прийшла!

С этими словами он отвел девочку на бивак. Она еле шла, при каждом шажке покусывая губы.

Едва Семен увидел сестру, как предчувствие несчастья охватило его.

— Здравствуй, Фрося. Что там у вас случилось? Какое происшествие? — сказал Семен, всматриваясь в ее лицо.

— Все, слава богу пока благополучно, — ответила Фрося, озираясь по сторонам блуждающими глазами. — У вас тут нигде нема водички напиться?

Она крепко зажмурилась, как бы перемогаясь, оскалила стиснутые зубы, но не перемоглась, и вдруг рыданья вырвались и потрясли ее с ног до головы.

— Ой, люди! Нема больше сил терпеть, что теи проклятушие злыдни над нами рблят. Позабирали все чисто, куска хлеба нигде не оставили. Люди в степь идут — панский хлеб убирать, — так не могут идти, от голода падают на землю. А гайдамаки их прикладами поднимают и гонют, та еще насмежаются. Люди все с себя поскидали и последнюю вещь из хаты на базар отнесли, чтобы грбши собрать на уплату Клембовскому. А у кого грбшей нема заплатить, тех не пожалели никого — ни старого старика, ни маленького хлопчика, ни женщину с грудным дитём. Всех чисто загнали на двор в экономию Клембовского, поодиночке вызывали в сарай и тама клали на

мешок с овсом, пороли. Два человека держали за руки, два — за ноги, один — за голову, а один бил до тех пор, пока человек уже не уставал кричать. Бил кого батогом, а кого шомполом. Ой, Семен, брате мий родный! Все чисто у нас позабирали. Ничего не оставили. И за лошадь ще триста карбованцев наложили заплатить, а как у нас грóшей не было, то и нас с мамой тоже таскали в тот сарай и били батогами, пока мы не устанем кричать. Меня еще, слава богу, били недолго — бо я скоро устала кричать и сомлела. А маму, как она кричать не схотела, то били ее долго и над нею насмехались гайдамаки. Совсем ее покалечили, так, что она уже больше работать не может. И она теперь с торбою ходит по волости по всех дорогах, просит у людей, кто что подаст. И ей никто не подает, потому что самим нечего кушать. А Софью Ткаченко ее батька выдает за самого помещика Клембовского.

Помутилось в глазах у Семена.

— Стой! Сама Софья схотела?

— Ни. Ее батька насильно заставляет. Он ее в погреб посадил и держит вторую неделю. Запрошлую ночь я потихоньку до Ткаченок во двор перелезла — с Сонькой через замок разговаривала. И она через замок сильно плакала и мне сказала: «Ради бога, сказала, бежи, Фросичка, до Семена, найди его где хотишь и передай, что злыдни нас разлучают. Передай ему, что, может, он за меня уже и думать перестал, но я за него ночей не сплю и все думаю и надеюсь на него одного, что он меня отобьет. И еще передай ему — пускай торопится».

— Когда свадьба?

— Зараз. Сегодня вечером в нашей церкви будут венчаться.

— Ще мы это побачим! — закричал Семен и было поворотился, чтоб бежать до командира, но тут же увидел его самого вместе с штабом и всех бойцов, в молчании стоявших вокруг. — Товарищ командир и товарищи бойцы, слухали вы все это?

— Слухали.

— А когда слухали, то чего ж вы доси стоите и не садитесь по коням? Товарищ командир, Зиновий Петрович, подымай отряд!

— Ни, Семен. Без приказа губревкома и без артиллерии поднять отряд не имею права. Бо этот отряд принадлежит не нам с тобой, а принадлежит он всему тру-

довому народу и в первую очередь Советской власти. Такая есть воинская дисциплина. Ты это, Котко, как старый солдат, должен добре сам понимать.

— Значит, выходит дело, что через тую воинскую дисциплину пропадает моя доля?

— Ни, Семен. За свою долю бейся сам. Забирай любую бричку с нашего парка, запрягай пару каких завгодно коней, хоть самых наилучших, ставь пулемет с патронами. И с богом. Я против этого ничего тебе не скажу.

И не успел еще командир дойти до своего куреня, как уже из лесочка вылетела наилучшая поповская бричка на паре наилучших трофейных коней.

Микола и Фроська сидели на козлах. Семен, припав к пулемету, подпрыгивал на заднем сиденье. Скамеечка против него пока что была пустая и в любой момент могла принять четвертого пассажира.

А солнце уже перешло за полдень. Степной ветер свистел в ушах. И навстречу наилучшим трофейным коням Семена, высоко над жнивьем, распутив гривы и надув белоснежные груди, летели в пустынном небе кочевые табуны облаков.

Солнце совсем наклонилось. Вот оно скользнуло по далеким курганам и кануло за край степи.

Суслик в последний раз выглянул из своей норки и пежно посвистел.

— Микола, погоняй, не жалея! Давай им хорошего кнута!

— Я не жалею!

Пена срывалась с лошадиных морд, улетала вверх и садилась в степи на бессмертники.

Красная звезда Марс показалась в небе.

Тем же ходом, как выскочила за полдень из лесочка, влетела бричка в темное село. Одна церковь посреди него горела золотыми кострами окон. Народ на паперти ахнул, узнав Семена. Он на ходу выскочил из брички с лимонкой в каждой руке.

— Повенчали?

— Ще ни. Только что жениха встретили.

Семен вошел в церковь и тотчас увидел Софью. Убранная монистами и лентами, с головою, покрытой серпянкой, она стояла перед аналоем рядом с Клембовским. Жених был в алом ментике с доломаном и с украшенной вензелями лядункой у лакированного голенища.

Положив перед собой лазурную руку на саблю, а другою рукой прижимая к груди боевую гусарскую фуражку, Клембовский выставил колено и чуть наклонил узкую голову, над которой чья-то рука в белой перчатке держала венец.

Трескучий жар множества свечей непривычным заревом наполнял бедную деревенскую церковь. Даже всевидящее око в треугольнике желтых лучей и бог Саваоф посреди звездного неба, грубо написанного синькой в куполе церкви, — были ясно видны Семену.

Но больше он ничего не заметил. Все остальное слилось для него в одно безотчетное впечатление печального праздника.

— Сонька, бежи до мене! — закричал Семен, поднимая над головой гранату.

Софья как будто только этого голоса и дожидалась. Не вздрогнув и не вскрикнув, она проворно обернулась и, расталкивая людей, бросилась навстречу Семену. Она подбежала и схватила его за рукав.

— Подожди. Не чипляйся, — с досадой пробормотал он. — Бежи зараз на улицу в нашу бричку.

Один миг — и девушка уже была на улице. Но общее оцепенение прошло. К Семену кинулись. Семен увидел близко возле себя Ткаченко в полной парадной форме. Форма эта была странная. Гайдамацкая. Четыре Георгиевских креста по-прежнему лежали поперек груди. Погонны были старой армии, но только не фельдфебельские, а офицерские, золотые, с одной звездочкой.

Семен ударил Ткаченко локтем в грудь и замахнулся гранатой.

— Побережись, бо покалечу! — крикнул он.

Люди шарахнулись от него. Он выбежал на паперть и оттуда через открытые настежь двери с силой швырнул гранату назад, в самую середину церкви.

Страшным рывком воздуха задуло свечи. Стекла выскочили из рам. Паникадило посыпалось.

А Семен уже вскакивал в бричку, где, обхватив пулемет окоченевшими руками, лежала Софья.

— Езжай!

— Езжаю!

Кони помчались.

С паперти вслед беглецам захлопали выстрелы. Пули пропели почти неслышно, заглушенные свистом ветра.

Бричка поравнялась с кузней. Дальше открывалась

степь. И в тот же миг из-за кузни наперерез бричке ударил конный разъезд гайдамаков. Бричка стала. Семен не успел опомниться, как был повален на землю и скручен. Двое гайдамаков рубили пашками постромки. Трое — тащили с козел Миколу, который отбивался кнутом. Со-млевшая Софья неподвижно лежала поперек дороги, рядом белела в темноте упавшая с головы серпанка. Через пять минут все было кончено.

И никто не заметил Фроськи.

Как только разъезд гайдамаков ударил из-за кузни, девочка спрыгнула на ходу с брички и легла к дереву.

Трофейные кони, волоча обрубленные впопыхах постромки, прошли мимо нее. Она подобралась к одной из лошадей, схватилась за гриву, вскарабкалась, взмахнула локтями, ударила изо всех сил босыми пятками под брюхо и пропала в темноте.

Пленников отвели в село.

Глава XXIX

СУД

Страшно власти у кайдани.
Умирать в неволі...

Шевченко

А на другой день, не взошло еще солнце, как за седом на шляху встала черная туча пыли. На этот раз шла не только немецкая пехота и кавалерия, — немецкая гаубичная батарея снималась с передков в полуверсте от села на кургане.

И едва только над степью брызнули первые солнечные лучи, как в хрустальном воздухе заиграл военный рожок.

Десять гаубичных выстрелов сделали немцы по селу. Пять бомб одна в одну, легли в хозяйство Котко, подняли его на воздух и срыли с лица земли, только черная яма осталась. Другие пять бомб, одна в одну, легли в хозяйство Ивасенко, подняли его на воздух и тоже срыли с лица земли, только черная яма осталась.

И военный рожок сыграл отбой.

А возле полудня в село на двух экипажах, окруженных драгунами, въехал немецкий суд.

На открытом крыльце клембовского дома поставили

стол и четыре стула. Стол покрыли привезенным с собою синим сукном и разложили карандаши и бумаги.

На стулья сели председатель военно-полевого суда обер-лейтенант фон Вирхов, докладчик — прокурор господин Беренс и защитник — агрономический офицер лейтенант Румпель.

Четвертый стул занял переводчик, чиновник министерства земледелия гетмана Скоропадского господин Соловьев. Правая рука его висела на черной косынке. Как шафер, он находился в церкви и был оцарапан при взрыве. Вследствие этого он вынимал портсигар и закуривал левой рукой.

Два свидетеля находились тут же. Раненный в голову ротмистр Клембовский лежал, забинтованный, на походной кровати. Рядом с ним стоял навтыяжку прапорщик Ткаченко — целый и невредимый.

Семена Котко и Миколу Ивасенко ввели под конвоем и поставили перед судом.

— Альзо,— сказал обер-лейтенант фон Вирхов и воздушным движением посадил в глаз свое стеклышко.

— Не теряя времени,— перевел Соловьев, закуривая левой рукой.

Суд продолжался четверть часа.

— Так вот какое дело, братцы,— сказал наконец Соловьев, вставая, и приблизил к глазам лист бумаги, исписанный карандашом.— Объявляется приговор. «Крестьянин Семен Котко и крестьянин Николай Ивасенко за нападение и убийство немецкого часового — раз, за незаконное хранение оружия — два и за налет на церковь во время богослужения, при котором от взрыва ручной гранаты ранены ротмистр Клембовский и чиновник министерства земледелия Соловьев, что полностью подтверждается свидетельскими показаниями, а также признанием самих подсудимых,— германским военно-полевым судом приговариваются к смертной казни через расстрел. Приговор привести в исполнение публично через два часа. Председатель суда обер-лейтенант фон Вирхов». Все. До свидания.

Обер-лейтенант махнул перчаткой. Семена и Миколу увели обратно в сарай.

— Ну, теперь я тебя могу спросить,— с трудом размыкая очерствевшие губы, сказал Микола, когда они остались одни и сели на солому,— у тебя ще душа в теле, чи ни?

— Моя душа уже с четырнадцатого года вышла наружу, — пытаюсь улыбнуться, ответил Семен.

— А моя ще держится, — прошептал Микола и вдруг положил голову на плечо Семена. — Ой, боже ж мий, боже! Разве гадал я ще на прошлой неделе, что не минует меня сегодня германская пуля! — И он заплакал про себя, как ребенок.

— Цыц, — строго сказал Семен. — Нехай люди не чуют.

Он отвалился головой к стене сарая, раскинул по соломе ноги и, поправив за спиной связанные руки, запел вызывающе громко и вместе с тем заунывно старую украинскую песню, знакомую смолоду:

Був у ме-ене коняка,
Був коняка-разбийжака,
Була шабля, тай рушниця,
Тай дівчина-чаровниця...

Время двигалось странно. То оно несло с неслышанной скоростью, так, что леденело сердце, то вдруг останавливалось и повисало над головой всей своей непеносимой тяжестью. Так прошел один час, и уже второй час был на излете. Недалеко на селе проиграл военный рожок.

Загремел засов. Дверь отворилась. В гайдамацкой шапке с красным верхом вошел Ткаченко.

— Что, Котко, песни спиваєшь? — сказал он, остановившись против Семена. — Торопись спивать, а то время у тебя уже мало остается.

Ничего не ответил ему на это Семен. Ткаченко прошелся перед ним туда и обратно, как перед фронтом, и снова остановился, тремя пальцами разглаживая ус.

— Не хотишь со мной разговаривать? Довольно глупо. Может быть, ты до меня что-нибудь имеешь, а я до тебя ничего не имею. Жалко мне тебя, Котко, в твой последний час.

— Пожалел волк кобылу, оставил хвост тай гриву. Не треба мне этого. Вертай назад, откуда пришел, чтоб я в свой последний час не видел твоей поганой морды.

— Опять же глупость. Дурак ты, Котко, дурак. Как был всегда дураком, так дураком и выйдешь сейчас перед пехотным взводом.

— Жалко, что руки мне теи злыдни поскручивали, — прошептал, скрипя зубами, Микола.

Но Ткаченко даже прямым взглядом его не удостоил, а лишь только покосился с усмешкой.

— И, если хочешь, Котко, я тебе могу сказать в твой последний час,— продолжал он,— в чем есть твоя деревенская дурость. Не понял ты, Котко, политики. Не сварил котелок. Залетел ты в своих думках чересчур высоко. Захотелось тебе сразу получить все счастье, какое только ни есть на земле. Очи у тебя, Котко, сильно завидующие, а руки еще сильнее того загребущие. Увидел ты красивую дивчину и сразу же до нее своими лапами — цоп! И не сварил твой котелок, что, может быть, тая дивчина — богатая дочка образованного человека, твоего непосредственного начальника, и она до тебя, бедняка, не пара. Затем увидел ты клембовскую гладкую худобу и клембовскую хорошую землю и сразу же их своими холопскими лапами — цоп! И не сварил твой котелок, что эта гладкая худоба, и эта хорошая земля, и эти новые сельскохозяйственные машины есть священная, нерушимая собственность хозяина нашего, царем и богом над нами поставленного господина Клембовского. Но и того показалось мало завидующим твоим глазам и загребушим твоим рукам. Увидел ты дальше, Котко, власть; власть — надо всем, что только ни есть на земле, под землей, в воде и на море: понравилась тебе тая власть, и ты пошел до своих сватов, до разбойников-большевиков, в их Совет депутатов и вместе с ними подлыми своими руками тую божескую власть — цоп! И вот до чего тебя все это привело, Котко. А умные люди как поступают? Возьми меня. Я присягу свою свято исполнял. Я в думках своих чересчур высоко не залетал, а если когда и залетал, то держал это при себе. Я начальству своему уважал. Я чужую священную собственность сохранил как зеницу ока. Я муку через то от людей принимал. И я достиг. А ты не достиг. Кто теперь есть ты и кто я? Я теперь получил за верную службу от его светлости ясновельможного пана гетмана Скоропадского эти офицерские погоны. Я Соньку выдам за дворянина и сам дворянином, даст бог, сделаюсь по прошествии времени. А ты в неизвестной могиле сгинешь, как тая падаль.

— Брешешь! — закричал Семен, вскакивая. — Брешешь, шкура! Я из могилы выроюсь за свое счастье и костями буду душить вас, гадов!

Тут во второй раз проиграл на селе военный рожок.

— Мало твоего остается, Котко, мало. Может быть,

и до десяти минут не хватит. Попрощаемся лучше навеки, как нам господь наш Иисус Христос советует, ничего не имея друг на друга. Один раз ты меня уважил...

— Вот тогда я был главный дурак, когда уважил.

— Другой раз я тебя уважил. Третий раз опять ты меня уважил...

— И опять был дурак.

— Теперь я тебя в последний раз уважу. Закури, Котко, чтоб дома не журились.

Ткаченко вынул серебряный портсигар, достал из него папиросу и протянул ее к лицу Семена, желая вложить в рот. Но Семен резко отвел голову.

— Не треба! — крикнул Семен. — А за все твои слова, шура, плюю в твои поганые очи.

И Котко плюнул в лицо Ткаченко.

Ткаченко отвернулся, вытерся носовым платком и ударил Семена нагайкой наотмашь поперек лица.

Глава XXX ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ

Фрося скакала через степь, не останавливаясь.

Она изо всех сил колотила пятками лошадь, надеясь как можно скорее доскакать до отряда и выпросить помощь. Но не отъехала она от села и пятнадцати верст, как по степи показались огни.

На всем скаку трофейный конь внес ее в лагерь. Вокруг горели походные костры. Стояли пушки, не снятые с передков. Конь радостно заржал и остановился. Девочку окружили люди.

При свете костров многие лица казались Фросе знакомыми. Один отчетливо напоминал ей наблюдателя, с которым она разговаривала утром на опушке лесочка; другой был вылитый командир отряда; две бабы с детьми на руках и черные овцы со связанными ногами в повозке стояли перед глазами, как соя, приснившийся во второй раз. Фрося сползла с лошади, пробормотала: «У вас тут нигде нема водички напиться?» — легла на землю и в тот же миг заснула.

Это был действительно тот самый повстанческий отряд. Через час после отъезда Семена прискакал наконец разведчик, привезший в шапке приказ губернского ревкома выступать. Отряд немедленно выступил и только что соединился с подоспевшей батареей.

Командир взглянул на обрубленные построики, крикнул, подхватил спящую девочку под мышки и положил на подводу с бабами и овцами. Затем кинул на свои командирские плечи бурку и поднял отряд.

Отряд двигался медленно и осторожно. На рассвете он остановился в балке, верстах в семи от села. За одну эту ночь отряд увеличился втрое. Сельчане со всех сторон выходили в степь ему навстречу с конями и оружием и надевали поперек шапок червонные ленты. Теперь в отряде уже было не меньше как пятьсот бойцов, не считая батарейцев.

Разведка, высланная вперед, побывала в селе и к полудню вернулась. Она донесла, что Семен и Микола сидят, запертые в клембовском сарае, и ждут немецкого полевого суда.

Одну сотню командир поставил на правый фланг и одну сотню — на левый. Одну сотню послал в глубокий обход и приказал появиться у злыдней с тыла. Нового командира батареи попросил быть настолько ласковым поставить свои пукалки возможно ближе и крыть по злыдням так, чтоб из них душа наружу. Себе же взял остальное, с тем чтобы со всеми бричками, пулеметами, бабами и кухнями ворваться в село с фронта.

В третий раз на селе проиграл рожок.

И вдруг с колокольни раздался набат. Кто-то с поспешным отчаянием колотил в церковный колокол.

Ткаченко прислушался.

В это время низко над сараем со свистом пронесся снаряд и в тот же миг посредине двора разорвался. Ухо артиллериста не могло ошибиться: была русская трехдюймовая пушка. Второй снаряд попал в скирду. Из нее повалил густой опаловый дымок. Протяжный вой сотни голосов долетел из села. Его прострочила короткая очередь пулемета. Третий снаряд пролетел над сараем и ударил в клембовскую крышу. Ткаченко согнулся и бросился вон.

Послышалась торопливая немецкая кавалерийская команда. Немецкий эскадрон рысью выезжал со двора.

От горящей скирды несло жаром. Семен и Микола переглянулись и осторожно вышли из сарая. Часовых не было. Двор был пуст. Набат не переставал ни на минуту.

Едва ударило первое орудие и над степью резнул первый снаряд, как с правого фланга и с левого, с тыла и

с фронта, со всех четырех сторон, с воем и свистом посыпались в село партизанские сотни.

И впереди всех, сидя боком на бричке, с раздутыми усами и в железных очках, въехал в село командир Зиновий Петрович, по-хозяйски закутанный от пыли в бурку.

Соединенный гайдамацко-немецкий отряд отступил в панике. Комендантские экипажи насилу выскочили из села, увозя немецкий суд, а вместе с ним и ротмистра Клембовского.

А церковный колокол продолжал звонить и звонить без устали, точно в него с нечеловеческой силой и упрямством колотил внезапно сошедший с ума пономарь. Две женские фигуры металась на колокольне. Одна — высокая, костлявая старуха в лохмотьях и с торбой на спине; другая — молодая, вся в монистах и лентах, с развевающейся за плечами серпанкой.

Это были мать Семена и Софья. Взявшись за руки, они без передышки, как заводные, раскачивали язык колокола, крича во весь голос одно и то же:

— Ратуйте, люди! Ратуйте, люди! Ратуйте!

Их силой оторвали от веревки и стащили вниз.

Первые же хлопцы, на бричке с пулеметом вскочившие в клембовский двор, развязали Семена и Миколу. Они подхватили на бричку своих пропавших товарищей, которых и не чаяли видеть живыми, и поскакали к церкви, где Зиновий Петрович тем же часом уже разбил ставку и занимался своим любимым делом — принимал пленных и трофеи.

— Ну что, герой, отвоевал свою долю? — спросил Зиновий Петрович, глядя строго поверх очков на Семена.

Но ничего не успел ответить Семен своему командиру по той причине, что как раз в эту самую минуту увидел свою мать и Софью, пробиравшихся к нему сквозь толпу. Они подошли и остановились близко, рассматривая его с ужасом, как привидение.

— Ой, Семен, — бормотала Софья, крутя и выворачивая на груди руки, — ой, Семен, любимый мой, целый, не убитый...

Она рванулась к нему, но Семен, покосившись на командира, строго натужил скулы и сказал:

— Та подожди ты, ради бога, Соня. Видишь — я как раз с командиром разговариваю. Стань пока рядом с мамою. Эти бабы! Через них только одна паника, и ничего больше.

В этот миг народ подался на стороны, и пять хлопцев поставили перед командиром прапорщика Ткаченко, только что захваченного в степи.

— Це что такое за диво? — сказал командир, с ног до головы оглядывая Ткаченко. — А ну, человек, повернись трошки, покажись людям, — может, они тебя узнают и щось про тебя хорошее скажут. Чтоб мы знали, куда тебя отсюда отправлять — направо или налево.

— Свободно может не повертаться, — сказал Семен. — Мы с этой шкурой добре знакомы. Не один раз бачились. Совсем недавно, может час назад, в том смертном клембовском сарае он со мной разговаривал. Ще зарубка на морде держится.

— На твою совесть, — сказал Зиновий Петрович. — Как скажешь, так и сделаем. Направо или налево?

— Налево, — сказал Семен.

Услышал эти слова Ткаченко, упал на колени. Но хлопцы подхватили его под руки и поставили.

— Налево, — сказал Зиновий Петрович.

Ткаченко увели за церковь.

Софья закрыла глаза руками и отвернулась. За церковь ударил выстрел.

— Теперь так, — сказал Зиновий Петрович своему штабу, — война наша ще далеко не кончена, а лишь начинается. Думаю я, пока немцы не очухались, очистить село и прямым ходом рвать под станцию Кодыму, сделать им на железной дороге неприятность, чтобы до ихней Германии не доехало наше украинское жито. А ты, Семен, пока наша артиллерия меняет позицию, бежи и явись в распоряжение батарейного командира, а то он там горько плачет без хороших наводчиков. Стой. Ще не все. Два слова за твоих баб. Они могут сесть на подводу и находиться при обозе второго разряда, где у нас уже, слава тебе господи, есть теих отчаянных женщин боле, чем треба. Теперь сполняй.

Глава XXXI

ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА...

Пушки стояли в степи за селом среди еще не вывезенных копий жита.

Командир шагал по стерне с буссолью под мышкой, разбивая фронт батареи. Это был хромой человек в чер-

ных шароварах с красным кантом и в шведской куртке с бархатными артиллерийскими петлицами. Громадная русая борода казалась привязанной к коричневому от солнца лицу с белым пятном на том месте, которое закрывал козырек. Но в степи было жарко, и командир батареи держал фуражку в руке. В его белой, наголо обритой голове отражалось солнце.

При виде трехдюймовых пушек Семен подтянулся и по старой артиллерийской привычке подскочил к батарейному чертом:

— По приказанию товарища командира соединенного партизанского отряда явился в ваше распоряжение бомбардир-наводчик Котко.

Веселое изумление мелькнуло в юношески голубых глазах командира батареи.

— Очень приятно, Семен. В таком разе принимай свое третье орудие. Ставить прицел не разучился?

— А вы кто такой будете?

— Кто такой буду, не знаю, а сейчас девки дразнятся — Самсоновым. Да ты чего на меня вылупился? Аль борода моя тебе не показалась?

— Вольноопределяющийся Самсонов! — закричал Семен.

— Он самый. Борода для красоты.

— А батарея?

— Она самая. Дорогая, полевая, трехдюймовая.

— И орудия моя?

— Тут.

— Ах ты ж, боже мий! Ни за что бы на свете не подумал того! — воскликнул Семен, вытирая ладонью глаза. — Ну что ты скажешь? Шел солдат с фронта тай пришел обратно на фронт!

— Я ж тебе предлагал, чудаку, остаться. Ну чего ты поперся?

— Сеять.

— И что же, посеял?

— Посеял.

— А собирали другие?

— Другие.

— Видишь, какие дела. Ну, да ладно. А сейчас мы с тобой молотить начнем. Становись к своему орудию. Сдается мне, что вон по тому бугорку какие-то упряжечки к нам спускаются. — И Самсонов, надев быстро фуражку, закричал молодецки: — Батарея, к бою! При-

цел семьдесят. Прямой наводкой. По немецкой гаубичной батарее. Гранатой! Не подкачай, Семен. Два патрона беглых!

Припал Семен — плечо к колесу — к своему орудию, и даже сердце у него захолонуло. Каждую отметинку, каждую царапинку на щите и на колесе узнавал он и считал, как мать узнает и считает каждую кровинку на теле своего ребенка.

В один миг навел Семен орудие, вогнал унитарный патрон, хлопнул затвором и взялся за шнур.

— Огонь!

Сноп красного огня выскочил из подпрыгнувшей пушки. Батарея ударила два патрона беглым. Один — и следом за ним другой. Прильнул Семен глазом к прицелу.

Шесть черных деревьев выросло из земли перед самой немецкой батареей по первому выстрелу. И шесть черных деревьев выросло из земли по-за самой немецкой батареей по второму выстрелу.

— Огонь!

И шесть черных деревьев выросло из самой немецкой батареи по третьему выстрелу. Полетели вверх обломки зарядных ящиков. Полетели колеса. Упали и забились, запутавшись в постромках, уносные лошади. Побежала прислуга.

— Молодец, Семен! Молоти еще! Домолачивай! Два патрона беглых. Огонь!

А уж с горки, наперерез откуда ни возьмись появившейся немецкой цепи, сыпалась сотня за сотней, и впереди всех, на бричке ехал Зиновий Петрович, по-хозяйски закутанный в черную бурку.

И побежали немцы во второй раз за этот день. Но, как правильно сказал Зиновий Петрович, война еще была далеко не кончена, она лишь начиналась.

Два месяца пришлось еще бить немцев и с фронта и с тыла, и с правого фланга и с левого, прежде чем они окончательно и навсегда не очистили Украину. Рассказать же об этом во всех подробностях — дело не поэта, но историка.

Мы к своему рассказу можем прибавить только то, что отряд Зиновия Петровича сначала превратился в бригаду, затем в дивизию и со славою кончил свою немецкую кампанию в конце октября, целиком вступив под знамена Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Батарея товарища Самсонова развернулась в дивизион;

Семен Котко был назначен командиром одной из батальонов. Он взял к себе старшим телефонистом друга своего Миколу Ивасенко. Что касается до баб, — до Софьи, Фроси и Семеновы мамы, — то бабы еще долго ездили за отрядом в обозе второго разряда. Это, конечно, не полагалось по уставу, но Зиновий Петрович сделал исключение и уважил Семена во внимание к его храбрости. В том же обозе второго разряда в середине девятнадцатого года Софья родила Семену сына. В честь товарища Ременюка, зверски замученного интервентами первого председателя сельского Совета и первого Семенова свата, того сына назвали — Трофим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло без малого двадцать лет. Много незваных гостей побывало за это время на Советской земле. Иные из них уже добирались до самой Москвы. Но никто не минул участи шведов и участи немцев.

Давно уже в том селе, где некогда стояла бедная хата Семена Котко, — большой и богатый колхоз, а управляет тем колхозом Микола Ивасенко. И есть в том богатом и большом колхозе образцовая и знаменитая на весь Советский Союз свинарня, а управляет той знаменитой свинарней супруга товарища Ивасенко — Евфросинья Федоровна, или попросту говоря — Фроська.

И лесочек невдалеке от села стоит на своем месте. Остался до сих пор в том лесочке молодой дуб, под которым лежат славные кости Трофима Ременюка и друга его, матроса Василия Царева. Их имена заросли корой, и следа не осталось от гвоздя, которым когда-то была прибита к дубу матросская шапка. Но люди эти имена знают, поминая в песнях.

И молодой дуб блестит вырезными своими листьями над тихой могилой. Мы говорим — «молодой дуб». Он как был молодым, так молодым и остался. Потому что много времени надо дубу, чтоб постареть. И что такое для дуба — двадцать лет? А слава о героях и вовсе никогда не стареет.

И вот ежегодно, весной, едва только на Спасской башне окончат играть куранты, на Красную площадь выезжает принимать первомайский парад народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Клим Во-

рошилов. На изящном коне золотистой масти оббезджает он войско и здороваается с частями, неподвижно застывшими, точно вырубленными из серого гранита. Потом он слезает с коня, отдает ординарцам поводья и поднимается на левое крыло мавзолея.

Оттуда, в потрясающей тишине, раздается его сильный, отчетливый и неторопливый голос:

— Я, сын трудового народа...

И молодые бойцы повторяют за ним слова присяги — неторопливо, отчетливо и сильно:

— Я, сын трудового народа...

Семен Федорович Котко и жена его Софья Никаноровна стоят на правой трибуне у мавзолея. Став на носки, они всматриваются с напряжением в шеренгу молодых бойцов Пролетарской дивизии, чтобы увидеть среди них своего сына. Они специально для этого приехали на один день из Запорожья, где Семен Федорович заворачивает заводом алюминиевого комбината. Семен Федорович мало изменился, хотя потолстел, и в клочковатых бровях его блестит седина. На нем кожаная фуражка, синее непромокаемое пальто, которое он надел, так как с утра собирался дождь. Но погода разгулялась, стало жарко, и Семен Федорович расстегнул пальто. На лацкане пиджака виднеется орден Красного Знамени, а на локте висит желтая самшитовая палка, купленная в прошлом году в Сочи. Софья Никаноровна одета так, как в Запорожье одеваются все не слишком молодые жены директоров: она в маленькой фетровой шляпке и габардиновом пальто с кроличьим воротником под котик и с манжетами того же меха. Она тоже потолстела, и в волосах ее тоже нет-нет да и блеснет седина. Возле глаз лежат добродушные сухие морщинки, но сами глаза все так же молоды, выпуклы и вишневые.

— Ой, Семен, — шепчет она скороговоркой, — честное слово, я вижу! Вон он, вон. Во второй шеренге четвертый слева. Накажи меня бог! Бачь! Еще рядом с ним один точно в таком же шлеме и точно в такой же гимнастерке, ну только совсем бледный блондин, а наш Трофим каштановый.

— Ей-богу, Соня, ты меня удивляешь. Как это можно в таком количестве бойцов увидеть одного человека? Не конфузь меня перед публикой. Смотри на парад и не открывай лучше рот. Ну и где ж, по-твоему, Трофим?

— Так вон же. Во второй шеренге, четвертый с краю.

— То не наш Трофим.

— А я тебе говорю, что то наш Трофим.

— Хорошо. Нехай будет наш Трофим, если тебе так угодно,— вежливо говорит Семен, напрягая скулы.

А по площади отрывистым, сильным вздохом катится:

— Я, сын трудового народа...

И вздох этот отдается всюду.

«Я, сын трудового народа...» — гремят зеркальные плиты мавзолея.

«Я, сын трудового народа...» — говорят седые стены Кремля. «Я, сын трудового народа...» — звенит бронза Минина и Пожарского. «Я, сын трудового народа...» — поет потрясенный воздух.

«...Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Союза Советских Социалистических Республик от всяких опасностей и покушений со стороны всех врагов и в борьбе за Союз Советских Социалистических Республик, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни».

— Я, сын трудового народа!..

Сентябрь 1937 г.

Москва

ЖЕНА

Повесть

I

Грузовик прыгал по разбитой дороге. Снаряды стучали в ящиках. Мне приходилось все время напрягаться, чтобы не вылететь за борт. От встречных и попутных машин над дорогой стояла густая пыль. Мы мчались в ее душных облаках, черных в середине. Шинель, накинутая на голову, несколько не защищала от пыли. Под шинелью было еще жарче. Пот лился из-под козырька и щекотал брови. Я видел свой почерневший нос. При каждом толчке с высохших березовых веток маскировки в глаза летели хлопья пыли.

Небо было затянуто сухими серыми тучами, тонкими и жаркими. Вокруг до горизонта стояла очень высокая и необыкновенно густая рожь, уже сильно побелевшая и казавшаяся еще белее на фоне аспидного неба. Во многих местах она была повалена и раскидана вокруг свежих воронок, покрытых внутри сизой окалиной.

Иногда в небе появлялись шестерки или девятки немецких бомбардировщиков. Тогда наш водитель — молоденький сердитый ефрейтор с медалью за Сталинград — высовывался из окна кабины по пояс и задирали лицо вверх. Со сдержанной яростью он рвал рычаг скоростей, нажимал изо всех сил на газ. Машина как будто делала прыжок и еще быстрее неслась вперед. А взрывная волна жарко била сзади, валила на пол, и взрывы один за другим зловеще вставали над рожью в стороне от дороги.

Когда машина останавливалась и водитель со злым лицом наливал из ведра в кипящий радиатор воду, на западе слышались слитные раскаты орудийной пальбы.

Был третий день нашего наступления на Орел.

Я вышел из штаба танковой армии после обеда и рассчитывал на одной из попутных машин засветло добраться до передовой. Но так как армия все время находилась в движении, то маршрут мне дали самый приблизительный, а карты у меня не было. Машин по дороге шло очень много, но подходящей для меня не попадалось. Машины забирали меня, везли километра два-три, а потом сворачивали в сторону, так что я опять оставался один на перекрестке и стоял с поднятой рукой, нетерпеливо ожидая попутную машину. Таким образом я уже переменял четыре машины, а в промежутках между ними прошел километров шесть пешком. Наконец мне повезло. Подвернулась колонна со снарядами. Она шла именно туда, куда мне было нужно.

Между тем начинало смеркаться. Чем ближе к передовой, тем мрачнее становился пейзаж. На каждом шагу виднелись ужасные следы вчерашней битвы. Ветер нес с загаженного, вытоптанного поля смрад неубранных трупов, невероятно быстро разлагавшихся от июльской жары. Возле брошенных среди поля немецких пушек и обгорелых зарядных ящиков валялись кучи пустых гильз. Иногда в поваленной ржи виднелось исковерканное алюминиевое туловище «юнкера» с желтыми и черными крестами и высоко поднятым большим легким крестом с мельничкой свастики. Всюду лежали раздавленные каски, пулеметные ленты, простреленные железные бочки. На черном от пыли придорожном бурьяне висели лохмотья серо-зеленой одежды. Не было вокруг ни одной пяди земли, на которой бы война не оставила своего мрачного отпечатка.

Но особенно запомнился мне небольшой клочок земли на выезде из одной, сожженной дотла деревни. Пепел еще курился, под его толстым серым слоем дышал и нежно просвечивал бледно-розовый жар. Обычно из пожарища торчат только трубы. Но здесь не было даже труб. Все сровнялось с землей. Лишь одно обугленное дерево косо стояло над печным мусором. Но на том клочке земли, который я увидел на выезде из деревни, не было даже пепла. Можно было подумать, что на этой земле вообще ничто уже не может существовать, даже огонь. Это была абсолютно мертвая земля, превращенная в черный камень, вся как бы облитая лавой. И на этом мертвом камне лежало два немецких трупа, раздувшихся, оплывших, как будто сделанных из

смолы, с белыми лопнувшими глазами и рыжими обгоревшими волосами, прикипевшими к земле. Четыре разбитых танка в разных положениях стояли близко друг к другу — три немецких и один наш, из развороченного люка которого торчала наружу нога в сапоге, подбитом светлыми гвоздями. Немецкая обозная кляча, покрытая зелеными мухами, стояла на дрожащих ногах с крупными разбитыми копытами. Белая, слепая, с длинными зелеными соплями под мордой, она стояла посреди дороги, как привидение. Она не в состоянии была двинуться с места, и машины ее объезжали.

Трое крестьян — старик, старуха и молодая с ребенком за пазухой — торопливо гнали корову и толкали тележку на маленьких железных колесиках, нагруженную узлами. Косясь на трупы и переступая через них, они почти бежали по этой мертвой зоне.

Тотчас за выездом был перекресток, и на нем с поднятой рукой стояла молодая миловидная женщина с портфелем. На ней было хорошо сшитое синее пальто с широкими внизу рукавами, а на голове надет модный клетчатый платок. Она резко бросалась в глаза несоответствием своей внешности и места, где она находилась. Если бы не пыль, покрывавшая ее с ног до головы, то можно было бы подумать, что она стоит в Москве, где-нибудь на площади Свердлова, и дожидается троллейбуса.

Водитель не склонен был лишний раз останавливаться. Он сделал вид, что не замечает, и хотел проскочить. Я постучал кулаком в кабину. Водитель затормозил.

Она подошла к борту машины и попросила ее подвести.

— А куда? — спросил я.

— Видите ли, — сказала она с растерянной улыбкой, — теперь я уже, собственно, и сама не знаю — куда. Я разыскиваю одну воинскую часть. Но сейчас все в движении, никто ничего не знает. Я еду с самого утра и никак не доеду. Может быть, вы знаете, где воинская часть... — и она назвала номер полевой почты.

— К сожалению, не знаю.

— Так что же мне делать? — сказала она почти с отчаянием.

— Вы, вероятно, вольнонаемная? Едете к месту службы?

— Нет. Я разыскиваю могилу своего мужа. Он погиб на фронте в марте прошлого года. До сих пор его могила была на территории, занятой немцами. А теперь, когда началось наступление, я надеюсь...

— Пропуск у вас есть?

— Ах, простите. Я все забываю.

Она привычным движением достала из сумочки бумажку и протянула мне. Это был формальный пропуск, выданный штабом фронта на имя Нины Петровны Хрусталевой.

— В порядке. Что же это за воинская часть, куда вы едете?

— Истребительный авиационный полк, которым командовал мой покойный муж. Там у меня есть друзья. Мне бы только до них добраться, а там уже... Как же быть? Ужасно дикое положение!

Она посмотрела вокруг прекрасными, зеркальными глазами, в которых было больше горечи, чем страха.

— Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете?

— Единственное, что я могу вам предложить, это довести вас до командного пункта той части, куда я сам еду. Возможно, что там знают позывные вашего истребительного полка, и можно будет созвониться. Им известно, что вы едете?

— Конечно. Они меня ждут.

— Так вот. Решайте.

— Хорошо.

Она решительно подобрала пальто и поставила ногу на колесо. Я протянул руку и втащил ее в машину. Она села рядом со мной на свой портфель, уперлась спиной в кабинку, а ногами в ящик со снарядами, и мы поехали, подскакивая на колдобинах. Стемнело. Желтая луна слабо и душно светила в пыльном небе. Со всех сторон на горизонте стали видны пожары. Горели деревни и хлеба, подожженные отступающим врагом. Вместе с запахом гари ветер продолжал нести удушающую, фосфорную вонь трупов. Но иногда в нее врывалась нежная, прохладная струя совсем другого воздуха. Это был легкий, прелестный дух цветущей гречихи.

— Вы посмотрите,— вдруг сказала Нина Петровна громко, желая быть услышанной за грохотом машины.— Ведь это наша родная, орловская земля. Сердце России. Вдумайтесь только в это. Поймите. И вдруг —

немцы. Что-то чудовищное! Почему они здесь? По какому праву? Нет, с этим невозможно примириться. Без ярости об этом нельзя подумать. Что они только сделали с нашей землей!

Она сжала кулаки возле рта. Ее прелестное лицо, серое от пыли, смотрело на меня неподвижными глазами, в которых отражалось зарево пожаров.

— Ну, я им не завидую,— сказала она сквозь стиснутые зубы. Быстро вынув из сумочки платок, она стала с силой вытирать лицо, как бы стараясь стереть под глазами пыль.— Они нам за все это заплатят. Абсолютно за все. За каждый клочок нашей испоганенной ими земли. За каждую нашу слезу. Будьте уверены. За каждую!

II

Небо непрерывно светилось. В тучах судорожно подергивались багровые сполохи. Необыкновенно яркие желтые люстры светящихся бомб висели над всем западным горизонтом. Линия фронта тянулась и блестела, как ярко иллюминированное шоссе.

Мы повернули и стали спускаться в темную балку, где шло какое-то быстрое тайное движение множества людей, пушек и танков.

Скоро грузовик остановился.

— Как будто здесь,— сказал водитель, выходя из кабины и осматриваясь.

Мы вылезли, разминая сомлевшие, гудящие ноги. К нам тотчас подошли три темные фигуры с автоматами. На миг нас осветил электрический фонарик и погас.

— Комендантский патруль,— сказал негромкий голос.— Пропуск?

— Затвор,— сказал я.

— Куда следуете, товарищ подполковник?

— В хозяйство Нечаева.

— Тут.

— Проводите меня к начальнику штаба.

— А женщина?

— Со мной.

Небо заметно расчистилось. Луна светила довольно ярко. Левая сторона балки во всю длину была освещена.

щена луной. Правая — тонула в тени. Нас повели по теневой стороне. Потом мы стали подниматься по отлогому склону, упиравшемуся в лунное небо, покрытое остатками дневных облаков. На середине склона перед нами вырос большой темный куст. В кусте бегло и четко хлопала пишущая машинка, отзванивая концы строчек. Неторопливый голос диктовал:

— ...и, запятая, обойдя названную высоту с северо-востока, запятая, продвинулись до полотна железной дороги, запятая, где обнаружили...

Патрульный постучал в какую-то дверь. Она приоткрылась. На нас упала полоса затемненного света. Патрульный стал на подножку автобуса, со всех сторон заставленного срубленными сосенками. Он вполголоса доложил о нас.

— Одну минуту, — сказал голос и быстро додиктовал: — ...где обнаружили три неприятельских танка и две самоходные пушки, запятая, прикрывавшие левый фланг отступающего противника. Точка. Войдите!

Мы вошли в автобус, где под крошечной затемненной лампочкой за столиком сидела девушка в пилотке, положив русую голову на громадную каретку своего ундервуда, и уже спала, воспользовавшись минутным перерывом.

— Только, пожалуйста, проходите скорее и закрывайте дверь, а то тут, знаете, и днем и ночью летают, — сказал начальник штаба в габардиновой гимнастерке стального цвета, с двумя орденами — Ленина и Красной Звезды — и белыми танками на широких полевых погонах.

Он погладил себя по мясистой, круглой, наголо выбритой голубой голове, крепко зажмурился и протянул руку за моим удостоверением. Он взял его, приблизил к лампочке под фунтиком из газетной бумаги, надел круглые роговые очки, отчего его темное, красное от загара лицо стало вдруг старым и добрым, и, не торопясь, прочитал его два раза от доски до доски. После этого он аккуратно сложил бумагу вчетверо и вручил мне.

— Я знаю, — сказал он, — мне уже сообщили из штаба армии. Как доехали? Благополучно? По дороге не бомбили? А на нас вчера налетело на марше двенадцать. Вывели из строя шесть человек и одну легковую машину. Начали проявлять активность. Товарищ с вами?

Нипа Петровна вынула из сумочки и подала свой

пропуск. Полковник прочитал его так же внимательно, затем сложил в четыре раза и вернул, сказав:

— Как же это вы к нам попали? Заблудились? Бывает.

Она коротко рассказала свою историю. Полковник покрутил ручку штабного телефона в кожаном желтом футляре и сказал в трубку:

— Дайте туберозу. Это тубероза? Говорит седьмой. У вас уже есть какая-нибудь связь с Енисеем? Так давайте. Ну, как в Москве? Художественный театр уже возвратился? — обратился он ко мне и сейчас же, не дожидаясь ответа, сказал в трубку: — Это Енисей? Седьмой у аппарата. Это кто? Здравствуйте. Вы уже переселились? Ну, так с новосельем. Слушайте, вот какое дело. Вы к себе никого в гости не ожидаете из тыла? Ждете? Так посылайте машину ко мне, она сидит у меня в автобусе и слушает, как рвутся мины. Некрасиво. Нина Петровна, совершенно точно. Эх вы, джентльмены! Не знаю, как это случилось. Вам лучше знать. Хорошо. Передам. У вас тихо? У нас пока тоже. Не знаю, что будет завтра. До свиданья.

Он положил трубку и покрутил отбой.

— Так что ж, Нина Петровна, все в порядке. Утречком за вами заедут. А пока не знаю, что вам и предложить. Мы, знаете, на марше. У нас даже палаток при себе нет. Все во втором эшелоне. Спим под кустиками. Можно, конечно, устроить вас здесь, так сказать, в канцелярии. Но только вряд ли вы здесь уснете: то телефон, то машинка.

— Нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь, — сказала Нина Петровна. — Большое вам спасибо. Я лучше побуду на воздухе. Ночь такая теплая.

— В крайнем случае могу вам дать свою шинель. У меня чудесная теплая шинель из генеральского драпа. А что касается вас, товарищ писатель, то вам я тоже советую устроиться где-нибудь тут под кустиком, недалеко от щели. Вздремните. Все равно генерала еще нет. Он объезжает бригады. Танки сейчас как раз занимают исходное положение. Когда генерал приедет, я вам дам знать. Спокойной ночи. Надеюсь, завтра у вас будет масса впечатлений.

— Что-нибудь намечается?

— Да ведь как вам сказать? Наступаем помаленьку. Ол, конечно, не хочет, сопротивляется. Приходится драть-

ся. Вот он, например, сейчас зацепился за одну речушку. Два километра отсюда. Ну, нам это, конечно, не правится. Придется завтра его попросить немного подвигнуться. Приятных сновидений.

Полковник разбудил машинистку. Она посмотрела на него из-под волос заспанными детскими глазами и сердито положила руки на клавиши. Мы вышли и, выходя, слышали, как он диктовал:

— С красной строки. За истекшие сутки неприятельская авиация проявила большую активность, запятая..

Луна светила еще ярче. На прозрачном лунном небе черно и отчетливо стоял западный гребень балки с кустиками маскировки и фигурой часового, наблюдающего за воздухом. Я раскинул свою большую солдатскую шинель на траве возле щели. Ничуть не жеманясь, Нина Петровна легла на край шинели, положила под голову портфель, поджала ноги и затихла. Я лег на другой край шинели, положил под голову полевую сумку, а ухо прикрыл фуражкой. Все вокруг было сравнительно тихо. Разумеется, настолько тихо, насколько это может быть ночью, перед атакой, в двух километрах от противника. Артиллерийский огонь почти прекратился. С нашей и с немецкой стороны стреляло всего несколько пушек. Снаряды пролетали высоко над нами. Их регулярный шум был похож на звук заржавленного флюгера и почти не беспокоил. Изредка немец пускал по гребню нашей балки одну или две тяжелые мины. Они с отвратительным кряканьем разрывались, наполняя балку запахом жженого целлулоида. Но это был не прицельный, а так называемый тревожащий огонь, который — как мы с Ниной Петровной заметили — никого не тревожил. Далеко по лунному небу иногда начинали бегать розовые звездочки зениток. Стрелкотал вдалеке танк. Но за всеми этими звуками таилась такая настороженная тишина, что спать совершенно не было сил. От скуки я часто курил, свертывая толстые папиросы из сухого табака, который прокалывал бумажку. Огонь спички казался мне громадным, как костер. Он освещал всю балку. И каждый раз, когда я закуривал, сердитый голос кричал откуда-то:

— А ну, там, полегче с огоньком. А то здесь все время летает и летает.

Нина Петровна все время ворочалась, не находя себе удобной позы. Наконец она села, обхватила колени руками и положила голову на колени.

— Что ж вы не спите? — сказал я. — Спите.

Она повернула руку к луне и посмотрела на большие часы-браслет.

— Ноль часов двадцать две минуты, — сказала она, очень громко зевая. — Абсолютно не в состоянии заснуть.

— Вам, наверное, неудобно лежать на покатом.

— Я умею спать где угодно. Не в том дело. Но вы представляете, какое у меня сейчас состояние? У нас нынче июль сорок третьего, а мой муж погиб в марте сорок второго. Считайте: шестнадцать месяцев. И каждый день я неотступно думала об одном: когда я наконец увижу его могилу. И вот завтра... вы понимаете... Может быть, даже нынче... Ох, если бы вы знали, как это трудно переживать. Места себе не нахожу. Знаете, мы с ним так чудесно жили, — вдруг сказала Нина Петровна так просто и так доверчиво, как можно только говорить с полужнакомым человеком в потемках и притом в не вполне обычных обстоятельствах. — У него был простой, веселый нрав. С ним было очень легко и приятно жить. На мою долю выпало большое, хотя и недолгое счастье любить его и быть любимой, — продолжала она, неподвижно глядя прямо перед собой, как бы сказывая длинную старую сказку. — Он был моим самым лучшим товарищем, самым любимым, дорогим другом. Он писал мне с войны не слишком часто, но аккуратно. Эти письма были для меня всем. Я ими дышала. Каждое письмо подтверждало мне, что он жив. Мне казалось, что без его писем я умру. И вот эти письма однажды прекратились. Я, конечно, хорошо понимала, что такое война. Давно, с самых первых ее дней, я приготовилась ко всему самому худшему. Но когда оно — это самое худшее — случилось, я не поверила — до того неправдоподобна, противоестественна, чудовищна была мысль, что он мертв, что его уже не существует на свете. Совсем не существует. Просто нет и больше не будет. Ни завтра, ни послезавтра — никогда. Ужасаясь и не веря своим глазам, я прочитала извещение несколько раз подряд. Потом меня охватило оцепенение. Но сейчас же вслед за оцепенением я почувствовала потребность немедленной деятельности. Мне казалось, что надо сейчас же, не теряя ни секунды, куда-то бежать, телеграфировать, писать, ехать, выяснять. Мне казалось, что я еще могу как-то спасти, вернуть, поправить что-то. И вместе с тем со всей ужасающей ясностью я понимала, что это непоправимо.

Я быстро надела валенки, шубу, повязалась платком, стала искать сумочку, деньги, карандаш. «Но, главное, чтобы о моем несчастье не узнал никто,— почему-то все время думала я.— Не надо, чтобы это знали другие. Это — мое. И я все сделаю сама». А что я должна была сделать, я и сама не знала.

Я осторожно заперла свою комнату и в сенях положила ключ за кадку с водой. Я слышала, как хозяйка возится в кухне с бидонами. Я боялась, что она меня окликнет. Но, слава богу, она не окликнула.

Я вышла во двор. Кончался март. Но стужа была, как в январе. Я забыла, зачем я вышла. Вместо того чтобы пройти на улицу, я повернула в другую сторону и пошла через двор назад к Волге. Во дворе зимовала заваленная сугробом лодка. По старому, твердому снегу я пошла через огород к обрыву. «Поклонись Волге»,— сказал Андрей, когда мы прощались в январе месяце в Москве. Теперь я вспомнила эти слова. Это были его последние слова. Он произнес их уже после того, как мы простились, в последний раз поцеловались и он — в короткой кожаной шубе, с большим планшетом через плечо и маленьким чемоданом в руке — спускался по широкой лестнице гостиницы «Москва». Я стояла на площадке и смотрела вниз, в широкий пролет, где на поворотах мелькала его фигура, толстая от шубы и от меховых сапог. Вдруг он остановился, задрал голову и, озорно блеснув синими глазами, крикнул: «Поклонись Волге!» У него был сильный, густой голос, и говорил он, как истый волжанин, с ударением на «о». «Поклонюсь непременно!» — крикнула я весело. Звук наших голосов в последний раз смешался и прошумел по широким вестибюлям и пролетам гостиницы.

Я вернулась в наш номер. Впрочем, он уже был не наш. Дверь была открыта настежь. Две горничные прибирали постель и мели сор. Но в умывальной еще был беспорядок и слышался теплый запах душистого мыла, одеколона и трубочного табака «Золотое руно». Здесь только что Андрей брился, по своему обыкновению не выпуская изо рта трубки.

Ах, если бы вы знали, какие три чудесных дня провели мы с Андреем в этом номере! Мы встретились в Москве совершенно случайно, не сговариваясь. Меня по-

слали из Куйбышева в Москву в главную контору Чермета по делам нашего завода, а он приехал с фронта получить из рук Калинина свою золотую звездочку. Возможно было подумать, что судьба, перед тем как разлучить нас навсегда, подарила нам три дня полного, незабываемого счастья. И вот они прошли — эти три дня. Андрей уехал. Да и мне пора было складывать вещи: срок моей командировки кончился.

Как грустно, как одиноко было досиживать последние часы в нашем номере, который был уже не наш. Но разве можно сравнить это одиночество с тем, какое я испытывала тогда, стоя среди сугробов над Волгой!

За Волгой горел невероятно яркий закат. На него больно было смотреть, а ледяной восточный ветер еще пуще раздувал его красное, желтое, зеленое пламя, охватившее полгоризонта. Я забыла дома вареники. Руки мои совершенно окоченели. Пальцы не сгибались. Я изо всех сил прижимала их к груди. Я не отрываясь смогла на запад. Мне казалось, что там пылает сама война. Синие тени танков — казалось мне — проносились взад и вперед над горизонтом. Подергивались зарницы артиллерийского боя. Огонь рвался из соломенных крыш. Рушились строения. И все это совершалось в подавляющем, сводящем с ума безмолвии.

Я вернулась домой и, не зажигая огня, легла на свою койку. Как была — в шубе и валенках, — я легла лицом к стенке. Меня знобило. Я крепко поджала ноги и, продолжая прижимать руки к груди, безостановочно повторяла: «Какое горе, какое горе, какое горе». Вдруг я испугалась, что меня услышат. Тогда я стала шептать про себя все то же: «Какое горе, какое горе». Однако скоро я забылась и начала говорить опять громко. Но меня никто не слышал. Я была одна во всем мире, наедине со своим горем, к которому я еще не привыкла и всю глубину которого даже еще как следует не поняла. Это были ужасные часы. Ужасные потому, что то, что случилось со мною и с ним, продолжало оставаться для меня — несмотря на всю свою очевидность и естественность — невероятным, неестественным, диким, бесчеловечным. «Как же это так? Что же это такое? — думала я, постепенно согреваясь, конечно, не такими словами, но такими мыслями. — Вот был чудесный, неповторимый человек. Мы так любили друг друга. Нам так хорошо было вместе, в нашем молодом мире. У нас могли быть детишки — весе-

лая, дружная семья. Нам бы с ним вместе жить да жить. А вот он погиб. Я больше никогда в жизни не увижу его, не поцелую, не услышу его голоса. Он мертв. Его нет. Он исчез. Его просто больше не существует. И самое ужасное в том, что с каждым днем он будет слабеть в моей памяти. Будет как будто все отдаляться и отдаляться от меня. О том, что его больше не существует, я узнала лишь сегодня. А в действительности его уже нет на свете две недели, пока шло извещение. Но ведь для меня его не стало гораздо раньше. Он исчез для меня в январе, в гостинице «Москва», в тот миг, когда я в последний раз увидела его на последнем повороте лестницы. И каждая минута уносит и будет уносить от меня все быстрее и быстрее частицы его, потому что разве в состоянии человеческая память угнаться за временем? Вот, например, его голос... Какой он был?» Страшно признаться, но я уже не совсем точно помнила его голос. Я его представляла, но услышать его в себе уже не могла.

Так, изводя себя воспоминаниями, я провела свою первую сиротскую ночь.

Было семь часов утра. Я могла еще отдыхать до восьми. Но больше не было сил оставаться одной. Я умылась в сенях ледяной водой и вычистила зубы. Хозяйка выглянула из кухни.

— Это вы, Нина Петровна?

— Да, это я.

— А я думала, что вы нынче опять не ночевали дома.

Я действительно часто не ночевала дома, оставаясь на заводе, в цехе. Но хозяйка не верила этому. Она думала, что я где-то гуляю.

— Нет, я сегодня ночевала дома, — сказала я.

Я не любила своей хозяйки. Это была сварливая, недоброжелательная мещанка. Она считала, что сделала для меня величайшее одолжение, сдав мне за двести рублей в месяц каморку с косым низким потолком, оклеенным желтыми газетами. Она смотрела на меня, как на беженку. Она презирала меня за то, что я — жена Героя Советского Союза — работаю на заводе и приношу домой так немного продуктов. Первое время она учила меня жить, но, получив отпор, стала донимать мелкими придирками. Кроме того, она потихоньку таскала мой сахар и отпивала мое молоко. Она входила в мою комнату, когда меня не было дома, рылась в моих вещах, читала

мои письма. Это, конечно, были мелочи. Я старалась их не замечать. Но иногда меня это сильно злило. Я мечтала найти себе другой угол.

Я положила извещение в сумочку, чтобы хозяйка в мое отсутствие не прочла его, заперла комнату и положила ключ за бочку.

— Что-то вы, Нина Петровна, нынче рано собрались,— сказала хозяйка.— Ай работы много?

— Работы хватает,— сказала я.

— Сводку вчерашнюю слыхали?

— Не слыхала.

— И я не слыхала.

Она глубоко вздохнула и собрала губы в оборочку.

— Говорят, опять что-то неладно под Севастополем.

Не знаете?

— Не знаю.

— Да... Дела.

На этот раз она особенно раздражала меня. С Крымом и Севастополем у меня были связаны самые лучшие воспоминания моей жизни. И у меня сердце обливалось кровью... но это не важно.

Когда я проходила через контрольную будку, вахтер остановил меня и потребовал пропуск. Это был хорошо мне знакомый старичок, инвалид Сергей Сергееч. Он меня отлично знал и никогда не спрашивал у меня пропуск. Я с удивлением остановилась.

— Батюшки! — воскликнул Сергей Сергеевич.— Да ведь это наша Нина Петровна.

— Не узнали?

— Не узнал. Обмишурился. Богатой быть. Проходите, добрейшая, проходите.

Выйдя на территорию завода, я остановилась и посмотрелась в зеркальце. Как непохоже было мое лицо на лицо той девчонки, которая сравнительно так недавно — всего какие-нибудь два года тому назад — под знойным крымским солнцем ехала на линейке из Севастополя в Георгиевский монастырь! Нехорошее, желтое, со следами бессонной ночи. Неужели это были мои щеки, мои губы, мой лоб? Нет, это была не я. Это была какая-то очень родная, но еще совсем незнакомая, новая женщина со страшными глазами под шерстяным платком, вдова Героя Советского Союза Хрусталева. «Вдова». Как страшно назвать себя первый раз этим словом, как больно!

Так началась моя новая жизнь, в которой не было ничего нового, кроме того, что теперь я была вдовой. Жизнь моя с этого времени как бы разделилась на две жизни. Одна была простая, грубая и ясная, жизнь сегодняшнего дня, другая — жизнь воспоминаний. Я жила одновременно этими двумя жизнями. Они не сливались во мне. Они как-то текли одна сквозь другую. Теперь я почти каждый день ночевала в цехе. Мне было мучительно оставаться одной в своей коморке, загроможденной хозяйкиными сундуками, дрянными этажерками с множеством старомодных безвкусных безделушек, с какими-то никому не нужными пятнистыми раковинами, бронзовыми собаками, гранеными хрустальными яйцами, в которых эта комната отражалась сотней крошечных изображений со всей ее скукой и чепухой.

С поразительной ясностью помню я первый день моего вдовства. Помню, как, одеревеневшая от горя, я шла через заводской двор, заваленный металлическими отходами и неубранным снегом.

До войны здесь были кавалерийские казармы. Теперь в длинных конюшнях помещались цехи. Не заходя в контору, я отправилась прямо в роликовый цех, который недавно перешел на обработку новой детали. Я открыла набухшую дверь, и тотчас — как всегда — меня охватило ветром и сонным шумом станков.

Ничего не изменилось здесь со вчерашнего дня. Так же в синих утренних сумерках сияли голые тысячесвечовые лампы. Так же под ногами по канавкам бежала отработанная эмульсия, отсвечивая перламутром. Так же с точильных камней внутри автоматов сыпались искры. Так же, возвышаясь над своим станком, стояла на специальном ящике маленькая ремесленница Муся, в большой черной шинели с подвернутыми рукавами, из-под которой выглядывали ножки в чулках и поверх чулок еще в носках, напущенных бубликами на новые тапочки. Так же строго и повелительно смотрели на меня военные плакаты и лозунги.

Все было по-старому. Только я одна была новая, со своим новым горем. Но об этом горе не знал никто.

Я подошла к Мусе и поздоровалась. Девочка кивнула головой, не отводя глаз от бункера станка, куда она прилежно, равномерно сыпала из горсти маленькие стальные

цилиндрики — ролики — ту новую деталь, на обработку которой перешел цех. В то же время Муся другой рукой пабирала из корзины следующую порцию роликов. Когда же из правой руки в бункер упал последний ролик, девочка ловко повернулась вполборота и, не потеряв ни одной секунды времени, стала высыпать в бункер из левой руки, а пустую правую тотчас отвела назад и опустила в корзину, набирая новую порцию роликов.

Это была новость!

Некоторое время я стояла возле Муси, любуясь точностью и быстротой ее движений.

— Молодец, Муся. Давно придумала?

Она с досадой помотала головой и ответила не сразу.

— Сегодня придумала, — сказала она нетерпеливо. — Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, — продолжала она шевелить пухлыми губами.

Я сразу поняла. Она считала ролики по десяткам и боялась сбиться со счета. Я вытерла рукавом ее хорошенький носик, запачканный сажей. Она мельком взглянула на меня краешком глаза и гордо подняла подбородок. Это я тоже поняла. Она похвасталась. Вот, дескать, какая я. И правда, Муся была чудесная девчушка.

Однажды к нам на завод приехали иностранные журналисты. Сытые, гладкие, красные от русских морозов, в легких, но теплых шубах, в меховых перчатках и толстых канадских башмаках, дымя сигаретами, они шли вместе с директором нашего завода и с переводчицей в леопардовом жакете по обледелелому цеху, фантастически озаренному багровым пламенем костров.

Проходя мимо Муси, они остановились и некоторое время с любопытством наблюдали, как она работает. Вероятно, эта смешная и хорошенькая русская девочка-ремесленница с испачканным носиком, которая стояла у станка на ящике в большой черной шинели, заинтересовала их. Они выразили желание поговорить с Мусей. Директор, улыбнувшись, похлопал Мусю по спине.

— Здорово, Муся. Как дела?

Она повернула к нему свое сосредоточенное, нахмуренное личико подростка с запачканным носом. Некоторое время она беззвучно шевелила пухлыми губами, про себя считая ролики по десяткам, а потом сказала:

— Не мешайте. Я занята.

И отвернулась к станку, продолжая прилежно сыпать ролики в бункер из своей маленькой обмороженной руки.

Она это сказала, конечно, без малейшей рисовки, без всякого желанья как-то особенно выгодно показать себя перед директором. Она просто сказала то, что сказала бы всякому, кто стал бы ей мешать. Очевидно, то дело, которое она делала, было для нее важнее директора, важнее переводчицы в леопардовой коффе, важнее американцев, важнее всего на свете. Вот она и сказала то, что сказала.

А ведь надо понять, что такое в глазах любого рабочего значит директор завода! Ого! Это, знаете, не шутка.

Директор юмористически развел руками. Ничего, мол, не поделаешь. Переводчица перевела. Иностранцы громко захохотали и захлопали в ладоши. Они приветствовали мою Муську, как балерину. А она даже не обернулась. Она о них в ту же минуту просто забыла, всецело поглощенная своим счетом, своими роликами, своими обмороженными руками и своим носиком, который чесался и который не было времени почесать.

Надо всем сказать, Муся соревновалась с одним чудеснейшим парнишкой, тоже ремесленником, испанским мальчиком по имени Хозе, которого все попросту называли Хозя. У этого Хози были золотые руки. В цехе работало несколько ребят, но никто не мог угнаться за Хозей. Когда Хозю вызвала на соревнование Муся, все засмеялись. Теперь между ними шла битва не на живот, а на смерть. Все-таки, я думаю, Муся несколько переоценила свои силенки. Шли дни, и еще ни разу красный флажок не перешел с Хозиного станка на Мусин, хотя бы на сутки.

Кончался месяц. Над Мусей уже подтрунивали. От досады Муся даже немного осунулась. А Хозя держал себя с великолепной небрежностью истинного артиста.

Казалось, он работает рассеянно. Он часто отходил от станка. Он закуривал, разговаривал с соседями. Он как будто нарочно отставал. И вдруг, решительно выплюнув сигарку и раздавив ее каблуком, подходил к станку и в какие-нибудь полчаса не только нагонял упущенное время, но и настолько перегонял его, что опять мог позволить себе немного поваландаться. При этом он смотрел куда угодно, но только не в сторону Муси. Для него Муся не существовала в природе.

Я подошла к Хозе как раз в то время, когда он сунул в станок стальной прут и приложил его к точильному кругу. Для экономии спичек это у нас был довольно рас-

пространенный способ добывать огонь для закурки. Искры густо сыпались, отражаясь золотой пылью в Хозиных глазах. В цехе было прохладно, но Хозя работал без шнели, как заправский рабочий. Ворот его черной сатиновой рубахи был расстегнут. Рукава подвернуты до локтей. Кроме этих желтовато-смуглых рук, черных глаз да, пожалуй, грязного клетчатого платка, накрученного на шею, в Хозе ничего не осталось испанского. С некоторого времени он даже перестал отпускать себе бачки. Теперь это был обыкновенный русский мальчишка-ремесленник.

Мы поздоровались.

— Здравствуй, Хозя.

— Почет и уважение, — сказал Хозя, явно кому-то подражая.

— Покуриваешь?

— Покуриваю, Нина Петровна. Мировецкий самосад. Десять рублей стакан. Закурить не желаете?

— Я тебе закурю, — сказала я строго, сдерживая улыбку.

— Что ж вы сердитесь, Нина Петровна? Разве я вас когда-нибудь подводил? Глядите, у меня все в полном порядке.

Ничего не скажешь. У него действительно все было в порядке, у этого тореадора: станок чистенький, рабочее место аккуратно подметено, — на гвоздике возле тумбочки новый просяной веник — и на стенке красный флажок, а на ящичке для инструмента, в металлической самодельной рамке — таблица суточного задания, всегда перевыполненного.

Но я знала, что излишняя строгость никогда не мешает. Я сделала Хозе замечание за неаккуратное расходование эмульсии. Он тотчас подвернул кран. Я захватила из ящичка несколько готовых роликов и пошла проверить их на миниметре. Брака не было. Когда я вернулась к станку, Хозя еще продолжал курить.

— Гляди, Хозя, как бы тебе в конце концов не осрамиться. Ты себе знай покуриваешь, а Муся вон что придумала.

— Чего она придумала? — спросил Хозя небрежно. Он выплюнул сигарку, крутнул ее каблуком и подмел веником.

— А ты погляди.

— Тоже! — сказал Хозя.

Он подошел к станку и стал необыкновенно ловко и

быстро, один за одним, сыпать ролики из горсти в бункер.

— Ну, как знаешь, — сказала я, невольно любуясь его сноровкой.

V

Я прошлась по пролету, останавливаясь у некоторых станков и проверяя их наладку.

Вероятно, для человека нового ряды пщелкивающих станков-полуавтоматов, выкрашенных в прочную темно-серую краску с красными номерами и линейками, могли показаться очень однообразными. Но для меня каждый станок был слишком хорошо знаком.

Я знала эти станки еще тогда, когда они стояли в сияющих залах новенького знаменитого московского завода, отражаясь в плиточных полах и кафельных стенах.

С каким счастьем, с какой гордостью носилась я — еще совсем молоденькая студентка-практикантка — по широким лестницам и звучным коридорам, мимо громадных, как стена, клетчатых окон всех этих бесчисленных заводских корпусов, казавшихся мне хрустальными. Конечно, это было для меня больше, чем завод, чем место моей практики. Для меня это был громадный мир, в котором я с наслаждением жила. Каждый миг я открывала в нем все новые и новые увлекательные подробности. Каждый миг находила новых друзей. Здесь я постепенно превращалась из девочки в девушку и быстро зрела для счастья.

Говорили, что у меня открытый, легкий характер. Это верно. В то чудесное, незабываемое время я была очень общительная и очень веселая комсомолка. У меня была масса друзей. Сказать точнее, моими друзьями были все. Я всех любила, и все любили меня.

И вот их теперь вокруг меня не осталось почти никого. Их развеяло, разнесло в разные стороны.

— Да, — сказала Нина Петровна задумчиво, — развеяло — разнесло в разные стороны. Многих и на свете уже давно нет. Пришли к нам на завод новые люди! Трудно было к этому привыкать. Все же привыкла.

Я шла мимо станков, и все люди, работавшие на них, были мне уже хорошо известны. Мы здоровались, как старые знакомые. Я наперед знала, кто мне что скажет и что я отвечу.

Вот, например, Зинаида Константиновна Вороницкая, или — как все ее называли — тетя Зина, пухлая пожилая женщина, тепло и опрятно одетая, в сером шерстяном платье и вязаных перчатках с отрезанными пальцами, как у кондукторши, — бывшая домашняя хозяйка. На ее рабочем столике, аккуратно застланном газетой, всегда стояла жестяная банка с каким-нибудь цветочком или зеленой веткой, а рядом с банкой на специальном пюпитре — открытая книжка.

Тетя Зина обыкновенно в обеденный перерыв читала. Ее белое доброе лицо с тонкими очками на кончике круглого носа все время озабоченно поворачивалось к проходившим мимо людям.

Поздоровавшись, я сказала ей то, что обычно ей говорили все:

— Ну что, тетя Зина? Где лучше: у плиты или у станка?

— У станка, разумеется, у станка, — ответила она рассеянно, как обычно.

При этом горькая складка легла у ее рта.

Я понимала ее, эту пожилую интеллигентную женщину, жену провинциального врача-хирурга, добрую мать семейства и домашнюю хозяйку, которая вдруг на старости лет осталась одна. Она пошла работать на завод потому, что это было необходимо для родины. Но об этом она никогда не говорила. А если ее спрашивали, то говорила так:

— Скучно одной дома сидеть, вот и пошла. Чем я хуже других? Да и дело, в общем, не особенно мудреное. А здесь даже очень мило.

Она работала не слишком быстро, но свою норму всегда выполняла, и работа ее отличалась необыкновенной точностью и аккуратностью. Все в ней вызывало во мне чувство нежности и глубокого уважения: и ее теплый платок, и перчатки с отрезанными пальцами, и банка с пахучей веточкой можжевельника, и потрепанный роман Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», который она прилежно читала.

Кладя в бункер ролики, она посмотрела на меня внимательно и сказала:

— Что-то вы сегодня, Ниночка, на себя не похожи. Не больны ли вы?

Точно бритвой полоснуло по моему сердцу.

— Нет, ничего. Спасибо.

Я поспешно отошла, сделав вид, что мне нужно по делу. Мне захотелось как можно скорее убежать, скрыться, остаться одной. Но в это время меня окликнули. Это был наш начальник снабжения Абраша Мильк — очень шумный и очень суетливый товарищ с высокой головой, лысой и продолговатой, как дыня. Лето и зиму он ходил без шапки, но зато в толстой кофте, сшитой из клетчатого одеяла, с застежкой «молния», из-под которой выглядывала верблюжья фуфайка. На его широкой груди болталась большая новенькая медаль «За трудовую доблесть».

Как всегда, Абраша Мильк ужасно спешил и был окружен толпой шумящих агентов и уполномоченных.

Его глаза с косматыми, очень черными бровями сверкали безумно и грозно, как у полководца.

— Деточка, — сказал он взволнованно, беря меня под руку и увлекая за собой. — Надо иметь совесть. Нельзя так, кошечка. Я снабжаю не только один роликовый цех. У меня на шее весь завод. Этак мы скоро без штанов останемся. Вы понимаете, что такое в наших условиях эмульсия? Это же золото! Птичье молоко! А вы тут у себя ноги моете в эмульсии. Заявляю вам категорически, — закричал он вдруг с яростью, — можете сдохнуть, а до пятнадцатого апреля вы у меня не получите ни одного лишнего литра! И крутитесь, как вам угодно. А нет — будете иметь дело с партийной организацией. Все? Все!

После этого он вдруг сразу успокоился и нежно заглянул мне в лицо.

— Ну, как дела, Ниночка? Твой тебе пишет что-нибудь? — сказал он уже совсем другим голосом, улыбаясь и показывая стальные зубы, и, не дожидаясь ответа, ринулся из цеха, окруженный агентами и уполномоченными.

И я опять осталась одна... Чувство отчаяния, прямо-таки ужаса, охватило меня с новой, страшной силой. Это была такая душевная пустота, такая нечеловеческая боль, что даже теперь страшно об этом вспомнить.

Нина Петровна замолчала, остановившимися глазами следя за красной ракетой, которая медленно поднялась на горизонте и погасла. За восточным гребнем нашей балки сильно вспыхнуло. Потом ударил пушечный выстрел. Над нами высоко пролетел снаряд. Через некоторое время после того, как шум снаряда постепенно стих, далеко на западе слабо вспыхнуло. Донесся звук взрыва. Покатилось эхо. И опять надолго все стихло.

— Это что? — спросила Нина Петровна.

— Вероятно, пристрелка,— сказал я.

И она опять стала рассказывать своим ровным голосом, как бы поверяя — не мне, а кому-то третьему — самые свои сокровенные чувства.

— По правде вам сказать, мне страшно было оставаться одной. Мне казалось, что жизнь кончена, жить больше не стоит. Я просто боялась за себя. И действительно, теперь я вижу, что я была очень близка к большой беде.

Меня спасла другая моя жизнь, жизнь воспоминаний. В этой жизни был он — мой Андрей, живой, любящий и любимый. Эта жизнь все время, безостановочно протекала в самой глубине моего сознания. Видения этой жизни вдруг начинали как-то просвечивать. И я, незаметно погружаясь в них, сама становилась видением. Иногда достаточно было одного слова, одного звука, запаха, случайного соединения вещей для того, чтобы тотчас в моем воображении возникала какая-нибудь счастливая картина прошлого.

Сначала мои воспоминания шли беспорядочно, трудно, все время останавливаясь и повторяясь на одном и том же месте. Но вдруг я вспомнила, даже не вспомнила, а как-то необыкновенно ярко, со всеми подробностями увидела, ощутила — знойный, летний московский день после обеда. Знаете, один из тех июльских дней, когда каблук вязнут в асфальте и всюду скользят и летают зеркальные отражения трамвайных стрелок и никелированных частей автомобилей и велосипедов.

В этот день я покупала в шумном и душном универсаме Мосторга фибровый чемодан.

VI

Это было за два года до войны и буквально за несколько дней до моего знакомства с Андреем. В то лето я и Дуся, моя подруга, тоже девушка-студентка, купили в рассрочку путевки в один из крымских домов отдыха. Смешно вспомнить, до чего мы суетились. Я в первый раз уезжала из Москвы так далеко. Хоть я и считала себя вполне самостоятельной, но эта поездка представлялась мне чем-то в высшей степени смелым, даже дерзким. Я бы ни за что не решилась ехать. Но Дуся уговорила меня. Дуся была девушка независимая, решительная, как говорится,

с характером и, как мне тогда казалось, немолодая: ей шел двадцать второй год. Она уже встречалась с одним человеком. Мне же едва исполнилось девятнадцать лет, и я еще никого не любила.

И вот мы поехали.

Помню, как я боялась потерять билет. Помню, как, ожидая Дусю, я сидела на Курском вокзале, в тесном проходе, отгороженном от буфета громоздкими резными стульями. Я сидела на своем фибровом чемодане, в котором лежала всего одна стоящая вещь: мое единственное выходное маркизетовое платье. Мне было дурно от жары, страшно одной, и я радостно расплакалась, когда увидела наконец в толпе Дусю. Мы спустились вниз и, возбужденные, бежали по грязному кафельному туннелю, боясь опоздать, хотя до отправления оставалось еще минут двадцать.

После того как мы нашли свои места и я водворила свой постыдно легкий чемодан на полку, я вышла на перрон. Не решаясь отойти, я прислонилась к вагону спиной, чувствуя жар его раскалившейся обшивки.

Шла веселая, беспорядочная посадка. Помните, как было весело до войны летом на вокзалах, откуда уходили поезда на юг?

Все пассажиры нашего севастопольского были курортники, народ большей частью молодой, так же, как и мы с Дусей,— студенты или с производства. Явилось мпожество провожающих. Они шумели больше всех. Они лезли в вагоны. Проводники их не пускали. Тогда они, подсаживая друг друга, пытались забраться в окна. Болтались ноги в сандалиях. Какой-то шутник с преувеличенным отчаянием обнимал свою девушку. Она вырвалась и, выставив вперед локти, старалась спасти свою свеженькую кофточку. Упали цветы и были тотчас потоптаны.

Дусю пришел провожать тот самый человек, с которым она встречалась. Я увидела его впервые и очень удивилась. Я представляла себе солидного, может быть, даже женатого дядьку, а он оказался совсем молодым пареньком в синих резиновых тапочках и лиловой футболке под пиджачком внакидку. Ныряющим шагом он подошел к своей Дусе сзади, вдруг подхватил ее под мышки и повел, толкая перед собой. Они быстро стали гулять таким образом взад-вперед по перрону: она впереди, а он сзади, заглядывая ей в лицо то через правое плечо, то через левое. Они разговаривали. Он — озабоченно. Она — серди-

то. Со стороны можно было подумать, что они ссорятся. Но я знала — речь идет об отдельной комнате, которую ему уже давно обещало заводское управление и в которой они страстно мечтали наконец поселиться вместе и строить семью.

Я стояла одна. Меня никто не провожал. Мне даже было немного неловко, но ничуть не грустно. Наоборот. Я чувствовала тот особый подъем, прилив всех душевных сил, ту беспричинную, захватывающую, даже какую-то жуткую радость, которая совершенно точно, безошибочно предсказывает приближение первой любви. «Его» еще не было, но уже воздух любви окружал меня, и я им дышала. Замечательное состояние. Оно бывает только раз в жизни.

Вдруг я увидела своего отца. Он пробирался вдоль состава, заглядывая в окна. Он искал меня. Это было неожиданно. Я крикнула от радости. Он обнял меня, заглядывая в глаза, стал гладить меня по щеке. От его руки знакомо пахло железом. Я чувствовала все его пять шершавых пальцев, из которых средний, оторванный машиной, был наполовину короче. Отец смотрел на меня восторженно. Его глаза щурились и были немного светлее обычного, из чего я сразу поняла, что он чуточку выпил.

— Что, деточка? На курорт уезжаешь? Ну умница; ну вот просто умница,— говорил он растроганно.— Курорт, брат, дело необходимое, государственное. Оно для всех нужно. А для студентов в особенности.

При этом он посматривал во все стороны, как бы всех приглашая разделить его радость по поводу того, что его дочь, во-первых, студентка, а во-вторых, едет на курорт. Затем он, видимо все еще считая меня маленькой девочкой, стал делать мне различные наставления и давать советы. Почему-то он особенно настаивал, чтобы я не ходила на курорте с открытой головой, а обязательно покрывалась от солнца платком. Я живо представила себя на курорте в деревенском платке и стала хохотать. Он вытер рот, заросший усами. Мы поцеловались.

— Деньги у тебя, по крайней мере, есть? — спросил он строго.

— Есть.

— Много ли?

— Сто двадцать рублей.

Он подумал и сказал:

— Мало. На тебе еще полста. Итого сто семьдесят. Это уже сумма.

Он сунул мне в руку несколько скрученных бумажек, влажных и горячих, — как видно, приготовленных заранее. Я сразу поняла, что это его «подкожные деньги», скрытые при получке от матери. На эти деньги отец позволял себе несколько раз в неделю выпить с приятелями пива. Мне не хотелось лишать его этого удовольствия, и я стала отказываться.

— Но! — сказал он строго, поднимая вверх свой обрубленный палец. — Раз дают — бери. Лишние деньги курорта не испортят. Покупай фрукты. Они способствуют умственному труду...

И он опять тщеславно посмотрел по сторонам.

Ударил колокол. Я поспешно обняла отца за шею и бросилась в вагон. За мной влетела Дуся. Поезд тронулся. Отец шел рядом с вагоном, размахивая своей тубетейкой. Со слезами на прозрачных глазах он кричал:

— Если что-нибудь случится — бей телеграмму!

VII

Было семь часов вечера, но солнце стояло еще очень высоко. В раскаленном переполненном вагоне нечем было дышать. Попробовали открыть окно — оказалось еще хуже. Стала донимать пыль. В облаках пыли проносились подмосковные дачи, седые сосны, киоски, волейбольные сетки, «Гастрономы», дощатые платформы с гуляющими дачниками.

Нам предстояло провести в вагоне две ночи и один день. Первую ночь я почти не спала. На наш вагон не хватило тюфяков. Пришлось лежать прямо на доске, положив под голову пальто. Дуся уснула, а я не могла. Воздух казался еще суше, жарче, чем днем. Я обливалась потом. Ноги резали туфли, которые я стеснялась снять. Несколько раз посреди ночи я ходила в умывальник напиться. Но вода была почти горячая; она совсем не утоляла жажды; наоборот, еще больше хотелось пить.

Чтобы как-нибудь провести время, я часа полтора просидела в слабо освещенном тамбуре на неудобной откидной скамеечке, рядом с тормозным колесом. За окном проносились темные массы чего-то. Может быть, это были деревья, может быть, облака, а может быть, и дома. Один

раз я увидела внизу белую воду ночной реки. Над ней висел поздний месяц. Вдали показались огни. Целое созвездие электрических ламп. В темноте сыпались искры, бушевало пламя. Это был завод, и там, вероятно, лили чугуны.

И все это вместе с таинственным паровозным дымом упустилось назад, назад. Вдруг меня охватило чувство невероятного одиночества.

Дурочка, тогда я понятия не имела, что такое настоящее одиночество!

Мне захотелось как можно скорее, сию минуту назад, домой, в Москву. Но приступ тоски продолжался недолго. Взошло солнце. Все вокруг повеселело. Рубчатые стенки вагона стали красные. Пассажиры проснулись. Скоро мы перезнакомились со всеми нашими соседями. Появилось домино. Принесли гитару с голубым бантом. Стали разворачивать еду. Бестолковый, очень веселый вагонный день начался.

Погода сделалась свежей. Нам положительно везло. Впереди шла гроза. Поезд вбежал в полосу ливня. Окна тотчас открыли. Чистый воздух, смешанный с запахом мокрых полей, пролетал по вагонам.

Это было под Орлом.

— Подумайте, это было где-то здесь. И ветер тогда, может быть, летел с тех самых полей, по которым мы с вами сегодня проезжали, — сказала Нина Петровна, вздрогнув.

— Ехать стало необыкновенно легко и приятно, — продолжала она быстро, как бы желая отстранить от себя все мысли, которые мешали ей вспоминать. — Леса кончились. За Харьковом пошли спелые нивы, открытые до самого горизонта. Кое-где хлеб лежал, поваленный ливнем. Впервые я увидела украинские хатки, окруженные маленькими вишневыми деревьями. Мне очень понравились их толстые камышовые крыши и выбеленные стены, посиневшие от ливня.

На пару стоял трактор. Его острые, зубчатые колеса были облеплены очень черной, почти синей грязью. Под длинной скирдой прошлогодней соломы — с одной стороны сухой, серой, а со стороны ливня мокрой, ярко-желтой — на железных бочках из-под керосина сидели, накрывшись мешками, украинцы. Вился голубой дымок...

Думала ль я тогда, что через два года сюда ворвутся враги, будут жечь, насиловать, грабить, угонять в плен,

превратят в груду пепла этот счастливый, мирный край, который проносился сейчас передо мной во всей своей молодой свежести, во всей своей красоте и богатстве? Думала ль я, что нашей родине скоро предстоит пережить такое всенародное горе, такое беспримерное унижение? Ах, нет, слишком чиста и наивна была моя душа, слишком полна любви и веры в добро, в справедливость, слишком желала счастья и неслась навстречу этому счастью!

Перед вечером поезд остановился на станции Синельниково. Дождь уже прошел, и мы с Дусей вышли погулять по платформе. Солнце сильно било в глаза из-под тающей дождевой тучи. В больших лужах уже отражались куски очистившегося неба. Дуся бросила в почтовый ящик несколько открыток, которые она все время усердно писала в дороге. Затем мы пошли посмотреть таинственный и никогда еще мною не виданный международный вагон в составе нашего поезда.

Возле этого длинного, тяжелого четырехосного вагона, обшитого деревом с медными накладными буквами и цифрами, стояло несколько человек в шляпах, в белых и черных клеенчатых макинтошах, в пестрых спортивных костюмах.

— Интуристы,— шепнула мне Дуся, которая все на свете знала.

Мы независимо прошли мимо них. Я слышала чужую речь. Холодные и не по-нашему голубые глаза с презрительным, нескрываемым любопытством гадкого свойства следили за нами. Мне стало не по себе. Я прижалась к Дусе. Мы повернули и быстро пошли назад. Когда мы проходили мимо мягкого вагона, нас вдруг окликнул веселый мальчишеский голос:

— Эй, девчата, постойте. Куда вы так разбежались?

От неожиданности мы остановились. Из окна вагона на нас смотрела озорная, черноглазая, молодая, курносая физиономия с парикмахерской сеткой на голове. Видать, парень только что брился, так как вокруг его смуглой шеи было намотано чистенькое вафельное полотенце, а на щеках виднелись следы пудры. Он переводил свои блестящие, как у девушки, веселые глаза с меня на Дусю и с Дуси на меня. Он, конечно, нас сравнивал, решал, какая лучше. Наконец он свистнул и воскликнул с веселым изумлением:

— Обе лучше. Вот это девушки так уж девушки!

Мы молчали. Тогда он спросил:

— Простите за беспокойство, вы не знаете, какая это станция?

— Станция «Кипяток»,— бойко отрезала Дуся, которая никогда за словом в карман не лазила.

— Нет, кроме шуток? — сказал он жалобно.

— Что вы — неграмотный? Видите— написано: «Синельниково».

— Извините. Забыл дома очки. А вы здешние, синельниковские?

Это нас обидело.

— Такие же самые здешние, как и вы,— сказала Дуся.

— Нет, серьезно?

— Одним поездом едем.

— Да что вы говорите? Какая неожиданная неприятность! Простите за откровенность — в каком вагоне?

— Зачем вам знать?

— В гости к вам хочу заскочить.

— Дома не застанете.

— Нет, в самом деле. В каком вагоне?

— В железном. На колесах.

— Все равно найду.

— А вот не найдете.

— Посмотрим.

— Увидим.

— Куда же вы едете?

— Туда, куда вы.

— В Крым?

— На луну.

— В дом отдыха?

— Это вам не интересно.

— Нет интересно. Но куда именно, в какое место?

— Не надо быть таким любопытным.

— Я не любопытный. Я любознательный. Куда?

— Сами догадайтесь.

— В Ялту?

— Нет. Это для нас слишком дорого.

— В Алупку?

— Что в ней хорошего?

— В Мисхор?

— Первый раз слышим.

— Ну, в Ливадию. Наверное, в Ливадию. Бьюсь об заклад. Да?

— Проиграете.

— Тогда куда же?

— Сами догадайтесь.

Я заметила, что разговаривая с Дусей, он все время смотрел на меня и обращался как бы ко мне одной. Для меня было ясно, что я понравилась ему больше Дуси. В этих вещах девушки, даже самые молоденькие, никогда не ошибаются. Да правду сказать, в то время, в то чудесное, неповторимое время, я действительно была очень хорошенькая, заметная. Мне стало ужасно весело. Захотелось и от себя вернуть в разговор что-нибудь остроумное. Я уже собралась сказать: «В Рио-де-Жанейро», как вдруг заметила, что из этого же окна на меня смотрит еще один человек. Мои глаза встретились с уже не очень молодыми, добродушными синими глазами, окруженными мелкими сухими морщинками. Русые волосы, зачесанные вверх, слегка разваливались посредине, с двух сторон опускаясь на красивый широкий лоб. Из крепкого, большого его рта торчала прямая трубка. Он вынул ее и окающим волжским говором сказал:

— Оставь надежды, Петя, и приземляйся. В данном случае твои чары не имеют абсолютно никакого успеха. И девушки это могут подтвердить. Подтверждаете, девушки? — обратился он уже прямо ко мне.

Мне вдруг стало отчего-то страшно. Я вспыхнула и дернула Дусю за руку:

— Будет, Дуська. Пойдем!

И мы, обнявшись, убежали, подобрав юбки и отражаясь вверх ногами в мокрой платформе. Тот, кого пазвали Петей, что-то кричал нам вдогонку, но мы не обернулись.

На следующей станции Петя, очевидно разыскивал нас, несколько раз озабоченно прошелся под окнами нашего вагона. Он был уже без сетки на голове, и на нем был прекрасный синий шевиотовый костюм с орденом Красной Звезды на лацкане пиджака — вероятно, за Испанию. А мы, прижавшись к рубчатой стене и пригнув головы, чтобы нас нельзя было увидеть из окна, обняв друг друга за шею, тихонько хохотали.

Это незначительное происшествие еще больше подняло наше настроение. Ночью я прекрасно спала, уже не стеснялась снимать туфли, во сне ничего не видела, а только все время чувствовала, что в жизни со мною случилось что-то очень важное и счастливое, но что именно, я еще не понимала, хотя это было так ясно.

Я поздно проснулась, а проснувшись, была поражена переменой, которая произошла в природе. Восхитительный воздух, знойный и вместе с тем нежно-сухой, лился в окно, поднимая волосы. Ряд пирамидальных тополей поворачивался в далекой долине, как грабли. На платформах маленьких станций, нарядных, как выставочные павильоны, и увитых не диким, а настоящим виноградом, стояли татары в белых шерстяных носках и чувьяках.

В одном месте я увидела мечеть; в другом — длинную арбу с небольшими сафьянно-желтыми дыньками.

Волшебное слово «Бахчисарай» заставило мое сердце сжаться от восторга.

Иногда дорога шла, вырубленная в слоистых скалах. Каменистый склон, поросший жесткими степными цветами, почти вплотную придвигался к окну. Тогда сузившаяся полоса неба синела над ним особенно густо и дико.

И вдруг, первый раз в жизни, я наглядно ощутила, как громадна наша родина. Конечно, я знала и раньше, но как-то отвлеченно. Теперь я ощутила это во всей убедительной силе движения и пространства. Я уже видела Россию, видела Украину, вот теперь я еду по Крыму и вижу новое небо — третье небо за эти полтора дня. Скоро я увижу Черное море. А ведь можно было поехать и на север, увидеть тундру, вечные льды, северное сияние, олений. Можно было поехать на восток, увидеть Волгу и потом — дальше, туда, где в песчаной пустыне идут верблюды, где долины усеяны белыми коробочками хлопка. Можно было пересечь Урал и ехать, ехать, ехать по тайге, а потом повиснуть над Байкалом. И все это, куда ни поедешь, на тысячи километров вокруг, моя родина — молодая, веселая, счастливая, свободная.

Вдруг стало темно. Поезд вошел в туннель. Через минуту опять загорелось солнце. Но ненадолго. Начался второй туннель. Потом третий. Несколько раз резкий солнечный свет перемежался с душной тьмой туннеля. Но вдруг это утомительное зеркальное мигание прекратилось, как отрезанное. Поезд вырвался из последнего туннеля. Я бросилась к правому окну и ахнула, увидев перед собою внизу Севастопольскую бухту, такую яркую среди высоких пыльно-розовых берегов, точно она была налита зеленой краской.

В бухте стояло несколько старых, заржавленных пароходов, а далеко, у входа в открытое море дымил линкор.

Через десять минут мы уже отчаянно торговались с хозяином линейки, который должен был отвезти нас в Георгиевский монастырь, в наш дом отдыха.

— Стало быть, Георгиевский монастырь. Так и запишем, — сказал за нами веселый голос.

Конечно, это был наш вчерашний весельчак Петя. С макинтошем на руке и «лейкой» через плечо он шел мимо нас к большому открытому автомобилю, белому от пыли.

— Мы к вам непременно приедем в гости. Ждите.

— Пожалуйста, если вам нечего делать, — сказала Дуся высокомерно.

Машина, наполненная людьми и чемоданами, тронулась. В ней было несколько человек в форме Гражданского Воздушного Флота. Среди них я увидела того, другого, с трубкой. Он смотрел на меня с робкой, вопросительной улыбкой. Машина развернулась и скрылась за поворотом в облаках известковой пыли. Жгучая, радостная тревога охватила меня.

Мы с Дусей сели на линейку спиной друг к другу и поехали...

Это была очень плоская пыльная степь, оканчивающаяся вдалеке темной чертой моря, проведенной твердо, как по линейке. И на этой черте белела свечка Херсонесского маяка.

Под колесами линейки хрустели маленькие известковые ракушки. Пахло полынью. И мы ехали по этой степи на линейке, усталые и взволнованные.

Все оказалось совсем не так, как я себе представляла в Москве. Не было ни кипарисов, ни мраморных львов, о которых так много распространялась Дуся. Выяснилось, что все это есть, но не здесь, а где-то в другом месте, где путевки стоят гораздо дороже. В общем, мы заехали, как говорится, не туда. Конечно, это тоже был Крым, но не совсем тот. Однако и здесь было великолепно — лучше не надо. В жизни я не видела ничего подобного.

Дикая степь обрывалась сразу. Взгляд летел в пустоту. С высоты ста пятидесяти метров, вдруг, прямо из-под ног — совершенно вертикально, — вставало море. Сверху пельзя было понять — спокойно оно или нет, до того мелкими, неподвижными казались морщинки волн, высеченные на его громадной поверхности. Море было как пу-

стынный каменный двор, чисто выметенный и посыпанный песком. И оттуда дул широкий, удивительно чистый ветер, круживший платье и относивший его в сторону.

IX

Дом отдыха помещался в бывшей монастырской гостинице. Это было длинное белое здание с зеленой крышей. Нас поселили во втором этаже, в небольшой комнате, выбеленной мелом. Стены были очень толстые. Окна и балкон выходили в море. Под балконом росло большое старое дерево грецкого ореха. Дом отдыха был бедный, малоизвестный. Почти никто сюда не ездил. Отдыхало человек пятнадцать, не больше.

Нам выдали из кладовой постельные принадлежности. Мы сами набили тюфяки и подушки жестким степным сеном, в котором было много сухой ромашки. Затем, подоткнув юбки, мы в два счета вымыли желтый, раскаленный от солнца пол. В комнате тотчас запахло, как в бане, распаренным венником.

Две недели прошли однообразно, но совсем не скучно. За все это время было только одно происшествие. В первый же день я пошла купаться, забылась, и меня страшно обожгло солнце. С малиново-красными плечами и спиной я пролежала несколько дней в постели. У меня сильно поднялась температура. Обожженная кожа мучительно болела. Грубые простыни причиняли страдание. Сквозь тюфяк кололи стебли ромашки. Я стонала, не находя себе места: Дуся мазала меня вазелином и ореховым маслом.

По ночам я бредила, задыхаясь от жары. Все вокруг казалось мне жарким, как в духовом шкафу. Даже непривычно яркий лунный свет казался горячим, назойливым. И вместе с тем что-то любовное, страстное все время томительно мучило мою душу, тяжело давило воображение. Я была влюблена. Но если бы мне тогда сказали это, я не только бы не поверила, но даже не поняла, о чем идет речь.

Скоро я выздоровела. Дуся содрала с моей спины обгоревшую кожу, сухую и тонкую, как папиросная бумага. Новая нежно-розовая кожа чесалась, но это было даже приятно. И от моей болезни осталось только это нежное

чесанье между лопатками да еще какое-то смутное чувство потерянной свободы и тревога ожидания.

Я опять стала купаться.

За несколько дней до отъезда мы с Дусей утром спустились на берег. Там у нас было облюбованное местечко, где мы за камнем раздевались. Обычно, немного повалявшись на гальке и походив вдоль берега по колено в воде, мы бросались в море иплыли к скалистому островку метрах в ста от берега. Мы и в Москве-реке, на водной станции «Дипамо», плавали недурно, а здесь, в соленой воде, которая чудесно держала, плавали и вовсе хорошо. Меняя стиль — то кролем, то анбрасс,— мы доплыли до своего острова и вскарабкались на него, царапая колени об острый ноздреватый камень. Наверху была площадка, а на ней — нечто вроде алтаря или цоколя солнечных часов. Здесь, в уединении и тишине, мы обыкновенно ложились на раскаленный камень и лежали, поворачиваясь к солнцу то спиною, то грудью, до тех пор, пока не высыхали наши волосы и купальные костюмы.

Это было ни с чем не сравнимое наслаждение. Мы лежали, ни о чем не думая, не разговаривая, зажмурясь от ослепительного блеска, бившего в глаза с двух сторон — сверху, с неба, и снизу, из воды. Мы лежали, сонно прислушиваясь к стеклянному хлюпанью маленьких волн. Иногда краем глаза сквозь высохшие ресницы, между которыми чувствовались мельчайшие крупинки соли, я видела то опрокинутое море со скалами и мутно-лиловым мысом Фиолент, то нежно-голубую черту горизонта, над которой невероятно далеко висел длинный дымок парохода.

Вдруг я услышала бегущий по воде торопливый звук колотушки. Он звонко стучал в наш камень. И прежде, чем я поняла, что это моторная лодка, прежде, чем увидела ее — эту моторную лодочку с легким подвесным двигателем,— сердце мое вздрогнуло и внутренний голос сказал: это он.

— Ага! Поймались! — кричал один из трех человек, сидевших в ялике.

Круто повернув, ялик шел прямо к острову. Не успели мы и глазом моргнуть, как ялик стукнулся носом, и Петя проворно вскарабкался к нам наверх, в добела выгоревшей байковой пижаме со шнурками на груди и в парикмахерской сетке на голове. Следом за ним на скале появился его старший приятель. На нем была такая же са-

наторная пижама, а на голове в виде чепчика был надет мокрый носовой платок, завязанный по углам узелками.

Он потемнел, похудел, помолодел. Он смотрел на меня все с той же своей робкой, вопросительной улыбкой. Эта родная улыбка сказала яснее всяких слов, что он все время думал обо мне и с нетерпением ждал встречи. И я, не скрывая радости, ответила ему точно такой же улыбкой.

Нина Петровна замолчала.

— Ну, что же было потом? Боже мой, какая потом пошла веселая чепуха! — сказала она, ложась на спину и кладя под голову руки.

Она неподвижно смотрела в небо немного прищуренными глазами, как будто видела там все то, о чем рассказывала.

— Потом мы все стали хохотать, пожимая друг другу руки с преувеличенным чувством курортной близости. Вообще мы встретились, как старые знакомые. Оказалось, что они сбежали из санатория, где их замучили режимом. Они специально заехали за нами, чтобы покатать нас на моторной лодке. Ялик они наняли в Симеизе у рыбаков, а двигатель принадлежал третьему из компании, некоему Яше, который оставался в ялике и возился со своей капризной машиной.

План был такой: зайти в Балаклавскую бухту, погулять в Балаклаве, посмотреть развалины Генуэзской башни, выкупаться и к вечеру вернуться домой, в Георгиевский монастырь. Я тотчас с радостью согласилась. Дуся стала отказываться.

— Что вы! Как можно? — испуганно говорила она, поглядывая вверх, на видневшиеся в зелени зеленые крыши нашего дома отдыха. — Никак нельзя. В другой раз когда-нибудь.

— Когда же в другой раз, коли вы на днях уезжаете? — окал Андрей, глядя на меня умоляющими глазами. — Повлияйте, пожалуйста, на вашу подругу.

Я пыталась влиять.

— Нет, нет, — говорила Дуся. — Ни за что. Они еще нас куда-нибудь завезут, а потом утопят. Еще застрянем где-нибудь по дороге с этим никуда не годным моторчиком.

— Ручаюсь чем хотите! — кричал Петя, таща Дусю за обе руки в шлюпку.

— Пустите! Ни за что!

— Повлияйте на свою подругу,— продолжал бормотать Андрей.

— Она поедет, не беспокойтесь,— шепнула я Андрею.— Она так только. Капризничает.

Я отлично знала, почему Дуся отказывается. Ее приводила в ужас мысль, что мы пропустим завтрак и обед, за которые были заплачены деньги. А ехать ей ужасно хотелось. Она упиралась. Все-таки Пете удалось втащить ее в лодку. Мы подъехали к берегу за нашими платьями. Здесь Дуся сделала отчаянную попытку выскочить из ялика. Но Петя крепко держал ее за руки. Спрыгнув по поясу в воду и всех облив, Андрей сбегал на берег и принес наши платья, держа их над головой.

— Яша, давай газ! — закричал Петя с таким отчаяньем в голосе, как будто от этого зависела его жизнь. — Право руля! Пошли!

Стуча, фыркая и отвратительно воняя бензином, ялик пошел в море. Его подхватили волны.

— Ей-богу, вы нас опрокинете где-нибудь,— говорила Дуся уже не так сердито.— Пустите руки. Дайте хоть, по крайней мере, надеть платье.

В это время на горе стали бить в релс. Это был сигнал к завтраку. Дуся чуть не заплакала.

— Ну вот видите,— с откровенной досадой проговорила она,— и завтрак пропустили, и обед пропустим, и все на свете! Ну вас, в самом деле!

— Какой же это завтрак? — сказал Петя.— Небось одна манная каша на воде и больше ничего.

— Это не важно. За нее деньги заплачены.

— Ничего, мы вас такой камбалой угостим в Балаклаве, что закачаетесь,— сказал Андрей, потирая руки.

— Не знаю я никакой вашей камбалы! — заметила Дуся ворчливо.

— А то как хотите, можно и повернуть— сказал Петя лукаво.

— Чего там поворачивать. Уже все равно пропустили.— И вдруг, сверкнув загоревшимися глазами, бесшабашно крикнула: — Ехать так ехать!

И мы все опять захохотали без всякой основательной причины.

Наше внезапное путешествие в Балаклаву удалось на редкость.

В первую же минуту между всеми нами установились очень правильные и очень ясные отношения, что чрезвычайно важно для всякой компании, в особенности повой.

Петя сразу понял, что ухаживать за мной бесполезно. Он перенес свое внимание на Дусю и с первых же слов вступил с ней в отчаянный любовный поединок. Он беспрерывно атаковывал ее то шутками, то колкостями, то комплиментами, то лирикой. Он и не подозревал, бедняга, что Дуся, как говорится, другому отдана и будет век ему верна. А Дуся коварно умалчивала о том, что у нее в Москве остался «один человек», которого она любит без памяти. Она отбивала все Петины атаки, однако так осторожно, чтобы не потерять симпатичного и остроумного кавалера. Дуся чувствовала, что я это понимаю. И мы иногда, посмотрев друг на друга, начинали громко смеяться, хотя со стороны и могло показаться, что мы смеемся без всякой причины, как дурочки.

Андрей лежал рядом со мной на носу, крупный, плотный, — и по тому, как он старался не прикасаться своим плечом к моему плечу, я чувствовала всю его любовь и деликатность.

Высунувшись вперед и свесив головы, мы смотрели в несущуюся мутно-зеленую воду.

Пятый в нашей компании — Яша, которого в шутку называли «страдальцем за технику», или «извозчиком», был всецело поглощен своим чихающим, капризничающим мотором и какой-то засорившейся трубкой, «черт бы ее побрал».

И с каждой минутой мое сердце все жарче и жарче разгоралось, как бы раздуваемое широким морским ветром.

В Балаклаве мы замечательно пообедали во дворике у одного рыбака. Правда, хваленной камбалы не оказалось, но зато пожилая гречанка, с очень черными жирными волосами и доброжелательной улыбкой на желтом усатом лице, принесла нам в беседку громадную сковородку султанки. Маленькие розовые рыбки были связаны за хвосты пучками, по пяти рыбок в пучке. Они были почти досуха изжарены в оливковом масле и хрустели на зубах, как су-

хари: их можно было есть прямо с костями. Несмотря на лампадный вкус жареного масла, я не едала ничего более вкусного. Затем нам подали фаршированные баклажаны, приготовленные по-гречески, маслины и овечий сыр. Маслины мы с Дусей попробовали, но тотчас с ужасом выплюнули, чем вызвали презрительный смех мужчин. Все же остальное нам очень понравилось, и мы наелись до отвала.

— Это вам не манная каша,— назидательно сказал Петя, как бы нечаянно обняв Дусю, но тотчас получил по рукам и обиженно отодвинулся.

Он посмотрел на меня, глубоко вздохнул и сказал:

— Ах, Ниночка, Ниночка, ей-богу, вы меня недооценили.

— Увы, Петя.

Мы выпили вина. Петя, Андрей и Яша с большим удовольствием пили мутное белое вино, принесенное из холодного погреба в глиняном домашнем кувшине. Но это вино было кислое. Ни мне, ни Дусе оно не понравилось. Мужчины опять посмотрели на нас с презрением. Специально для нас был заказан розовый мускат. Мы выпили его по лампадочке и совершенно разомлели.

Солнце стояло еще высоко. Короткие лиловые тени резко лежали на песке дворика. Осы летали над черной бутылкой муската. Маслянисто благоухали в зеленых кадках олеандры, осыпанные маленькими розовыми цветочками. Во дворе валялись якорь с облупившейся киноварью и несколько больших сухих пробок от сетей.

А сердце мое все разгоралось и разгоралось.

После обеда мы лазили на крутую гору осматривать развалины Генуэзской башни. То Андрей, опередив меня, втаскивал меня за руку к себе, то я, опередив Андрея, подавала ему сверху руку и с трудом тащила к себе. В зияющих бойницах башни свистел морской ветер. Я взобралась на башню, на самый верх, и стояла там выше всех, развеваясь, как флаг. Я видела под собой всю Балаклавскую бухту, отпечатанную, как на карте.

Посредине бухты под всеми парусами стоял на якоре старинный корабль. Он казался совсем небольшим. Это была киноэкспедиция, снимавшая художественный фильм «Дети капитана Гранта». (Еще перед обедом мы заметили на набережной очень смешного и высокого Пагапеля с

подзорной трубкой под мышкой. Нам сказали, что это артист Черкасов.)

Пять торпедных катеров — два, еще два и немного позади один, — роя воду, молниеносно промчались мимо, с загнутыми вниз хвостами пены, как на охоте с борзыми.

Все эти подробности — и дым эскадры на горизонте — вдруг как-то соединились в одном чувстве счастья и страха за это счастье.

Мы возвратились домой поздно вечером при лунном свете. Прощаясь со мной, Андрей взял мою руку в обе свои большие руки, долго качал ее, как бы не желая с ней расстаться, и наконец сказал необыкновенно нежно и грустно:

— Что же теперь будет, Ниночка?

— Не знаю, — сказала я шепотом.

Поднимаясь с Дусей наверх, мы увидели маленький силуэт нашей моторной лодочки, который прошел назад, пересекая широкое золотое поле лунного света.

Полынь над обрывом была совсем белая, серебряная. Ярко светилась облитая голубым лунным светом старая монастырская колокольня, а направо, внизу, ясно виднелись в бурьяне белые камни, как говорили, — обломки храма Дианы. Далеко на обрыве стояла черная тень часового. Там где-то была спрятана береговая батарея. И то, что в мире еще существуют какие-то батареи, казалось совершенно непонятным.

А в общем, все это было волшебно.

Мы не сразу пошли спать, а еще очень долго сидели на длинной скамье над обрывом вместе с большой компанией курортников и пели хором все то, что полагается петь в таких случаях — «Из-за острова на стрежень», «Виють витры» и «Ой, полным-полна коробушка». Дуся была немного смущена и рассержена. Я отлично понимала, в чем дело. Когда мы возвращались домой в лодке, она позволила Пете слегка обнять себя за плечи, и теперь ее мучила совесть.

Когда мы пришли в свою обитель, я тотчас легла спать, а Дуся достала свечку, — у нее в чемодане был на всякий случай огарок, — зажгла его и долго и быстро писала длинное письмо своему «одному человеку». Она часто останавливалась и вздыхала.

До нашего отъезда я еще несколько раз виделась с Андреем. Раза два или три он появлялся у нас в Георги-

евском монастыре, один, без Пети. Мы гуляли с ним вдвоем, надолго уходя в степь, или сидели на нашем балконе, любуясь морем и скалами, торчащими из зеленой воды, как серые паруса. За эти несколько встреч я близко узнала Андрея, и он мне еще больше понравился. Всей душой я чувствовала его прямой, открытый характер, его внутреннюю силу, всю прочность, надежность его отношений ко мне. Трудно объяснить, но я точно знала, что это — *настоящее*. Мы, женщины, в таких случаях редко ошибаемся. Я любила Андрея, и эта любовь всецело овладела мною. Она как-то возвысила мою душу, наполнила ее счастьем и гордостью. Вместе с тем о своей любви мы совсем не говорили. Она подразумевалась.

Через несколько дней мы уезжали. Хотя мы и не уговаривались с Андреем, но я знала, что непременно увижусь с ним до отъезда. Однако он не появлялся.

Поезд уходил в полночь. Мы с Дусей приехали в Севастополь в девятом часу. Первый человек, которого я увидела, слезая у вокзала с линейки, был Андрей. Я несколько не удивилась, только у меня похолодели руки. Однако я заметила, что Дуся тоже не удивилась. Все было так, как должно было быть. Вместе с тем кровь горячо прилила к моей шее, стала подниматься по щекам, по ушам, она горела у корней волос. Я не могла выговорить ни одного слова, до того стало мне душно. Даже слезы выступили на глазах. Только теперь я почувствовала, в каком страшном душевном напряжении жила я последние четыре дня, сама того не понимая.

А он стоял передо мной все с тем же виноватым выражением добрых серьезных глаз, как бы говоря: что же теперь с нами будет, Ниночка?

С помощью Андрея мы сдали свои вещи в камеру хранения. Он предложил нам на прощанье погулять по Севастополю, съесть на бульваре мороженого. Дуся тотчас отказалась, сославшись на усталость.

— А ты, Ниночка, иди, только смотри не опоздай.

Я даже не нашла в себе силы ее уговаривать. Я уже ничего не соображала. Я взяла Андрея под руку и виновато посмотрела на Дусю. Дуся ласково улыбнулась.

— Ничего, идите. Я буду в зале ожидания.

Дальше все было, как во сне. Мы, конечно, опоздали.

С тех пор прошло три года. Мало это или много? Как будто бы пустяки. Но, боже мой, какие страшные опустошения произошли за эти три года в моей душе, в моей жизни! Со мной больше не было Андриюши. Не было моей любви, моей радости. Я была совершенно одна. Избегая одиночества, я почти все свое время — и дни и ночи — проводила на заводе.

Я уже привыкла к нашим холодным, неуютным цехам, из которых до сих пор еще не выветрился запах конюшни. Теперь они — эти цехи — уже не казались мне такими унылыми, мрачными, как в первые месяцы эвакуации.

Вы помните, что делалось осенью сорок первого года? Станки прибывали по железной дороге в беспорядке. Их разгружали с площадок, и их нельзя было оставлять на товарном дворе под дождем и снегом. Их надо было тотчас везти на завод и устанавливать.

Промедление было подобно смерти. Монтаж такого завода, как наш, в мирное время производился обыкновенно пять, шесть месяцев. Мы это сделали в несколько дней. Станки еще шли по железной дороге, а мы уже приготовили для них места, вычертили все схемы. Мы не имели права терять ни одной минуты. Не хватало подвод и грузовиков. Иногда приходилось с вокзала до завода тащить станки на себе. Мы тащили их волоком, подложив катки, по чудовищной грязи, напрягая последние силы, до крови натирая руки и спины жесткими канатами.

Еще в цехе не был проведен сжатый воздух, еще не было оборудовано отопление, а мы уже стали выпускать продукцию. Но вы представляете себе, чего нам это стоило? То, что в эти дни совершили русские рабочие, могли совершить только герои, богатыри!

Помните, как рано в том году началась зима? Листья еще не успели слететь с деревьев, даже еще не успели пожелтеть как следует, а уже выпал глубокий снег. Под его тяжестью гнулись и ломались ветки низкорослых кленов. Из-за Волги по целым неделям без перерыва несло мокрой ледяной крупой. Волга стала неприветливой, темной. Неприветливым, темным было небо, низко и сумрачно лежавшее над грязным чужим городом, куда мы попали. Днем и ночью с затонов доносился мрачный крик пароходов, напоминавший нам сирены воздушной тревоги.

Вдруг ударили небывало ранние тридцатиградусные

морозы. Волга окаменела, охваченная паром. Водопроводные трубы лопались в цехах. Вода лилась с потолков и замерзала. Стены, окна, перекрытия — все покрыл толстый серый иней. Руки примерзали к станкам. Их отрывали, оставляя на железе кожу. Казалось, в таких условиях работать выше человеческих сил. Но мы работали. Мы раскладывали в цехе костры. Они горели, треща и дымя, как в мрачной снеговой пещере.

Ох, какое это было кошмарное время! Вспомнить страшно. Украина занята. Белоруссия занята. Ленинград в кольце. Волоколамск. Истра. Подумайте только — Истра! Проносится слух, что немецкие танки в Химках.

А дни все короче, свету все меньше. С утра начинаются сумерки. Ветер свищет и стонет в телефонной проволоке, гудит в столбах. Синие искры мерцают на антеннах областного радицентра. И весь день, весь этот короткий день, подавленный ранними сумерками, в бумажных тарелках репродукторов слышится однообразная, нескончаемая, непрерывно повторяющаяся музыкальная фраза местных позывных. Похоже, что кто-то неуверенно, нота за нотой, с большими паузами вызванивает на зубьях железной гребенки эту мучительную, нескончаемую музыкальную фразу. Дойдет до конца, остановится и начнет сначала. Бесконечно, однообразно, до тех пор, пока вдруг что-то не щелкнет и роковой голос не скажет: «Говорит Москва. От Советского информбюро. В результате тяжелых боев, под давлением превосходящих сил противника нашими войсками оставлен город...»

И низкое небо опускалось еще ниже.

Но самое поразительное было то, что в эти черные дни завод давал больше продукции, чем до войны, в Москве. Люди не отходили от станков по нескольку суток. Они еле стояли на ногах. Но их нельзя было заставить уйти домой и отоспаться.

Да... но я, кажется, начала что-то другое... Я хотела вам рассказать о первом дне своего вдовства. Что ж. Это был ничем не замечательный заводской день. Жизнь, равнодушная к моему горю, двигала меня по своим рельсам. Поговорив с Абрашей Мильком, я пошла в свою маленькую конторку, отгороженную от цеха фанерой. Тут стояли мой стол и раскладушка, на которой я иногда спала. Теперь все мое внимание, все мои душевные силы были поглощены эмульсией. Абраша Мильк совершенно прав. Я уже давно обратила на это внимание. У меня даже был

один проект. Да все как-то не доходили руки. Теперь я решила заняться эмульсией вплотную. Я взяла план цеха и стала рассматривать его. Скоро мне показалось, что я знаю, как надо сделать. Я вынула из сумочки карандаш и стала набрасывать схему.

Работа так захватила меня, что некоторое время я не только не думала о своем горе, но даже совсем забыла о нем, будто его и вовсе не было. Я работала и, как всегда, машинально думала о войне и об Андрее, от которого что-то давно нет писем. Я даже немножко сердилась на Андрея за то, что он так редко пишет. «Если бы он чувствовал,— думала я,— как я о нем беспокоюсь и как я его люблю, он бы нашел время черкнуть мне хотя бы несколько слов. Но это ничего. В конце концов это не так важно. Пускай пишет редко, лишь бы только с ним ничего не случилось. И вдруг в моем сознании точно зажглась молния: *это уже случилось*. Боже мой, как я могла забыть! На миг я оцепенела. Карандаш выпал из пальцев. Меня охватил новый порыв отчаяния. Я готова была завывать от боли. Но в это время скрипнула фанерная дверь. В конторку вошел Волков, рабочий-пенсионер, в начале войны добровольно вернувшийся на завод. Это был неприятный старик с дурным характером, и я его, признаться, не любила.

У него был длинный и толстый, как бы опухший нос и серая щетина на худых, крупноморщинистых щеках. От него всегда исходил устойчивый запах кислого пота, махорки, железа, а часто и водки.

Не глядя на меня,— что было в его обыкновении,— он сел на мою раскладушку, выложил свои крупные рабочие руки на потертые колени, не торопясь, плюнул на пол и растер валенком, подклеенным оранжевой резиной. Он сказал, помолчав:

— Не пойдет наше дело, уважаемая барышня. Не ждите.

После этого он посмотрел мне прямо в глаза своими резкими, как у козы, глазами. Он поджал узкий рот и стал, не торопясь, стучать пальцами по коленям, давая понять всем своим видом, что больше от него не дожدهшься ни одного слова.

Я хорошо знала его упрямый, недоброжелательный характер. Особенно придирчиво — казалось мне — он относился ко мне. Он с насмешливым пренебрежением смотрел на мою молодость и на мое инженерство. Он считал

меня выскочкой. Мне казалось, что он постоянно исподтишка наблюдает за мной, ловя мою малейшую ошибку, малейший шаг в сторону. Разговаривая со мной, он всегда называл меня: «многоуважаемая барышня», или «товарищ командир производства», или еще как-нибудь в этом роде. В его козых глазах я всегда читала примерно следующее: «Ну-ка, ты, командир производства. Посмотрим-ка, что ты мне скомандуешь».

Он был знаменитый рабочий, лучший стахановец шлифовального цеха. Я его, конечно, уважала, но всегда была с ним начеку, чтобы как-нибудь перед ним не уронить своего авторитета. Я знала, что как бы то ни было, а все-таки не он, а именно я командир производства: я несу ответственность; и я очень дорожила этим своим положением и больше всего боялась уронить себя в глазах рабочих.

Он был упрям. Но упряма была и я. Когда он замолчал, я сделала вид, что погружена в работу и забыла о его существовании. Мы долго молчали. Это меня раздражало. Мое раздражение росло. Все-таки он меня перемолчал.

— Я вас слушаю,— сказала я наконец с напускной небрежностью.

— Не пойдет наше дело, уважаемая барышня,— повторил он, продолжая стучать пальцами.

— Короче,— сказала я сухо.

— Не длинней воробьиного носа, товарищ командир производства,— сказал Волков и опять надолго замолчал.

— Я занята.

— Все мы здесь заняты, уважаемая девица.

— Я не вижу, чтобы вы были заняты. Сейчас рабочее время. А вы зря тратите его на непонятные разговоры. Или говорите, или уходите. И вообще, почему вы самовольно прекратили работу и ушли от станка?

Я раздражалась все больше и больше. Он оставался невозмутим.

— Мое дело маленькое. Есть детали — шлифую. Нет деталей — не шлифую. За мной остановки нет. Зря хлеб не ем. Чем мне замечания делать, вы бы лучше, девица, велели детали вовремя подавать. А так дело не выйдет. Я лучше обратно на пенсию пойду, чем валять эту петрушку.

— Как не подают деталей? Почему?

— Это вам должно быть известно. Вы у нас инженер-технолог. А мое дело заявить.

Он встал и пошел на своих согнутых ногах к двери.

— Подождите! — крикнула я.

— Мое дело заявить, — повторил он. — Наладили технологический процесс. Ничего себе. Эх вы, наладчики. Тьфу!

Он плюнул и решительно вышел, стукнув задрожавшей фанерной дверью.

— Только без грубостей, — сказала я, сдерживая голос.

Я была возмущена, хотя в глубине души понимала, что Волков прав. Станки в цехе были расставлены нехорошо. Много рабочего времени уходило на подачу деталей. Склады находились далеко, а не было ни вагонеток, ни тележек. Детали переносили вручную в тяжелых ящиках, на что также уходило много сил и времени.

XII

Давно уже следовало переставить станки. Надо было действовать.

Я пошла советоваться в конструкторское бюро. Там у меня были старые приятели, инженеры. Из конструкторского бюро, где мое предложение приняли очень хорошо, я ходила в заводоуправление, потом к главному инженеру, потом добивалась, чтобы этот вопрос незамедлительно поставили на бюро. Одним словом, пока мне удалось хоть сколько-нибудь двинуть это дело, прошел день, и я даже не заметила, как он прошел, — первый день моего вдовства.

И самым ярким впечатлением этого дня — как ни странно — было не чувство моего горя, не мысли о погибшем Андрее, а живая и веселая сценка, которую я наблюдала, пробегая в конце первой смены через роликовый цех. Я увидела минуту Мусинога триумфа.

Что было до моего прихода, я не знаю. Но в тот миг, когда я вошла в цех, смена только что кончилась, и все стояли возле Мусинога станка. Девочка аккуратно обтирала его тряпкой. Затем она, не торопясь, повесила ветошку на гвоздик и вытерла руки о полу своей шинели. Она поправила русые косы, связанные на затылке кренделем, и, ни на кого не глядя, быстро пошла к Хозиному станку.

Она сняла с Хозиного станка красный флажок, быстро вернулась и укрепила флажок на своем станке. А Хозя в это время, оставив ногу, одиноко стоял в стороне, жадно курил и делал вид, что все это ему абсолютно безразлично. При этом на лице его блуждала глупая улыбка, которую он старался подавить и не мог, и черные глаза его завистливо блестели. Установив на своем станке флажок и, кроме того, еще попробовав, хорошо ли он держится, Муся, не глядя ни на кого, а в особенности на Хозя, прошла к выходу мелкой деловой походочкой. строго задрав свой подбородок, маленький, как булочка. Она прошла так близко от Хози, что чуть не задела его плечом. Однако, проходя, не удержалась, сказала:

— Съел?

И вдруг с молниеносной быстротой высунула и спрятала язык, свернутый в трубку.

Хозя побледнел от обиды. Он выплюнул сигарку и яростно крутнул ее каблуком. Но в этот миг он увидел меня и сдержался.

— Видели такое дело, Нина Петровна?

— Я ж тебя предупреждала.

— Ничего. Завтра я ей дам духу, — сказал Хозя сквозь зубы.

— Увидим.

— Точно.

Я вернулась домой поздно, часу в одиннадцатом, выпила чашку молока и сейчас же легла в постель. Мне хотелось поскорее думать об Андрее. Но вместо этого я сразу же, как только согрелась, заснула глубоким холодным сном без чувств и сновидений.

Несколько дней, а может быть и недель, прожила я в таком странном состоянии. Странность его заключалась в том, что, несмотря на исключительность для меня и новизну моего положения, ничего ни нового, ни исключительного не происходило. Все вокруг было по-прежнему. И по-прежнему почему-то я особенно ревниво скрывала от всех смерть Андрея. Вероятно, в самой глубине души я еще надеялась, что все-таки он жив. Ведь бывают же ошибки.

Смерть Андрея была сама по себе, а моя жизнь — сама по себе. Никакой ощутительной связи между ними не было. Иногда мне это казалось ужасным. Но чаще я совсем не думала об этом, занятая неотложными делами цеха, где началась перестановка станков.

Но вот однажды вечером, едва я вошла в сени, хозяйка сказала:

— Вам письмо.

Она подала мне знакомый треугольный конверт, надписанный рукой Андрея. В этом я не могла ошибиться. У меня потемнело в глазах. Я схватилась рукой за косяк двери. Безумная надежда вспыхнула в последний раз.

Я вбежала в комнату и упала на стул. Ничего не видя вокруг, я развернула дрожащими пальцами конверт. «Дорогая Нина, прости, родная, что я так долго тебе не писал»,— прочитала я эти слова, написанные знакомым спокойным и отчетливым почерком.

Я не смогла читать дальше. Я посмотрела на дату, которую он всегда аккуратно выставлял в начале письма. Я прочла: «8 марта 1942 года. Лес». Тогда я вынула из сумочки извещение. Мне стоило невероятных трудов развернуть его и прочесть. Некоторое время я сидела с закрытыми глазами. Наконец я заставила себя прочесть. Было написано: «Погиб смертью храбрых, выполняя боевое задание, 9 марта». Напрасно я надеялась. Все было до боли ясно. Извещение опередило письмо, а письмо было написано накануне *этого*.

Это было его последнее письмо. Больше уже писем не будет никогда. Ну что ж, я так и думала.

Некоторое время я сидела неподвижно, глядя в угол. Потом я спокойно прочла письмо. Оно было не слишком длинное и не содержало ничего особенного. Но теперь, когда я наверное знала, что Андрея уже нет на свете, каждое слово его письма казалось мне полным особого значения и таинственного смысла.

«У нас все по-старому,— писал между прочим Андрей,— на фронте довольно тихо, работы мало. Но это, как говорится,— сегодня пусто, а завтра густо. Раз на раз не приходится. Живем помаленьку, по мере сил очищая советское небо от фашистской нечисти. Погода прекрасная, еще по-зимнему кренкая. Но в воздухе, знаешь ли, уже чувствуется что-то такое этакое, необъяснимо весеннее. Днем солнышко заметно припекает, так что наши снеговые взлетные дорожки кое-где потемнели, как говорится, начали малость потеть. Впрочем, соловьев еще вокруг не наблюдается, а в кустиках чирикают и суетятся какие-то глубоко зимние среднерусские птицы. Сегодня 8 марта — женский день. По сему случаю обед у нас запоздал на три часа, ибо все наши военоторговские нимфы

и подавальщицы из комсомольской столовой объявили забастовку и загуляли. Но мы на них не в обиде. Пусть гуляют, сердешные. Их день! По случаю праздника за обедом выпили положенные сто грамм за наших отсутствующих подруг. Я выпил за тебя и мысленно поцеловал твою милую руку за ту любовь и счастье, которые ты мне дала. Как-то ты там живешь на высоком берегу моей родной Волги? Не скучно ли тебе, моя дорогая солдатка? Не грусти, родная. Все на свете проходит. Пройдет и наша разлука. Верь, что мы опять встретимся и заживем с тобой еще лучше прежнего. А пока что не будем унывать, а будем крепко лупить врага в хвост и в гриву. Я в гриву, а ты в хвост. Или наоборот. Как тебе больше нравится. Договорились? Да, между прочим, чуть не забыл. Ты знаешь, кто недавно пришел к нам в часть? Ни за что не отгадаешь. Петька! Ей-богу! Помнишь Петьку? Тот самый Петька, который проводил с нами то незабвенное времечко на Южном берегу Крыма и безуспешно ухаживал за твоей подружкой. Чудеснейший парень и мой старый друг, хоть годами далеко не стар, а, скорее, даже молод. Мы часто с ним вспоминаем те золотые денечки и много говорим о тебе. Между прочим, он мне признался, что не столько тогда увлекался твоей подружкой, сколько тобой. Темнил, сучья лапа. Вот хитрюга! Он тебе кланяется и целует ручку. Ах, хорошее было время! Вспоминаешь ли ты хоть изредка Севастополь — город нашей любви? Сильно ему, бедному, достается. Говорят — ни одного целого дома. Сплошные развалины. Думали ли мы с тобой тогда, что так случится? Ну да ничего. Будет и на нашей улице праздник. Прощай, целую тебя крепко и нежно, моя дорогая подружка. Я ни о чем не беспокоюсь. Была бы ты здорова и счастлива. А за меня, пожалуйста, не волнуйся. Ни черта со мною не случится. Смерть — это дело не по моей части. Я бессмертен», и т. д.

С этого дня на некоторое время я успокоилась. Мне уже не на что было надеяться. Потянулись будни, полные однообразных забот. Работа поглощала все мои душевные и физические силы.

Я совершенно перестала заниматься собой. Я потеряла к себе всякий интерес. Иногда мне даже казалось, что личная жизнь для меня кончена навсегда. И меня охватывало ужасающее равнодушие. Но это лишь так казалось.

Где-то на самом дне души, подо льдом, неслышно бежала струя живой воды.

По-прежнему никто не знал о моем горе. По-прежнему я молчала. Может быть, именно поэтому мне и было так трудно, так тяжело оставаться наедине со своим горем. Может быть, потому я и старалась как можно чаще ночевать в своей фанерной конторке, в людном цехе, на раскладушке, лишь бы только не ночевать дома одной.

XIII

Но вот однажды о моем горе узнали все.

Случилось это так. В конце первой смены ко мне за перегородку вбежала браковщица Женя Антипова. На ней лица не было. Она кинула передо мной на стол горсть промасленных роликов и, с трудом переводя дух, сказала:

— Нина Петровна, посмотрите, ради бога. Что-то невероятное!

— Что случилось?

— Брак.

— У кого?

— У Волкова.

— Ты с ума сошла.

— Проверьте сами.

Я схватила несколько роликов и пошла к миниметру. Женя Антипова была права. Все ролики оказались с браком: диаметр хорош, а параметр гранности сточен более чем на двадцать микрон, то есть гораздо больше допуска. Я не поверила своим глазам. От Волкова можно было ожидать всего: грубости, пьянства, даже иногда прогула. Но чтобы он запорол деталь — это было совершенно невероятно. Я еще раз проверила на миниметре его ролики и еще раз убедилась, что они непоправимо испорчены.

— Странно,— сказала я.— И большой процент брака?

Женя Антипова с отчаянием пожала плечами.

— Все брак,— сказала она коротко, и губы ее задрожали.

— Покажи! — крикнула я, не узнавая своего голоса.

Мы побежали в браковочную. Там на большом цинковом столе стоял ящик, наполненный роликами. Это была вся суточная выработка Волкова, что-то около пятидесяти тысяч роликов. Я стала обеими руками хватать их из ящика на выбор и один за другим вкладывать в миниметр. Стрелка миниметра колебалась. Все ролики без ис-

ключения были с браком. Я ужаснулась. За четыре дня до конца месяца — пятьдесят тысяч испорченных роликов! Не только для нашего цеха, но и для всего завода это была катастрофа.

Наталкиваясь на ящики, цепляясь ногами за проводку сжатого воздуха, я бросилась в цех.

Волков стоял, сгорбившись, у своего станка и быстро сыпал в бункер ролики. Его большие черные руки дрожали. Козьи глаза смотрели вниз. Они казались стеклянными.

— Что это значит? — сказала я, протягивая ему горсть бракованных роликов.

Он бессмысленно посмотрел на меня.

— Вы понимаете, что вы сделали? — сказала я, стараясь говорить как можно спокойнее.

Он продолжал молчать, и ролики все так же автоматически быстро падали из его дрожащих рук в бункер.

— Сейчас же остановите станок, — сказала я.

Он молчал, как будто не понимая, что от него требуется.

— Сию же минуту остановите станок! — закричала я. — Я вам приказываю!

Он молчал и не двигался с места. Я с ненавистью посмотрела на грязную щетину на его щеках, на его согнутые ноги в разношенных валенках, подклеенных оранжевой резиной.

— Вы просто пьяны! — крикнула я. — Отойдите от станка.

Он послушно отошел. Я остановила станок, схватила гаечный ключ и, срывая ногти, сняла фартук станка. Я сразу поняла, что станок не налажен. Положение и и толщина ножей были явно — даже на глаз — неправильны.

— Как же вы смели работать на неналаженном станке? — сказала я с отчаянием.

Но так как Волков продолжал молчать, я махнула рукой и крикнула наладчика.

Наладчик Власов, такой же старый рабочий-пенсионер, как и Волков, был уже давно тут. Он стоял, выдвинувшись из толпы, и укоризненно покачал головой.

— Почему не налажен станок? — жестко сказала я.

— Так ведь, Нина Петровна, сами знаете, — сказал Власов, растерянно ворочая руками. — Василий Федорович всегда лично налаживает свой станок. Он никогда

к нему никого близко не подпускает. И грех жаловаться: никогда никакого непорядка не случалось. Что же это ты, Василий Федорович? — сказал он укоризненно Волкову. — Гляди, что наделал? Пятьдесят тысяч деталей запорол. Ведь это такая беда для всего завода, что жуть берет! Как же это тебя угораздило?

— Да что вы к нему обращаетесь? — грубо закричала я, возмущенная добродушным голосом Власова. — Разве вы не видите, что он вдребезги пьян?

— Никак нет, — побелевшими губами проговорил Волков, ставя ноги смиренно, по-солдатски. Тень сознания мелькнула в его неподвижных глазах. Он, вероятно, только сейчас понял, что он наделал. И это его ужаснуло.

Услышав бессмысленное «никак нет», я почувствовала, что кровь бросилась мне в голову. Меня охватила такая ярость, что еще немного, и я бы ударила его по лицу. Все же у меня хватило силы сдержаться. Но голоса своего я уже не могла остановить.

— Вы понимаете, что вы сделали! — кричала я изо всех сил, так, что у меня сел голос. — Так поступают последние негодяи, вредители! Понятно вам это?

— Виноват, — проговорил Волков, откашливаясь.

Это тупое, возмутительное откашливание окончательно лишило меня самообладания. Я начала кричать на весь цех. Я кричала низким, грудным голосом, который вдруг стал похож на голос моей матери, когда она была чем-нибудь взбешена. Это была та лишняя капля, которая переполнила мое раненое сердце. Все горе, которое я так долго скрывала в себе, вся душевная боль вдруг неудержимо бурно вылилась из меня.

Я так торопилась высказать все, что не успевала договаривать фразы до конца. Слова в беспорядке насккивали на слова. Мысли путались. Я захлебывалась.

— Люди воюют. А вы? Вы соображаете, что вы сделали? Запороть пятьдесят тысяч роликов! — кричала я на весь цех. — Лучшие люди отдают свою жизнь за счастье, за свободу. Каждую минуту, секунду льется за родную кровь. Святая кровь наших братьев, наших мужей. Вы соображаете, что такое для них ролик? Это самолет, пушка, танк. Поймите это, поймите... Сию же секунду убирайтесь отсюда! Чтоб духу вашего не было! И имейте в виду, что это вам так не пройдет. Я не успокоюсь до тех пор, пока... Слышите? Не смейте торчать передо мной, как бревно. Ступайте!

— Нина Петровна, погодите, успокойтесь,— говорила Вороницкая, трогая меня за плечо своей мягкой рукой в вязаной перчатке с отрезанными пальцами.— Не кричите. Посмотрите на него. Вы же видите, что он не в себе.

— Он не в себе? — крикнула я, резко отстраняясь.— А я.. Я в себе? У меня муж погиб на фронте,— неожиданно для себя сказала я.— Можете вы это понять или не можете? Боже мой, гибнут лучшие люди, настоящие герои, святые... А в это время какая-нибудь гадина в тылу... Ну,— спросила я Волкова,— вы еще здесь?

— Воля ваша, — покорно, дрожащими губами тихо сказал Волков.

Плохо попадая в рукава, он надел свой большой ватный пиджак, кое-как обмотал худую, старческую шею платком, взял в руки свой трех из собачьего меха и, сторбившись, вышел из помещения.

Конечно, я не имела никакого права выгонять его из цеха и тем более — отстранять от работы. Это было самоуправство. И в другое время за Волкова непременно бы кто-нибудь вступился. Но я сказала, что у меня погиб муж, и эта новость так поразила всех, что о Волкове никто больше не думал. В глубоком молчании все смотрели на меня.

— Какое горе,— сказала Зинаида Константиновна,— и давно это случилось?

— Ах, боже мой, — сказала я с раздражением.— Какое это имеет значение? Уже больше месяца. Теперь об этом не время говорить. Надо что-то предпринимать. С ума можно сойти. Не может же цех из-за одного негодяя оставаться в таком позорном прорыве.

Я круто повернулась и пошла в свою конторку. Но, вместо того чтобы сесть к столу, я легла на раскладушку и закрыла глаза.

— К вам можно?— осторожно спросила Зинаида Константиновна.

Она вошла ко мне на цыпочках, как к больному. Она села боком на раскладушку и положила свою щеку на мою.

— Бедненькая моя,— сказала она тихо.— Как же вы, наверное, все это время страдали! И никому не говорили. Разве можно? Ведь так и известись недолго. А у вас впереди еще целая жизнь.

— Моя жизнь кончена,— сказала я, чувствуя необы-

чайную легкость, почти счастье оттого, что наконец могу говорить так просто и так откровенно о своем горе.

— Это вам так кажется,— сказала Зинаида Константиновна с нежной, грустной улыбкой.— Мне шестьдесят лет. Недавно я схоронила мужа и двух сыновей. Я живу совсем одна. Моя жизнь и вправду кончается. А все-таки живу и по мере сил не унываю. Даже до победы думаю дожить. Верьте мне, Ниночка. Все в жизни проходит. Пройдет и ваше горе...

— Никогда.

— Ну, может быть, ваше горе и не пройдет. Но оно отойдет, отступит. Нет такого горя, которое бы не отступило перед жизнью. И это — великое счастье,— прошептала она, как бы сообщая мне большую тайну.— Иначе как бы мы все стали жить? Ведь на кого ни посмотри — у каждого горе. Великое, великое, всенародное горе, глубины неизмеримой. Но ведь мы верим, мы знаем, что горе это не вечно. Оно пройдет. Наступят дни победы. Как же можно в таком случае говорить, что жизнь кончена? Это нехорошо. Это неправильно. Ведь это значит признавать смерть. А ничего подобного. Народ бессмертен. Стало быть, бессмертны и мы. Так-то, моя хорошая, моя родная. Нет смерти. Жизнь, только жизнь. Вы со мной согласны? Это, конечно, очень не ново, то, что я вам говорю. Но это чистая правда. Это даже больше, чем правда. Это — истина.

Она несколько раз погладила мою голову.

— Ну, Ниночка?

XIV

В этот день я вернулась домой очень поздно, так как история с Волковым получила широкую огласку и уже было несколько совещаний по выводу роликового цеха из прорыва. Я уже собиралась лечь, когда заглянула хозяйка и сказала, что ко мне пришли с завода.

Это был наладчик Власов.

— Прошу прощения, что наведалься так поздно,— сказал он, щелкая большой хорошей зажигалкой собственной работы и закуривая.— Не знаю, Нина Петровна, как вы на это смотрите, но я думаю так: нельзя губить человека.

— Вы про что?

— Про Волкова, про Василия Федоровича.

Едва я услышала это имя, как тотчас злое, беспощадное чувство поднялось опять в моей душе.

— Дружка своего пришли выручать? — холодно сказала я.

— Да ведь это как взглянуть, Нина Петровна, — сказал Власов мягко, видимо не придавая значения моему холодному, злому тону. — Конечно, Василий Федорович мне старинный друг. Это точно. Спорить не стану. Однако дружба дружбой, а, как говорится, табачок врозь. Разве я враг своему отечеству? Будь ты мне хоть трижды друг, а если ты в военное время запорол пятьдесят тысяч деталей, я с тебя голову сорву. Можете в этом не сомневаться. Не по дружбе я пришел, Нина Петровна, а по справедливости. Ведь он себя не помнил, когда все это безобразие сделал.

— Конечно, не помнил с перенюю, — сказала я жестко.

— Он не был выпивши, Нина Петровна. У него, Нина Петровна, большое несчастье случилось. Его всю семью гитлеровские разбойники истребили.

Я побледнела.

— Что вы говорите!

— Истинно. Всех, до последнего человека. Его семья в Тульской области оставалась. У них там в деревне хозяйство было. Не успели выехать. А теперь их деревню освободили. Вчера оттуда от соседей письмо пришло. Описано все подробно. Так это, знаете, Нина Петровна, кровь в жилах стынет. Оставалось там у него, значит, пять душ: жена — старушка, Варвара Алексеевна, брат старший — совсем старик, Федор Федорович, — говорил Власов, загибая пальцы, один из которых так же, как и у моего отца, был оторван машиной, — одна дочь старшая, звали, как и вас, — Ниной, стало быть, Нина Васильевна, жена командира Красной Армии, и при ней маленький сын, мальчишка Васька. По деду назвали. Да еще другая дочь, меньшая, — Наташа, пятнадцати лет. Красавица, говорят, была. Ей, конечно, хуже всех пришлось перед смертью.

— Боже мой, — шептала я, стискивая пальцы. Я вспомнила, как я нынче кричала на Волкова, и как он молча стоял передо мной, поставив ноги смиренно, и как у него тряслись большие старые руки.

Густая краска стыда залила мне лицо, шею, уши.

— Какое горе! Господи, какое горе,— повторяла я бессознательно.— Я же этого ничего не знала. Поверьте мне, совсем не знала, понятия не имела.

— Да ведь об этом чего и толковать. Ни вы не знали, ни я не знал. Никто не знал,— сказал Власов.— У вас, Нина Петровна, и своего горя хватает. Кругом горе. Я и говорю: как-то надобно выходить из прорыва. Не допустить цех до позора. Василий Федорович хотел нынче зайти к вам, да не решился. Не знал, как вы его примете. Меня просил сходить.

— Где он сейчас? Дома?

— Дома. Где ж ему быть?

— Он на квартире живет или в бараках?

— В бараках. Барак номер шестнадцатый.

— Так пойдемте,— сказала я, быстро снимая с гвоздя пальто и платок.

— Время позднее. Да и не близко. Километра четыре.

— Я знаю. Это не важно.

— Что ж,— сказал Власов,— давайте сходим.

Мы вышли. Был первый час ночи. Снег уже давно сошел. Земля была твердая, сухая, легкая для ходьбы. В темном небе светился мутноватый зеленый месяц. На черной земле лежали еще более черные тени голых деревьев. Было тепло. Только иногда с Волги, по которой шли последние льдины, потягивало холодом.

Бараки стояли в стороне от шоссе в мелком осиннике. Здесь где-то недалеко находились громадные новые авиационные заводы и заводские аэродромы. В небе все время шумели невидимые истребители и штурмовики, совершавшие ночные испытательные полеты.

Мы поднялись по деревянным ступенькам на крыльцо и через маленькие сени, где стоял громадный кипяtilьник, вошли в барак. Мы прошли в самую дальнюю сторону барака, переполненного спящими и не спящими людьми. Койка Волкова помещалась в стариковском углу возле большой кирпичной выбеленной печи, на выступе которой я сразу узнала валенки Волкова, подклеенные оранжевой резиной, поставленные на печь сушиться, и у меня сжалось сердце.

Волков сидел на табурете под электрической лампочкой, обернутой листом черной маскировочной бумаги, так что свет падал только вниз. Сняв с себя штаны, Волков пришивал к ним пуговицу, держа большую иголку по-мужски, тремя пальцами, составленными щепоткой. На

его большом толстом носу были надеты маленькие сильные очки, увеличивающие его глаза до размера воловьих. Я увидела его худые ноги в серых подштанниках, загнутые под табуретку. Комок остановился у меня в горле.

— Василий Федорович, голубчик, — быстро сказала я, — я ведь ничего не знала про ваше горе. Ради бога, простите меня, если можете.

Увидев меня, он сконфузился, задвигался на табурете, не зная, куда спрятать ноги и куда сунуть штаны.

— Спасибо, что зашли. Разрешите-ка, я того... оденусь маленько, — пробормотал он.

Я повернулась к нему спиной. Когда обернулась, он уже был в валенках, в пиджаке, без очков, как всегда. Но, боже мой, только теперь я заметила, как страшно он постарел, подался. Веки его как-то обрезались, вывернулись, как у старухи. Жилы на худой шее подергивались. Брови горестно поднялись. На глазах неподвижно стояла светлая жидкость.

— Простите меня, простите, — сказала я, изо всех сил стискивая пальцы, вложенные в пальцы.

— Моя вина, — проговорил он. — Загубил пятьдесят тысяч роликов. Ведь это надо суметь. Только, верьте слову, Нина Петровна, сам не знаю, как все это получилось. Стоял и ничего не видел, чего делаю. Одно перед глазами — как их убивают... А Наташку мою, меньшую, мало того что убили, а, прежде чем истребить, еще эти мерзавцы заразили.

Лицо его вдруг сморщилось, стало маленькое, как колобок, и он всхлипнул, как бы с усилием выталкивая из себя жгучие, бешеные слезы.

С того дня как я узнала о гибели Андрея, я еще ни разу не плакала. Может быть, поэтому мне и было так трудно переносить свое горе. Но сейчас вдруг что-то рванулось во мне. Я бросилась, схватила худую шею Волкова, припала лицом к его заношенному пиджаку и зарыдала. Рыданья потрясали меня с головы до ног. Теплые обильные слезы лились по моему лицу. Я ловила их губами. Я их глотала, чувствуя в горле их горький соленый вкус. Я насилу успокоилась. Но и потом, дома, оставшись одна, я еще несколько раз начинала плакать в мокрую подушку.

Плакала я об Андрее, о себе, о нашей любви, о нашем погубленном счастье. Плакала об одинокой старой женщине Зинаиде Константиновне Вороницкой и об ис-

панском мальчишке Хозе, отец которого погиб под Мадридом, сражаясь за свободу и независимость своей родной страны. Плакала о поруганной, оскорбленной родине. Плакала о Волкове, о его замученной, истребленной семье и о его любимой Наташке, принявшей перед смертью такой позор и такие муки. Мне так ясно представлялась эта невероятная, чудовищная картина, что от душевной боли и ярости я начинала стонать.

К утру я совсем обессилела физически. Но зато душевно за эту ночь я необычайно выросла и окрепла. Теперь я точно знала, для чего я живу и что мне надо делать.

Я очень тщательно умылась студеной водой, хорошенько выполоскала рот, вычистила порошком зубы и очень рано пошла на завод. Когда я пришла, Волков уже был в цехе. Мы тотчас принялись за дело.

Мне уже давно приходила в голову мысль спарить два станка, чтобы удвоилась выработка. Кое-что было придумано. Но осуществить эту идею все как-то не удавалось. Теперь это нужно было сделать во что бы то ни стало. Другого выхода не было. Я тут же стала разрабатывать дополнительные чертежи и схемы. Нам помогали все, весь завод — и чертежники, и монтажники, и инструментальщики. Все с жаром взялись за дело, для того чтобы восстановить честь завода и не дать ему окончить месяц с прорывом по роликам.

К почти станки были установлены и налажены. Волков стал к станку. Он сказал, что не отойдет от него, пока не удвоит норму. Я стояла рядом с Волковым целые сутки. И мы добились своего. Мы вместе дали норму в триста шестьдесят процентов.

XV

Вы, конечно, помните, какая была весна в сорок втором году: поздняя, холодная, дождливая. В мае несколько раз начинались метели. Мокрый снег целыми тучами несло из-за Волги. Реки разлились, дороги размокли. На всех фронтах наступило тягостное, длительное затишье.

У нас на заводе был уже свой клуб, библиотека, приезжали артисты, и, когда я проходила по заводской территории, мне не верилось, что семь месяцев тому назад здесь были горы слежавшегося навоза, мусора и всюду

была такая грязь, что люди оставляли в ней не только калоши, но также сапоги и ноговицы.

В жизни моей ничто не изменилось, кроме того, что теперь я жила в центре города, в новом доме медицинских работников, в квартире Зинаиды Константиновны, которая уговорила меня переехать к ней. Она дала мне маленькую белую комнату с большим окном, выходящим на Волгу и на бульвар. На бульваре и против областного драматического театра стоял черный мокрый памятник Чапаеву в острой папаше и с кривой пашкой, поднятой над головой.

В моей комнате не было ничего, кроме узкой железной кровати, фанерного кухонного столика и стула. Все мои вещи лежали в чемодане, а выходное платье висело на двери под простыней. Столик я застлала салфеткой и расставила на нем зеркальце, одеколон «Кремль» ТЭЖЭ в матовом флаконе, в форме кремлевской башни, коробку из-под печенья, где у меня хранились письма Андрея, а также нашу единственную, очень потертую фотографию, на которой мы были сняты с Андреем вместе на бульваре в Севастополе возле круглого здания Панорамы.

За последнее время я очень подружилась с Зинаидой Константиновной и очень полюбила свою комнатку, пустую и скромную, как у девушки. Часто стояла я перед окном, закутавшись в платок, и, потирая озябшие пальцы, смотрела за Волгу, на запад. Все низменное песчаное пространство за Волгой было покрыто пухлой, яркой зеленью лесов. На синем пороховом фоне дождевых облаков леса казались еще ярче, еще зеленее. Дымы — зеленый и синий — смешивались на далеком горизонте. Потирая свои похудевшие, холодные руки, я бесконечно повторяла неизвестно откуда взявшуюся фразу: «Зеленый дым весны и синий чад войны. Зеленый дым весны и синий чад войны...»

Однажды в сумерки я вернулась домой и, снимая в передней пальто и калоши, увидела на вешалке фуражку с голубым околышем и шитым золотом гербом. Под вешалкой стоял маленький чемодан Андрея, перевязанный ремешком. Дверь в мою комнату была открыта. Я взглянула и увидела незнакомого летчика. Он сидел за моим столиком и что-то быстро писал. Услышав мои шаги, он встал, одернул гимнастерку. Он был невысок, строен, смугл, с двумя орденами. На его голубых петличках я увидела одну шпалу. Стало быть, он был капитан.

— Нина Петровна? — полувопросительно сказал он.

— Да. Я.

— Капитан Савушкин, — сказал он, сдвинув каблуки.

Я протянула ему руку. Он ее взял, нерешительно поднял, как бы желая поцеловать, но, заметив в моих глазах мелькнувшее недоумение, твердо ее пожал, тряхнул и выпустил. Он покраснел, отчего его чистый смуглый лоб еще больше потемнел. Это было заметно даже в сумерках. Он поправил свои тонкие небольшие усы, решительно откашлялся и сказал:

— Я однополчанин вашего супруга. Приехал сюда в командировку принимать на заводе самолеты для фронта. На рассвете улетаю обратно в часть. По поручению командира полка имею вам передать...

Он слегка присел, привычным жестом потянул ремешок полевой сумки и вынул небольшой сверток. Он дал его мне, а сам деликатно отошел в сторону и отвернулся. Я развернула сверток. Там были ручные часы Андрея, три его ордена, золотая звездочка Героя Советского Союза, орденская книжка, бумажник и моя очень давняя неудачная фотография с потрескавшимися и обрезанными краями, где я была снята — очевидно, зимой — в белой вязаной шапочке, в белом свитере и почему-то была похожа на брюнетку. Я долго стояла, держа в горсти все эти вещи, как бы взвешивая их — его славу, его любовь, его время, — и все никак не могла постигнуть до конца, что все это осталось, существует, а его, моего Андрея, уже нет и больше никогда не будет. И слезы текли по моим холодным щекам.

— Я еще привез чемодан с кой-какими вещами Андрея Васильевича. Я его поставил в передней — мне тут открывала дверь одна старушка.

— Это моя хозяйка, Зинаида Константиновна.

— Вот, вот. Она мне и комнату вашу открыла. Я уже думал, что вас не дождусь. Записку стал писать. Разрешите внести чемодан?

— Спасибо. Не беспокойтесь. Это потом.

Уже совсем стемнело. Я опустила синюю бумажную штору маскировки и зажгла лампочку под черным абажуром. Я предложила капитану стул, а сама села на кровать. Мы некоторое время молчали.

— Нина Петровна, неужели вы меня не узнаете? — сказал он.

И я вдруг сразу его узнала.

— Петя!

— Ну, конечно! Георгиевский монастырь, Балаклава, розовый мускат и так далее.

— Извините, я даже не знала, что ваша фамилия Савушкин.

— Да, капитан Савушкин. Это теперь. А в мирное время был Петя. Иначе никто не называл. А что, сильно я с того времени переменялся?

— Я б не сказала, что сильно. Но все-таки... Стали более солидным. Повзрослели. Опять же — усы.

— Усы фронтовые. Не такой веселый?

— Да и это.

— Ничего не поделаешь. Воюем. Веселого мало.

— А вы знаете, мне Андрюша в своем последнем письме писал о вас и даже передавал привет. Как раз накануне... этого несчастья.

— Да, очень тяжелый случай,— сказал Петя, нахмурившись.— Не говорю уже о вас. Это само собой. Но и для всех нас это очень тяжелый удар. Для всего полка. Потерять такого товарища, такого выдающегося командира.

— Как это произошло? При вас?

— Не только при мне, но даже, если хотите, из-за меня.

— Из-за вас?

— Да. Но, конечно, не по моей вине. Видите ли, мы вели бой на высоте двух с половиной тысяч метров. Мой самолет подожгли. Я успел выброситься с парашютом. Налетели три «мессера» и стали меня клевать из пулеметов. Одна пуля царапнула ключицу, слава богу, не разрывная. Другая попала в мякоть бедра. Третья перебила один строп. Кошмар. И, главное, полное бессилие. Вишу и ни черта не могу сделать. Совсем погибаю. Тут мне пришел на выручку Андрей Васильевич. Он кинулся сверху, сделал правый разворот и дал из пулемета с расстояния сто — сто пятьдесят метров короткую очередь по одному стервятнику. Тот загорелся и упал. Другой «мессер» в это время зашел Андрюше в хвост. Андрей Васильевич вовремя заметил, снизился до бредущего, развернулся влево и пошел вверх по вертикали прямо на второго «мессера». Тот боя по вертикали не принял и отвалил. А в это время третий «мессер» успел набрать высоту и пикирует на меня, открыв огонь из всех пулеметов. Тогда Андрюша положил машину опять на правое крыло и стал делать вокруг

меня круги, не подпуская ко мне третьего «мессера». Так он и ходил все время вокруг меня, пока я приземлился. Бой шел над немецким передним краем, но, слава богу, ветер дул на восток, так что я с грехом пополам, но все-таки дотянул до своей территории. Когда я приземлился, Андрей Васильевич совсем близко пролетел возле меня, отодвинул колпак и помахал мне рукавицей. И я, знаете, очень ясно увидел, Нина Петровна, его отлетевшие назад русые волосы. Андрей Васильевич не любил летать в шлеме: его раздражало радио. Надевал шлем лишь в крайнем случае. И как раз в этот миг у него под правым крылом показалось пламя. Как видно, второй «мессер» опять сделал заход и дал по Андриюше из пушки. Андриюша кинул машину на правое крыло и сбил огонь. Но как только выровнялся, пламя опять вспыхнуло, пошел густой дым, машина захромала. Второй «мессер» снова развернулся и пошел на сближение с Андреем Васильевичем. Но Андрей Васильевич уже не стрелял. Видно, кончились патроны. Или он уже тогда был смертельно ранен. Я видел, как его машину тряхнуло, но он ее все-таки выправил и стал уходить на свой аэродром, а за ним тянулась черная полоса дыма. Из последних сил он дотянул до аэродрома и все-таки посадил горящую машину. Когда его вынули из кабины, он уже был мертв. У него обгорела правая рука, и пуля пробила печень.

Когда меня привезли в полк, Андриюша уже лежал в ельнике на снегу, покрытый плащ-палаткой.

— Боже мой, — сказала я, чувствуя, что начинаю дрожать.

— Война, Нина Петровна, — хмуро сказал Петя, — ничего не поделаешь. На другой день Андрея Васильевича похоронили, — торопливо продолжал он, заметив мое волнение. — Я при этом не был, так как меня отправили в госпиталь, но вот, вероятно, вам будет интересно посмотреть... хоть я не знаю, может быть, не стоит...

— Покажите, — сказала я, овладев собой. — Ничего, покажите.

Он достал из своей сумки конверт с фотографиями.

— Только неважная бумага, — сказал он.

На одной фотографии я увидела Андрея в гробу. Знакомое, родное, спящее лицо с незнакомой ссадиной на переносице, с волосами, гладко зачесанными со лба вверх, виднелось из вороха еловых веток с шишечками. Гроб стоял на снегу, и на заднем плане вышли два красноар-

мейца с автоматами на шее. Они стояли с двух сторон, поддерживая простую, дощатую крышку гроба, поставленную торчмя.

Я бегло посмотрела другие фотографии — погребенье, салют, обгоревший и простреленный самолет Андрея и вид деревенского погоста с церковкой и могилкой Андрея, снятый с птичьего полета.

— Можно оставить себе?

— Да, конечно. Это специально для вас.

XVI

Потом я начала расспрашивать Петю про Андрея, и он, стараясь быть как можно более точным в датах и фактах, стал подробно рассказывать мне о последних месяцах жизни Андрюши.

Я слушала его рассказ с благодарной жадностью, но, конечно, этого рассказа для меня было слишком мало. Моя душа требовала гораздо, гораздо большего, — того, чего Петя при всем своем желании не мог мне дать. Мне нужно было хотя бы одну частицу Андрюши, живого, любящего, существующего, а не существовавшего когда-то и уже не существующего теперь.

Было часов двенадцать, когда я вдруг вспомнила, что даже не предложила Пете чаю, не поинтересовалась его ранением.

— Так вы, значит, прыгнули с парашютом? — сказала я, найдя удобный повод.

— Пришлось, — сказал Петя, нахмурившись. — Самолет загорелся и пошел в пике. Его абсолютно невозможно было выровнять. Я сделал все возможное. Оставалось только прыгать. Я имел право по инструкции оставить борт самолета.

Я не могла удержать улыбку.

— Слушайте, вы, ей-богу, какие-то невероятные люди! — сказала я. — Из какого материала вы сделаны? Человек, спасая свою жизнь, выскакивает из горящего самолета и еще потом извиняется, что он на это, дескать, имел право.

— А как же? — серьезно сказал Петя. — Нельзя, Нина Петровна. Самолет — это наше боевое оружие. Его можно бросить только в самом крайнем случае, когда другого выхода нет. Вы этим не шутите!

Потом мы стали пить чай. К нам присоединилась Зинаида Константиновна. Петя ей сразу понравился.

— Пойдите, — сказала Зинаида Константиновна. — По-моему, мы делаем что-то неправильно. Погодите, я думаю, капитан Савушкин не откажется от стопочки водки.

— А есть? — сказал Петя.

— Я в этом не специалистка, — сказала Зинаида Константиновна, — но, по-моему, у меня где-то есть немного чистого, ректифицированного спирта. Это как — годится?

— Безусловно, — сказал Петя.

— Говорят, его нужно только развести кипяченой водой и получится превосходная водка.

— Можно даже не разводить, — сказал Петя.

— Ну, вам виднее.

Зинаида Константиновна пошла за спиртом, а я быстро сварила на круглой электрической плитке картошку и открыла банку рыбных консервов. Кроме того, у нас нашлась селедка, две луковицы, даже немного уксуса. Ужин получился великолепный.

Несмотря на Петины жалобные улыбки, мы все-таки спирт разбавили и для красоты налили в графинчик. Рюмок не было, и пили из медицинских банок.

— Ну, что ж, товарищи, выпьем за нашего Андрея, — вздохнув, сказал Петя.

— Да, за Андрюшу, — сказала я.

Мы стукнулись круглыми баночками, выпили, поморщились и прежде всего закусили луком, нарезанным красивыми кольцами, похожими на цыганские серьги.

Я взглянула на Петю и вдруг ясно, почти осязаемо близко увидела наш веселый завтрак в Балаклаве, Андрея, резкие фигурные тени виноградных листьев на песке, сухие холмы, очень синее море — весь этот неповторимый июльский день...

Мы тихо посидели, предаваясь воспоминаниям, и были очень удивлены, когда в дверь громко постучали. Это явился шофер, приехавший за Петей. Оказалось, что уже пятый час утра. Так как нам с Зинаидой Константиновной ложиться уже все равно не стоило, то Петя предложил подвезти нас на завод, который находился по дороге на аэродром.

В автобусе, набитом военными летчиками и механиками, мы продолжали разговаривать об Андрее, и между прочим Петя сказал:

— А почему бы вам, Ниночка, не съездить к нам на фронт, повидать могилу Андрея Васильевича?

Мысль, что я могу увидеть его могилу, постоять возле нее, положить на нее цветы, поразила мое воображение. Это вдруг, как-то сразу, почти ощутимо, приблизило меня к Андрею.

— А это возможно? — сказала я.

— Отчего же, — сказал Петя. — Сделаем. Будет вызов из штаба фронта.

— Как было бы хорошо!

— Точно.

И, прощаясь со мной у проходной будки завода, Петя сказал:

— Я вам сейчас же напишу, как только приеду в часть. А вы приготовьтесь. Так, значит, до скорого.

С этого дня меня охватило страстное желание побывать на могиле Андрея. В ожидании Петиного письма я нетерпеливо считала дни. Однако прошел май, наступил июнь, а письма все не было. Летом началось немецкое наступление. Но я еще продолжала ждать и надеяться. Наконец пришло письмо. Из этого короткого, поспешного письма, написанного химическим карандашом на тетрадной бумаге в косую линейку и свернутого так же, как и письма Андрея, — треугольником, — я поняла, что надеяться не на что.

«В данный момент обстановка на фронте очень сложная, — писал Петя. — Мы находимся все время в движении, так что о Вашем приезде пока не может быть и речи, тем более что населенный пункт, где похоронен Андрей Васильевич, сейчас гораздо западнее линии нашей обороны. Но Вы, дорогая Ниночка, не волнуйтесь. Отходя, мы успели снять с могилы деревянный обелиск и дощечку, так что, надеюсь, могила сохранится. Мечтаю опять увидеться с Вами, только вряд ли это будет в ближайшее время. Теперь абсолютно не до того. Пожалуйста, пишите мне, если найдете время. Ваши письма доставят мне большую, очень большую радость. Ваш друг Петя».

XVII

«Третьего июля, после восьмимесячной героической обороны, — как было сказано в вечернем сообщении Совинформбюро, — наши войска оставили Севастополь».

Я узнала об этом утром четвертого.

Ох, как памятен мне этот траурный солнечный день с пылью и жгучим беспорядочным ветром! Как бы вам лучше объяснить мое тогдашнее душевное состояние?

Помню затмение солнца, которое я видела однажды летом, в детстве. Был такой же яркий, горячий день с пылью и тревожным ветром. Листья дрожали и блестяли, как металлические. Это, если вы помните, было неполное затмение.

Казалось, что солнце светит по-прежнему, и по-прежнему на него больно смотреть, даже, может быть, немного больнее. Но в природе что-то уже изменилось. Было что-то так, да не так. Блеск листьев стал еще более резок. Тени дикого винограда на стене нашего деревянного дома на Красной Пресне странно сдвинулись, как будто сдвоились. Чувство необъяснимого страха и угнетающей скуки охватило душу. Мне дали закопченное стеклышко, и я посмотрела сквозь него на солнце. Сквозь бархатистую рыжую сажу я увидела белый кружочек солнца с небольшой, очень черной щербинкой на краю. Эта щербинка незаметно росла до тех пор, пока солнце не сделалось, как поготовок. В ужасе я бросила стекло. Холодная полутьма лежала на всем вокруг. Солнце нестерпимо ярко блистало в пасмурном небе, как свинцовая звезда. Я закричала и заплакала. Меня с трудом успокоила мать. Затмение медленно прошло. Но потом целый день и даже на другой день мне все казалось, что в мире немножко не хватает свету и все предметы обвешены траурной каймой.

Такое же чувство испытала я — да, наверное, не одна я, и вы тоже, конечно, его испытали — в тот солнечный июльский ужасный день, когда стало известно о падении Севастополя.

Севастополь — «город нашей любви»! Сколько раз за этот несчастный год я думала о нем и о том неповторимом дне, который мы когда-то провели с Андреем так празднично и так счастливо в этом городе.

Трудно было мириться с мыслью, что каждый день в течение восьми месяцев в облаках известкового мусора рушились, уничтожались его светлые домики с железными балконами, что в пыльные цветники падали убитые дети, что со свистом летели булыжники и куски асфальта, вырванные бомбой из мостовой, и обугливались акации и платаны, охваченные огнем.

Но все-таки этот город — или, вернее сказать, то, что от него осталось, — был еще наш. Нашей была сухая, розоватая севастопольская земля. Нашими были степь с ее крошечными белыми улитками, море, Херсонесский маяк, Балаклава и та скала, возле лилового мыса Фиолент, на которой я лежала, заложив руки под голову, в блаженном беспомыслии крымского полудня.

А сейчас все это было отнято.

Не было больше ни моего Андрея, ни нашего Севастополя. Да и меня — той прежней, молодой и счастливой — тоже ведь уже больше не существовало. Была какая-то совсем другая я — одинокая женщина Нина Петровна, инженер-технолог. Эта женщина теперь озабоченно шла по территории завода, обжигаемая пыльным волжским ветром.

Но душа моя была не здесь. Душа моя жила в сияющем, светоносном мире того севастопольского дня, где была я молоденькая, влюбленная, в маркизетовом платье с короткими рукавами, и со мной был мой Андрей — живой, счастливый и немного смущенный.

Я вам сказала, что мы провели этот день с Андреем празднично и счастливо. Я не боюсь это повторить. Это действительно был наш праздник. Мы это знали. И мы праздновали его.

Проснувшись тогда в Севастополе, мы прямо и просто посмотрели друг другу в глаза и еще раз крепко поцеловались. Озябшие после чересчур продолжительного купанья, мы жадно съели в каком-то буфете простоквашу, пробив жестяными ложечками бумагу, которой были туго заклеены наши стаканы. Потом мы пошли по яркой улице. Было очень жарко. Андрей снял пиджак. Я взяла пиджак, перекинула через плечо, зацепив мизинцем за вешалку.

Андрей завернул рукава своей рубашки до локтей. Я заметила, что у него грубоватые руки. Но они мне очень понравились. Я смотрела на них, как будто бы видела их впервые.

Я взяла Андрея под руку и положила свою голую руку на его.

Его рука была большая, моя — маленькая. Его — горячая, моя — прохладная. Но они вместе составляли как бы одно целое. И я смотрела на этот предмет с нежностью, как на ребенка.

Я вложила свои пальцы в пальцы Андрея и сжала их

изо всей силы. Он обернулся и неловко поцеловал меня возле уха.

— Ты с ума сошел! На улице, при всех?

— А что? Пускай, черти, завидуют,— сказал Андрей и обнял меня за талию.

Мы наняли ялик и медленно поплыли вдоль скалистого берега в Херсонес смотреть археологические раскопки. Мы осмотрели остатки каких-то подземных сводов, сложенных из необыкновенно крупных кирпичей особым древнеримским способом. Глиняные насыпи, поросшие бурьяном, особенно ярко желтели и краснели на фоне дикого неба, и длинные, серебристо-бархатные от пыли ветки дерезы с продолговатыми желтовато-розовыми ягодками свисали с древних стен, на которых, уцепившись растопыренными лапками, грелись, зажмурились на солнышке, маленькие бирюзовые ящерицы, такие же древние, как это синее небо и эти побелевшие от времени кирпичи.

Мы прошли по гулким прохладным комнатам пустынного музея. Здесь, прислоненные к стенам, стояли громадные глиняные амфоры и тонкогорлые кувшины для вина, воды и масла.

Под стеклами витрин были разложены полустертые, тоненькие, как листки, древние серебряные монеты, черепки, рыболовные снасти, наконечники стрел, бронзовые фигурки, плоские светильники, браслеты, гребни — весь этот скучный музейный вздор, от одного вида которого хотелось как можно скорее на воздух, на солнце, к морю.

— Ну, пойдем, хватит,— сказала я нетерпеливо.

Но Андрей медленно переходил от прилавка к прилавку, задумчиво и многозначительно разглядывая выставленные вещи.

— Да,— сказал он со вздохом.— Чем занимались люди. Торговали, воевали, любили. Поучительно.

При выходе из музея мы остановились возле толстой мраморной плиты, полукруглой сверху, как скрижаль. Она была серой, почерневшей от времени. Она стояла торчмя. На ней была выбита какая-то надпись, и Андрей стал ее разбирать. Надпись была по-латыни, но, к моему удивлению, Андрей ее все-таки прочел:

— «*Nic iacet Aulus Terentius Balbus centurio princeps legionis || Marco Aurelio regnate*». Стало быть, вот оно какого рода вещь. Тебе ясно, Ниночка?

— Абсолютно неясно,— сказала я, смеясь.

— А это, видишь ли,— сказал Андрей, крепко прижимая мою руку к себе,— обозначает, что под сим, так сказать, мрамором был похоронен прах некоего Аулюса Теренция Бальбуса, что в переводе на русский язык значит: картавого — солдата первого центуриона второго легиона в царствование небезызвестного римского императора Марка Аврелия. Понятно?

— Теперь понятно.

— Вишь, куда занесло этого самого Аулюса Терентьевича Картавого, древнеримского интервента! — сказал Андрей, окая и блестя глазами.— К черту на кулички, в Крым! Тут он и сложил свою буйную головушку.

Возвращаясь в Севастополь, мы увидели учебную стрельбу кораблей Черноморского флота. Едва первый броненосец поравнялся с Херсонесским маяком, как из его серого борта выскочил и оторвался ряд длинных языков пламени. Корабль окутался дымом, и через минуту на горизонте взлетело один за другим шесть белых водяных фонтанов. В тот же миг мы услышали грозный удар залпа, звук которого дошел до нас только теперь. Тяжелое эхо покатилося, как чугунный шар, по мрамору моря. Но не успел этот шум удалиться и растаять, как мы услышали отдаленный гром разрывов, и новое эхо покатилося вслед за старым, настигло его где-то в открытом море, а потом оба эти эха еще раз прокатились назад, слабо ворча и замирая где-то очень далеко, вероятно в горах Балаклавы.

Это было так неожиданно и так не соответствовало мирной прелести пламенного черноморского дня, что я на минуту стихла и прижалась к Андрею, как будто бы он должен был защитить меня от какой-то беды.

XVIII

— Мы возвратились в Севастополь, — продолжала Нина Петровна, покрыв шинелью ноги, так как становилось свежо.— До обеда оставалось еще много времени. Андрей потащил меня в военно-исторический музей Севастопольской обороны.

— Не много ли, Андрюшечка, два музея в один день? — сказала я жалобно.

— Ничего. Не помрешь, — сказал Андрей. — Надо знать историю.

В музее были медные пушки, пирамиды чугунных ядер, истлевшие знамена и андреевские флаги, большие, подробные модели фрегатов с полной парусной оснасткой. Повсюду были расставлены на деревянных подставках — что делало их немного выше живых людей — грубые муляжи покосившихся матросов, артиллеристов с банниками, саперов, пехотинцев, одетых в свою мешковатую сукодную форму, побитую молью. Особенно живо запомнились мне картонные глянцевитые лица этих муляжей — желтые, румяные, с громадными усами и бакенбардами и грозно выпученными стеклянными глазами самой натуральной человеческой окраски. Кое-где к их одежде были пришиты маленькие ладанки с шариками нафталина.

Тонкий запах тленья стоял в жарком неподвижном воздухе музея.

Эти паруса, пожелтевшие флаги, вымпела, эти ядра, якоря, фашины и берданки — все это как-то необычайно сильно, возвышенно волновало душу чувством былой русской славы, и на глазах Андрея я заметила слезы.

А пламенный крымский день продолжал сиять. За прямыми высокими окнами музея с жарко начищенными медными шпингалетами и раскаленными подоконниками виднелось темно-синее густое небо. На его ровном фоне так живо и так прозрачно светились лапчатые листья платанов; висели войлочные шарики их плодов; и бежевые лайковые стволы, покрытые фисташковыми пятнами облупившейся кожицы, как будто все время напоминали нам о любви и счастье.

Мы очень проголодались и с наслаждением пообедали на бульваре, на террасе ресторана «Нарпит», где морской ветер трепал сырые скатерти столиков.

За обедом мы съели, кроме флотских щей, по две порции удивительно вкусных, огненных, сильно паперченных, воздушных чебуреков, изжаренных в бараньем сале, и запили их бутылкой пива.

День продолжался, до вечера все еще было далеко, и мы опять пошли слоняться по городу, останавливаясь возле каждой будки пить воду с сиропом или мучнисто-пенистую сытную, ледяную бузу.

Наконец мы очутились возле круглого здания Панорамы.

Вот тут-то мы и снялись у уличного фотографа-пушкаря на фоне большой пыльной клумбы, где росли какие-

то винно-красные декоративные растения, похожие на шерстяную мебельную бахромку.

Пока фотограф, засунув руки в черный коленкорый рукав, копался в фанерном ящике своего аппарата, мы сходили в Панораму.

Едва мы поднялись по лесенке на круглую площадку, обнесенную железными перилами, как сразу вокруг меня со всех сторон до самого горизонта открылась сухая розоватая сева­стопольская степь и бледно-сиреневое небо, вылинявшее от зноя. И по всему громадному пространству, подробно освещенному ровным, матовым, комнатным светом, в разных направлениях неподвижно двигались колонны войск.

В одном месте виднелась бухта с неподвижно горевшими кораблями.

Из балки по пояс в дыму, с барабанами и развернутыми трехцветными знаменами лезли на приступ французы, и офицер в синем мундире с красными эполетами, повернув назад горбоносое лицо с эспаньолкой, протягивал вперед шпагу. А там, куда они лезли, на русском бастионе, среди мешков и круглых корзин с землей, лежали на разбитых лафетах медные пушки, валялись ядра, сидели раненые матросы, и гигант-наводчик в бескозырке, сбитой на затылок, как блин, отбивался банником от нападающих врагов.

В другом месте перед большой походной иконой совершенно натурально горели свечи и священник в газетовой ризе служил панихиду. Он держал в откинутой руке взлетевшее кадило, из которого неподвижно струились седые лиловые волокна ладана и падали угольки. А на земле лежали убитые солдаты, накрытые шинелями, из-под которых торчали неподвижные ноги в сапогах.

А мы с Андреем стояли высоко, в самом центре этой безмолвной, неподвижной битвы, очарованные и подавленные тишиной и величием ужасного зрелища, в котором как будто бы мы сами принимали какое-то таинственное участие.

И вдруг шесть раз подряд громко и отчетливо ударило шесть пушечных выстрелов — бум, бум, бум, бум, бум, бум... Они ударили так твердо и так отчетливо и так совпадали с тем, что было у нас перед глазами, что мне показалось, что вся картина вдруг ожила и двинулась на нас со всеми своими пушками, барабанами и знаменами.

Мне стало страшно. Но в тот же миг я поняла, что это были звуки учебной палубы, долетевшие сюда с рейда.

Вслед за тем низко над куполом Панорамы с шумом пронеслось несколько самолетов.

— Вот это уже не в стиле эпохи,— сказал Андрей.— Совсем из другой оперы. Тогда авиации, слава богу, еще не было. Видать, наши морские бомбардировщики возвращаются с учебной стрельбы.

Перед закатом мы сидели в полотняных шезлонгах у самого моря, внизу бульвара, и смотрели, как солнце опускается в воду.

Наверху играл духовой оркестр. В воздухе пахло только что политым гравием, розами и резедой. Слышалось шарканье ног, смех и голоса гуляющих. Один за другим, мимо бон, в порт возвращались корабли эскадры. Гидросамолеты, делая последние круги над городом, садились в бухту и, поднимая пену, бежали к своим причалам.

В полночь я уезжала, и мне было очень грустно.

Андрей вытянул далеко вперед свои длинные ноги и, сдвинув фуражку на глаза, курил трубку. Он смотрел прямо перед собой в море. Его крупный бритый рот был крепко сжат и подбородок подобран.

— О чем ты думаешь, светик мой? — спросила я.

Он вынул изо рта трубку, выколотил ее о гладкий морской камешек, до блеска сточенный волной, и положил в карман.

— Думаю о тебе и о себе,— сказал он задумчиво.— А также думаю об этом небольшом кусочке земли, на котором мы с тобою в данное время сидим и любим друг друга.

— Прелестный полуостров, — сказала я, беря его за руку.— Или ты со мной не согласен?

— Согласен. Полуостров замечательный. Лучше не надо. Однако, родненькая моя, тебе не приходило в голову, что сегодня целый день мы на этом прелестном полуострове гуляли по человеческим костям? Тысячи, сотни тысяч, миллионы человеческих костей.

— Люди умирают,— сказала я.

Он покосился на меня.

— Я говорю не о тех, которые умирают. Все мы когда-нибудь умрем. Я говорю о тех, которых убивают. Ведь вот посмотри, пожалуйста, — небольшой кусочек

земли, пятачок, чепуха какая-то по сравнению со всей нашей планетой, а сколько на этом пятачке уже было жесточайших, кровавейших побоищ? И, главное, зачем, по какому поводу? Ты думаешь, этому самому Аулюсу Теренцию Бальбусу, римскому солдату, плохо было в своей Италии? Да уверяю тебя, что отлично. Климат прекрасный, теплый; хлеб, сыр, масло, апельсины, виноград, вина — хоть залейся. Сидел бы себе дома, обрабатывал бы землю, читал бы в свободное время Virgilia, плодил бы деток, создавал бы из своего отечественного мрамора прекраснейшие произведения искусства. Чем плохо? Ты бы отказалась, Ниночка, от такой райской жизни? Так вместо всего этого, одолеваемый жадностью, Аулюс Теренций Бальбус надевает медный шлем, обоюдоострый меч, берет в руку дротик и едет на корабле из своей Италии к черту на кулички, куда-то на Южный берег Крыма, в совершенно посторонний для него Херсонес. Зачем, спрашивается? А затем, чтобы — выражаясь красиво — присоединить к Великой Римской империи новую колонию, а попросту говоря, для того, чтобы пограбить. И он грабит, жжет, убивает, насилует до тех пор, пока в один прекрасный день его самого не убивают камнем или таким же самым дротиком, который у него до сих пор считался последним словом военной техники. Так зачем же, спрашивается, огород было городить? Или генуэзцы... Помнишь развалины Генуэзской башни в Балаклаве? Стало быть, генуэзцы тоже сюда приезжали пограбить. Только у них этот грабеж назывался более изысканно: свободной торговлей. А торговать ихние генуэзские купцы привыкли довольно своеобразно: в одной руке весы и аршин, а в другой мушкетон со взведенным курком... Морские разбойники. Настоящие бандиты. Так что все эти живописные развалины, по которым мы с тобой лазили, на сто верст вокруг усеяны костями.

— Были усеяны, — сказала я. — А теперь — посмотри, какая красота: поля, степи, стада, виноградники...

— Вот, вот! — воскликнул Андрей, и глаза у него блеснули. — Ты попала в самую точку. Красота вокруг. И это потому, что история человеческая состоит, слава богу, не из одних войн. Если бы всегда были одни только войны, то ни тебя, ни меня и на свете бы не было. Ничего бы не было. Культуру создают мудрые, сильные и справедливые народы. А разрушают культуру бандиты, вроде этого Бальбуса, будь он трижды проклят...

Красное блестящее солнце висело невысоко над водой. Волны катились правильными рядами, и по их глянцеви́тым бокам бежало отражение солнца. Но вот солнце опустилось еще ниже. Оно потеряло блеск, стало темно-малиновым. С моря подул широкий ровный ветер. Он погладил воду как бы против ворса, и море сделалось матовым, темно-синим — цвета индиго. Узкая ленточка вымпела затрепетала, защелкала на флагштоке водной станции «Динамо». Стало свежо. Мои руки покрылись гусиной кожей.

Андрей снял с себя пиджак и заставил меня его надеть. Я закуталась в пиджак и молча сидела, опустив голову и разглядывая орден Красного Знамени на его лацкане.

— За что? — спросила я.

— За Халхин-Гол, — сказал он.

Мы молчали. Из-под волос, спутанных ветром, я украдкой смотрела на Андрея, на *моего* Андрея, с его широкими плечами и малиновым треугольником загара на груди, который виднелся в отворотах белоснежной сорочки.

— Боже мой, — сказала я. — Неужели это опять когда-нибудь повторится?

— Обязательно, — сказал он, сильно окая. — И даже очень скоро.

— Но ведь это ужасно, Андрюша! Я не хочу.

— А ты думаешь, я хочу? Я тоже не хочу.

— И никто не хочет.

— К сожалению, — сказал Андрей, вздыхая, — в мире есть еще много разбойников, в которых обитает жадная и грубая душа Аулюса Теренция Бальбуса. И мы у них стоим поперек горла. Они не могут примириться с мыслью, что в мире есть счастливая, свободная, молодая и независимая страна, которая живет не по их каторжным, торгашеским законам обмана, грабежа и убийства, а по высшим, глубоко человеческим законам любви и справедливости. И все темные силы мира обязательно, рано или поздно, кинутся на нас с ножом. Эти бандиты воображают, что они сильнее нас. Еще со времени римского солдата Бальбуса — нет, даже раньше, со времени Каина — они привыкли думать, что правда в силе. Но, черт бы их побрал, они крепко заблуждаются. Не правда в силе, а сила в правде. А правда — наша; стало быть, и сила у нас. И будь уверена, Ниночка, они еще почувству-

ют силу нашей правды. Ах, дьявол! — воскликнул Андрей, стукнув кулаком по ладони. — Ей-богу, прав был мой большой друг и приятель Валерий Павлович Чкалов, когда говорил мне: «Какие мы с тобой, Андрей, к черту, испытатели? Мы с тобой типичные истребители. Наше святое дело бить с воздуха и истреблять любого гада, который сунется к нам с оружием в руках». Я, знаешь, Ниночка, несколько раз просился, чтобы меня перевели из гражданской авиации в военную, в истребители. Да не берут. Неужто я старый?

— Не напрашивайся, пожалуйста, на комплименты, — сказала я. — Ты не старый, а ты чудный, ты молодой, и я тебя очень люблю.

Я вложила свои пальцы в его и сжала их изо всех сил.

— Понятно тебе это, Андрюха?

— Понятно, — сказал Андрей, смеясь. — Но мы еще повоюем. За свое счастье драться надо. А все-таки до чего же мне повезло, что мы с тобой встретились в жизни!

Красное угрюмое солнце коснулось горизонта. Оно стало быстро опускаться в темно-синее ветреное море. Скоро над водой остался только один его верхний краешек, похожий на уголек. Раздался пушечный выстрел, и уголек канул в море. Вокруг сразу потемнело, и вверх по мачтам на рейде поползли желтые фонарики топовых огней.

— Все, — сказал Андрей.

Мы встали и, держась за руки, медленно пошли наверх.

ХІХ

— Вот, — сказала Нина Петровна, — о чем вспоминала я в траурный день четвертого июля. Казалось, невозможно пережить потерю Севастополя, «города нашей любви». И все же я пережила. Жизнь оказалась сильнее смерти, и жизнь перетянула.

Нина Петровна замолчала. Все вокруг было тихо. Луна заметно передвинулась к западу. Небо постепенно затягивали мелкие пегие тучки. Становилось темновато. Стук пишущей машинки в штабном автобусе прекратился. Чуть слышно подрагивал где-то недалеко моторчик походной электростанции.

На западном горизонте вспыхнул и передвинулся дымно-голубой столб прожектора.

— Немецкий прожектор; из Орла светит, — сказал часовой, подходя к нам.

— Близко как, — сказала Нина Петровна.

— Рукой подать.

Часовой постоял возле нас, позевал и ушел назад. Уходя, он сказал:

— Последнюю ночь из Орла светит, гад. Завтра мы ему дадим.

Из штабного автобуса вышел полковник с шинелью в руках. Он осветил фонариком, нашел нас и приблизился.

— Не спите?

— Нет, товарищ полковник, разговариваем, — сказал я.

— Главным образом я разговариваю, — сказала Нина Петровна.

— Спать надо, а не разговаривать, — сказал полковник. — Вам, должно быть, холодно, Нина Петровна. От холода и не спите. Берите шинель, укрывайтесь.

Полковник постоял, зевая, и сказал:

— Ну, как там дела в Москве? Вы мне так и не сказали — Художественный театр вернулся?

Я хотел ответить, но в это время послышался шум, и из темноты выскочил броневик. На башне броневика кто-то сидел верхом. Броневик круто остановился. Тот, кто сидел на башне, спрыгнул на землю и, быстро подскочив к полковнику и взяв руку под козырек, сказал хриплым, мальчишеским голосом, лихо раскатываясь на букве «р»:

— Товарищ гвар-р-р-дии полковник, от командира кор-р-пуса ср-рочный пакет.

Это был офицер связи.

Полковник взял пакет, вскрыл его и при свете фонарика прочел.

— Хорошо.

— Ответа не будет?

— Передайте на словах, что саперы вышли двадцать минут назад.

— Есть пер-редать на словах, что сапер-р-ры вышли двадцать минут назад.

— Где генерал?

— На переправе.

— Передайте, что имеется срочная шифровка из штаба армии.

— Есть пер-р-редать. Разрешите идти?

— Идите.

Офицер связи со щегольством повернулся и вскочил верхом на броневик, вытянув вперед ноги.

— На пер-р-реправу! — закричал его сорванный мальчишеский голос.

Броневик развернулся и мгновенно исчез, унося в темноту маленькую стройную фигурку офицера связи. По траве потянуло бензином. Полковник быстро вернулся в свой автобус, откуда сейчас же послышалось щелканье ундервуда. Немецкий прожектор передвинулся еще раз и потух, как будто бы его закрыли шапкой. Осторожно затыкал сверчок.

Нина Петровна накинула на себя шинель полковника и завернулась в нее.

— Ничто, казалось, не изменилось на нашем заводе, — сказала она. — Все на первый взгляд шло по-прежнему. Но на самом деле было много нового.

Я, например, поставила Хозю для пробы работать на двух станках, и он отлично справился со своей задачей, так что красный флажок опять перекочевал от Муси к нему. И Хозя поклялся страшной клятвой, что больше этого флажка Муся на своем станке в жизни не увидит.

Муся презрительно сжала ротик, но ее нос покраснел и в глазах блеснули слезы. Она пожала плечами и сказала:

— Увидим!

Я продолжала проводить на заводе почти все свое время, но теперь я уже не чувствовала себя такой одинокой. Переживать мое горе очень помогала мне милая, добрая тетя Зина. Изредка я получала письма от Пети. Он описывал мне свою фронттовую жизнь, вспоминал прошлое, а я рассказывала ему о нашем заводе и тоже иногда вспоминала прошлое.

В октябре сравнялся год, как я с заводом переехала сюда, на Среднюю Волгу. Приближалась вторая зима. У нас в заводоуправлении висела большая школьная карта Советского Союза с толстыми реками, и на нее страшно было смотреть. Положение казалось еще более грозным, чем в прошлом году в это время.

У всех на устах было слово «Сталинград». Его произносили с тем же строгим чувством гордости и боли, с

каким еще совсем недавно произносили слово «Севастополь».

Абраша Мильк, летавший в Сталинград по делам завода, за металлом, вернулся, раненный в плечо и в ногу. С рукой на перевязи, опираясь на палку, он, проворно хромя, шел по цеху, как всегда окруженный агентами и уполномоченными.

— Ну, Ниночка,— сказал он, па минутку останавливаясь возле меня и грозно сверкая очами,— могла меня больше не увидеть. Кошмар. Но металл все-таки погрузили. Две баржи. Но ты себе не можешь представить, с каким адским трудом!

— Трудно было грузить?

— Грузить? Это само собой. Люди на вес золота. Сами грузили. Лично я перетаскал с берега на баржу не меньше тонны металла. Ты помнишь мое коричневое кожаное пальто? Оно еще было совсем новое. Так — в ключья! Немец налетает через каждые полчаса. Бьет по пристаням, баржам. Словом, кошмар. Видишь, как меня садануло? Слава богу, кость цела. Но не в этом суть! Не дают качественную сталь, и все. Они говорят — ничего подобного, нам самим металл нужен. Я кричу: на черта вам этот металл, когда у нас уже больше половины предприятий выведено из строя! А они говорят: это не важно. Пригодится. Тьфу ты черт! И ты знаешь, Ниночка, пока мне не удалось связаться по телеграфу с наркоматом и пока они не получили категорического подтверждения, до тех пор не давали металла. Но я все-таки в конце концов у них вырвал. Из зубов вырвал. Это была целая эпопея.

— А город? — спросила я.

— Что город? Город горит. В небе черно от немецких самолетов. Ужас!

— А немцы его не возьмут?

— Сталинград? Ты смеешься! — закричал Абраша Мильк.— Вот они получают Сталинград! Видишь? — И, злобно свернув кукиш, он проворно захромал дальше.

А через минуту я уже где-то в отдалении слышала его громовой голос:

— Что? Ни одного килограмма! Только через мой труп! До декабря ни одного килограмма!

Уже несколько раз объявляли воздушную тревогу: это к городу с юга подходили немецкие ночные бомбардировщики. Тогда стеклянные трубы прожекторов упирались

в дымчатое небо, шарили по тучам и над затемненными цехами завода, где работа не прекращалась ни на секунду, начинали с крыш поспешно бить батареи зениток, бегло покрывая небо розовыми звездочками заградительного огня.

Поздними темными утрами на крышах и на мостовых белел иней. По Волге шло сало. В затонах — как и в прошлом году — кричали столпившиеся пароходы с беженцами из Сталинграда. Ледяной восточный ветер нес по трамвайным рельсам мусор и пыль. Вагоны трамвая с фанерой вместо стекол сухо визжали на поворотах. Люди в ватниках, обвешанные мешками и кошелками, стояли на буферах, держась за крышу. И на углах возле репродукторов, спиной к ветру, стояли черные толпы, слушая утреннюю сводку.

— Держится? — спрашивал опоздавший, быстро присоединяясь к толпе.

— Держится, — отвечали из толпы.

И люди быстро расходились, глубоко засунув красные руки в карманы и отворачиваясь от лютого ветра, секшего лицо песком и пылью.

Сталинград был город нашей славы. Отдать его врагам на поругание народ не мог.

И он его не отдал.

XX

В конце декабря, после продолжительного отсутствия писем, неожиданно появился Петя. Он, как и в прошлый раз, прибыл за самолетами, был очень занят и провел со мной только один вечер, а наутро улетел обратно на фронт.

Это короткое свиданье меня очень обрадовало. Оно не только усилило мою надежду скоро увидеть могилу Андрея, но теперь, когда мы разгромили немцев под Сталинградом и гнали их на запад, я твердо знала, что так оно и будет.

Карта, на которую еще так недавно страшно было смотреть, теперь притягивала к себе, как магнит. От нее трудно было отвести глаза. Толпы у репродукторов долго не расходились, слушая мощные голоса хора, гремевшего по всему городу.

Все было превосходно, замечательно. И зима стояла тоже на редкость толковая. Завернули крепкие морозы

с. пургой, с буранами. Злые вихри несли с Заволжья тучи сухого снега. В иных местах, поперек заводского двора, лежали длинные сугробы по грудь человека. В других — асфальтовые дорожки были гладко выметены ветром и отполированы до глянца.

Волга курилась белым дымком поземки.

И люди, топая по крепкому снегу подшитыми валенками, крихтя, приговаривали:

— Хороша погодка. Погодка правильная. Так и надо. Заворачивай круче. Пускай теперь немцы на Дону попляшут.

Но зато, когда, бывало, ненадолго уходили тучи и ледяное морозное солнце озаряло потонувший в разноцветных снегах город, и Волгу, и леса за Волгой, — то это было неопишимо красиво, точнее сказать, прекрасно, даже волшебю.

В один из таких именно дней и приехал Петя. Я его совсем не ждала. У меня и в мыслях этого не было. Во всяком случае, он о такой возможности не упоминал в своих письмах ни разу. Однако весь этот день я провела на заводе в каком-то особенно легком, возбужденном состоянии. Я думаю, что тут на меня влияло все вместе: наши победы, и хорошие дела на заводе, — мы получили переходящее знамя Наркомата обороны! — и чудеснейшая погода.

Я ушла домой рано. Мне захотелось пройтись, погулять, побыть одной — потребность, которой я давно уже не испытывала.

Солнце только что зашло. На западе в необыкновенно чистом зеленом небе холодно и ярко горели розовые, изумрудные, лимонно-желтые полосы. При сильном ледяном ветре они казались еще ярче и холоднее. На них больно было смотреть.

Наледь у водяных колонок, сосульки, ледяные полосы, накатанные ребятами у подворотен, — все горело стекляннм золотом.

В круглом сквере у памятника Ленину устанавливали большую голубую сосну, которая обычно заменяла здесь новогоднюю елку. В этом тоже было что-то возбуждающее.

Я прошла по непомерно длинной, прямой Куйбышевской улице мимо «Гранд-отеля», где, занесенные снегом, стояли щегольские машины дикорпуса с пестрыми флажками.

Гладкий ветер со страшной силой дул вдоль этой улицы, как сквозняк. У меня замерзли уши, а щеки стали твердые, как яблоки. Девушки в солдатских шинелях, ушанках и сапогах, с очень красными щеками, очень синими глазами и кудряшками, поседевшими от мороза, торопились пробежать угол, где всегда особенно свирепствовал ветер. Я тоже побежала, сильно топая валенками. С пристани, скрипя, подымался в гору обоз. Густая зимняя шерсть лошадок была покрыта толстым инеем. Из ноздрей валил пар; ветер вырывал его и уносил, как вату.

Отвернувшись от ветра, стараясь не дышать, я добежала до своего дома. Возле ворот была длинная, накатанная мальчишками полоса. Тут во мне вдруг заговорил какой-то забытый детский инстинкт. Я разбежалась, поставила ноги одну за другой и помчалась по льду. Я едва не сбила с ног летчика в кожаной шубе и меховых сапогах, который как раз в этот момент, нагнувшись, входил в калитку ворот. Я не успела затормозить и обеими руками схватилась за его плечо. Это был Петя. От неожиданности он так смутился, что даже не старался скрыть своего смущения. Он просто растерялся. Он стоял передо мной в своих серых кудрявых пимах из собачьего меха, с большим планшетом у колен, с красным, немного погрубевшим лицом, и дышал в свой цигейковый воротник, белый от инея. Я же ничуть не смутилась, а только бесконечно обрадовалась.

— Вы давно? Надолго? — сказала я, беря его под руку. — Вы себе не можете представить, до чего я рада вас видеть. Пойдемте же.

— Сегодня приехал. Завтра улетаю назад.

— Из-под Сталинграда?

— Был и под Сталинградом.

— Вы как будто немного изменились. Устали?

— Я думаю, — сказал он, усмехаясь, и его карие девичьи глаза «по-старинному» блеснули ярко и озорно.

— Как дела на фронте?

— Наши недурно, а немцев — хуже.

У него был жесткий, простуженный голос.

Я напоила его чаем. Он молча выпил чашек шесть и лишь после этого немного пришел в себя. Зинаида Константиновна работала во второй смене. Мы были одни. Пока он пил чай, стараясь не слишком грубо кусать са-

хар, я рассматривала его лицо. Действительно, за это время он изменился. Не то чтобы он постарел, а как-то стал более зрелым, определенным. Лицо его, если не считать еле заметной седины на висках, в общем осталось прежним. Но изменился характер лица. Раньше в нем преобладало выражение озорного лукавства. Теперь же, хотя озорное лукавство и осталось, в лице преобладало выражение непоколебимой решимости, я бы даже сказала — жестокости. Глаза немного прищурились, под ними обозначились суховатые морщинки, а поперек лба, над переносицей, прорезалась новая, твердая черта, которая делала Петю чем-то неуловимо похожим на Андрея. Видно, не так-то легко давалась война людям.

Стемнело. Стал особенно заметен раскаленный малиновый змеевичок круглой глиняной плитки. Я опять опустила штору и опять зажгла лампочку под черным колпачком. И мы опять, как и в первый Петин приезд, заговорили об Андрее. Говорили долго. Потом разговор как-то сам собой оборвался. Мы долго молчали. Как говорится, пролетел тихий, грустный ангел.

— Знаете что, Нина Петровна, — вдруг сказал Петя решительно, — не сходить ли нам с вами в оперу? В самом деле, — прибавил он робко, — ведь как-никак Государственный Большой академический театр. Лучший театр Союза. Когда еще в нем побываешь? Для фрейтиовика, знаете, это большая мечта.

Мне не хотелось идти в театр. Я отвыкла от всяких зрелищ и не чувствовала в них никакой потребности. Но было бы слишком жестоко лишить этой радости человека, попавшего всего на один день с фронта в тыл. Я переоделась, и мы отправились во Дворец культуры, где временно шли спектакли Большого театра.

Погода переменилась. Начинался буран.

Петя побежал к кассе, но вернулся расстроенный. Оказалось, что сегодня понедельник, спектакля нет, а исполняется Седьмая симфония Шостаковича.

— Так прекрасно, — сказала я, — послушаем музыку.

— Весь вечер один оркестр без артистов! — огорченно сказал Петя. — Не повезло нам с вами, Ниночка. Как же быть?

Однако ничего другого не оставалось. Петя пошел за билетами.

Первые же звуки оркестра погрузили меня в привычный мир воспоминаний. Вы, наверное, слышали Седьмую симфонию?

Сначала все в музыке было очень хорошо, я представила себе теплое и немножко дождливое летнее утро. Я шла через дачную местность встречать Дусю, которая обещала приехать двенадцатичасовым поездом. На душе у меня было легко, спокойно. Все складывалось как нельзя лучше. Летом мы никогда не жили в городе, а нанимали до сентября избу у одного колхозника. Мать жила в деревне все время, а мы с отцом — как люди занятые, рабочие, — наезжали, когда позволяло время, но с субботы на воскресенье — обязательно.

С Андреем мы уже были мужем и женой, но еще вместе не жили, так как в Москве квартиры у него не было, а находился он почти все время на Севере, где готовился к большому арктическому перелету. Обстоятельства сложились так, что после Севастополя мы виделись с Андреем всего несколько раз, да и то ненадолго. Но этим летом, в конце июня, он обещал приехать и пожить с нами в деревне до августа. А зимой уже мы должны были поселиться с ним вместе в Москве, в чудной квартире, в новом доме Гражданского Воздушного Флота.

Ожидая Андрея, я не чувствовала особенного нетерпения. Мы любили так крепко и так верно, перед нами — казалось мне — была такая длинная, счастливая жизнь, что днем раньше, днем позже, это уже почти не имело значения. Даже было какое-то наслаждение в ожидании.

Конечно, мы переписывались. Но Андрей не сообщал мне точно дня своего приезда. По некоторым намекам, включавшимся в его веселых и обстоятельных письмах, я имела основание предполагать, что он готовит для меня приятный сюрприз и собирается нагрянуть неожиданно. Я ждала его каждый день. Я шла на станцию встречать Дусю, но в глубине души была уверена, что встречу его.

Я нарочно вышла из дому пораньше и выбрала самую длинную дорогу, чтобы кстати и погулять.

Сначала я прошла по длинной просеке хвойного леса. Лес был необыкновенно молчалив, как, впрочем, это все-

гда бывает в пасмурный июньский денек. Среди смолистой темной и свежей зелени елок стоял голубоватый туман. Обычно по воскресеньям в этот лес приезжало из Москвы много гуляющих. В чаще обычно трещал валежник и раздавалось гулкое ауканье... Но сегодня в лесу было очень тихо. Только слышалось, как падали капельки тумана. Я это объяснила себе дурной погодой, но все-таки было почему-то немного неприятно.

Потом я перешла через великолепную накатанную, чугунно-синюю от ночного дождя автомобильную магистраль Москва — Минск, очень широко и красиво огибающую лес своими выбеленными столбиками. Мимо меня в сторону Минска промчался грузовик, наполненный какой-то канцелярской мебелью и кроватями. На этой мебели сидели красноармейцы, накрывшись от дождя зеленой палаткой. «Вероятно, едут в лагерь, — подумала я, — однако поздновато». Мне это почему-то не понравилось. Я пошла дальше.

Дальше был опять лес, но уже в другом роде. Это была некрасивая редкая сосновая роща с голыми высокими стволами и маленькими грязными кронами. Такие некрасивые рощи без травы с вытоптанной землей обычно бывают вблизи химических заводов. Я видела ее в первый раз. Через эту некрасивую рощу бежали напрямик и не в ногу две старухи в серых платках. Они поминутно оглядывались назад, размахивая пустыми корзинками. Эти не в ногу бегущие старухи и эта бесцветная роща еще более неприятно поразили меня. Они прозвучали, как посторонняя нота, по ошибке взятая в оркестре каким-то второстепенным инструментом.

Для того чтобы поскорее избавиться от неприятного впечатления, я прибавила шаг. Я обогнула прекрасный старинный пруд, окруженный вековым парком. Серебристо-голубые облака деревьев туманно отражались в тихой мыльной воде. По очень зеленому лугу к воде шли очень белые гуси. Это радовало глаз. Но прежнего спокойствия уже не было и здесь.

В музыке что-то вдруг стало оступаться.

Где-то далеко на дачах Мичуринского поселка отрывисто и неразборчиво кричало радио. На станционной платформе было пустынно. Возле запертого газетного киоска стояло человек шесть. Они негромко разговаривали. Я подошла к ним. Они замолчали, как бы желая от меня что-то скрыть. Я постояла и пошла по

платформе дальше. Люди снова заговорили. Мне слышались названия городов — Одесса, Киев, Кишинев. Они прошли мимо моего сознания, но я услышала слово «Севастополь», и во мне мелькнуло страшное подзрение.

Мимо платформы, не останавливаясь, со свистом промчался в Москву дачный поезд. В том, что он не остановился, не было ничего особенного. Не всегда поезда останавливались на этой станции. Необыкновенное заключалось в том, что обычно поезда шли в Москву пустые, а этот был переполнен.

Знакомый инженер с женой и юношей-сыном, не по-дачному одетые, стояли на краю пустынной платформы.

— Ради бога, — сказала я, — что случилось?

— Как, разве вы ничего не знаете? — строго сказал юноша-сын, и я увидела на его спине зеленый рюкзак.

Я увидела абсолютно неподвижное лицо матери и поняла все. И вдруг на одно мгновение передо мною на тысячи километров открылась серая, утомительно мерцающая, безжизненная пустыня войны. А маленькие заводные барабанчики — два или три — маршировали, невидимые за слоистым горизонтом. Они редко ударяли своими палочками и отбивали шаг.

Я поняла, что никто не придет и что все прежнее кончилось. Когда я прибежала домой, мать уже увязывала вещи. В тот же день мы вернулись в Москву.

А в музыке все продолжало и продолжало что-то оступаться, как человек, идущий ощупью среди бела дня по темной лестнице при утомительном и бесполезном свете синей лампочки.

Пустыня войны знойно мерцала за городом. В лестничных клетках стояли ящики с песком. Это был песок из пустыни войны, освещенный синим аптекарским светом. На чердаках висели орудия пытки — грубые щипцы и громадные клещи. Витрины магазинов в новых корпусах на улице Горького закладывали косыми штабелями мешочков с песком из пустыни войны. Война, как чума, метила косыми белыми крестами каждое стекло в окнах домов. По вечерам затемненная Москва была величественна и прекрасна. Ее новые светлые мосты, длинными арками повисшие над водой, ее старинные башни и зубчатые стены, купола и колокольни Кремля — все тонуло в душном, меловом воздухе. Вечер постепенно сгущался в затемненных улицах, как копоть. Высоко на крышах,

на светящемся фоне еще не погасшего зеленоватого июльского неба, по всей Москве отчетливо виднелись силуэты зенитчиков и пожарных, стоящих лицом к западу.

Это был час, когда над Москвой поднимались аэростаты воздушного заграждения. Мертвые белые животные с повисшими плавниками уходили, темнея, на головокругооборотную высоту и останавливались там среди слабых звезд — еще заметные невооруженным глазом — как черные бактерии воздушной тревоги.

А маленькие барабанчики продолжали маршировать, отбивая свой механический шаг, и безумная флейта осторожно, как шакал, шла за ними по слоистым пескам, все время оступаясь, и никак не могла попасть в ногу. И вдруг она отчаянно вскрикнула. Ее высокий, фальшивый, мучительно вывихнутый голос взвился над темным городом и упал замертво. А на рассвете, когда люди после бессонной ночи выходили из метро и шли с узлами домой, у них под ногами хрустел горячий песок, занесенный на тротуары из пустыни войны. Воспаленное солнце всходило, подернутое сизой пеленой гари.

А барабанчики все настойчивее и тревожнее отбивали шаг. Теперь к редкому постукиванию барабанов присоединились рожки. Резкие голоса рожков выводили из-за слоистого горизонта черные кресты на белых знаменах и белые кресты на черных танках. В дыму и пламени городов медленно двигалась машина войны. Смертью в лицо дышало бесцветное небо над черными армиями, выходящими одна за другой из-за плоского горизонта.

Капитан Гастелло, весь охваченный пламенем, как гений света, пролетел и врезался в черные танки с белыми крестами.

Слава и смерть складывали в пустыне войны свой мавзолей из гигантских полированных плит. Смерть клала черные лабрадоровые плиты. Слава клала красные, гранитные. Я подвела Андрея к темной бронзовой двери. Дверь отворилась. Я поцеловала Андрея в холодные закрытые глаза и гипсовые губы.

И уже нечем было дышать.

А механические барабанчики все шли и шли, выстукивая палочками свой зловецкий марш — угнетающий и однообразный. Иногда этот марш заносило песком, и тогда он еле слышался. В затихающей музыке все что-то должно было оступаться. Завод кончался. И, наконец, оступившись в последний раз, оно остановилось, как бы

повиснув в воздухе над самой землей. И в последний раз надтреснуто прозвучал голос рожка.

Некоторое время длилось молчание, и вдруг разразились бурные аплодисменты.

Я очнулась. Как после глубокого сна, я увидела пышный зрительный зал, раскрытую сцену, уставленную пиюпитрами. Я увидела музыкантов, грифы скрипок и опущенные смычки. Дирижер с широкой крахмальной грудью и орденами на лацкане ффрака, возбужденный, счастливый, розовый, вытирал платком блестящий лоб и расклапывался, стоя возле своего высокого пульта. В ложе правительства поднимался со своего места, отставляя бархатный стул, товарищ Вышинский.

Рядом со мной неподвижно, с полузакрытыми глазами сидел Петя. Несмотря на то что оркестр не играл, мне казалось, что музыка еще продолжается и маленькие барабанчики тащатся по сугробам, на каждом шагу оступаясь, останавливаясь и падая.

— Пойдем покурим,— сказал Петя, решительно вставая.

Он, быстро прихрамывая, пошел в своих косолапых пимах впереди меня к выходу.

Я поняла. Он не хотел, чтобы я заметила его слезы. Выходя из стонущего зала, я оглянулась и увидела худенького молодого человека в пиджачке с отстающим сзади воротником, в очках, с петушком на макушке. Он быстро, сухо пожимал руки скрипачам и кланялся. Это был Шостакович.

Когда мы спустились в нижнее фойе, Петя уже привел себя в порядок. Он закурил трубку. Это была трубка Андрея, которую я подарила Пете на память о друге.

Мы стояли под сияющей четырехугольной колонной искусственного мрамора цвета морской воды. Мимо нас по кругу ходила публика. Выделялись ффисташковые, бежевые ффренчи английских и американских офицеров, черные пиджаки дипломатов, вязаные джемперы иностранных корреспондентов. Пахло хорошими духами и египетскими папиросами. Из дубовых решеток отопления дышало жаром, и трудно было представить, что на дворе сейчас буря и сумасшедший ветер несет над Волгой тучи мутного снега, призрачно освещенного невидимой луной.

— Понравилось? — спросила я.

— Толково,— решительно сказал он.— Это бы надо, чтоб в армии послушали. Выдающееся произведение советской музыки.

Возвращаясь на свои места, Петя взял меня об руку и осторожно пожал мои пальцы.

— Эх, Ниночка, обидно, что нашего Андрея нет. Не довелось ему увидеть, как немцев разбили под Сталинградом. Это была редкая красота.

Я спросила о своей поездке на фронт.

— Теперь скоро,— сказал он уверенно.

Когда мы сели на свои места, Петя погладил мою руку и осторожно ее поцеловал. В это время дирижер взмахнул палочкой, и тотчас я перенеслась в Севастополь, в номер маленькой гостиницы на набережной Хрустальной бухты. Мы проснулись с Андреем и увидели потолок, сияющий в знойном сумраке комнаты.

XXII

Живая зеркальная сетка, мелко и часто мигая, текла по потолку. По этой сетке иногда медленно двигались небольшие радужные тени каких-то непонятных предметов. Очарованная, я долго смотрела на экран потолка, не соображая, что же это такое.

— Андрюша, что это такое? — наконец спросила я, пересилив смущение.

Он покосился на меня нежными, веселыми глазами, блеснувшими в потемках.

— Это феномен,— сказал он,— называется в физике камер-обскура. Слыхала?

Боже мой, до чего ж мне приятно было слышать его густой, окающий голос и чувствовать щекой его круглое большое плечо!

Мы проходили физику, и я, конечно, знала, что такое камер-обскура. Но как же я сразу не догадалась?

Мне стало весело.

— Значит, никакого волшебства? — сказала я.

— Наоборот, сплошное волшебство,— сказал он.

— Ты так думаешь?

— Конечно. Разве то, что происходит с нами, не волшебство?

— Ты думаешь? — еще раз сказала я, стараясь как можно полнее и глубже понять его чувство.

— Как же не волшебство, когда волшебство! — воскликнул он горячо, почти с восторгом. — Подумай и разберись. Мы с тобой забрались в темную коробку, закрылись ставнями и воображаем, что спрятались от всего мира. Но природа не терпит темноты и одиночества, даже если это одиночество вдвоем.

Я тотчас поняла его мысль.

— Ага. Я понимаю. Ставни. А в ставнях — дырочка от сучка. Довольно самой маленькой дырочки, чтобы... Верно?

— Во-во. Для того, чтобы проник один только луч. А уж вместе с этим лучом и все остальное. Погляди, как замечательно. Живое изображение Хрустальной бухты во всех подробностях. Маленькие волны, и на них маленькие молнии солнца.

— В общем, похоже на живой мрамор, — сказала я.

— И даже на казанское стирочное мыло с синими жилками.

— Сам ты казанское мыло.

— Ничего не поделаешь, люблю Волгу. А Казань — город волжский.

Ох, какой вздор несли мы от смущенья и как замечательно было нам вместе в это наше первое утро! До чего приятно мне было называть его «Андрюша» и слышать, как он называет меня «Нина». Для того чтобышний раз назвать его Андрюшей, я все время обращалась к нему с разными вопросами и разъяснениями по поводу феномена камер-обскуры с такой серьезностью, как будто бы он и впрямь был великий специалист по камер-обскурам.

— Андрюша, а это что за предмет двигается?

— Этот? Маленький?

— Да. Радужный. С лапками.

— Не узнаешь?

— Нет, Андрюша.

— А ты всмотришься, Нина.

Я стала прилежно всматриваться. Было что-то знакомое в этом маленьком предмете. Особенно в его движущихся сверкающих лапках. Но все же я никак не могла постигнуть.

— Ну, — сказал Андрей, поглядывая на меня сбоку. — Эх, ты! А еще студентка. Да ведь это...

— Лодка! — закричала я, вдруг узнав предмет. — Лодка!

Действительно, это было маленькое волшебное изображение ялика. Серый и красный, со сверкающими лапками весел, он маленькими толчками двигался, опрокинутый над нами на потолке, по зеркальной сетке морской ряби. Я даже разглядела двух человечков — одного на корме, другого на веслах. И еще проносились какие-то белые, сияющие тени. Но их я узнала уже без труда. Это были чайки. И мне тотчас захотелось как можно скорее вон из комнаты, на простор, на солнце, в море.

Не успела я об этом подумать, как Андрей уже сказал:

— Купаться?

— Конечно. И как можно скорее! Не валяться же здесь целый день.

— С добрым утром,— сказал Андрей.

— С добрым утром,— сказала я.

Мы прямо и просто посмотрели друг другу в глаза и крепко поцеловались. И тотчас я перенеслась в военную закамуфлированную Москву, с домами, размалеванными синими, багровыми, черными геометрическими фигурами, как на картинах супрематистов. Мы шли под руку по улице, заваленной громадными сугробами неубранного снега. Был январь сорок второго года, и мы не знали, что идем по Москве вместе в последний раз в жизни. Москва только что отбилась от немцев. Их гнали от Москвы. Это были упоительные дни первой нашей победы. Но на Москве еще лежал грозный, суровый отпечаток осады. На окраинах, на розовом фоне ранней зимней зари рисовались противотанковые ежи, сделанные из черных скрещенных рельсов, наполовину белых от снега. На Кремлевской стене были нарисованы ложные окна и деревья. Фасад Большого театра, в который попала бомба, был закрыт громадной декорацией из «Ромео и Джульетты». Было что-то пышное, итальянское, с колоннами и фонтаном. По улице Горького шли танки, грубо выкрашенные грязно-белой краской, и белые фронтные «эмки» с простреленными стеклами и помятыми боками как сумасшедшие носились по улицам, наполняя воздух тяжелым запахом военного бензина. Быстро смеркалось. Цигейковый воротник Андрея побелел от его дыхания. На Театральной площади начал явственно светиться циферблат часов, вымазанный синей краской. Возле кинематографа «Востоккино»... Простите, это, кажется, за мной!

Нина Петровна быстро вскочила с травы и бросила мне шинель полковника. Уже было почти светло. Небо было покрыто серенькими предутренними тучками. На дороге против нас стоял маленький прямоугольный «виллис» с брезентовым верхом. Из него выглядывал майор-летчик в фуражке с голубым околышем, с золотыми погонами, смуглый и с небольшими усиками.

— Нина Петровна! Ниночка! — кричал он.

— Ну, прощайте,— сказала Нина Петровна, подавая мне руку.— Это майор Савушкин. Спасибо за компанию. Отдайте, пожалуйста, шинель полковнику. Может быть, когда-нибудь встретимся.

Она подошла к «виллису» и бросила в него свой портфель, села в машину, и они уехали.

Действительно, скоро мы с ней еще один раз встретились.

XXIII

Сначала мы шли, пригибаясь, потом стали на четвереньки и поползли, осторожно раздвигая очень густую и очень высокую рожь.

Метров через пятьдесят мы увидели наше боевое охранение.

Несколько бойцов лежало в уютных гнездах, устланных свежей соломой. Бронбойщик-казах, маленький, с блестящим глиняным лицом, выставил далеко вперед ствол своего противотанкового ружья — тонкий и неестественно длинный, с кубиком на конце. Все бойцы были замаскированы. Поверх шлемов на них были надеты широкие соломенные абажуры, а на некоторых — сети с нашитой на них травой. Это делало их похожими на японских рыбаков.

Вчера здесь были немцы. Ночью их выбили. Позицию до прихода пехоты пока держал маленький отряд автоматчиков и бронбойщиков.

Увидев ползущего генерала, бойцы сделали попытку встать. Но генерал сердито на них шикнул. Они снова, поджав ноги, улеглись, как дети в свои ясли.

Стоя на коленях, генерал развел рукою рожь и начал медленно, тщательно осматривать в бинокль защитного цвета немецкие позиции.

Отсюда до немцев было не более полукилометра «ничьей земли».

— А где же наша пехота? — спросил я.

— Она сейчас подойдет, — сказал генерал, не отрываясь от бинокля.

Он был в простом защитном комбинезоне, из штанов которого выглядывали пыльные голенища грубых солдатских сапог. Генерал позвал к себе артиллерийского офицера, который сейчас же подполз на четвереньках.

Генерал и артиллерийский офицер стали в два бинокля осматривать местность. Их внимание особенно привлекал небольшой лесок, синевший позади ситцевого гречишного поля, на самом отдаленном плане панорамы.

По мнению генерала — там была батарея, по мнению артиллерийского офицера, — две засеченные еще вчера пушки.

— Карту! — сказал генерал и, не оборачиваясь, протянул назад руку. В ту же минуту подполз адъютант, и в руке генерала оказалась ужасно потертая, вся меченая-перемеченая карта, сложенная как салфетка.

Он положил карту на пыльную землю, покрытую сбитыми колосьями и мякиной, разгладил ее, насколько это было возможно, и погрузился в ее изучение.

— Прикажите кинуть туда штучки четыре осколочных, — сказал он. — Может быть, они ответят.

— Есть четыре осколочных!

Артиллерийский офицер пополз к своей рации. Это был ящичек с антенной в виде тонкого шеста с тремя длинными треугольными зелеными листочками, что делало ее похожей на искусственную пальмочку.

В это время в воздухе что-то близко, коротко, почти бесшумно порхнуло.

— Мина! — негромко крикнул кто-то.

И в тот же миг раздался злой, отрывистый, крякнувший взрыв. Воздух довольно ощутительно толкнул и нажал в уши. Свистя, пронеслась стая осколков, сбивая цветы и колосья. Маленький осколочек со звоном щелкнул вдалеке по чьей-то стальной каске. Душный коричневый дым пополз по земле. Ветер протаскивал его, как волосы, сквозь частый гребень ржи. Тухло запахло порохом и горелым картоном, как бывает в летнем саду после фейерверка.

— Живы? — сказал генерал.

— Живы, — ответило несколько голосов.

— Плохо маскируетесь, — сказал сердито генерал. — Устроили тут базар. Ходите, бродите. Нужно ползать.

Понятно? Ройте щель. Только как следует, на полный профиль.

Несколько бойцов, лежа на боку, тотчас стали поспешно долбить землю коротенькими лопатками. Но в эту минуту пролетело еще две мины. Они разорвались немного подальше, повалив в разные стороны вокруг себя рожь, раскидав далеко васильки и ромашки, вырванные с корнем.

— Ищет, — сказал кто-то.

— Только не находит.

— Формалист, — сказал генерал, сдвигая на затылок свою легонькую, летнюю фуражечку и продолжая работать над картой. — Формально стали воевать немцы. Дайте перископ.

И тотчас в его руке очутился небольшой перископ.

Генерал пополз далеко вперед, — мне показалось, что он дополз до самого переднего края немцев, — лег там и высунул из ржи вверх зеленую палочку перископа.

Прилетела еще мина. Потом еще две. Потом скоро еще одна. С этого времени вплоть до броска в атаку через правильные промежутки стали прилетать тяжелые мины. Они рвались и близко, и далеко, и справа, и слева. Но на них уже больше никто не обращал особого внимания, так как все очень хорошо понимали, что немец бьет наугад, а все остальное — дело случая.

Закончив работу с картой, — ориентировав ее по местности, — генерал отдал несколько приказаний на тот случай, если с фланга появятся неприятельские танки, и сначала ползком, а потом только пригибаясь, пошел на соседнее клеверное поле, где у него был приготовлен вспомогательный пункт управления.

Это была обыкновенная щель, в которой уже сидел в земляной нише телефонист в каске и названивал в танковые батальоны, занимавшие где-то поблизости, в складках местности, исходные позиции перед атакой.

Генерал посмотрел на часы. До начала атаки оставалось еще пятнадцать минут. Все вокруг было тихо. Разумеется, «тихо» в том смысле, что огонь с нашей и немецкой сторон велся в спокойном, неторопливом, ничего не предвещавшем ритме.

Стреляли из всех видов оружия.

Далеко, в тылах, этот огонь, вероятно, представлялся слитным, раскатистым гулом, подавляющим и грозно-тревожным. Но, находясь в центре этой разнообразной

канонады, люди привычным ухом совершенно безошибочно определяли, какой звук для них опасен, может быть даже смертелен, а какой — нет.

Все «безопасные» звуки, как бы громки они ни были, не задерживали на себе внимания, существовали где-то, как бы на втором плане. Все звуки «опасные», в свою очередь, делились на просто опасные и смертельно опасные и, в соответствии с этим, занимали в сознании более или менее важное место.

Так, например, потрясающий грохот тяжелых авиабомб, которые время от времени немецкие «хейнкели» высыпали целыми сериями на соседние дороги с большой высоты и очень неточно, — они почти не привлекали внимания, так как непосредственно нам не угрожали, хотя вдалеке со всех сторон вокруг нас и поднимались гигантские, многоярусные, черные, зловещие тучи их взрывов.

Свист ежеминутно перелетавших через голову туда и обратно немецких и наших снарядов тоже мало привлекал внимание, хотя был назойлив и громок.

Зато порхающий звук прилетевшей мины чуткое ухо улавливало каким-то чудом еще за секунду до его возникновения, и люди успевали прижаться к земле или спрыгнуть в щель.

Глаз мгновенно замечал молниеносную тень вдруг подкравшегося на бреющем полете «мессершмитта». (Мелькало что-то черное, желтое, как оса, с крестами.) Он проносился над нашим полем, паля из всех своих пулеметов и подымая этой пальбой частые фонтанчики пыли.

Иногда из какого-нибудь большого, подозрительного, дырявого облака вдруг вываливалась курсом прямо на нас тройка или шестерка бомбардировщиков, плохо видных против солнца.

Тогда все напряженно задирали головы вверх, желая распознать, свои это или «его». И непременно какой-нибудь оптимист говорил:

— Наш.

И непременно какой-нибудь пессимист сумрачно отвечал:

— Только бомбы немецкие.

Вслед за тем на нас обваливалось небо. Окоп ходил ходуном. Нас трясло. Земля сыпалась за воротник, комья стучали по фуражке. Мы были потные, грязные, как черти.

Осмотрев в последний раз в бинокль поле боя, на котором — генерал это знал лучше всех — через пять минут будет твориться нечто невероятное, он велел в последний раз обзвонить все танковые батальоны и дружески разговаривал с каждым командиром:

— Ну, как самочувствие?

Командиры двух батальонов подошли к телефону тотчас же. Третий не подошел. Вместо него трубку взял его заместитель.

— Я просил не заместителя, а самого командира, — строго сказал генерал.

— Товарищ четвертый, двадцать пятый лично подойти не может.

— Почему?

— Он намыленный!

— Чем?

— Мылом. Бреется. Он приказал доложить вам, что все в порядке и все на месте. А что касается бритья, то оно будет полностью закончено через три минуты. Прикажете прекратить бритье или разрешите добриться?

— Хорошо. Пусть добреется, — сказал генерал, подумав.

XXIV

После этого я увидел роту пехоты, которая шла прямо на нас, поднимаясь из лощинки на гору. Гвардейцы шли во весь рост широкой цепью по пестрому, малиновому, лиловому, зеленому клеверному полю. В матовых зеленых касках, с туго затянутыми ремешками, в зелено-желтых маскировочных плащах и сетках, размашисто шагая по великолепной орловской земле, они несли на плечах — кто пулемет, кто просто автомат, положив палец на спусковой крючок и выставив вперед ствол.

— Ложитесь, черти! — крикнул молоденький смуглый офицер связи — тот самый, которого я видел нынче ночью верхом на броневике, — с пыльным лицом, каплями пота на подбородке и с сияющим орденом Отечественной войны первой степени на пропотевшей рубашке.

Они не слышали.

— Ложитесь! Ползите!

Несколько мин разорвались между ними и нами. Они переглянулись. Но никто не лег. Они только прибавили шагу. Теперь они почти бежали. Они быстро приближались к нам, вырастая на склоне цветущего холма, на громадном фоне знойного орловского неба, тесно заставленного горами движущихся бело-синих облаков.

— Орлы! Гвардейцы! — сказал генерал с восхищением.

Рота побежала мимо нас, — вернее, через нас, — в сторону неприятеля и шагах в сорока залегла.

— Отсюда они после артиллерийского налета пойдут в атаку и выбьют противника из его узла сопротивления. Артиллерия, авиация и пехота взламывают немецкую оборону, а танки врываются в брешь и развивают успех... Чем, между прочим, и объясняется, — прибавил генерал не без ехидства, — что вы приехали в танковое соединение, а попали в пехотную цепь. Да и мое место, собственно говоря, не здесь, а сзади. Ну, да ведь...

Я ничего не успел сказать, так как стрелка больших генеральских часов коснулась роковой цифры.

Над нашими головами неслись на запад сотни мелких, средних и крупных снарядов. Я посмотрел в бинокль. Боевые порядки немцев заволокло дымом и пылью. Там что-то вспыхивало, рвалось, клубилось, взлетало вверх, падало черным дождем и вновь взлетало.

Тогда поднялась наша пехотная цепь.

— За родину! — крикнул чей-то голос, стараясь перекрыть грохот и вой артиллерийского шквала.

И мы еле слышали протяжное, раскатистое «ура».

— Пошли орлы, — сказал генерал и вскочил на бруствер.

А уже телефонист кричал снизу, из своего окопчика, осыпшим счастливым голосом:

— Товарищ гвардии генерал-майор, командир второго батальона доносит, что неприятель выбит со своих позиций и бежит.

— Вижу, вижу, — сказал генерал, не отрываясь от бинокля. — Товарищ писатель, вам не приходилось видеть, как драпают фашисты? Могу вам предоставить это удовольствие.

И он протянул мне свой бинокль.

На среднем и дальнем плане катилась пыль. Это неслись на запад немецкие грузовики, самоходные пушки, кухни, танки. На переднем же плане я увидел горящее село с красной кирпичной церковью и маленьким погостом, мимо которого ползли, стреляя, четыре наших танка, с длинными пушками, выставленными вперед, как пистолеты.

В жизни я не видел более приятного зрелища!

— Хорошо, — сказал генерал, вытирая рукавом со лба и с носа черный пот и стараясь достать из-за ворота землю. — А теперь надо поскорее ехать на правый фланг, в район железной дороги. Адъютант, машину!

Мы покинули наше чудесное поле и стали спускаться в балку. Теперь мы шли во весь рост по вспаханному клину. На душе было восхитительно легко. Я смотрел на потную рабочую спину генерал-майора, и почему-то мне вспомнилась «Война и мир» и Багратион, идущий по вспаханному полю, «как бы трудясь».

XXV

На другой день я проезжал через то село, которое мы накануне взяли. Ночью прошел сильный ливень. Он потушил пожары и не дал селу сгореть дотла. Но он сделал дорогу совершенно невозможной. Колеса грузовика поминутно буксовали в неглубокой, но очень скользкой грязи орловского чернозема. Каждый тридцать метров водитель выходил на дорогу с лопатой, покорно ложился под машину и подкапывал колеса. Иногда это не помогало. Тогда он доставал из-под сиденья топор, рубил придорожный кустарник и устилал ветками наполненные водой колеи.

На выезде из села был довольно крутой подъем. Тут не помогли ни лопата, ни топор. Машина села прочно.

Пока водитель ходил за досками, я вышел размяться. Я дошел до конца подъема и среди ржи, поваленной ливнем и танками, увидел кирпичную церковь, а вокруг нее бедный деревенский погост. Я сразу узнал и погост и церковь. Я их видел вчера в бинокль.

Со вчерашнего дня фронт еще дальше отодвинулся на запад. Немцы продолжали отступать. Орудийные рас-

каты слышались слабо, но так как по небу еще бежали обрывки грозowych туч, то казалось, что это раскаты уходящей грозы.

Уже два раза показывалось горячее солнце, и тогда колени разъезженной дороги начинали блестеть, как ртуть. Становилось жарко.

Наверху был соломенный шалашик, в котором сидел регулировщик с повязкой на рукаве и винтовкой между колен. Можно было подумать, что он сторожит рожь, — такой у него был мирный, задумчивый вид.

Вдруг во ржи я увидел знакомое синее пальто и клетчатый платок. Это была Нина Петровна. Расталкивая коленями сильную, частую рожь, она пробиралась с большим букетом мокрых полевых цветов, на котором, сложив крылья, сидела мокрая бабочка. Нина Петровна была умыта, и русые волосы ее были прибраны. Только теперь я мог рассмотреть ее как следует. Она была очень хороша. Я даже думаю — она была красавица. Она была прекрасна той чистой, ясной русской красотой, в которой неизвестно чего больше — прелести, ума или души. Ее откровенные зеркально-серые глаза с восковыми уголками были опущены, и в них отражалась большая важная дума.

Я окликнул ее. Она вздрогнула, но сейчас же оправилась. У нее только слегка зарумянился подбородок. Она улыбнулась мне прямой, легкой улыбкой и сказала:

— Пойдемте.

Мы обошли церковь. С одной стороны она была совершенно разрушена. В свежем проломе кирпичной стены я увидел иконостас, осыпанный штукатуркой, и внутреннюю поверхность купола с грубо написанным богом Саваофом. Когда мы проходили мимо пролома, из церкви вылетела стайка воробьев и села на сломанную пополам березу с еще живыми листьями.

За церковью, на краю погоста, вокруг старой военной могилы с новым, только что поставленным тесовым обелиском стояло несколько офицеров-летчиков. Среди них я узнал майора Савушкина.

Нина Петровна подвела меня к могиле.

— Вот здесь, — сказала она.

На обелиске была прибита небольшая стальная дощечка с выгравированной надписью: «Герой Советского

Союза полковник Андрей Васильевич Хрусталев, жизнь отдавший за наше счастье».

— Это сделали у нас на заводе,— сказала Нина Петровна.

Я снял фуражку и некоторое время смотрел вниз, на траву, покрытую свежими мокрыми стружками. От стружек пахло очень тонко и терпко. На траве, среди стружек, лежал забытый рубанок, вытертый, как стекло.

Нина Петровна, подобрав пальто, присела на низенькие деревянные перильца вокруг могилы и, перегнувшись, осторожно разложила свои цветы у подножья обелиска. Когда она это сделала, Петя помог ей встать.

Я взял ее небольшую, но крепкую руку и молча поцеловал.

Потом я уехал.

Москва, 1942—1943 гг.

СЫН ПОЛКА

Повесть

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман.

Луна стояла над головой. Она светила очень сильно. Однако ее свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми длинными тесинами, в которых, волшебю изменяясь, плыли космы болотных испарений.

Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез, то на прогалине, на фоне белого лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окруженные радужным сиянием.

И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света.

В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины: серого волка, несущего Ивап-царевича, в маленькой шапочке набекрень и с пером жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках — да мало ли еще чего!

Но меньше всего в этот глухой, мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

Больше суток провели они в тылу немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы

найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений.

Работа была трудная и очень опасная. Почти все время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте, — в холодной вонючей грязи, — накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными желтыми листьями.

Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек.

Но самое тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить. А, как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым крепким табачком. И, как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздраженными, злыми.

Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или веселая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком, даже высморкаться или кашлянуть: каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко.

Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в тринадцати друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться.

Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки: поднимет руку над головой — все тотчас останавливались и замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к земле — все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились; махнет рукой вперед — все двигались вперед; покажет назад — все медленно пятились назад.

Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли еще осторожнее, останавливались чаще.

Они вступили в самую опасную часть своего пути.

Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь еще были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днем, после боя, немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло

только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков: каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики — хотя их было только трое — не боялись засады. Они были осторожны, опытные и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засеченными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя.

Все вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далеких пушечных выстрелов да коротенькой пулеметной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны.

Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война.

Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недалеко здесь прошел танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться, особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие был немецкий.

В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли, как поленницы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью.

Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны, иногда разведчики натывались на глубокий извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж, накатов в шесть, с дверью, обращенной на запад. И эта дверь, обращенная на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он, или в нем кто-нибудь есть — было неизвестно.

Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску.

В одном месте, на полянке, озаренной дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с желтыми лицами и синими провалами глаз.

Один раз взлетела осветительная ракета. Она долго висела над верхушками деревьев, и ее плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вдруг встал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты в своих пятнистых, желто-зеленых плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы.

Так разведчики медленно подвигались к своему расположению.

Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек, лет двадцати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом, товарищи его любили и вместе с тем побаивались.

Звук, который привлек внимание сержанта Егорова,— такова была фамилия старшого,— казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характера и значения.

«Что бы это могло быть? — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке.— Шепот? Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет».

Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что он выходит откуда-то из-под земли.

Послушав еще минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать.

— Слышать? — одними губами спросил Егоров.

— Слышать, — так же беззвучно ответил один из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое темное лицо, уныло освещенное луной. Он высоко поднял мальчишеские брови.

— Что?

— Не понять.

Некоторое время они втроем стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пенье. Они переглянулись, но тотчас же звуки сделались прежние.

Тогда Егоров подал знак ложиться и лег сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях, по-пластунски. Через минуту он скрылся за темным кустом можжевельника, а еще через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовет их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника.

Из окопчика явственно слышалось бормотанье, всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна. В окопчике спал мальчик.

Стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало; из провалившегося рта, с обметанными лихорадкой воспаленными губами, вылетали сильные вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запекшейся крови.

Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали его и во сне. Каждую минуту лицо мальчика меняло выражение: то оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие, глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком, и с ресниц катились слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из напряженного горла.

А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку.

Сон мальчика был так тяжел, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далеко от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего — ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо.

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот.

— Тише. Свои,— шепотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские и лица, наклоненные к нему,— тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

— Наши...

И потерял сознание.

2

Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны, между крепкими суками. С трех сторон площадка была открыта. С четвертой стороны — с западной — на нее бы-

ло положено несколько толстых шпал, защищавших от пуль. К верхней шпале была привинчена стереотруба; к ее рогам было привязано несколько веток, так что сама она походила на рогатую ветку.

Для того чтобы попасть на площадку, надо было подняться по двум очень длинным узким лестницам. Первая, довольно пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсюда надо было подниматься по второй лестнице, почти отвесной.

Кроме капитана Енакиева, на площадке находились два телефониста — один пехотный, другой артиллерийский — со своими кожаными телефонными аппаратами, повешенными на чешуйчатом стволе сосны, и начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан.

Так как на площадке больше четырех человек не помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице: один — командир взвода управления лейтенант Седых, а другой — уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта.

Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом: они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой.

Карты эти, меченые-перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разостланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках.

Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зеленый шлем и наклонив хмурый, почти коричневый, широкий лоб, резкими, нетерпеливыми движениями толстых пальцев передвигал по своей карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, то резинку и в то же время быстро искоса взглядывал в лицо Енакиева, как бы говоря: «Ну, что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше. Давай поскорее».

Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение.

В эти последние часы, а может быть, даже минуты перед боем все казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел.

Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии и привыкли: где дерется батальон Ахунбаева, там, значит, дерется и батарея Енакиева.

Славный путь проделали плечом к плечу Енакиев и Ахунбаев. Били они немцев под Духовщиной, били под Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли. Не раз и не два и даже не три раза столица наша Москва от имени родины озаряла вечерние тучи над Кремлем огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Енакиева.

Много хлеба и соли съели вместе за одним походным столом боевые друзья, немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не давали, хорошо помня поговорку, что «дружба дружбой, а служба службой». И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характеры у них были разные.

Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчетлив,— как и подобает хорошему артиллеристу.

Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые разведчиками Енакиева, капитан Ахунбаев торопился покончить с этим делом и поскорее отпустить связных, присланных от каждой роты за схемами разведанной местности. Они стояли внизу, под деревом, и ждали.

Приказ о наступлении еще не был получен, но по многим признакам можно было заключить, что оно начнется очень скоро. А до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить их боевую готовность.

Однако, как быстро ни скользила целлулоидная линейка Ахунбаева по карте, как проворно ни наносил красный карандаш кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и голубеньких жилок рек, дело подвигалось далеко не так быстро, как хотелось бы капитану. Почти перед каждым новым значком, который Ахунбаев собирался наносить на карту, капитан Енакиев останавливал его учтивым, но твердым движением небольшой

сухощавой руки в потертой коричневой замшевой перчатке.

— Прошу вас. Одну минутку повремените, я хочу проверить. Лейтенант Седых!

— Здесь.

— Посмотрите у себя. Квадрат девятнадцать пять. Сорок пять метров северо-северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено?

Не торопясь, но и не копаясь, лейтенант Седых поддвигал к себе планшетку, лежавшую на досках на уровне его груди, опускал немного припухлые, покрасневшие от недосыпания глаза и, покашляв, говорил:

— Подбитый танк, вкопанный в землю и превращенный неприятелем в неподвижную огневую точку.

— Откуда это известно?

— По донесению разведки.

— Правильно, верно, — быстро говорил капитан Ахупбаев, от нетерпения развязывая и завязывая на шее тесемки плащ-палатки. — Моя разведка то же самое доносит. Значит, не может быть двух мнений. Смело можно наносить.

— Все же одну минуточку повремените, — говорил капитан Енакиев, подумав. Он наклонился и заглядывал на край площадки вниз. — Сержант Егоров!

— Здесь, товарищ капитан, — откликнулся сержант Егоров с лестницы.

— Что это у вас там за подбитый танк на квадрате девятнадцать пять? Вы не сочиняете?

— Никак нет.

— Лично видели?

— Так точно.

— Собственными глазами?

— Так точно, собственными глазами. Туда шли — видел и на обратном пути видел. На том же месте стоит.

— Так они — что? Выходит, превратили его в неподвижную огневую точку?

— Так точно. В неподвижную огневую точку.

— Откуда это известно?

— Они вокруг него производят земляные работы.

— Закапывают?

— Так точно.

— А может быть, они хотят его вывезти?

— Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привезли.

— Сами видели?

— Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгужали. Тогда же мы и засекли.

— Хорошо. Больше ничего.

— Точно! Точно! — радостно восклицал сквозь зубы капитан Ахунбаев и выставлял на карте маленький красный ромбик.

А то вдруг, уточняя положение какой-нибудь цели, капитан Енакиев, сделав свой учтивый, но твердый останавливающий жест, опускался на колени перед стереотрубой и, как казалось капитану Ахунбаеву, очень долго рыскал по туманному, слоистому горизонту, то и дело справляясь с картой и прикладывая к ней целлулоидный круг.

В это время Ахунбаев готов был от нетерпения скрипеть зубами и не скрипел только потому, что слишком хорошо знал своего друга. Скрипи или не скрипи — все равно ничего не поможет.

Достаточно было одного взгляда на капитана Енакиева, на его старенькую, но исключительно опрятную, ладно пригнанную шинель с черными петлицами и золотыми пуговицами, на его твердую фуражку с лаковым ремешком, черным околышком и прямым квадратным козырьком, несколько надвинутым на глаза, на его фляжку, аккуратно обшитую солдатским сукном, на электрический фонарик, прицепленный ко второй пуговице шинели, на его крепкие, но тонкие и во всякую погоду начищенные до глянца сапоги, чтобы понять всю добросовестность, всю точность и всю непреклонность этого человека.

Утро было серое, холодное. Иней, выпавший на рассвете, хрупко лежал на земле и долго не таял. Он медленно испарялся в сыром синем воздухе, мутном, как мыльная вода.

Деревья на опушке не шевелились. Но это впечатление было обманчиво. Верхушка сосны раскачивалась по кругу, а вместе с ней раскачивалась и площадка, словно это был плот, который плавно носит вокруг широкого медленного водоворота.

Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Это постоянное и неравномерное состояние воздуха можно было не только чувствовать. Его можно было как бы видеть. При каждом ударе в лесу встряхивались деревья, и желтые листья начинали сыпаться гуще, крутясь и колыхаясь.

Человеку непривычному могло показаться, что идет большое сражение и что он находится в самом центре этого сражения. На самом же деле была обычная артиллерийская перестрелка, не слишком даже сильная. Какая-нибудь батарея, наша или немецкая, желая пристрелять новую цель, выпустила несколько снарядов. Эту батарею сейчас же засекли наблюдатели противника, и тотчас по ней из глубины ударил какой-нибудь специальный контрбатареинный взвод. За этим взводом, в свою очередь, началась охота. Таким образом, очень скоро на участке заваривалась такая каша, что хоть уши затыкай ватой. Со всех сторон били орудия мелких калибров, еще более мелких калибров, средних, калибров покрупнее, наконец, крупных, очень крупных, самых крупных, а иногда и сверхмощные пушки, еле слышно ухавшие глубоко в тылу и вдруг с неожиданным воем, скрежетом, вихрем низвергавшие свои колоссальные снаряды в какой-нибудь на вид невинный песок, над которым поднималась в воздух вместе с кустами и деревьями и обваливалась вниз скалистая туча, черная, как антрацит, и продернутая в середине молниями.

Иногда откуда-то, с неожиданной стороны, врвался осколок, с силой ударялся в землю, делал рикошет, кружился, трещал, звенел, ныл, как волчок, и с отвратительным стоном уносился прочь, сбивая по пути с деревьев ветви и шишки.

Однако люди, работавшие над картой на верхушке сосны, казалось, ничего этого не слышат и не видят. И только изредка, когда в каком-нибудь месте огонь особенно учащался, телефонист крутил ручку своего кожаного аппарата и негромко говорил:

— Дай фиалку. Это фиалка? Говорит стул. Проверка линии. Что у вас там делается? Пока все тихо? Ну, ладно. У нас тоже все тихо. Воюйте дальше. До свидания.

Когда наконец работа была окончена, капитан Ахунбаев сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на короткой шее тесемки плащ-палатки, вскочил на свои короткие крепкие, немного кривые ноги и крикнул вниз вестовому:

— Коня!

Затем он посмотрел на часы.

— Проверьте. У меня девять шестнадцать. У вас?

— Девять четырнадцать,— сказал капитан Енакиев, скользнув взглядом по своей руке.

Капитан Ахунбаев издал короткий, торжествующий, гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули глянцевой чернотой.

— Отстаешь, капитан Енакиев.

— Никак нет. Я не отстаю. У меня верно. Это вы то-ропитесь, по своему обыкновению.

— Зайцев, точное время! — азартно крикнул Ахунбаев.

Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и доложил, что время девять часов четырнадцать минут.

— Твоя взяла, бог войны,— миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевел стрелки.— Пусть будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат.

Грубо шурша плащом, он единым духом, не сделав ни одной остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил на коня и умчался, осыпаясь желтыми листьями.

После этого капитан Енакиев снял со своей записной книжки тугой резиновый поясok и перебрался к стереотрубе. В книжке были записаны цели. Все эти цели были пристреляны. Но капитану Енакиеву хотелось, чтобы они были пристреляны еще лучше. Ему хотелось добиться, чтобы в случае надобности его батарея могла сразу, с первых же выстрелов, перейти на поражение, не тратя драгоценного времени на повторную пристрелку. «Пройтись по целям» не представляло, конечно, никакого труда, но он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперед, на линию пехоты, и хорошо спрятанная, может обнаружить себя раньше времени. Вся же задача заключалась именно в том, чтобы ударить совершенно неожиданно, в самый последний, решающий момент боя, и ударить туда, где этого меньше всего ожидают. Такое место, по мнению капитана Енакиева, было на правом фланге боевого участка, между развилками двух дорог и выходом в довольно глубокую балку, поросшую молодым дубняком.

В данный момент это место не представляло ничего интересного. Оно было пустынно. На нем не было ни огневых точек, ни оборонительных сооружений. Обычно на полях сражений таких неинтересных, ничем не замеча-

тельных мест бывает довольно много. Сражение проходит мимо них, не задерживаясь. Капитан Енакиев это знал, но у него было сильное, точное воображение.

В сотый раз рисуя себе предстоящий бой во всех возможных подробностях его развития, капитан Енакиев неизменно видел одну и ту же картину: батальон Ахунбаева прорывает немецкую оборонительную линию и загибает правый фланг против возможной контратаки. Потом он нетерпеливо выбрасывает свой центр вперед, закрепляется на оборонительном склоне высоты, против развилки дороги, и, постепенно подтягивая резервы, закапливается для нового решительного удара по дороге. Именно недалеко от этого места, между развилкой дороги и выходом в балку, капитан Ахунбаев и останавливается. Он должен там остановиться, так как этого потребует логика боя: необходимо будет пополнить патроны, подобрать раненых, привести в порядок роты, а главное — перестроить боевой порядок в направлении следующего удара. А на это необходимо хотя и небольшое, но все же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки, — это самое лучшее время для танковой атаки. Они неожиданно выбросят свой танковый резерв, спрятанный в балке. А в том, что в балке будут спрятаны немецкие танки, капитан Енакиев почти не сомневался, хотя никаких положительных сведений на этот счет не имел. Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании маневра и на том особом математическом складе ума, который всегда отличает хорошего артиллерийского офицера, привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять факты и делать безошибочные выводы.

«А может быть, все же рискнуть, попробовать?» — спрашивал себя капитан Енакиев, подкручивая по глазам окуляры стереотрубы.

Расплывчатый серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные очертания предметов принимали предельно четкую форму. Панорама местности волшебным образом приблизилась к глазам и явственно расслоилась на несколько планов, выступавших один из-за другого, как театральные декорации.

На первом плане, вне фокуса, мутно и странно волнисто выделялись верхушки того самого леса, где стояла сосна с наблюдательным пунктом. Даже один сук этой сосны, чудовищно приближенный, прямо-таки лез в глаза

громадными кистями игл и двумя громадными шишками.

За ним выступала полоса поля. По нижнему краю этого поля со стереоскопической ясностью тянулась волнистая линия нашего переднего края. Все его сооружения были тщательно замаскированы, и только очень опытный глаз мог открыть их присутствие. Капитан Енакиев не столько видел, сколько угадывал места амбразур, ходов сообщения, пулеметных гнезд.

По верхнему же краю поля, так же отчетливо и так же подробно, но гораздо мельче, параллельно нашим окопам, тянулись немецкие. И мертвое пространство между ними было так сжато, так сокращено оптическим приближением, что казалось, будто его и вовсе не было.

Еще дальше капитан Енакиев видел водянистую панораму немецких тылов. Он прошелся по ней вскользь. Быстро замелькали оголенные рожицы, сплюснутые болотца, возвышенности, как бы наклеенные одна на другую, развалины домиков.

И, наконец, капитан Енакиев вернулся к тому самому месту между развилкой дорог и узкой щелью оврага, которое было занесено в его записную книжку под именем «дальномер 17».

Он напряженно всматривался в это ничем не примечательное пустынное место, и его воображение — в который раз за сегодняшнее утро! — населяло это место движущимися целями Ахунбаева и маленькими силуэтами немецких танков, которые вдруг начинали один за другим выползать из таинственной щели оврага.

«Или лучше не стоит?» — думал Енакиев, стараясь как можно точнее подвести фокус стереотрубы на это место.

Это не была нерешительность. Это не было колебание, нет. Он никогда не колебался. Не колебался он и теперь. Он взвешивал. Он хотел найти наиболее верное решение. Он хотел отдать себе полный отчет в том, что же для него все-таки выгоднее: с наибольшей точностью пристрелять цель номер семнадцать, хотя бы для того пришлось пойти на риск — преждевременно обнаружить свою батарею, или до самой последней минуты не обнаруживать батарею, рискуя в критический, даже, может быть, решающий, момент боя потерять несколько минут на корректировку?

Но в это время внизу раздались голоса, лестница зашаталась, послышалось дробное позванивание шпор, и на

площадку выскочил, тяжело дыша, молодой офицер, почти мальчик, со смуглым курносым лицом и очень черными толстыми бровями. Это был офицер связи. На его лице, которое изо всех сил старалось быть официальным и даже суровым, горела жаркая мальчишеская улыбка.

Он стукнул шпорами, коротко бросил руку к козырьку, точно оторвал ее с силой вниз, и подал капитану Енакиеву пакет.

— Приказ по полку... — сказал он строго, но не удержался и, ярко сверкнув карими глазами, взволнованно добавил: — О наступлении.

— Когда? — спросил Енакиев.

— В девять часов сорок пять минут. Сигнал — две ракеты синих и одна желтая. Там написано. Разрешите идти?

Енакиев посмотрел на часы. Было девять часов тридцать одна минута.

— Идите, — сказал он.

Офицер связи стукнул шпорами, вытянулся, бросил руку к козырьку, с силой оторвал ее вниз, повернулся кругом с такой четкостью и щегольством, словно был не на верхушке дерева, а в столовой артиллерийского училища, и одним духом ссыпался вниз по лестницам, обрывая шпору о перекладины и весело чертыхаясь.

— Лейтенант Седых, — сказал Енакиев.

— Я здесь, товарищ капитан.

— Вы слышали?

— Так точно.

— Командный пункт здесь. Связь между мной и всеми взводами — телефонная. При движении вперед наращивать проволоку без малейшей задержки. От взводов не отрываться ни на одну секунду. В случае нарушения телефонной связи дублируйте по радио открытым текстом. При командире каждой роты назначьте двух человек — один связной, другой наблюдатель. Обо всех изменениях обстановки доносить немедленно по проводу, по радио или ракетами. Задача ясна?

— Так точно.

— Вопросы есть?

— Никак нет.

— Действуйте.

— Слушаюсь.

Лейтенант Седых сошел на одну ступеньку ниже, но остановился.

— Товарищ капитан, разрешите доложить. Совсем из головы выскочило. Как прикажете поступить с мальчиком?

— С каким мальчиком? — Капитан Енакиев нахмурился, но тотчас вспомнил: — Ах да!

Ему докладывали о мальчике, но он еще не принял решения.

— Так что же у вас там с мальчиком? Где он находится?

— Пока у меня, при взводе управления. У разведчиков.

— Очухался малый?

— Будто ничего.

— Что же он рассказывает?

— Много чего говорит. Да вот сержант Егоров лучше знает.

— Давайте сюда Егорова.

— Сержант Егоров! — крикнул лейтенант Седых вниз командиру батареи.

— Здесь! — тотчас откликнулся Егоров, и его шлем, покрытый ветками, появился над площадкой.

— Что там с вашим мальчиком? Как его самочувствие? Рассказывайте.

Капитан Енакиев сказал не «доклаживайте», а «рассказывайте», и в этом сержант Егоров, всегда очень тонко чувствующий все оттенки субординации, уловил позволение говорить по-семейному. Его утомленные, покрасневшие после нескольких бессонных ночей глаза открыто и ясно улыбались, хотя рот и брови продолжали оставаться серьезными.

— Дело известное, товарищ капитан, — сказал Егоров. — Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову — мать убили. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду, остался один. Потом деревню спалили. Пошел с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармам. Отправили силком в какой-то ихний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился паршой, поймал чесотку, болел сыпным тифом — чуть не помер, но все же кое-как сдюжил. Потом убежал. Почитай, два года бродил, прятался в лесах, все хотел через фронт перейти, да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие

выдумал. Непременно хотел этим гвоздем какого-нибудь фрица убить. А еще в сумке у него мы нашли букварь, рваный, потрепанный. «Для чего тебе букварь?» — спрашиваем. «Чтоб грамоте не разучиться», — говорит. Ну, что вы скажете!

— Сколько ж ему лет?

— Говорит — двенадцать, тринадцатый. Хотя на вид больше десяти никак не дать. Изголодался, отощал. Одни кожа да кости.

— Да, — задумчиво сказал капитан Енакиев. — Двенадцать лет. Стало быть, когда все это началось, ему девяти не было.

— С детства хлебнул, — сказал Егоров, вздыхая.

Они помолчали, прислушиваясь к звукам артиллерийской перестрелки, которая стала заметно стихать, как это всегда бывает перед началом боя.

Скоро наступила напряженная, обманчивая тишина.

— И что же, хороший паренек? — спросил капитан Енакиев.

— Замечательный мальчишка. Шустрый такой, смысленый! — воскликнул Егоров уже совсем по-домашнему.

Капитан нахмурился и отвернулся.

Был когда-то и у капитана Енакиева мальчик, сын Костя, правда, немного поменьше возрастом. Теперь бы ему было семь лет. Были у капитана Енакиева молодая жена и мать. И всего этого он лишился в один день, три года назад. Вышел из своей квартиры в Барановичах, по тревоге вызванный на батарею, и с тех пор больше не увидел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит.

Они все трое погибли по дороге в Минск в то страшное июльское утро сорок первого года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей — стариков, женщин, детей, уходящих пешком по Минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну.

Об их гибели рассказал капитану Енакиеву очевидец, его старый товарищ, случившийся в это время со своей частью возле шоссе. Он не передавал подробностей, которые были слишком ужасны. Да капитан Енакиев и не спрашивал. У него не хватало духу спрашивать, но его воображение тотчас нарисовало картину их гибели, и эта картина уже никогда не покидала его. Она всегда стояла перед глазами. Огонь, блеск, взрывы,

рвущие воздух в клочья, пулеметные очереди в воздухе, обезумевшая толпа с корзинами, чемоданами, колясками, узлами, — и маленький четырехлетний мальчик в синей матросской шапочке, валяющийся, как окровавленная тряпка, раскинув восковые руки между корнями вывороченной из земли сосны.

Особенно отчетливо виделась капитану Енакиеву эта синяя матросская шапочка с новыми лентами, сшитая бабушкой из старой материнской жакетки.

В это лето, несмотря на свои тридцать два года, капитан Енакиев немного поседел в висках, стал суше, скучней, строже. Мало кто в полку знал о его горе. Он никому не говорил о нем. Но, оставаясь наедине с собой, капитан всегда думал о жене, о матери, о сыне.

О сыне он думал всегда, как о живом. Мальчик рос в его воображении. Каждую минуту капитан знал точно, сколько бы ему сейчас было лет и месяцев, как бы он выглядел, что бы говорил, как бы учился. Сейчас его сын, конечно, уже умел бы читать и писать и его матросская шапочка ему бы уже не годилась. Эта шапочка теперь лежала бы у матери в комодке, среди других вещей, из которых его Костя уже вырос, и, возможно, из нее бабушка сделала бы теперь какую-нибудь другую полезную вещь — мешочек для перьев или суконку для чистки ботинок.

— Как его звать? — сказал капитан Енакиев.

— Ваня.

— Просто — Ваня?

— Просто Ваня, — с веселой готовностью ответил сержант Егоров, и его лицо расплылось в широкую, добрую улыбку. — И фамилия такая подходящая: Ваня Солнцев.

— Ну так вот что, — подумав, сказал Енакиев, — надо будет его отправить в тыл.

Лицо Егорова вытянулось.

— Жалко, товарищ капитан.

— То есть как это — жалко? — строго нахмурился Енакиев. — Почему жалко?

— Куда же он денется в тылу-то? У него там никого нету родных. Круглый сирота. Пропадет.

— Не пропадет. Есть специальные детские дома для сирот.

— Так-то оно, конечно, так, — сказал Егоров, все еще продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капи-

тана Енакиева уже слышались твердые, командирские нотки.

— Что?

— Так-то оно так,— повторил Егоров, переминаясь на шатких ступенях лестницы.— А все-таки, как бы это сказать: мы уже думали его у себя оставить, при взводе управления. Уж больно смысленый паренек. Прирожденный разведчик.

— Ну, это вы фантазируете,— сказал Енакиев раздраженно.

— Никак нет, товарищ капитан. Очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется все равно как взрослый разведчик. Даже еще получше. Он сам просится: «Выучите меня, говорит, дяденька, на разведчика. Я вам буду, говорит, цели разведывать. Я здесь, говорит, каждый кустик знаю».

Капитан усмехнулся.

— Сам просится. Мало что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Ведь это маленький человек, живая душа. А ну как с ним что-нибудь случится? Бывает на войне, что и подстрелить могут. Ведь так, Егоров?

— Так точно.

— Вот видите. Нет, нет. Рано ему еще воевать, пусть прежде подрастет. Ему сейчас учиться надо. С первой же машиной отправьте его в тыл.

Егоров помялся.

— Убежит, товарищ капитан,— сказал он неуверенно.

— То есть как это — убежит? Почему вы так думаете?

— «Если, говорит, вы меня в тыл начнете отправлять, я от вас все равно убегу по дороге».

— Так и заявил?

— Так и заявил.

— Ну, это мы еще посмотрим,— сухо сказал капитан Енакиев,— приказываю отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться.

Семейный разговор кончился. Сержант Егоров вытянулся.

— Слушаюсь.

— Все,— сказал капитан Енакиев коротко, как отрубил.

— Разрешите идти?

— Идите.

И в то время, когда сержант Егоров спускался по лест-

нице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетела бледно-синяя звездочка. Она еще не успела погаснуть, как по ее следу выкатилась другая синяя звездочка, а за нею третья звездочка — желтая.

— Батарея, к бою! — сказал капитан Енакиев пергромко.

— Батарея, к бою! — крикнул звонко телефонист в трубку.

И это звонкое восклицание сразу наполнило зловеще притихший лес сотней ближних и дальних отголосков.

4

А в это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошенку из картошки, лука, свиной тушенки, перца, чеснока и лаврового листа.

Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожеванные куски мяса то и дело останавливались у него в горле. Острые твердые уши двигались от напряжения под косичками серых, давно не стриженных волос.

Воспитанный в степенной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что ест крайне неприлично. Приличие требовало, чтобы он ел не спеша, изредка вытирая ложку хлебом, и не слишком сопел и чавкал.

Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил: «Много благодарен за хлеб, за соль. Сыт, хватит», — и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят: «Милости просим, кушайте еще».

Все это Ваня понимал, но ничего не мог с собою поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий.

Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук.

Изредка его синие, как бы немного полинявшие от истощения глаза с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат.

Их было в палатке двое: те самые разведчики, которые

вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один — костистый великан с добродушным щербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, руками, по прозвищу «Шкелет», ефрейтор Биденко, а другой — тоже ефрейтор и тоже великан, но великан совсем в другом роде, вернее сказать — не великан, а богатырь, гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с каленым румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой, поросычьею щетиной на розовой голове, по прозвищу «Чалдон».

Оба великана не без труда помещались в палатке, рассчитанной на шесть человек. Во всяком случае, им приходилось сильно поджимать ноги, чтобы они не вылезали наружу.

До войны Биденко был донбасским шахтером. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его темную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок.

Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядреными, свежесколотыми березовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, березовый.

Они оба сидели на пахучих еловых ветках в стеганках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошечку.

Иногда, заметив, что мальчик смущен своей неприличной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов доброжелательно замечал:

— Ты, пастушок, ничего. Не смущайся. Ешь вволю. А не хватает — мы тебе еще подбросим. У нас насчет харчей крепко поставлено.

Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой, и ему казалось, что он уже давно живет в палатке у этих добрых великанов. Даже как-то не верилось, что еще совсем недавно — вчера — он пробирался по страшному холодному лесу, один во всем мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели.

Ему не верилось, что позади было три года нищеты, унижений, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты.

Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно. Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку

сквозь желтое полотно проникал ровный веселый свет, похожий на солнечный.

Правда, благодаря присутствию великанов в палатке было тесновато, но зато как все было аккуратно, разумно разложено и развешано!

Каждая вещь помещалась на своем месте. Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на желтых палочках, изнутри подпиравших палатку. Шинели и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевельных ветках. Противогазы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой. На фанере в большом порядке помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щетки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце. Были даже две сапожные щетки, воткнутые друг в друга щетиной, и возле них коробочка ваксы. Конечно, имелся там же фонарь «летучая мышь».

Снаружи палатка была аккуратно окопана ровиком, чтобы не натекала дождевая вода. Все колышки были целы и крепко вбиты в землю. Все полотнища туго, равномерно натянуты. Все было точно, как полагается по инструкции.

Недаром же разведчики славились на всю батарею своей хозяйственностью. Всегда у них был изрядный неприкосновенный запас сахарцу, сухарей, сала. В любой момент могла найтись иголка, нитка, пуговица или добрая заварка чаю. О табачке нечего и говорить. Курево имелось в большом количестве и самых разнообразных сортов: и простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и легкий сухумский табачок, и папиросы «Путина», и даже маленькие трофейные сигары, которых разведчики не уважали и курили в самых крайних случаях и то с отвращением.

Но не только этим славились разведчики на всю батарею.

В первую голову славились они боевыми делами, известными далеко за пределами своей части. Никто не мог сравниться с ними в дерзости и мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разво-

дили. А начальник второго отдела иначе их и не называл, как: «Это профессора капитана Енакиева».

Одним словом, воевали они героически.

Зато и отдыхать после своей тяжелой и опасной работы привыкли толково. Было их всего шесть человек, не считая сержанта Егорова. Ходили они в разведку большей частью парами, через два дня на третий. Один день парой назначались в наряд, а один день парой отдыхали. Что же касается сержанта Егорова, то, когда он отдыхает, никто не знал.

Нынче отдыхали Горбунов и Биденко, закадычные дружки и постоянные напарники. И хотя с утра шел бой, воздух в лесу ходил ходуном, тряслась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев мело низким, оглушающим шумом штурмовиков, идущих на работу или с работы, оба разведчика безмятежно наслаждались вполне заслуженным отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели полюбить и даже дать ему прозвище — «пастушок».

Действительно, в своих коричневых домотканых портках, крашенных луковичной шелухой, в рваной кацавейке, с торбой через плечо, босой, простоволосый мальчик как нельзя больше походил на пастушонка, каким его изображали в старых букварях. Даже лицо его — темное, сухощавое, с красивым прямым носиком и большими глазами — под шапкой волос, напоминавших соломенную крышу старенькой избушки, было точь-в-точь как у деревенского пастушка.

Опустошив котелок, Ваня насухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтер ложку, корку съел, встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы:

— Премного благодарны. Много вами доволен.

— Может, еще хочешь?

— Нет, сыт.

— А то мы тебе еще один котелок можем положить, — сказал Горбунов, подмигивая не без хвастовства. — Для нас это ничего не составляет. А, пастушок?

— Ъ меня уже не лезет, — застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнули из-под ресниц быстрый озорной взгляд.

— Не хочешь — как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило — мы никого насильно не заставляем, — сказал Биденко, известный своей справедливостью.

Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал:

— Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч?

— Хороший харч,— сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты «Суворовский натиск», разостланной вместо скатерти, хлебные крошки.

— Верно, хороший? — оживился Горбунов.— Ты, брат такого харча ни у кого в дивизии не найдешь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело, за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Будешь за нас держаться?

— Буду,— весело сказал мальчик.

— Правильно. И не пропадешь. Мы тебя в баньке отмоем. Патлы тебе острижем. Обмундирование какое-нибудь справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.

— А в разведку меня, дяденька, будешь брать?

— И в разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика.

— Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу,— с радостной готовностью сказал Ваня.— Я здесь вокруг каждый кустик знаю.

— Это и дорого.

— А из автомата палить меня научишь?

— Отчего же! Придет время — научим.

— Мне бы, дяденька, только один разок стрельнуть,— сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы, покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной пальбы.

— Стрельнешь. Не бойся. За этим не станет. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.

— Как это, дяденька?

— Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи, капитану Енакиеву, капитан Енакиев велит дать в приказе о твоём зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия: вещевое, приварок, денежное. Понятно тебе?

— Понятно, дяденька.

— Вот как оно делается у нас, у разведчиков... погоди! Ты это куда собрался?

— Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать.

— Правильно приказывала,— сказал Горбунов строго,— то же самое и на военной службе.

— А на военной службе швейцаров нету,— назидательно заметил справедливый Биденко.

— Однако еще погоди мыть посуду. Мы сейчас чай пить будем,— сказал Горбунов самодовольно.— Чай пить уважаешь?

— Уважаю,— сказал Ваня.

— Ну, и правильно делаешь. У нас, у разведчиков, так положено — как покушаем, так сейчас же чай пить. Нельзя! — сказал Биденко.— Пьем, конечно, внакладку,— прибавил он равнодушно.— Мы с этим не считаемся.

Скоро в палатке появился большой медный чайник — предмет особенной гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батарейцев.

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались.

Молчаливый Биденко развязал свой вещевой мешок и положил на «Суворовский патиск» громадную горсть рафинада. Не успел Ваня и глазом моргнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахара, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добавил третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков!

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя как в необыкновенном, сказочном мире.

Все вокруг было сказочно. И эта палатка, как бы освещенная солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные «все виды довольствия — вещевое, приварок, денежное», и даже слова «свиная тушенка», большими черными буквами напечатанные на кружке.

— Нравится? — спросил Горбунов, горделиво любясь мальчиком, который с удовольствием тянул чай осторожно вытянутыми губами.

На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим, как огонь. Сердце было полно бурной радости оттого, что он останется жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата.

Все слова смешались в его голове. Он только благодарно закивал, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности.

— Ребенок ведь,— жалостно и тонко вздохнул Биденко, скручивая своими громадными, грубыми, как будто закопченными пальцами хорошенькую козью ножку и осторожно насыпая в нее из кисета пензенский самосад.

Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер.

Сначала они слышались близко и шли равномерно, как волны. Потом они немного удалились, ослабли, но сейчас же разбушевались с новой, утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как казалось — беспорядочный, грохот авиабомб, которые все сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молотья по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами.

— Наши пикируют,— заметил вскользь Биденко, прислушиваясь среди разговора.

— Хорошо бьют,— одобрительно сказал Горбунов.

Это продолжалось тоже довольно долго.

Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчетливо послышался твердый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе.

Пока продолжалась тишина, все молчали, прислушивались.

Потом издали донеслась винтовочная трескотня. Она все усиливалась, крепчала. Ее отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест застучали пулеметы, и грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завывала, застучала, как ротационка, пущенная самым полным ходом.

И в этом беспощадном механическом шуме только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших: «А-а-а...»

— Пошла царица полей в атаку,— сказал Горбунов,— сейчас бог войны будет ей подпевать.

И, как бы в подтверждение его слов, опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек, самых различных калибров.

Биденко долго, внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя.

— А нашей батарее не слышать,— сказал он наконец.

— Да, молчит,— сказал Горбунов.

— Небось наш капитан выжидает.

— Это — как водится. Зато потом как ахнет...

Ваня переводил синие испуганные глаза с одного ве-

ликана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо ли для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог, а спросить не решался.

— Дяденька, — наконец сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, — кто кого побеждает: мы немцев или немцы нас?

Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по загривку.

— Эх ты!

Биденко же серьезно сказал:

— Ты бы, Чалдон, верно, сбегал бы к радистам на рацию, узнал бы, что там слышно.

Но в это время раздались торопливые шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, нагнувшись, вошел сержант Егоров.

— Горбунов!

— Я.

— Собирайся. Только что в пехотной цепи Кузьминского убило. Заступишь на его место.

— Нашего Кузьминского?

— Да, очередью из автомата. Одиннадцать пуль. По-быстрее.

— Есть.

Пока Горбунов, согнувшись, торопливо надевал шинель и набрасывал через голову снаряжение, сержант Егоров и ефрейтор Биденко молча смотрели на то место, где раньше помещался убитый сейчас разведчик Кузьминский.

Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было так же аккуратно — без единой морщинки — застлано зеленой плащ-палаткой, так же в головах стоял вещевой мешок, покрытый суровым утиральником; только на утиральнике лежали два треугольных письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», принесенные полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.

Ваня видел Кузьминского только один раз, на расвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомпола.

От шинели Кузьминского грубо и вкусно пахло солдатскими щами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушел. Он

ушел, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернется. Теперь все знали, что он уже никогда не вернется, и молчаливо смотрели на его освободившееся место.

В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно.

Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий, гибкий номер «Красноармейца». Только теперь сержант Егоров заметил Ваню. Мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться. Но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное.

— Ты еще здесь? — сказал Егоров.

— Здесь, — виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины.

— Придется его отправить, — сказал сержант Егоров, нахмурился точно так же, как хмурился капитан Енакиев. — Биденко!

— Я!

— Собирайся.

— Куда?

— Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь командиру под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено.

— На тебе! — сказал Биденко с пескываемым огорчением.

— Капитан Енакиев распорядился.

— А жалко. Такой шустрый мальчик.

— Жалко не жалко, а не положено.

Сержант Егоров еще больше нахмурился. Ему и самому было жаль расставаться с мальчиком. Про себя он еще ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика.

Но приказ командира не подлежал обсуждению. Капитан Енакиев лучше знает. Сказано — исполняй.

— Не положено, — еще раз сказал Егоров, властным и резким тоном подчеркивая, что вопрос решен окончательно. — Собирайся, Биденко.

— Слушаюсь.

— Ну, стало быть, так и так, — сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под обмявшейся, потертой до глянца кобуры нагана. — Не тужи, пастушок. Раз ка-

питан Енакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. По крайней мере, хоть на машине прокатиться. Не так ли? Прощай, брат.

И с этими словами Горбунов быстро, но без суеты вышел из палатки.

Ваня стоял маленький, огорченный, растерянный. Покусывая губы, обметанные лихорадкой, он смотрел то на одевавшегося Биденко, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого Кузьминского с полужакрытыми глазами, бросив руки между колен, и, пользуясь свободной минутой, дремал.

Они оба прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что, каких-нибудь две минуты назад, все было так хорошо, так прекрасно — и вдруг все сделалось так плохо.

Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь начиналась для Вани: дружить с храбрыми, великодушными разведчиками, вместе с ними обедать и пить чай внакладку, вместе с ними ходить в разведку, париться в бане, палить из автомата, спать с ними в одной палатке; получить обмундирование — сапожки, гимнастерку с погонами и пушечками на погонах, шинель, может быть, даже компас и револьвер — наган с патронами.

Три года жил Ваня как бродячая собака, без дома, без семьи. Он боялся людей и все время испытывал голод и постоянный ужас. Наконец, он нашел добрых, хороших людей, которые его спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый миг, когда, казалось, все стало так замечательно, когда он, наконец, попал в родную семью, — трах! — и всего этого нет. Все это рассеялось, как туман.

— Дяденька, — сказал он, глотая слезы и осторожно тронув Биденко за шинель. — А, дяденька! Слушайте, не везите меня. Не надо.

— Приказано.

— Дяденька Егоров... товарищ сержант. Не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить, — сказал мальчик с отчаянием. — Я вам всегда буду котелки чистить, воду носить...

— Не положено, не положено, — устало сказал Егоров. — Ну, что же ты, Биденко! Готов?

— Готов.

— Так бери мальчика и отправляйся. Сейчас как раз с полкового обменного пункта пятитонка со стреляными

гильзами уходит обратным рейсом. Еще захватите. А то наши на четыре километра вперед продвинулись. Закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого денем? С богом!

— Дяденька! — закричал Ваня.

— Не положено, — отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться.

Мальчик понял, что все кончено. Он понял, что между ним и этими людьми, которые еще так недавно любили его, как родного сына, добродушно называли пастушком, теперь выросла стена.

По выражению их глаз, по интонации, по жестам мальчик чувствовал наверняка, что они продолжают его любить и жалеть. Но так же наверняка чувствовал и другое: он чувствовал, что стена между ними непреодолима, хоть бейся в нее головой.

Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гордость. Лицо его стало злым. Оно как будто сразу похудело. Маленький подбородок вздернулся, глаза упрямо сверкнули исподлобья, зубы сжались.

— А я не поеду, — сказал мальчик дерзко.

— Небось поедешь, — добродушно сказал Биденко. — Ишь ты, какой злющий. «Не поеду»... Посажу тебя в машину и повезу, так поедешь.

— А я все равно убегу.

— Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никто не убегал. Пойдем-ка лучше, а то машину не захватим.

Биденко легонько взял мальчика за рукав, но мальчик сердито вырвался.

— Не трожьте, я сам.

И, цепко перебирая босыми ногами, вышел из палатки в лес.

А в лесу уже обозники увязывали на повозках кладь, водители заводили машины, солдаты вытаскивали из земли колья палаток, телефонисты наматывали на катушки провод.

Повар в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранину.

Всюду валялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газет, и вообще все говорило, что тылы уже тронулись следом за наступающими частями.

На другой день поздно вечером Биденко вернулся в свою часть. Он был очень злой и голодный.

За это время на фронте произошли большие перемены. Наступление быстро разворачивалось. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад.

Там, где вчера шел бой, сегодня размещались вторые эшелоны. Там, где вчера стояли вторые эшелоны, там сегодня было тихо, пустынно. А передний край проходил там, где еще вчера у немцев были глубокие тылы.

Лес остался далеко позади. Сражение, начавшееся в нем, теперь продолжалось на открытом месте, среди полей, болот и небольших холмов, поросших кустарником.

На этот раз команда разведчиков помещалась уже не в палатке, а занимала немецкий офицерский блиндаж — прекрасное, солидное сооружение, крытое толстыми бревнами в четыре наката и обложенное сверху дерном.

Хозяйственные разведчики высмотрели себе этот блиндаж еще тогда, когда он находился в немецком расположении и в нем еще жили немецкие офицеры. Засекая немецкие огневые позиции, разведчики на всякий случай засекли и этот блиндаж, который им уже тогда очень понравился.

Когда Биденко, никого по дороге не расспрашивая и единственно руководствуясь своим безошибочным чутьем разведчика, добрался до блиндажа, было уже совсем темно.

На западном горизонте раскатисто гремело, рычало. Там беспрерывно вспыхивали и подергивались, отражаясь в зловещих тучах, длинные багровые сполохи.

Спустившись дальше вниз по земляным ступеням, обшитым тесом, Биденко вошел в просторный блиндаж.

Первое, что бросилось ему в глаза, была новая карбидная лампа, лившая из-под потолка очень яркий, но какой-то едкий, химический, мертвенно-зеленоватый свет. Видно, немцы второпях не успели ее унести.

В стенах, в специальных деревянных нишах, аккуратно, рядами, как книги, стояли немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками.

Посредине стоял крепкий обеденный стол, вбитый в землю. В углу топилась докрасна раскаленная чугунная немецкая походная печка, и рядом с ней был небольшой запасец дров, приготовленный тоже немцами.

Как видно, немцы устраивались здесь прочно, по-хозяйски — рассчитывали зимовать. Во всяком случае, они даже повесили на стене картину в деревянной раме. Это была большая раскрашенная фотография красивого домика с готической крышей, окруженного ярко цветущими яблонями. Через всю эту слащавую бело-розовую картинку тянулась красная печатная надпись: «Фрюлинг ин Дейтчланд», что значило — «Весна в Германии».

Во всем же остальном блиндаж уже имел вполне обжитой русский вид: в головах коек, застланных без единой морщинки русскими артиллерийскими шинелями, попонами и палатками, стояли зеленые вещевые мешки, покрытые чистыми утиральниками, на печке грелся знаменитый медный чайник, на столе, покрытом листками «Суворовского натиска», вокруг большой буханки хлеба, в строгом порядке были разложены деревянные ложки и расставлены кружки, а хорошо вычищенное, жирно смазанное русское оружие висело в углах, под зелеными русскими шлемами.

В блиндаже было полно народу. Был тот редкий случай, когда все разведчики собрались вместе. Биденко также заметил и много посторонних. Это были знакомые и земляки из других взводов. Они пришли к хлебосольным зажиточным разведчикам покурить хорошего табачку и попить чайку внакладку из знаменитого чайника.

Судя по всему этому, Биденко понял, что за время его отсутствия в дивизии произошла смена частей и что их батарея в данное время находится в резерве.

Почти все курили, и в жарко натопленном блиндаже стоял тот самый крепкий солдатский дух, о котором принято говорить — «хоть топор вешай».

— А, здорово, Вася! — увидев дружка, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом — угощал гостей. Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломтики хлеба. — Ну как, сдал мальчика? Садись к столу. Аккурат к чаю попал.

Он был без гимнастерки, в одной бязевой сорочке, в расстегнутый ворот которой виднелась могучая, жирная, розовая грудь.

— А мы, брат, нынче в резерве. Гуляем. Раздевайся, Вася, грейся. Вот твоя койка, я ее убрал. Ну, как тебе показалась наша новая квартира? Такой, брат, квартиры ни у кого во всей дивизии не сыщешь. Особенная!

Биденко молча разделся, подошел к своей койке, сер-

дито кинул на нее снаряжение и шипель, присел на корточки перед печкой и протянул к ней большие черные руки.

— Ну, что там слышать в штабе фронта, Вася? Немцы еще мира не запросили?

Биденко молчал, ни на кого не глядя и хмуро посапывая.

— Может, закуришь? — сказал Горбунов, заметив, что дружок его сильно не в духе.

— А, пошло оно все к черту! — неожиданно пробормотал Биденко, пошел к своей койке и вяло на нее повалился животом.

Было ясно, что с Биденко случилась какая-то неприятность, но проявлять излишнее любопытство к чужим делам считалось у разведчиков крайне неприличным. Раз человек молчит, значит, не считает нужным говорить. А раз не считает нужным, то и не надо: захочет — сам расскажет, и нечего человека за язык тянуть.

Поэтому Горбунов, ничуть не обидевшись и сделав вид, что ничего не замечает, хлопотал по хозяйству, продолжая рассказывать батареям о том, как его вчера чуть не убило в пехотной цепи, где он заступил на место убитого Кузьминского:

— Я, понимаешь ты, как раз взялся за ракетницу. Собираюсь давать одну зеленую, чтобы наши перенесли огонь немного подальше. Как вдруг она рядом со мной — как хватит. Прямо-таки под самыми ногами разорвалась. Меня воздухом — как шибанет. Совсем с ног сбило. Не пойму, где верх, где низ. Даже в голове на одну минуту затемнилось. Открываю глаза, а земля — вот она, тут, возле самого глаза. Выходит дело — лежу.

Горбунов захохотал счастливым смехом.

— Чувствую — весь побит. Ну, думаю, готово дело, не встану. Осматриваю себя — ничего такого не замечаю. Крови нигде на мне нет. Это меня, стало быть, — соображаю, — землей побило. Но зато на шинели шесть штук дырок. На шлеме вмятина с кулак. И, понимаешь ты, каблук на правом сапоге начисто оторвало. Как его и не было. Все равно как бритвой срезало. Бывает же такая чепуха! А на теле — как на смех — ни одной царапины. Вон оно как снесло каблук. Смотрите, ребята.

Радостно улыбаясь, Горбунов показал гостям попорченный сапог. Гости его внимательно осмотрели, а некоторые даже вежливо потрогали руками.

— Да, собачье дело, — заметил один деловито.

— Это бывает, — сказал другой, искоса поглядывая на рафинад, который выкладывал Горбунов на стол. — И то же самое и с нами было. Когда мы под Борисовом форсировали Березину, у нас во взводе у красноармейца Теткина осколком поясной ремень порезало. А его самого даже не задело. Это никогда не учесть.

— Кузьма, — сказал вдруг Биденко со своей койки натуженным голосом тяжело больного человека, — слышишь, Кузьма, а где же сержант Егоров?

— Сержант Егоров нынче дежурный, — ответил Горбунов, — пошел посты проверять.

— Поди, скоро вернется?

— Грозился к чаю поспеть.

— Так, — сказал Биденко и закричал, как от зубной боли.

В этом кряхтенье явно послышалась просьба посочувствовать.

— Ты что маешься? — равнодушно сказал Горбунов, всем своим видом показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой холодной вежливости.

— А, пошло оно все к черту, — вдруг опять мрачно сказал Биденко.

— Выпей чаю, — сказал Горбунов. — Может, полегчает.

Биденко сел на табурет перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, повернув глаза к печке.

— Понимаешь, какая получилась петрушка, — наконец сказал он неестественно высоким голосом, стараясь придать ему насмешливый оттенок, — не знаю прямо, как и докладывать буду сержанту Егорову.

— А что?

— Не выполнил приказание.

— Как так?

— Не довез малого до штаба фронта.

— Шутишь?

— Верно говорю. Прохлопал. Ушел.

— Как ушел?

— Да малый же этот. Ваня наш. Пастушок.

— Стало быть, убежал по дороге?

— Убежал.

— От тебя?

— Ага.

Горбунов некоторое время молчал, а потом вдруг так и затрясся от хохота всем своим большим жирным телом.

— Как же это ты так сплеховал, Вася, а? Ну, погоди. Придет Егоров, он тебе даст дрозда. Как же это получилось?

— Так и получилось. Убежал, да и все.

— Вот тебе и знаменитый разведчик! «От меня, хвалился, еще никто не уходил»,— а мальчишка ушел. Ай да Ваня! Ай да пастушок!

— Толковый ребенок,— с вялой улыбкой сказал Биденко.

— Да, уже видно, что толковый, коли такого профессора объегорил. Ты все же расскажи, Вася, путем, как дело-то было.

— Убежал и убежал. Чего там рассказывать!

— А все-таки? Ты, брат, всю правду докладывай. Все равно дознаемся.

— А, пошло оно к черту,— сказал Биденко, безнадежно махнув рукой, отправился на свою койку, лег к стене лицом, и больше ничего от него добиться не удалось.

И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия.

6

Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров пять, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох.

Это произошло так быстро и так неожиданно, что Биденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло на повороте.

— Эй, там, полегче! — крикнул Биденко, застучав кулаками в кабину водителя.— Остановись, черт. Мальчика потеряли.

Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Биденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу и побежал что есть мочи в лес.

— Эй! Эй! — отчаянным голосом закричал ефрейтор. Но Ваня даже не оглянулся.

Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил сломя голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пестрой чаще.

— Ваня-а-а! — крикнул Биденко, приложив громадные свои руки ко рту. — Пастушо-о-ок! Погоди-и-и!

Но Ваня не откликнулся, и только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку: «А-о-и! А-о-и!»

— Ну, погоди, чертенок! — сердито сказал Биденко и, попросив водителя чуток подождать, большими шагами, треща по валежнику, отправился в лес за Ваней.

Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле: много ли труда стоило старому, опытному разведчику, одному из самых знаменитых «профессоров» капитана Енакиева, отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно об этом и говорить

На всякий случай покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Биденко приступил к поискам по всем правилам военной науки.

Прежде всего он определился по компасу, для того чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Затем повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Биденко не пошел, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнет забирать вправо. Это Биденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки.

Поэтому Биденко, немного подумав и сообразившись с временем, повернул несколько направо и бесшумно пошел мальчику наперехват.

«Там-то я тебя, голубчика, и сцапаю», — не без удовольствия думал Биденко.

Он живо представлял себе, как он бесшумно выползет из-за куста перед самым носом Вани, возьмет его за руку и скажет: «Хватит, дружок. Погулял в лесу — и будет. Пойдем-ка обратно в машину. Да смотри у меня — больше не балуй, потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете тот человек, который бы ушел от ефрейтора Биденко. Так себе это и заметь раз и навсегда».

И Биденко весело улыбался этим своим приятным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось отвозить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший густыми русыми волосами, худенький,

гордый, а временами даже и злой парнишка, настоящий пастушок.

Ваня вызывал в душе у Биденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нем и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было и еще что-то, чего Биденко и сам не вполне понимал.

Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Биденко его самого, когда он был еще совсем маленьким и его посылали пасти коров.

Смутно вспоминалось раннее утро, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зеленому лугу. Вспоминались разноцветные искорки росы — ярко-зеленые, ярко-фиолетовые, огненно-красные — и в руках у него вырезанная из бузины сопилка, из которой он выдувал такие чистые, такие нежные, веселые и вместе с тем однообразные звуки.

Особенно же ему полюбился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины.

«Смелый, чертенок. Ничего не боится. Настоящий солдат, — думал Биденко. — Жалко, очень жалко его отвести. Да ничего не поделаешь: приказано».

Размышляя таким образом, разведчик все шел да шел, углубляясь в лес. По его расчетам, он уже давно должен был встретить мальчика. Но мальчик не показывался.

Биденко часто останавливался, прислушиваясь к тишине осеннего леса. Впрочем, его опытному слуху лес не казался совсем тихим. Биденко различал в лесу множество различных, еле уловимых звуков. Но среди них ни разу не услышал он звука человеческих шагов.

Мальчик пропал.

Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Биденко осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде — ничего. Можно было подумать, что мальчик шел по воздуху.

Биденко готов был поручиться, что ни один, даже самый искусный, разведчик не прошел бы так незаметно.

В некотором смущении Биденко бродил по лесу, меняя направления. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика.

Один раз он даже унился до того, что маленько покричал лживым, бабьим голосом:

— Ванюшк-а-а! Ау-у-у! Полно балова-а-ать! Пора еха-а-ать!

И тут же сам себе стал противен.

Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше двух часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушел, что его уже не вернешь.

Никогда в жизни старый разведчик не испытывал еще такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту Егорову? Как он ему в глаза посмотрит? О товарищах и говорить нечего: засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться.

Но делать было нечего. Не бродить же здесь до ночи как леший.

Биденко справился с компасом и, кряхтя, пошел обратно к машине. Однако машины — как он того и ожидал — уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться столько времени. Да, в сущности, машина была теперь и ни к чему. Приходилось возвращаться.

Но, прежде чем тронуться в обратный путь, Биденко решил покурить и перемотать портянки.

Он отыскал в лесу подходящий пенек и сел на него. Но только он сделал козью ножку и, осторожно потряхивая кiset, стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам и сверху ему на голову свалился какой-то предмет.

Ему показалось, что это какая-то птица. Но, посмотрев, Биденко ахнул. Это был тот самый старый букварь, без переплета, который носил в своей торбе «пастушок».

Тогда Биденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке, среди зеленых ветвей, знакомые коричневые домотканые портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как картошка.

В тот же миг Биденко вскочил как ужаленный, швырнул на землю кiset с махоркой, недоделанную козью ножку и даже приготовленную зажигалку и в одну минуту был уже на дереве.

Ваня не шевелился. Биденко подтянулся к нему на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на желто-розовом смолистом суку, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол, и, прислонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, обметанных лихорадкой, застыла чуть заметная невинная улыбка. При этом мальчик даже немножко похрапывал.

Биденко сразу понял все. «Пастушок» обвел его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом.

Вместо того чтобы бегать от разведчика по всему лесу, Ваня поступил наоборот: он сейчас же, как только скрылся из виду, взобрался на высокое дерево и решил переждать суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из распорванной торбы, несомненно, так бы оно и было.

«Ах, хитрый! Ну же, я вам скажу, и лисица! Ничего не скажешь — силен!» — с восхищением подумал Биденко, любуясь Ваней.

Биденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал:

— Пойдем-ка, брат пастушок, вниз.

Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся. Но Биденко держал его крепко.

Мальчик сразу понял, что ему не вырваться.

— Ладно уж, — сказал он сумрачным голосом, хриповатым со сна.

7

Минут через пять, подобрав букварь, махорку и зажигалку, они шли по лесу, разыскивая дорогу, где можно было сесть на попутную машину, идущую во второй эшелон фронта.

Ваня шел впереди, а Биденко на шаг сзади, ни на секунду не спуская с мальчика глаз.

— Хватит, дружок, — говорил Биденко назидательно. — Погулял в лесу — и будет. Потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете такой человек, который бы от меня ушел. Так себе это и запомни.

— Неправда ваша, — сердито отвечал Ваня, не обращившись, — кабы не мой букварь, вы бы меня сроду не поймали.

— Небось. Поймал бы.

— Неправда ваша.

— Верно говорю. От меня еще никто не уходил.

— А я ушел.

— Не ушел бы.

— Если бы да кабы...

— Вот тебе и «да кабы».

— Неправда ваша.

- Заладил одно.
- Неправда ваша. Неправда ваша, — упрямо повторял Ваня.
- Весь лес бы прочесал, а нашел.
- Чего же вы не прочесали?
- Стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать — язык измочалишь. Я бы тебя по приметам нашел.
- Чего же вы меня не нашли?
- Я тебя нашел.
- Неправда ваша. Я вас хитрее. Вы меня по компасу искали — и то не нашли.
- Чего языком треплешь! Когда я тебя по компасу искал?
- А вот искали: вы меня не видели, а я с дерева вас видел.
- Чего ж ты видел?
- Видел, как вы на мой след компас направляли.
- «Вот чертенок, все он замечает», — подумал Биденко почти с восхищением, но сказал строго:
- Это, брат, не твоего ума дело. Я только по компасу определялся, чтобы машину не потерять. А тебя это не касается.
- И тут Биденко немного покривил душой, но это ему все равно не помогло.
- Неправда ваша, — сказал Ваня неумолимо. — Вы меня по компасу ловили. Я знаю. Только вам это не удалось, потому что я вас обхитрил. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью.
- Ну, браток, это ты чересчур хватил.
- Давайте спорить.
- Стану я еще с тобой спорить. Молод.
- Ну давайте так испытаем. Без спора. Вы мне завяжите чем-нибудь глаза да уйдите от меня в лес. А я минут через пяток начну вас искать.
- Ну и не найдешь.
- А вот найду.
- Никогда!
- Испытаем.
- А ну, давай! — воскликнул Биденко, в котором вдруг вспыхнул азарт разведчика. — Нипочем не найдешь! погоди... — сказал он вдруг подозрительно. — Это что же получается? Я от тебя в лес уйду, а ты в это вре-

мя от меня опять убежишь? Э, нет, малый. Больно ты хитер, как я на тебя посмотрю.

Ваня усмехнулся.

— Бойтесь, что уйду?

— Ничего не боюсь,— хмуро сказал Биденко.— А просто чересчур много ты болтаешь. Через тебя у меня уже голова болит.

— Вы не бойтесь,— сказал мальчик весело,— я от вас и так все равно уйду.

И такая глубокая уверенность, такое непреклонное решение послышалось ефрейтору Биденко в этих веселых словах, что он хотя и промолчал, но решил про себя все время быть начеку.

А мальчику как вожжа попала под хвост. Он бодро топал впереди Биденко своими крепкими босыми ногами и, как бы платя за обиду, которую ему нанесли разведчики, вызывающе повторял:

— А вот уйду. Хоть вы меня привяжете к себе. Все равно уйду.

— А что ж ты думаешь? И привяжу. У меня это недолго. Посмотрим, как ты тогда уйдешь.

Биденко задумался.

— А ей-богу! — вдруг решительно сказал он.— Вот возьму веревку и привяжу.

У Биденко действительно, как у каждого запасливого разведчика, всегда при себе имелось метров пять тонкой и крепкой веревки. И он начал подумывать всерьез, не привязать ли Ваню к себе, когда они сядут в машину. Ехать предстояло довольно далеко. В дороге можно было бы хорошо вздремнуть. А как тут вздремнешь, если мальчишка может каждую минуту сигануть через борт?

«А что, в самом деле,— думал Биденко,— привяжу — и кончено дело. А потом, как приедем на место, отвяжу. Ничего с ним не сделаешь».

И действительно, когда вышли на дорогу и забрались в попутную машину, Биденко достал из кармана аккуратно свернутую веревку.

— Ну, держись, пастушок, сейчас я тебя привязывать буду,— весело сказал он, стараясь разыграть дело в шутку, чтобы не оскорбить мальчика.

Но Ваня и не подумал обидеться. Он легко принял этот якобы шутливый тон и ответил в таком же духе:

— Привязывайте, дяденька, привязывайте. Только делайте узел покрепче, чтобы я не развязал.

— Моего, брат, узла не развяжешь. У меня двойной морской.

С этими словами Биденко крепко, но не больно, привязал конец веревки двойным морским узлом к Ваниной руке повыше локтя, а другой конец обмотал вокруг своего кулака.

— Теперь, брат пастушок, плохо твое дело. Не убежишь.

Мальчик промолчал. Он прикрыл ресницами глаза, в которых неистово прыгали синие искры.

Грузовик попался очень хороший, большой, крытый брезентом, новенький американский «студебеккер». Он шел порожняком до самого места. Сперва Биденко и Ваня были в нем единственные пассажиры. Они очень удобно устроились на пустых мешках у самой кабинки водителя, где совсем не трясло.

Биденко несколько раз пытался заговаривать с мальчиком, но Ваня все время упорно молчал.

«Смотрите, пожалуйста, какой гордый,— думал с умилением Биденко.— Маленький, а злой. Самостоятельный у паренька характер. Видать, немало хлебнул в жизни».

И ему опять стали представляться далекие картины его детства.

Тем временем у каждого контрольно-проверочного пункта в машину подсаживались все новые и новые люди. Скоро машина переполнилась.

Здесь были солдаты с переднего края, только что из боя. Их сразу можно было узнать по племам и коротким грязным плащ-палаткам, завязанным на шее и висящим сзади узлом.

Были два интенданта в тесных шинелях с узкими серебряными погончиками и в новеньких, твердых фуражках.

Была девушка из военторга, в макинтоше, коротких кирзовых сапогах, с круглым пунцовым лицом, выглядывающим из платка, завязанного по-бабьи, как кочан капусты.

Было несколько веселых летчиков-истребителей. Они все время курили папиросы из толстых прозрачных портсигаров, сделанных на авиационном заводе из отходов бронестекла.

Была женщина — военный хирург, толстая, пожилая, в круглых очках и в синем берете, плотно натянутом на седую, коротко остриженную голову.

Словом, были все те люди, которые обычно передвигаются по военным дорогам на попутных машинах.

Стемнело.

По брезентовой крыше зашумел дождь. Ехать было еще далеко. И люди стали помаленьку засыпать, устраиваясь кто как мог.

Стал засыпать и ефрейтор Биденко, положив под голову кулак с намотанной на него веревкой. Однако сон его был чуток. Время от времени он просыпался и подергивал за веревку.

— Ну, что вам надо? — сонно отзывался Ваня. — Я еще тут.

— Спишь, пастушок?

— Сплю.

— Ладно, спи. Это я так: проверка линии.

И Биденко засыпал опять.

Один раз ему почудилось вдруг, что Вани возле него нет. Сел торопливо, подергал за веревку, но не получил никакого ответа. Холодный пот прошиб ефрейтора. Он вскочил на колени и засветил электрический фонарик, который все время держал наготове.

Нет. Ничего. Все в порядке. Ваня по-прежнему спал рядом, прижав к животу колени. Биденко осветил ему в лицо. Оно было спокойно. Сон его был так крепок, что даже свет электрического фонарика, наставленного в упор, не мог его разбудить.

Биденко потушил фонарик и вспомнил ту ночь, когда они нашли Ваню. Тогда ему тоже осветили в лицо фонариком. Но какое у него тогда было лицо: измученное, больное, костлявое, страшное! Как он тогда сразу весь вздрогнул, встрепенулся! Как дико открылись его глаза! Какой ужас отразился в них!

Ведь это было всего несколько дней тому назад. А теперь мальчик спит себе спокойно и видит приятные сны. Вот что значит попасть наконец к своим. Верно люди говорят, что в родном доме и стены летят.

Биденко лег и под мерное подскакивание грузовика снова задремал.

На этот раз он проспал довольно долго и спокойно, но все же, проснувшись, не забыл подергать за веревку. Ваня не откликнулся.

«Спит небось, — подумал Биденко, — слава богу, утомился».

Биденко перевернулся на другой бок, немножко опять поспал, а потом опять подергал за веревку.

— Слушайте, я не понимаю, что тут делается? Когда это наконец кончится? — раздался в темноте сердитый женский бас. — Почему ко мне привязали какую-то веревку? Почему меня дергают? Кто мне все время не дает спать?

Биденко похолодел.

Он зажег электрический фонарик, и в глазах у него потемнело: мальчика не было, а веревка была привязана к сапогу женщины-хирурга, которая сидела на полу, грозно сверкая очками, в упор освещенными электрическим фонариком.

— Эй, водитель! Остановись! — заорал Биденко страшным голосом, изо всех сил барабанив кулаком в кабину водителя.

Не дожидаясь остановки, он ринулся по чьим-то рукам и ногам, по вещевым мешкам и чемоданам к борту. Он одним махом перескочил через него и очутился на шоссе.

Ночь была черная, непроглядная. Хлестал холодный дождь. На западном горизонте мелькали отражения далекого артиллерийского боя.

По шоссе в ту и другую сторону проносились десятки, сотни грузовых и легковых машин, транспортеры, тягачи, пушки, бензозаправщики. Они бегло освещали своими фонарями черные лужи, покрытые белыми сверкающими кругами и пузырьками ливня.

Биденко постоял некоторое время, слегка расставив руки и ноги. Потом он изо всех сил плюнул и сказал:

— А, пошло оно все к черту!

И, не торопясь, побрел назад к ближайшему регулировщику, для того чтобы там сесть на попутную машину, идущую в сторону переднего края.

— А ну, хлопчик, отойди от калитки. Здесь посторонним стоять не положено.

— Я не посторонний.

— А кто же ты?

— Я свой.

— Какой свой?

— Советский.

— Мало что советский! Говорю: не положено,— стало быть, не положено. Проходи своей дорогой.

— А здесь, дяденька, штаб?

— Что бы ни было.

— Мне к начальнику надо.

— К какому тебе начальнику?

— К самому главному.

— Ничего не знаю. Проходи.

— Пустите, дяденька. Что вам стоит?

— Ступай. Мне с тобой разговаривать не приходится.

Не видишь — я на посту.

— А вы со мной, дяденька, и не разговаривайте. Пропустите меня к начальнику — и ладно.

— Ишь ты, какой шустрый,— сказал часовой, усмехаясь, и вдруг, нахмурившись, крикнул: — Нету здесь никакого начальника!

— А вот неправда ваша. Есть начальник.

— Ты почему знаешь?

— Сразу видать. Изба хорошая. Лошади под седлами во дворе стоят. Самовар в сени тетенька понесла. Часовой у калитки.

— Все он видит. Больно ты шустрый, как я на тебя посмотрю.

— Пустите, дяденька!

— А вот я сейчас дам свисток, вызову караульного начальника, он тебя живо отсюда заберет.

— Куда заберет?

— Куда надо. Ну! Кому я говорю? Отойди от калитки. Не положено — вот тебе и весь сказ.

Ваня отошел в сторону. Он сел на старый мельничный жернов, положил подбородок на кулаки и стал терпеливо ждать, не спуская глаз с калитки. Часовой же поправил на шее ремень автомата и продолжал ходить взад-вперед по палисаднику, мягко ступая белыми валенками, подшитыми оранжевой резиной.

Убежав второй раз от Биденко, Ваня стал разыскивать тот лес, где находилась палатка разведчиков. Никакого определенного плана у Вани не было. Его тянуло к тем людям — разведчикам, которые сперва обошлись с ним так хорошо, так ласково.

То, что они отправили его в тыл, казалось мальчику большим недоразумением, которое можно легко уладить. Стоит только еще раз хорошенько попросить.

Однако, как ни хорошо умел мальчик различать мест-

ность и находить дороги, ему никак не удавалось отыскать тот лес и ту палатку. Слишком все передвинулось на запад. Слишком все переменялось, стало неузнаваемым.

Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть даже рядом,— но ни того леса, ни той палатки не было. Похоже, что лес был тот. Но теперь он был совсем пуст.

Двое суток бродил мальчик по каким-то неизвестным ему новым военным дорогам и частям, по сожженным деревьям, расспрашивая встречных военных, как ему найти палатку разведчиков. Но так как он не знал, что это за разведчики, какой они части, то никто ничего сказать не мог.

Кроме того, все военные были люди крайне недоверчивые, молчаливые.

Чаще всего на Ванины вопросы они отвечали:

— Не знаю.

— А тебе зачем?

— Ступай к коменданту.

— Не положено.

И все в таком же духе.

Ваня совсем было отчаялся и уже подумывал, не податься ли на самом деле в какой-нибудь тыловой город и не попроситься ли там в детский дом.

Он, наверное, в конце концов так и сделал бы, несмотря на свое упрямство, если бы однажды не встретился с одним мальчиком.

Мальчик этот был не намного старше Вани. Ему было лет четырнадцать, а по виду и того меньше. Но, боже мой, что это был за мальчик!

Сроду еще не видал Ваня такого роскошного мальчика. На нем была полная походная форма гвардейской кавалерии. Шинель — длинная, до пят, как юбка, круглая кубанская шапка черного барашка с красным верхом, погоны с маленькими стременами, перекрещенными двумя клинками, шпоры и — как венец всего этого воинского великолепия — ярко-алый башлык, небрежно закинутый за спину.

Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую пашку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в мягкую лесную землю.

К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он приблизился к роскош-

ному мальчику, расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рассматривать.

Но военный мальчик бровью не повел. Не обращая на Ваню никакого внимания, он продолжал свое воинственное занятие. Изредка он озабоченно сплевывал сквозь зубы.

Ваня молчал. Молчал и мальчик. Это продолжалось довольно долго. Наконец военный мальчик не выдержал.

— Чего стоишь? — сказал он сумрачно.

— Хочу и стою, — сказал Ваня.

— Иди, откуда пришел.

— Сам иди. Не твой лес.

— А вот мой.

— Как?

— Так. Здесь наше подразделение стоит.

— Какое подразделение?

— Тебя не касается. Видишь — наши кони.

Мальчик мотнул чубатой головой назад, и Ваня действительно увидел за деревьями коновязь, лошадей, черные бурки и алые башлыки конников.

— А ты кто такой? — спросил Ваня.

Мальчик небрежно, со щегольским стуком, кинул клинок в ножны, сплюнул и растер сапогом.

— Знаки различья понимаешь? — сказал мальчик насмешливо.

— Понимаю! — дерзко сказал Ваня, хотя ничего не понимал.

— Ну, так вот, — строго сказал мальчик, показывая на свой погон, поперек которого была нашита белая лычка. — Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?

— Да! Ефрейтор! — с оскорбительной улыбкой сказал Ваня. — Видали мы таких ефрейторов.

Мальчик обидчиво мотнул белым чубом.

— А вот представь себе — ефрейтор, — сказал он.

Но этого показалось ему мало. Он распахнул шинель. Ваня увидел на гимнастерке большую серебряную медаль на серой шелковой ленточке.

— Видал?

Ваня был подавлен. Но он и виду не подал.

— Великое дело, — сказал он с кривой улыбкой, чуть не плача от зависти.

— Великое — не великое, а медаль, — сказал мальчик, — за боевые заслуги. И ступай себе, откуда пришел, пока цел.

— Не больно модничай. А то сам получишь.
— От кого? — прищурился роскошный мальчик.
— От меня.
— От тебя? Молод, брат.
— Не моложе твоего.
— А тебе сколько лет?
— Тебя не касается. А тебе?
— Четырнадцать, — сказал мальчик, слегка привирая.
— Ге! — сказал Ваня и свистнул.
— Чего — ге!
— Так какой же ты солдат?
— Обыкновенный солдат. Гвардейской кавалерии.
— Толкуй! Не положено.
— Чего не положено?
— Больно молод.
— Постарше тебя.
— Все равно не положено. Таких не берут.
— А вот меня взяли.
— Как же это тебя взяли?
— А вот так и взяли.
— А на довольствие зачислили?
— А как же.
— Заливаешь.
— Не имею такой привычки.
— Побожись.
— Честное гвардейское.
— На все виды довольствия зачислили?
— На все виды.
— И оружие дали?
— А как же. Все, что положено. Видал мою шапечку? Знатный, братец, клинок. Златоустовский. Его, если хочешь знать, можно колесом согнуть, и он не сломается. Да это что! У меня еще бурка есть. Бурочка — что надо. На красоту. Но я ее только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе едет.

Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на обладателя бурки, которая ездит в обозе.

— А меня не взяли, — убито сказал Ваня, — сперва взяли, а потом сказали — не положено. Я у них даже один раз в палатке спал. У разведчиков, у артиллерийских.

— Стало быть, ты им не показался, — сухо сказал роскошный мальчик, — раз они тебя не захотели принять за сына.

— Как это за сына? За какого?

— Известно, за какого. За сына полка. А без этого не положено.

— А ты — сын?

— Я сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня, братец, сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглый сирота. Так что я сейчас называюсь гвардии ефрейтор Вознесенский и служу при майоре Вознесенском связным. Он меня, братец мой, один раз даже вместе с собой в рейд взял. Там наши казачки ночью большой шум в тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб! А они как выскочат на улицу в одних подштанниках! Мы их там больше чем полторы сотни набили.

Мальчик вытащил из ножен свою пашку и показал Ване, как они рубали фашистов.

— И ты рубал? — с дрожью восхищения спросил Ваня.

Мальчик хотел сказать: «А как же», но, как видно, гвардейская совесть удержала его.

— Не,— сказал он смущенно,— по правде, я не рубал. У меня тогда еще пашки не было. Я на тачанке ехал вместе со станковым пулеметом... Ну и, стало быть, иди, откуда пришел,— сказал вдруг ефрейтор Вознесенский, спохватившись, что слишком дружески болтает с этим неизвестно откуда взявшимся, довольно-таки подозрительным гражданином.— Прощай, брат.

— Прощай,— уныло сказал Ваня и побрел прочь.

«Стало быть, я им не показался»,— с горечью подумал он, но тотчас всем своим сердцем почувствовал, что это неправда.

Нет, нет. Сердце его не могло обмануться. Сердце говорило ему, что он крепко полюбился разведчикам. А всему виной командир батареи капитан Енакиев, который его даже в глаза никогда не видел.

И тогда у Вани явилась мысль идти, добиться до какого-нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капитана Енакиева.

Таким-то образом он в конце концов и набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.

Он сидел на мельничном жернове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник.

Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая замшевые перчатки, офицер и крикнул:

— Соболев, лошадь!

9

Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла выскочил солдат, ведя на поводу двух оседланных лошадей, мальчик сразу понял, что это начальник — если не самый главный, то, во всяком случае, достаточно главный, чтобы справиться с капитаном Енакиевым.

Это же подтверждали и звездочки на погонах. Их было очень много. По четыре штучки на каждом золотом погоне, не считая пушечек.

«Хоть и не старьй, а небось генерал», — решил Ваня, с почтением рассматривая тонкие, хорошо начищенные сапоги со шпорами, старенькую, но необыкновенно ладно пригнанную походную офицерскую шинель, электрический фонарик на второй пуговице, бинокль на шее и полевую сумку с компасом.

Солдат вывел лошадей на улицу через ворота и поставил их перед калиткой. Офицер подошел к лошади, но прежде чем на нее сесть, весело потрепал ее по крепкой атласной шее и дал ей кусочек сахара.

Судя по всему, у него было прекрасное настроение.

Когда нынче его вызвал к себе командир полка, то он, признаться, был немного встревожен. Как бывает всегда в подобных случаях, он ожидал разноса, хотя никаких упущений по службе за собой не чувствовал.

Однако строгий командир полка не только не сделал ему никакого замечания, но даже отметил хорошую работу его батареи и приказал представить к награждению человек десять артиллеристов, отличившихся в последнем бою. В особенности же было приятно то, что полковник — человек суховатый и скупой на похвалы — высоко оценил именно тот внезапный сокрушительный огневой налет на немецкий танковый резерв, который так тщательно продумал и подготовил капитан Енакиев и который в конечном счете решил дело.

Полковник напоил капитана чаем из своего походного самовара, что считалось в полку величайшей честью. Он проводил капитана Енакиева до сеней и на прощанье сказал еще раз:

— В общем — хорошо воюете. Молодцом, капитан

Енакиев! — на что капитан Енакиев, смущенно покраснев, ответил:

— Служу Советскому Союзу, товарищ полковник!

Все это было необыкновенно приятно, и капитан Енакиев предвкушал удовольствие, с которым он передаст своим офицерам мнение командира полка об их батарее.

— Дяденька, — услышал он вдруг чей-то голос.

Он повернулся и увидел Ваню, который стоял перед ним, вытянув руки по швам, и, не мигая, смотрел синими глазами.

— Разрешите обратиться, — сказал Ваня, стараясь как можно больше походить на солдата.

— Ну, что ж, обратись, — сказал капитан весело.

— Дяденька, вы начальник?

— Да. Командир. А что?

— А вы над кем командир?

— Над батареей командир. Над солдатами своими командир, над пушками своими.

— А над офицерами вы тоже командир?

— Смотря над какими. Над своими офицерами, например, тоже командир.

— А над капитанами вы тоже командир?

— Над капитанами я не командир.

Глубокое разочарование выразилось на лице мальчика.

— А я думал — вы и над капитанами командир!

— Для чего тебе это?

— Надо.

— Ну, а все-таки?

— Если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого командира, чтобы он мог всем капитанам приказывать.

— А что надо всем капитанам приказывать? Это интересно.

— Всем капитанам не надо приказывать. Одному только надо.

— Кому же именно?

— Енакиеву, капитану.

— Как, как ты сказал? — воскликнул капитан Енакиев.

— Енакиеву.

— Гм... Что ж это за капитан такой?

— Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у

пих самый старший. Что он им велит, то они все исполняют.

— Над какими разведчиками?

— Известно над какими. Над артиллерийскими. Которые немецкие огневые точки засекают. Ух, дяденька, и сердитый же их капитан. Прямо беда.

— А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?

— То-то и беда, что не видел.

— А он тебя видел?

— И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.

Офицер прищурился и с любопытством посмотрел на мальчика.

— Постой... погоди. Звать-то тебя как?

— Меня-то? Ваня.

— Просто — Ваня? — улыбнулся офицер.

— Ваня Солнцев, — поправился мальчик.

— Пастушок?

— Верно! — с изумлением воскликнул Ваня. — Меня разведчики «пастушком» прозвали. А вы почему знаете?

— Я, брат, все знаю, что у капитана Енакиева в батарее делается. А скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь очутился, если капитан Енакиев приказал отвезти тебя в тыл?

В глазах мальчика мигнули синие озорные искры, но он тотчас опустил ресницы.

— А я убежал, — скромно сказал он, стараясь всем своим видом изобразить смущение.

— Ах, вот как! Как же ты убежал?

— Взял да и убежал.

— Так сразу взял, да сразу и убежал?

— Нет, не сразу, — сказал Ваня и почесал ногу об ногу, — я два раза от него убегал. Сначала я убежал, да он меня нашел. А уж потом я так убежал, что он меня уж и не нашел.

— Кто это он?

— Дяденька Биденко. Ефрейтор. Разведчик ихний. Может, знаете?

— Слыхал, слыхал, — хмурясь еще сильнее, сказал Енакиев, — только что-то мне не верится, чтобы ты убежал от Биденко. Не такой он человек. По-моему, голубь, ты что-то сочиняешь. А?

— Никак нет,— сказал Ваня, вытягиваясь.— Ничего не сочиняю. Истинная правда.

— Слыхал, Соболев? — обратился капитан к своему коневоду, который с живейшим интересом слушал разговор своего командира с мальчишкой.

— Так точно, слышал.

— И что же ты скажешь? Может это быть, чтобы мальчишк убегал от Биденко?

— Да никогда в жизни! — с широкой блаженной улыбкой воскликнул Соболев.— От Биденко ни один взрослый не убежит, а не то что этот пистолет. Это он, товарищ капитан, извините за такое выражение, просто мало-мало заливаает.

Ваня даже побледнел от обиды.

— С места не сойти! — твердо сказал он и метнул на коневода взгляд, полный холодного презрения и достоинства.

Потом весь вспыхнув и залившись румянцем, он стал быстро-быстро, с пятого на десятое, рассказывать, как он обхитрил старого разведчика.

Когда он дошел до места с веревкой, капитан не стал более сдерживаться. Он смахнул перчаткой слезы, выступившие на глазах, и захохотал таким громким басистым смехом, что лошади наострили уши и стали тревожно подтанцовывать. А Соболев, не смея в присутствии своего командира смеяться слишком громко,— это было не положено,— только крутил головой и прыскал в кулак и все время повторял:

— Ай, Биденко! Ай, знаменитый разведчик! Ай, профессор!

Когда же Ваня стал рассказывать о встрече с военным мальчиком, капитан Енакиев вдруг помрачнел, задумался, стал грустный.

— Они меня, говорит, за своего сына приняли,— возбужденно рассказывал Ваня про военного мальчишка,— я у них теперь, говорит, сын полка. Я, говорит, с ними один раз даже в рейд ходил, на тачанке сидел вместе со станковым пулеметом. Потому что я своим, говорит, показался. А ты своим, говорит, верно, не показался, вот они тебя и отослали.

Тут Ваня крупно глотнул воздух и жалобно посмотрел в глаза капитана своими наивными прелестными глазами.

— Только он это врет, дяденька, что будто я своим

не показался. Я-то своим показался. Верно говсрю. Они меня жалели. Да только они ничего поделатъ не могли против капитана Енакиева.

— Что ж, выходит дело, что ты всем «показался», только одному капитану Енакиеву «не показался»?

— Да, дяденька,— сказал Вапя, виновато мигая ресницами.— Всем показался, а капитану не показался. А он меня даже ни разу и не видел. Разве это можно — судить человека, не видавши? Кабы он меня разок посмотрел, может быть, я бы ему тоже показался... Верно, дяденька?

— Ты так думаешь? — сказал капитан, усмехнувшись.— Ну, да ладно. Поглядим.

Он решительно поставил ногу в стремя и сел на лошадь.

— В ночное с ребятами ездил? — строго спросил он, улыбаясь глазами и разбирая поводья.

— Как не ездил! Ездил, дяденька.

— На лошади удержишься? А ну-ка, Соболев, бери его к себе.

И не успел Ваня моргнуть, как сильные руки коневода подхватили его с земли и посадили впереди себя на лошадь.

— К разведчикам! — скомандовал капитан Енакиев, и они помчались галопом.

— От Биденко ушел, а от меня, брат, не уйдешь,— сказал ординарец, крепко, но осторожно прижимая к себе мальчика.

— А я сам не хочу,— сказал Ваня весело.

Он чувствовал, что в его судьбе происходит какая-то очень важная, счастливая перемена.

Подъехав к блиндажу разведчиков, капитан спрыгнул с лошади и бросил поводья коневоду.

— Дожидайтесь, — сказал он и быстро, бренча шпорами, сбежал по ступенькам вниз.

Все разведчики были в сборе и как раз в это самое время играли в «козла». Они с таким азартом хлопали костями по столу, что можно было подуматъ, будто в блиндаже палят из пистолетов.

— Встать! Смирно! — крикнул дневальный, увидав входящего командира батареи.

Разведчики резво вскочили на ноги, побросав кости на стол. А ефрейтор Биденко, который в этот день был дежурным по отделению, как положено, — в головном уборе и при оружии, — чертом подскочил к капитану и отрапортовал:

— Товарищ капитан! Команда разведчиков взвода управления вверенной вам батарее. Команда находится в резерве. Люди отдыхают. Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный ефрейтор Биденко.

— Здравствуйте, артиллеристы!

— Здравия желаем, товарищ капитан! — дружно крикнули разведчики.

После этого капитан Енакиев обычно командовал «вольно» и разрешал продолжать заниматься каждому своим делом. Но на этот раз он молча сел на подставленный ему табурет и довольно долго рассматривал трофейную картину «Весна в Германии».

Батарейцы хорошо изучили своего командира. Достаточно было посмотреть на его нахмуренные брови под прямым козырьком артиллерийской фуражки, достаточно было увидеть его прищуренные глаза, тронутые вокруг суховатыми морщинами, и твердые губы, сложенные под короткими усами в неопределенную, холодную улыбку, чтобы понять, что без хорошего «дрозда» нынче дело не обойдется.

— Стало быть, никаких происшествий не случилось? — сказал капитан, помахивая по столу снятой перчаткой.

Биденко молчал, сразу сообразив, куда гнет командир батареи.

— Что ж вы молчите?

— Разрешите доложить...

— Можете не докладывать. Известно. Хорош у меня разведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвел. Командиру отделения докладывали?

— Так точно. Докладывал.

— Ну и что же?

— Командир отделения мне четыре наряда не в очередь дал.

— Сколько нарядов?

— Четыре.

— Мало. Доложите ему, что я приказал от себя еще два наряда прибавить. Итого шесть.

— Слушаюсь.

Капитан Енакиев некоторое время не спускал глаз с вытянувшихся перед ним солдат.

— Садитесь, орлы, — наконец сказал он, расстегивая шинель и давая этим понять, что официальный разговор кончен и теперь разрешается держать себя по-семейному. — Отдыхайте. Слышал я, что вы мужички хозяйственные, будто у вас завелся какой-то необыкновенный пензенский самосад. Вы бы меня угостили, что ли.

Не успел он этого сказать, как пять кисетов потянулись к нему, пять нарезанных газетных бумажек и пять зажигалок, готовых вспыхнуть по первому его знаку. Отовсюду слышались голоса:

— Моего возьмите, товарищ капитан. Мой будто малость послабже.

— Моего попробуйте. Мой с можжевельником.

— Разрешите, товарищ капитан, я вам скручу. Против меня тоньше никто не скрутит.

— Может быть, легкого табачку желаете? У меня сухумский любительский, сладкий, как финик.

— Богато живете, богато живете, — говорил капитан, неторопливо примеряясь, у кого бы взять табачку. — А ты, Биденко, ты зря свой кисет подставляешь. У тебя я все равно не возьму. Накуришься твоего табачку, а потом, чего доброго, проспишь все на свете.

— Верно, — подмигнул Горбунов. — Точно. Это он непременно после своей махорки заснул в машине и па-стушка нашего прошляпил.

— Про это я и намекаю, — сказал капитан.

— Товарищ капитан, — жалобно сказал Биденко. — Кабы он был обыкновенный мальчик, а ведь это не мальчик, а настоящий чертенок. Право слово.

— А что, верно — хороший малый? — спросил капитан, затягиваясь пензенским самосадам. — Как он вам, братцы, показался?

— Паренек хоть куда, — сказал Горбунов, улыбаясь той широкой свойской улыбкой, которой привыкли улыбаться все разведчики, говоря о Ване. — Самостоятельный мальчик. И уж одно слово — прирожденный солдат. Мы бы из него знаменитого разведчика сделали. Да, видно, не судьба.

— Жалко? — спросил капитан Енакиев.

— Да нет. Что же. Жалко не жалко. Он, конечно, и в тылу не пропадет. А сказать правду, то и жалко. У

него душа настоящая воинская. Ему в армии самое место.

— А не сочиняешь?

— Чего ж тут сочинять. Это сразу заметно. Хотя вам как нашему командиру батареи, конечно, виднее.

— А вы, ребята, почему молчите? — сказал капитан Енакиев, пытливо всматриваясь в солдатские лица. — Как вам показался мальчик?

По лицам разведчиков тотчас разлилась такая дружная улыбка, словно она у них была одна большая, на всю команду, и они улыбались ею не каждый порознь, а все вместе.

— Смотрите. Думайте. Вам с ним жить, а не мне.

— Подходящий паренек. Одно слово — «пастушок», солнышко, — заговорили разведчики, все еще не вполне понимая, куда гнет их капитан.

А он строго посмотрел на них и после некоторого, довольно продолжительного, раздумья твердо сказал:

— Ну, ладно. Только знайте, что это вам не игрушка, а живая душа. Эй, Соболев! — крикнул он, подойдя к двери. — Давай сюда пастушка.

И когда на пороге, к общему изумлению, появился Ваня, капитан сказал, крепко взяв мальчика за плечо:

— Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живет. А там — увидим.

11

Едва капитан Енакиев вышел из блиндажа, как разведчики окружили Ваню. Всем хотелось поскорее узнать, каким образом все это получилось.

— Пастушок! Друг сердечный! — воскликнул Горбунов.

— Ну, парень, докладывай! — строго сказал Биденко. — Откуда ты взялся? Где тебя черти носили? Как тебя нашел капитан Енакиев?

— Который капитан Енакиев? — сказал Ваня с недоумением.

— А тот самый, кто тебя к нам привез.

— Так нешто это был капитан Енакиев?

— Он самый.

— Батюшки!

— А ты и не знал?

— Откуда ж! — воскликнул Ваня, мигая короткими ресницами.— Кабы я знал... Нет, кабы я только догадывался... Правда, дяденька, — самый это и был капитан Енакиев?

— Разумеется.

— Командир батареи?

— Точно. Самый он.

— Ох, дяденька, неправда ваша.

— Погоди, пастушок, — сияя общей улыбкой команды разведчиков, сказал Горбунов.— Ты не восклицай, а лучше нам все по порядку рассказывай.

Но Ваня, видимо, был так взволнован, что не мог связать и двух слов. Восхищенно сияя глазами, он осматривал новый блиндаж разведчиков, который уже казался ему знакомым и родным, как та палатка, где он в первый раз ночевал с ними.

Те же аккуратно разостланные шинели и плащ-палатки, те же вещевые мешки в головах, те же суровые утиральники. Даже медный чайник на печке и рафинад, который Горбунов уже поспешно выкладывал на стол, были те же.

Правда, трофейная карбидная лампа была другая. Она неприятно резала глаза своим едким, химическим светом, который, как и сама лампа, казался трофейным. И мальчик щурился на нее, морща нос и делая вид, что не может вымолвить ни слова.

На самом же деле, если говорить всю правду, он давно уже смекнул, что офицер, с которым он заговорил возле избы, был капитан Енакиев, только и виду не показал.

Недаром солдаты сразу разглядели в нем прирожденного разведчика. А первое правило настоящего разведчика — лучше знать да молчать, чем знать да болтать.

Так судьба Вани трижды волшебю обернулась за столь короткое время.

Темный, поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Среди черных, гнилых лугов, среди дымчатого кустарника, среди полей, покрытых неровными рядами сжатого, но не убранного льна, болота светились бело и слепо, как олово.

Озябшие вороны, ночевавшие в кустарнике, уже проснулись и с голодным карканьем перелетали с места на место. Они лениво двигали крыльями, отяжелевшими от ночной сырости.

В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана.

Вокруг, насколько хватало глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо.

Лишь далеко на востоке туманный воздух время от времени вздрагивал, как будто там мягко, но очень сильно хлопали большой дверью.

Но если бы чей-нибудь опытный глаз особенно внимательно присмотрелся к кочкам, выступающим из тумана, то он бы, возможно, и заметил, что две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы были шлемы Биденко и Горбунова. Вот уже три часа они неподвижно лежали среди трясины, покрывшись плащ-палатками с нашитыми на них пучками почерневшей травы.

Разведчики лежали таким образом, что каждый видел, что делается позади другого. Упершись локтями в топкую землю и чуть приподняв головы, они напряженно всматривались каждый в свою сторону.

Изредка они перекидывались короткими фразами:

— Что-нибудь просматривается?

— Пусто.

— И у меня пусто. Ни живой души.

— Плохо дело.

— Да. Неважно.

Они находились в тылу у немцев, километрах в тринадцати от линии фронта. С каждой минутой их лица делались все серьезнее, озабоченнее.

— Не видать?

— Не видать.

— Давно бы, кажется, пора.

— Слышь, глянь на часы. Мои стали, черт. Должно, обо что-нибудь стукнул. Сколько времени мы уже ждемся?

Горбунов поднес руку с часами к глазам. Он сделал это так плавно, так осторожно, что на его шлеме не шевельнулась ни одна травинка.

— Семь тридцать два. Стало быть, ждем уже больше трех часов.

— Ого!

Минут пятнадцать, если не больше, они молчали.

— Слышь, Вася?

— Да.

— А что, как его там захватили немцы?

Горбунов наконец высказал то самое, что уже давно в глубине души мучило Биденко. Но Биденко сумрачно сжал челюсти, отчего темные его скулы обозначились еще резче. Глаза сузились, стали злыми.

— Не каркай. Чем зря языком трепать — наблюдай.

— Я и так наблюдаю. Да что ж, когда пусто.

И снова они надолго замолчали, изо всех сил напрягая зрение. Вдруг Горбунов шевельнулся, чуть приподнял голову.

Это движение было едва заметно. Но оно выражало крайнюю степень волнения. Как у очень дальновзоркого человека, зрачки его глаз сразу резко сократились, стали маленькими, как булабочные головки.

Биденко понял, что Горбунов видит нечто очень важное.

— Что там такое, Кузьма? — тихо, одними губами, спросил Биденко.

— Лошадь, — так же тихо ответил Горбунов.

— Наша?

— Кажись, наша. Погоди. Зашла в кусты — не выдать. Сейчас выйдет. Машет хвостом. Идет. Вот вышла. Так и есть — наш Серко!

— Что ты говоришь! — почти крикнул Биденко.

— Серко. Теперь ясно видеть.

— Ну, стало быть, сейчас и пастушок покажется. Я ж тебе говорил. А ты каркал.

Не в силах сдержать радостного волнения, Биденко сделал то, чего ни за что не позволил бы себе сделать при других обстоятельствах. Он ловко изменил положение тела и стал смотреть в ту сторону, куда смотрел его друг.

Так как они оба лежали, прижавшись к самой земле, то поле их зрения было очень ограничено. Горизонт казался придвинутым совсем близко, и по горизонту, среди дымчатого кустарника, медленно брела белая костлявая кляча, припадая на переднюю ногу с раздутым коленом.

Действительно, это был Серко. Но пастушка возле него не было.

— Отстал малый. Верно, притомился. Сейчас покажется.

— Небось.

И оба разведчика стали прислушиваться, стараясь за хлопанием разбитых копыт, которые лошадь с трудом вытаскивала из трясины, ловить звуки человеческих шагов. Но человеческих шагов слышно не было.

Тогда Горбунов приложил ладони ко рту и несколько раз покрякал, как дикая утка. Однако никто не отозвался на этот условный звук.

— Не услышал. Ты давай погромче.

Горбунов покрякал громче, но опять никто не откликнулся. Биденко со всей возможной осторожностью, необычайно медленно поднялся, стал на колени.

Горизонт сразу как бы отодвинулся, но на плоском болотистом пространстве, открывшемся перед глазами, по-прежнему не было заметно ни одной живой души.

— Балуется парень. Незаметно хочет подобраться,— сказал Биденко, тревожно поглядывая на Горбунова, как бы ища у него подтверждения догадки, которой сам не верил.

Горбунов молчал.

— А ну, Кузьма, покрячь еще. Может, отзовется.

Горбунов снова покрякал. И снова никто не отозвался.

— Ваня-а! Пастушок! — позвал Биденко, забывая всякую осторожность.

— Кричи не кричи...— сумрачно сказал Горбунов.— Дело ясное.

Между тем седая кляча продолжала приближаться.

Через каждые два шага она останавливалась и опускала длинную худую шею, для того чтобы ущипнуть желтыми зубами хоть несколько гнилых травинок. С ее морды, поросшей редким седым волосом, свисала длинная резинка слюны. Костлявые ноги дрожали. И над глазами, из которых один был сплошное бельмо, чернели мягкие глубокие ямины.

— Серко, Серко,— тихо позвал Горбунов и осторожно посвистал.

Лошадь устало наострила одно ухо и, хромая, побрела к разведчикам. Она остановилась над ними, повесив голову. Так равнодушно, безучастно останавливается лошадь, потерявшая своего хозяина.

— Где же пастушок, Серко? — спросил Биденко.— Где ты его потерял?

Серко стоял неподвижно, согнув больную ногу. Его разбитые бабки были облиты черной болотной грязью. Старая кожа, поросшая желтовато-белой шерстью, вздрагивала на ребрах. Мертвенное перламутровое бельмо с тупой покорностью слепо смотрело в землю. И только сухой хвост на облысевшей репице тревожно поматывался из стороны в сторону.

Серко был старой, умной обозной лошадью. Если бы он умел говорить, он многое рассказал бы разведчикам. Но они и так поняли. Во всяком случае, они поняли главное: с «пастушком» случилась беда.

Позавчера в сумерках Биденко и Горбунов вышли в разведку, взяв с собою Ваню. Они взяли его впервые, не доложив по команде, что берут с собою мальчика.

У них было задание как можно дальше проникнуть в расположение противника и разведать дороги, по которым, в случае продвижения, можно было бы наилучшим образом провести свою батарею через болото вперед.

Разведчики должны были подыскать хорошие позиции для огневых взводов, отметить наиболее выгодное место будущих наблюдательных пунктов, разведать оборонительные сооружения, а главное — собрать сведения о количестве и расположении немецких резервов. Было бы, разумеется, не худо на обратном пути захватить и привести с собою хорошего «языка» — штабного или артиллерийского офицера. Но это — как бог даст. Мальчика же они взяли с собой за проводника, потому что он отлично знал эту болотистую, трудно проходимую местность.

Впрочем, если бы Ваню к этому времени успели помыть в баньке, остричь и обмундировать, его бы вряд ли взяли в разведку. Но «пастушку» повезло. Неожиданно — как это всегда бывает на фронте — батарея была брошена из резерва прямо в бой. Опять все смешалось. Тылы отстали. Ни о какой баньке пока не могло быть и речи. И Ваня передвигался со взводом управления в своем натуральном виде: заросший, нечесаный, босый, с холщовой торбой, — настоящий деревенский пастушок.

Какому немцу, встретившему мальчика у себя в тылу, могло прийти в голову, что это неприятельский разведчик? В таком виде Ваня мог пройти куда угодно, не возбуждая никаких подозрений. Лучшего проводника и не придумаешь.

Кроме того, Ваня очень просился. Он так жалобно повторял: «Дяденька, возьмите меня с собой. Ну что вам

стоит? Я здесь каждый кустик знаю. Я вас так проведу, что ни один немец не заметит. Вы мне только спасибо скажете. Дяденька!»

Он ходил за разведчиками по пятам. Он так умильно и с такой надеждой смотрел в глаза своими открытыми ясными глазами. Он так робко трогал за рукав... Одним словом, они его взяли на свой риск. Но взяли они его не просто так.

Прежде они, как и подобало хорошим разведчикам, обсудили это дело основательно, всесторонне, по-хозяйски. Они решили, что Ваня будет их проводником, и поставили ему точное, строго ограниченное задание.

Это боевое задание заключалось в том, что «пастушок» должен был идти впереди разведчиков, показывая дорогу и предупреждая об опасности.

Для того чтобы Ваня еще больше походил на пастушонка и не имел подозрительного вида человека, шатающегося в немецком расположении без дела, была придумана лошадь. Мальчик должен был вести за собою лошадь, якобы убежавшую и теперь найденную.

Подходящую лошадь добыли у обозников во втором эшелоне полка. Это была старая раненая кляча серой масти, то есть белого цвета, давно уже подлежащая исключению из списков. Звали ее Серко.

Ваня свил себе из веревки настоящий пастушеский кнут, сделал для своего Серко веревочный повод, и после полуночи, ближе к рассвету, трое разведчиков — в их числе и Ваня со своей клячей — без особого труда перешли линию фронта.

Ваня с лошадыю, не таясь, шел впереди, а метрах в ста сзади, один за другим, след в след, осторожно ползли Горбунов и Биденко.

Пройдя таким образом километра четыре, Ваня внезапно наткнулся на немецкий пикет.

Было бы неправдой сказать, что он не испугался. Когда он вдруг увидел выросшие перед ним, как из-под земли, три темные фигуры в плащах и глубоких касках, похожих на котлы, Ваня почувствовал не то что страх, его охватил просто ужас. Слишком свежо еще было в его памяти все то, что он пережил за время своего пребывания «под немцами».

Ноги его подкосились, кровь жарко прилила к лицу, в глазах потемнело. Он задрожал всем телом, делая отчаянные усилия не стучать зубами.

Свет электрического фонарика скользнул по его маленькой оборванной фигурке, осветил белую костлявую клячу, стоящую во тьме, как привидение.

— Ну, какого черта ты здесь шляешься ночью, мерзавец? — крикнул немецкий грубый, простуженный голос.

И в этом каркающем, наглом, презрительном и вместе с тем безжалостном голосе с какими-то самодовольными горловыми придыханиями мальчику послышались десятки, сотни слишком хорошо знакомых ему постылых немецких голосов всех этих комендантов, надзирателей, полевых жандармов, караульных начальников, патрульных, от которых он получил столько пинков и затрещин.

Он быстро втянул голову в плечи и закрыл глаза, ожидая немедленного удара. И действительно, он его тотчас получил. Сапог больно пихнул его в зад, и каркающий голос с придыханием крикнул по-немецки:

— Что же ты молчишь, негодяй? Отвечай, когда тебя спрашивают. А то еще раз как дам!

Мальчик не понимал по-немецки. Но смысл немецкой речи был ему вполне понятен. Он достаточно хорошо, на своей шкуре, изучил этот немецкий смысл.

И вдруг страх исчез. Всю его душу охватила и потрясла ярость. Как! Его, солдата Красной Армии, разведчика знаменитой батареи капитана Енакиева, посмела ударить сапогом какая-то фашистская рванина?

Ванины глаза налились кровью. Еще миг — и он бы кинулся на немца, бил бы его кулаками по морде, грыз его горло. Он знал, что он не один. Он знал, что рядом — друзья его, верные боевые товарищи. По первому крику они бросятся на выручку и уложат фашистов всех до одного. Но мальчик так же твердо помнил, что он находится в глубокой разведке, где малейший шум может обнаружить группу и сорвать выполнение боевого задания.

Тогда он могучим усилием воли подавил в себе ярость и гордость. Он заставил себя снова превратиться в маленького придурковатого пастушка, заблудившегося ночью со своей лошадыю.

— Ой, дяденька, не бейте! — жалобно захныкал он, делая вид, что развозит по лицу слезы. — Я коня своего искал. Насилу нашел. Целый день и целую ночь мотался. Запутал. У, холера! — закричал он, замахиваясь кнутом на Серко. — Погибели на тебя нету!

Он опять стал хныкать.

— Пустите меня, дяденька. Я больше никогда не буду. Меня мамка дома дожидается.— И даже, как ему это ни было отвратительно, стал ловить руку немца, делая вид, что хочет ее поцеловать.

— Пошел к черту, дурак! — сказал немец, смягчась.— Забирай свою дохлятину и проваливай. Да не смей больше шататься по ночам. Повесим.

Он дал мальчику коленом под зад, а лошадь стукнул по спине автоматом, и немецкий пикет скрылся в темноте.

Тогда Ваня осторожно покрякал по-утиному, давая знать, что опасность миновала. Разведчики двинулись дальше.

13

Дальше дело пошло еще лучше.

Настало утро. День прошел без всяких происшествий. Разведчики убедились, что Ваня действительно знает местность. Он очень точно, толково исполнял свою задачу проводника.

Пока Биденко и Горбунов сидели, спрятавшись где-нибудь в старом омете или в кустарнике, Ваня уходил со своей клячей вперед и осматривал местность, потом возвращался и крякал, давая знать, что путь свободен.

Так работать было гораздо удобнее и быстрее.

Ожидая Ваню, разведчики обычно не теряли времени даром. Они наносили на карту все, что им удалось разведать по дороге. Добыча на этот раз была особенно богатой. Участок, отведенный батарее капитана Енакиева, был тщательно, толково разведан на всю глубину немецкой обороны. Оставалось только разведать небольшую болотистую речку и отметить на карте те места, где можно было наиболее скрытно переправить орудия на другой берег вброд. Это имело особенно важное значение в случае успешного прорыва немецкой обороны. Это давало возможность капитану Енакиеву неожиданно, одним рывком, не теряя времени на разведку, по головному маршруту в надлежащий миг выбросить свои пушки далеко вперед и громить отступающие немецкие колонны почти с тыла.

Но произвести эту сложную разведку днем,— особенно найти подходящие броды, прощупать дно и измерить глубину реки,— было невозможно. Надо было дожидать-

ся ночи. Поэтому Горбунов, который был старшой в группе, приказал заночевать на лугу, посреди болот, с тем чтобы перед рассветом пробраться к речке и, пользуясь утренним туманом, осмотреть берега, найти броды, промерить их и нанести на карту. После этого можно было возвращаться домой.

Так и сделали. Переночевали на лугу, а часа за два до рассвета Ваня взял за повод своего Серко и пошел, как обычно, вперед.

Биденко и Горбунов стали его дожидаться. До речки было педалеко, и, по их расчетам, Ваня должен был воротиться самое большее через час.

Но прошел час, потом два, потом три, а Ваня не возвращался. Вместо него пришел одип Серко. Тогда разведчики поняли: с Ваней приключилась беда. Надо было идти на выручку.

Биденко и Горбунов некоторое время смотрели друг на друга. Они не произнесли ни слова. Но для того, чтобы понять друг друга, им не нужно было никаких слов. Все было слишком просто и слишком ясно. Надо идти искать «пастушка» немедленно, хотя бы это стоило им жизни.

Горбунов, как старшой, сделал Биденко знак рукой следовать за ним. Они осторожно и плавно поползли по лугу, от кочки к кочке, иногда останавливаясь для того, чтобы осмотреться.

На их счастье, туман, поднявшийся на рассвете, не рассеивался. Наоборот, он даже как будто еще больше сгустился. Он призрачно плавал над болотистой низменностью, скрывая предметы. Но даже если бы тумана и не было, то и тогда вряд ли кто-нибудь увидел бы разведчиков. Место было глухое, пустынное. Оно казалось непроходимым.

Вдруг позади Биденко и Горбунова послышалось какое-то хлопанье. Они обернулись. За ними плелся, припадая на раненую ногу, Серко, казавшийся в тумане громадным и призрачным.

— Ступай назад, Серко! Не обнаруживай нас, — сказал Биденко с добродушной улыбкой. — Кому говорю, старый? Поворачивай. Геть!

Но Серко продолжал идти, уныло повесив голову и тускло отсвечивая перламутровым бельмом. Он как бы хотел сказать: «Не бросайте меня, люди добрые. Что я здесь буду делать один, среди этого гнилого, мокрого лу-

га, в этом страшном, молочном тумане? Пожалейте старого коня!»

И разведчики это поняли. Но как ни жалко им было бросать добрую и смирную животину — делать было нечего. Лошадь могла привлечь к ним внимание и в одну минуту погубить их.

— Эх, сердечная,— сказал Биденко со вздохом, подползая к Серко.

Он вынул из кармана ремешок и быстро стреножил слабые, распухшие ноги клячи.

— Жалко нам, брат, тебя, да ничего не поделаешь. Гуляй пока здесь. Жируй. Авось еще увидимся.

И разведчики поползли.

Серко попытался побежать вслед за ними, но путы были затянуты туго, не давали сделать ни шагу. Тогда лошадь попыталась прыгнуть. Она напрягла все свои слабые силы, но сил было слишком мало. Серко только сумел немного подкинуть задние ноги и тотчас тяжело остановился, вода раздувшимися костлявыми боками.

Разведчики поползли в том направлении, куда ночью ушел Ваня. В иных местах на топкой почве были еще довольно ясно заметны следы его босых ног.

Биденко смотрел на эти следы и думал:

«Эх, ведь какие мы, право, непутевые. До сих пор не успели для парнишки обуви расстараться. Ну, да уж ладно. Найдем его, воротимся благополучно в часть, тогда полное обмундирование ему справим. По мерке подгоним. Будет у нас ходить красавчиком».

Когда началось болото, следы вовсе пропали. Теперь двигались по компасу, в направлении речки. Вокруг по-прежнему было туманно, безлюдно. Речка действительно оказалась недалеко.

Скоро разведчики увидели низкий луговой берег, кое-где поближе к воде поросший густым камышом. На противоположном высоком берегу синел лес.

Прежде чем двинуться дальше, Горбунов и Биденко долго лежали, внимательно изучая местность. Берег речки хотя и был пуст, но внушал опасение. На поверхности еще довольно яркого, мокрого луга были видны многочисленные следы грузовиков. Судя по тому, что они были свежие, черные, как вакса, грузовики проезжали здесь совсем недавно. Возможно, они привозили сюда какой-то груз, вероятнее всего — строительный лес, так как в некоторых местах на лугу валялись кучи свежих щепок.

Было похоже, что где-то недалеко совсем недавно строили мост. Несомненно, мост был тут, только его скрывали камыши. Но раз был мост, значит, была и охрана. И этого следовало опасаться. Что же касается леса на противоположном берегу, то в нем явно стояла воинская часть или находились штабы: в нескольких местах над лесом подымались дымки, а в одном месте на опушке, между корнями деревьев, просматривалось какое-то инженерное сооружение, тщательно затянутое зеленой маскировочной сетью. Это мог быть оружейный блиндаж, наблюдательный пункт или бруствер пехотного окопа полного профиля.

Видно, немцы здесь сильно укрепились и готовились к долговременной обороне.

Это было очень важное открытие, и разведчики напряженно всматривались в местность, стараясь запомнить все подробности для того, чтобы позже, когда представится возможность, нанести их на карту по памяти.

Однако, как бы то ни было, дольше оставаться здесь было невозможно, надо было поскорее уходить. Но они медлили. Разве могли они бросить товарища в беде и вернуться в часть без Вани? А с другой стороны — что они еще могли сделать?

Вот они дошли до той речки, куда до них отправился мальчик. Вот они видят эту речку. Но что же дальше?

Следы мальчика потеряны. Если его действительно захватили немцы, то они его, конечно, уже давно отвели в какую-нибудь полевую комендатуру. Но, с другой стороны, на что бы понадобилось задерживать маленького оборванного деревенского мальчика, ведущего большую клячу? Мало ли их, этих нищих, голодных советских детей, бродит у них в тылу? Всех не переловишь. А потом — куда их девать, кто будет с ними возиться? Теперь не до них, свою шкуру надо спасать.

Нет, было, положительно, невероятно, чтобы Ваню схватили немцы. А даже если и схватили, какие улики могли найтись против мальчика? Ровным счетом никаких. Дырявая торба, и в ней старый рваный букварь. Только и всего.

В таком случае куда же он делся? Почему лошадь вернулась одна? Может быть, Ваня просто от них ушел, не выдержал, надоело?.. Но это было уже совсем невозможно. Не таков был Ваня!

Вернее всего, он дошел до речки, повернул назад, заблудился... Ваня заблудился! Нет, об этом смешно было и думать.

Между тем время шло. Надо было принимать какое-нибудь решение.

Биденко и Горбунов лежали в небольшой заросли молодого дубняка, не сронившего еще своей жесткой коричневой листвы. Они лежали и напряженно думали.

Вдруг Биденко у самых своих глаз увидел на земле предмет, который чуть не заставил его крикнуть. Это был химический карандаш, тот самый маленький химический карандашик с маркой «Химуголь», который Биденко недавно подарил Ване и который Ваня постоянно таскал в своей торбе.

— Кузьма, — шепотом сказал Биденко, показывая глазами на карандаш.

Горбунов посмотрел и ахнул.

И тотчас множество мелких и даже мельчайших подробностей, на которые солдаты не обратили внимания именно потому, что эти подробности были так близко, сразу со всех сторон бросились им в глаза.

Они увидели пучок белого конского волоса, повисший на сучке. Они увидели втопанную в землю недокуренную немецкую сигарету. Они увидели целый ворох листьев, сбитых с поломанного куста. Наконец, они увидели немного подалее веревочный кнут Вани.

Земля вокруг была истоптана, изрыта солдатскими сапогами, подбитыми железом.

Из всех этих подробностей перед ними вдруг встала страшная картина того, что здесь произошло несколько часов тому назад.

Теперь все стало ясно.

Они выбрали правильное направление. Именно по этому направлению шел сюда Ваня со своей лошадью. Они дошли до этих кустов. И именно тут, на том самом месте, где сейчас лежали Горбунов и Биденко, Ваню схватили немцы. Судя по всему, они схватили его внезапно и грубо.

Потопанная земля, сломанные кусты, выпавший из торбы карандаш и отброшенный в сторону кнут, недокуренная сигаретка — все говорило, что мальчик отчаянно сопротивлялся. А потом они его поволокли. Теперь разведчики ясно увидели на земле следы, показывающие, в какую сторону потащили Ваню.

Следы вели по направлению к камышам, туда, где, по предположению Биденко и Горбунова, должен был находиться мост. Значит, немцы повели мальчика через мост, на ту сторону, в лес, где, по всем признакам, у них был штаб или комендатура.

Тогда разведчики стали обсуждать положение.

Они обсудили его быстро, но основательно, со всех сторон, как и подобало разведчикам-артиллеристам. Оставалось принять решение.

Биденко и Горбунов были между собой равны по званию, по заслугам и по сроку службы, но в этой разведке начальником был назначен Горбунов. Стало быть, за Горбуновым оставалось последнее слово. И это последнее слово был приказ, не подлежащий обсуждению.

Прежде чем сказать свое решение, Горбунов крепко задумался. Биденко не сомневался в своем друге. Он был уверен, что решение будет наилучшее. Но когда Горбунов его сказал, Биденко опешил. Он мог ожидать всего, но только не этого.

— Вот что, Василий, — сказал Горбунов твердо. — Обстановка требует, чтобы мы с тобой рассредоточились. Понятно? Ты пойдешь обратно в часть. Собирайся. А я останусь здесь.

— Как? Как ты приказываешь? — переспросил Биденко.

— Приказываю тебе ворочаться в часть. А я останусь.

— Кузьма! — крикнул Биденко.

— Кончено, — коротко сказал Горбунов, сдвинув брови.

И Биденко понял, что больше говорить не о чем. Все же он сделал попытку объяснить:

— А как же пастушок?

— Я здесь останусь. Буду выручать.

— А я?

— Ты пойдешь в часть.

— Я, Кузьма, так располагаю: мы здесь останемся вместе.

— Сказано, — сухо обрезал Горбунов.

— Да как же я вернусь без пастушка?! — взмолился Биденко. — Нет, брат. Это дело не выйдет. Как хочешь, а я паренька не брошу. Голову положу, а выручу. Ведь это что же такое? Ведь он мне вроде как родной сын!..

— Он нам всем как родной сын. А служба на первом

месте. Знаешь, кому служим? Советскому Союзу. Небоёв знаешь. Пойдешь в часть. А я здесь останусь.

— Не пойду в часть, — сказал Биденко, зло сузив глаза.

— Приказываю, — сказал Горбунов. — А не подчинишься, тогда я знаю, что мне с тобой делать. Понятно тебе? Слышь, Вася, — сказал он вдруг мягко. — Нешто я не понимаю? Я, друг, понимаю. Да что поделаешь? Батарея ждет наших данных. Ужели ж мы оставим ее слепой, без маршрута? Не дури, Вася. Я здесь останусь, а ты отправляйся в часть. Доставишь наши данные. Гляди, чтоб дошел благополучно. Берегись, пробирайся толково, чтоб не нарваться на немцев. На тебя — как на каменную гору. Доложишь командиру обстановку. Понятно?

— Понятно, — сказал Биденко, натужив скулы.

Ему не надо было долго толковать. Был бы он на месте Горбунова, он бы поступил точно так же. Он понимал, что один из них обязан доставить данные разведки в часть. А то, что Горбунов отправил с документами его, было тоже понятно. Горбунов был командир группы. Он отвечает за каждого своего человека. Мог ли он вернуться в часть, не употребивши всех усилий для спасения «пастушка»?

— Исполни, — сказал Горбунов, передавая Биденко карту с отметками.

— Счастливо, Кузьма.

— Действуй, Василий.

— Слушаюсь.

И, не сказав больше ни слова, Биденко стал отползать. Наконец он пропал из глаз, слившись с бурой землей, растаяв в тумане.

Горбунов остался один.

«Что же случилось с «пастушком»? — думал он, ломая голову над неразрешенным вопросом. — Ну, что ж такое, — успокаивал он себя. — Его задержали немцы. Потацили в комендатуру или в штаб. Ну, допросят. А что они с него возьмут? Ведь доказательств у немцев против Вани никаких нет. Мальчик — и мальчик. Подержат и отпустят. Надо его, главное, не прозевать, когда он от них выйдет. Тогда вместе и вернемся в часть. Вот и ладно».

Но, утешая себя таким образом, Горбунов в глубине души чувствовал, что дело обстоит совсем не так просто, а гораздо хуже.

Было что-то, чего Горбунов не знал и не предвидел, — но что именно?

И действительно, Горбунов не знал одной вещи. Если бы он ее знал, он похолодел бы от ужаса. Он не знал характера Вани Солнцева, всей живости его ума, всей силы его воображения и всей глубины его чистого детского самолюбия, которые чуть не привели его к гибели.

Ване Солнцеву было мало того, что его берут в разведку проводником. Он знал, что быть проводником — почетное, ответственное задание. Но ему этого было мало. Его слишком горячее, ненасытное сердце требовало большего. Ему захотелось прославиться, удивить всех.

Перед тем как отправиться в разведку, Ваня — втайне от всех — раздобыл себе компас. Как выяснилось потом, он его просто-напросто стащил у одного разведчика. Точнее сказать, он его потихоньку взял с койки, рассчитывая после разведки положить на прежнее место. Он в том не видел ничего дурного, так как разведчик всегда давал ему этот компас поносить и даже объяснил, как им надо пользоваться. Карандашик у Вани уже был. А вместо записной книжки он решил воспользоваться букварем.

Таким образом, снарядившись по всем правилам, «пастушок» и стал действовать, как настоящий разведчик.

Во время разведки, дожидаясь Ваню, ушедшего вперед, Горбунов и Биденко понятия не имели, чем без них занимается мальчик. Они думали, что он просто идет со своей лошадкой, «изучает» местность, потом возвращается и докладывает, свободен ли путь.

Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Сопя и прилежно наморщив лоб, он возился с компасом, устанавливал азимут. На полях своего букваря он записывал каракулями какие-то, одному ему ведомые, ориентиры и цели.

Наконец, он даже делал попытки снимать план местности. Коряво, но довольно верно он рисовал условными знаками дороги, рощи, реки, болота.

Именно за таким занятием и застал его немецкий комендантский патруль, когда он, расположившись со своим компасом и букварем в дубовом кустарнике, снимал план местности с речкой и новым мостом, который Ваня действительно разведал в камышах.

Нетрудно себе представить, что случилось потом.

Ваня сопротивлялся яростно и отчаянно. Но что мог

поделать мальчик против двух солдат немецкого комендантского патруля?

Скрутив Ване за спину руки и толкая его прикладами, они повели его через новый мост на гору, в лес.

Здесь они толкнули его в глубокий темный блиндаж и заперли.

14

Через некоторое время за Ваней пришел солдат и отвел его в другой блиндаж на допрос.

Блиндаж этот, над которым снаружи, между стволами сосен, висела растянутая маскировочная сеть, был просторный, теплый и освещался электричеством. В углу мурлыкало радио.

Посредине, за длинным сосновым столом, вбитым в пол, сидели рядом мужчина и женщина.

Мужчина был немецкий офицер в тесном френче с просторным отложным воротником черного бархата, обшитым серебряным басоном, что придавало ему погребальный вид. Лица немца Ваня не видел, так как оно было прикрыто рукой с тонким обручальным кольцом и грязными ногтями. Ваня видел только худую шею, красную, как у индюка, желтоватые волосы и сплющенное мясистое ухо.

Офицер имел вид человека, крайне утомленного бессонницей и раздраженного слишком ярким светом. Его черная сукодная фуражка с широкими, остро выгнутыми полями и большим лакированным козырьком в форме совка висела сзади на гвозде.

Эта фуражка, в особенности это старое заплывшее ухо с волосами в середине произвели на мальчика гнетущее впечатление чего-то зловещего, неумолимого.

Что касается женщины, то Ваня не мог понять, кто она такая, хотя почему-то сразу назвал ее про себя «учительницей».

На ней была старая кротовая кофта с пучком матерчатых цветов на воротнике, вязаная, растянувшаяся на коленях юбка и серые резиновые сапоги. Белокурые волосы, круто завитые рожками, торчали над чересчур высоким и узким лбом, а на толстой переносице виднелся кораллово-красный след очков, которые она держала в руках и протирала кусочком замши. У нее были выпуклые жидко-голубые глаза с острыми зрачками.

Ваню поставили перед столом, и он тотчас увидел на столе свой компас и свой букварь, развернутый как раз на том месте, где он пытался нарисовать план местности с речкой, мостом и рощей, с той самой рощей, где он теперь находился.

Женщина быстро надела очки — золотые очки с толстыми стеклами без оправы, высморкалась в маленький кружевной платочек и сказала голосом ученого скворца на деланно правильном русском языке:

— Поди сюда, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду тебя спрашивать, а ты мне отвечай. Не так ли? Договорились?

Но Ваня плохо понимал, что ему говорят. В голове у него еще гудело после драки с солдатами, в глазах было темновато. Скрученные за спиной руки набрякли и сильно болели в локтях.

— Мальчик, ты страдаешь?

Ваня молчал.

— Развяжите паршивцу руки,— быстро сказала она по-немецки и прибавила по-русски с улыбкой, обнажившей золотой зуб: — Развяжите ребенку руки. Он обещает исправиться. Он больше не будет драться с нашими солдатами и кусать их. Он погорячился. Не так ли, мальчик?

Ване развязали руки, но он молчал, бросая вокруг исподлобья быстрые взгляды.

— А теперь,— сказала немка, продолжая кротко показывать золотой зуб,— а теперь, мальчик, подойди к нам поближе. Не бойся нас. Мы только тебя будем спрашивать, а ты только будешь нам отвечать. Не так ли? Итак, скажи нам, кто ты таков, как тебя зовут, где ты живешь, кто твои родители и зачем ты очутился в этом укреплённом районе?

Ваня угрюмо опустил глаза.

— Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я вас не трогал,— сказал он, всхлипывая.— Я коня своего искал. Насилу нашел. Целый день и целую ночь мотался. Заблудился. Сел отдохнуть. А ваши солдаты стали меня бить. Какое право?

— Ну, ну, мальчик. Не следует так грубо разговаривать. Солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились. Не больше. Но мы хотим знать, кто ты таков, откуда, где твои родители — отец, матушка?

— Я сирота.

— О! Бедный ребенок! Твои родители умерли, не так ли?

— Они не умерли. Их убили. Ваши же и убили, — сказал Ваня, со страшной, застывшей улыбкой смотря в толстую переносицу немки, на которой блестели мелкие капельки пота.

Немка засуетилась и стала вытирать платочком пористый нос.

— Да, да. Такова война, — быстро сказала немка. — Это очень печально, но не надо огорчаться. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Бедный мальчик! Но ты не горюй. Мы дадим тебе образование и воспитание. Мы поместим тебя в детский дом. В хороший детский дом. А потом, возможно, в учебное заведение. Ты получишь основательную жизненную профессию. Ты этого хочешь? Не так ли?

— Фрау Мюллер, — с раздражением сказал офицер по-немецки желудочным, сварливым голосом, нетерпеливо барабанив пальцами по веснушчатому лбу. — Перестаньте разводиться антимионии. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района.

— Сию минуту, господин майор. Но вы не знаете души русского ребенка. А я ее хорошо знаю. Можете на меня положиться. Сначала я проникну в его душу, завоюю его доверие, а потом он мне все скажет. Можете мне поверить. Я десять лет жила среди этого народа.

— Хорошо. Только не разводите антимионию. Мне это надоело. Скорей проникайте в душу, и пусть негодяй скажет, кто ему дал компас и научил снимать схемы наших военных объектов. Я здесь вижу профессиональную работу. Действуйте!

— Итак, мальчик, — сказала немка по-русски, терпеливо улыбаясь и снова показывая золотой зуб, — ты видишь сам, что я тебя люблю и желаю тебе блага. Мои родители — мой папа и моя мама — долгое время жили в России, и я сама прожила здесь более десяти лет. Ты видишь, как я говорю по-русски? Значительно лучше, чем ты. Я совсем, совсем русская женщина. Ты вполне можешь мне доверять. Будь со мной откровенным, как со своей родной тетушкой. Не бойся. Называй меня своей тетушкой. Мне это будет только приятно. Итак, скажи нам, мальчик, откуда ты получил этот компас?

— Нашел.

— Ай-ай-ай! Нехорошо обманывать свою тетушку, которая тебя так любит. Ты должен усвоить, что ложь унижает достоинство человека. Итак, подумай еще раз и скажи, откуда у тебя этот компас?

— Нашел,— с тупым упрямством повторил Ваня.

— Можно подумать, что здесь компасы растут на земле, как грибы?

— Кто-нибудь потерял, а я нашел.

— Кто же потерял?

— Солдат какой-нибудь.

— Здесь есть только немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы. А этот компас русского образца. Что ты на это скажешь, мальчик?

Ваня молчал, с досадой чувствуя, что совершил промах.

— Ну, как же это получилось?

— Не знаю.

— Ты не знаешь? Прекрасно. Я понимаю. Ты не хочешь выдать людей, которые дали тебе компас. Ты умеешь молчать. Это делает тебе честь. Но люди, которые тебе дали компас, — нехорошие люди. Они очень нехорошие люди. Они преступники. А ты знаешь, что обычно делают с преступниками? Ведь ты не хочешь быть преступником? Не правда ли? Скажи же нам, кто дал тебе компас?

— Никто.

— А как же?

— Нашел.

— Хорошо. Я тебе верю. Допустим — ты говоришь правду. Но в таком случае скажи: кто тебя научил рисовать такие прекрасные рисунки?

— Чего — рисунки? Я не понимаю, про чего вы спрашиваете, — сказал Ваня тупо, утирая рукавом нос.

— Подойди-ка сюда. Поближе. Не бойся. Я тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?

— Чего — принадлежит? — сказал Ваня и захныкал. — Чего вы меня спрашиваете, не пойму.

— Чья это книга? — теряя терпение, спросила немка.

— Букварь-то?

— Да, букварь. Чей он?

— Мой.

— А рисовал на нем кто?

— Чегой-то рисовал?

— Эй, мальчик, ты не прикидывайся. Кто делал эту схему?

— Которую схему? — снова захныкал Ваня. — Я не знаю никакой вашей схемы. Я потерял лошадь. Днем и ночью мотался. Отпустите меня, тетенька. Что я вам сделал?

— Иди сюда, говорю тебе! — крикнула немка, и ее глаза в очках сделались резкими, как у галки.

Она схватила мальчика за плечо пальцами, твердыми, как щипцы, рванула к столу, ткнула носом в букварь.

— Вот это. Кто рисовал?

Что мог ответить Ваня? Улики были слишком очевидны. Молча, с побледневшим лицом, Ваня смотрел на обтрепанную страницу букваря, где поверх прописей и картинок была неумело, но довольно толково нарисована химическим карандашом схема реки с новым мостом и бродами.

Особенно Ваня гордился бродами. Он их сам разведаль и потом нарисовал так же точно, как это делали разведчики. Против каждого брода была поставлена толстая горизонтальная палочка, над которой была старательно выписана цифра 1, обозначающая глубину — один метр, а под палочкой буква, обозначающая качество дна: Т — твердое.

Ваня понял, что отпереться невозможно и он пропал.

— Кто это рисовал? — повторила немка голосом, задрожавшим, как сильно натянутая струна.

— Не знаю, — сказал Ваня.

— И ты не знаешь? — сказала немка, и лицо ее сначала покрылось пятнами, а потом стало сплошь темно-розовое, как земляничное мыло.

И вдруг она, проворно схватив мальчика за уши своими железными пальцами, с силой повернула его лицо вверх.

— Открой рот. Я тебе приказываю. Сию же минуту открой рот и покажи язык.

Ваня понял и сжал зубы. Тогда немка стиснула его необыкновенно сильными, мускулистыми коленями, всунула ему за щеки указательные пальцы и стала, как крючками, раздирать ему рот.

Ваня вскрикнул от боли и на мгновение показал язык. Немка посмотрела на него и сказала весело:

— Теперь мы знаем.

Весь Ванин язык был в лиловом анилине, потому что,

рисую схему, он старательно слюнявил химический карандаш.

— Итак, мальчик,— сказала немка, брезгливо вытирая о вязаную юбку свои толстые красные пальцы,— мы тебя будем спрашивать, а ты нам отвечай. Не так ли? Кто тебя научил делать топографические схемы, где они находятся, эти люди, и как их найти? Ты меня понял? Ты получишь трех опытных провожатых, и ты покажешь им дорогу.

— Я не знаю, про что вы меня спрашиваете,— сказал Ваня.

Мальчик стоял вплотную к столу. Он изо всех сил кусал губы. Его голова была упрямо опущена. С ресниц, как горошины, сыпались слезы, падая на схему, нарисованную на пробеле страницы между черной картинкой, изображающей топор, воткнутый в бревно, и красивой прописью в сетке косых линеек: «Рабы не мы. Мы не рабы».

— Говори,— тихо сказала немка и задышала носом.

— Не скажу,— еще тише промолвил Ваня.

И в тот же миг он увидел, как рука офицера с тонким обручальным кольцом на пальце медленно сползла вниз, открыв веснушчатое лицо нездорового цвета с остреньким красненьким носиком и крошечным старушечьим подбородком.

Глаза офицера Ваня заметить не успел, так как они вспыхнули, мелькнули — и оглушительная пощечина отбросила мальчика к стене.

Ваня стукнулся затылком о бревно, но упасть не успел. Его тотчас, одним рывком, бросили обратно к столу, и он получил вторую пощечину, такую же страшную, как и первая. И снова ему не дали упасть.

Он стоял, шатаясь, перед столом, и теперь на букварь из его носа капала кровь, заливая пропись: «Рабы не мы. Мы не рабы».

Перед глазами мальчика летали ослепительно-белые и ослепительно-черные значки, слипшиеся попарно. В ушах гудело, как будто бы он находился в пустом котле и по этому котлу снаружи били молотком. И Ваня услышал голос, показавшийся ему страшно тихим и страшно далеким:

— Теперь ты скажешь?

— Тетенька, не бейте меня! — закричал мальчик, в ужасе закрывая голову руками.

— Теперь ты скажешь? — нежно повторил далекий голос.

— Не скажу, — еле двигая губами, прошептал мальчик.

Новый удар отбросил его к стене, и больше уже ничего Ваня не помнил. Он не помнил, как два солдата волокли его из блиндажа и как немка кричала ему вслед:

— Подожди, мой голубчик! Ты у нас еще заговоришь после того, как три дня не получишь воды и пищи.

15

Ваня очнулся в полной темноте от страшных ударов, трясших землю. Его подбрасывало, швыряло от стенки, качало. Сверху с сухим шорохом сыпался песок. То он бежал тонкими ручейками, то вдруг обваливался громадными массами. Ваня чувствовал на себе тяжесть песка. Он был уже полузасыпан. Он изо всех сил работал руками, пытаясь выкопаться. Он обдирал себе ногти. Он не знал, сколько времени он был без сознания. Вероятно, довольно долго, потому что чувствовал голод, сильный до тошноты.

Он был насквозь прохвачен душной ледяной сыростью. Его зубы стучали. Пальцы ооченели, еле разгибались. Голова еще болела, но сознание было ясное, отчетливое.

Ваня понимал, что находится в том самом блиндаже, куда его заперли перед допросом, и что вокруг бомбежка.

С большим трудом, натываясь на трясущиеся стены, мальчик пополз отыскивать дверь. Он искал ее долго и, наконец, нашел. Но она была заперта снаружи и не поддавалась.

Вдруг совсем близко, над самой головой, раздался удар такой страшной силы, что мальчик на миг перестал слышать. Сверху, едва не стукнув его по голове, упало несколько бревен.

Дошатая дверь, сорванная с петель, разбилась вдребезги. Сквозь раскиданные бревна наката ярко ударил в глаза едкий дневной свет. Послышался слитный звук множества пулеметов, работающих совсем близко, как бы наперегонки.

Бомба, разметавшая блиндаж, где сидел Ваня, была

последней. В наступившей тишине отовсюду отчетливо слышалась машина боя, пущенная полным ходом. В ее беспощадном механическом шуме возвратившийся слух мальчика уловил нежный согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших: а-а-а-а!

И в Ванином сознании повторилась фраза, уже однажды слышанная им у разведчиков: «Пошла царица полей в атаку».

По осыпавшимся, заваленным земляным ступенькам мальчик выбрался из блиндажа и припал к земле. Он увидел лес, тот самый лес, в который его так недавно приволокли фашисты. Тогда в этом лесу был полный порядок, спокойствие, тишина. Всюду, как в парке, были проложены дорожки, посыпанные речным песком; через канавы были перекинуты хорошенькие мостики с перильцами, сделанными из белых березовых сучьев; над штабными блиндажами висели маскировочные сети с нашитыми на них зелеными квадратиками и шишками; под полосатыми грибами стояли тепло одетые часовые; во всех направлениях тянулись черные и красные телефонные провода; ходили девушки с судками; где-то в чаще дрожала походная электрическая станция, в специальных глубоко вырезанных ямах помещались, прикрытые ветками, штабные автобусы и легковые «опель-адмиралы».

Теперь же этот удобно оборудованный немецкий штабной лес был изуродован до неузнаваемости.

Вокруг рыжих дымящихся воронок лежали вырванные с корнем сосны, разноцветные обломки автомобилей, трупы немцев в обгоревших и еще дымящихся шивелях. Высоко на ветках болтались ключья маскировочных сетей. В воздухе стоял удушающий пороховой чад.

Со звуком, похожим на короткий свист хлыста, летели пули, сбивая кору и отрубая ветки.

Ваня тотчас понял, что немцы уже очистили лес, но наши еще в него не вошли. Это была короткая и вместе с тем томительно долгая пауза, во время которой батареи поспешно меняют позиции, минометчики взваливают на плечи свои минометы, телефонисты бегут, разматывая на бегу катушки, офицеры связи проносятся верхом на граненых броневиках, минеры водят перед собой длинными щупами и стрелки с винтовками наперевес пробегают, уже не ложась, по земле, где пять минут назад был неприятель.

С сильно бьющимся сердцем, прижавшись к земле, Ваня ждал, когда же наконец покажутся свои.

И вот они показались.

Первым был большой солдат в грязной, разорванной, развевающейся плащ-палатке. Он пробежал между стволами, упал на колени, быстро переменял диск в автомате, потом лег и прицелился.

Ване казалось, что он прицеливается целую вечность. А на самом деле он целился всего несколько секунд. Он выбирал. Наконец он нажал спусковой крючок. Автомат с круглым черным диском затрясся от короткой очереди.

И в тот же миг Ваня узнал солдата. Это был Горбунов. Но как он изменился! Это был все тот же богатырь — плотный, широкий, даже толстый, но куда девалась его добродушная, свойская, щербатая улыбка. Теперь его лицо с белыми ресницами, озабоченное, разъяренное боем, темное от копоти, смотрело грозно.

Как не похож был этот Горбунов на того Горбунова, которого Ваня привык видеть, — чисто выбритого, белого, розового, доброжелательного.

Но если тот Горбунов был просто хорош, то этот был прекрасен.

— Дядя Горбунов! — крикнул Ваня тонким голосом, стараясь перекричать шум боя.

И в ту же минуту глаза их встретились.

На лице Горбунова вспыхнула радостная улыбка — та, прежняя, широкая, артельная улыбка, открывшая щербатые зубы.

— Пастушок! Ванюшка! — крикнул Горбунов на весь лес своим богатырским, но вместе с тем и немного бабьим высоким голосом. — Будь ты неладен! Гляди — жив! А я думал — ты и вовсе пропал. Друг ты мой сердечный, ну что ты скажешь, — говорил он, одним махом очутившись рядом с Ваней. — Ну, брат, задал ты нам заботу!

Он крепко обнял мальчика, прижал его к себе, потом взял горячими руками за щеки и два раза поцеловал в губы жесткими солдатскими губами.

Невероятное счастье испытал Ваня, почувствовав тепло его большого потного тела, распаренного боем.

Все, что с ним происходит, казалось Ване сном, чудом. Ему хотелось еще крепче прижаться к Горбунову, спрятаться под его плащ-палатку и так сидеть сколько угодно — хоть пять часов подряд. Но он вспомнил, что он солдат и что солдату не подобают такие глупости.

— Дядя Горбунов,— сказал он быстро,— тут в лесу есть один штабной блиндаж, где они меня допрашивали. Куда лучше, чем тот наш с карбидной лампой. Раза в два больше.

— Да что ты говоришь!

— Честное батарейское.

— А теплый? — озабоченно спросил Горбунов.

— Ого! Теплей не надо. И там у них еще радио было. Все время играло.

— Радио? Это нам очень надо,— засуетился Горбунов, почувствовав прилив хозяйственной деятельности.— А ну, где этот блиндаж, показывай!

— Тут недалеко.

— Так давай будем занимать. А то другие для себя захватят. А я уж давно интересовался достать для команды такой блиндаж, чтобы в нем и радио было. Наша батарея аккуратно должна идти по этому направлению.

Они бросились к блиндажу.

— Этот? — спросил Горбунов.

— Этот,— сказал Ваня, презрительно сузив глаза.

Горбунов вынул из шаровар кусок угля, специально припасенный для подобного случая, и быстро написал на двери крупными буквами:

«Занято командой разведчиков взвода управления первой непобедимой батареей Н-ского артполка. Ефрейтор Горбунов».

А тем временем через лес уже мчались, виляя между стволами, грузовики с прицепленными сзади легкими семидесятишестимиллиметровыми пушками.

Это меняла огневую позицию батарея капитана Енакиева.

— Ну, пастушок, конечно твое дело. Погулял — и будет. Сейчас мы из тебя настоящего солдата сделаем.

С такими словами ефрейтор Биденко бросил на койку объемистый сверток с обмундированием. Он расстегнул новенький кожаный пояс, которым был туго стянут этот сверток. Вещи распустились, и Ваня увидел новенькие шаровары, новенькую гимнастерку с погонами, бязевое белье, портянки, вещевой мешок, противогаз, шинельку, цигейковую трехую шапку с красной звездой, а глав-

ное — сапоги. Превосходные маленькие юфтовые сапоги на кожаных подметках со светлыми точками деревянных гвоздей, аккуратно сточенных рашпилем.

Ваня долго ждал этой минуты. Он мечтал о ней все время. Он предвкушал ее. Но когда она наступила, мальчик не поверил своим глазам. У него захватило дух.

Казалось совершенно невероятным, что все эти превосходные, крепко сшитые, новенькие вещи — громадное богатство! — теперь принадлежат ему.

Ваня смотрел на обмундирование, не решаясь дотронуться до него. Особенно хотелось потрогать маленькие латунные пушечки на погонах. Палец так и тянулся к ним, но тотчас отдергивался, словно пушечки были раскаленные.

Ваня, дрожа ресницами, смотрел то на вещи, то на Биденко.

— Это все мне? — наконец сказал он робко.

— Безусловно.

— Нет, скажите правду, дядя Биденко.

— Правду говорю.

— Честное батарейское?

— Честное батарейское.

— И честное разведчицкое?

— Это само собой понятно, — сказал Биденко, хмурясь, чтобы не улыбнуться. — Я даже вместо тебя в ведомости расписался.

— Ух ты, сколько вещей!

— Вещевое довольствие, — строго заметил Биденко. — Сколько положено, столько и есть. Ни больше, ни меньше.

Только теперь, услышав магические слова «ведомость», «вещевое довольствие», а главное — «положено», Ваня наконец понял, что это не сон. Вещи действительно принадлежат ему.

Тогда он, не торопясь, по-хозяйски, стал перебирать и перекладывать их, внимательно рассматривая каждую вещь в отдельности на свет.

Наконец, все перебрав и всем насладившись, Ваня сказал:

— Можно уже надевать обмундирование?

Но Биденко покачал головой и засмеялся.

— Ишь ты, какой скорый. «Одеваться»! Понравилось! Нет, брат, прежде мы с тобой в баньку ходим, затем пат-

лы твои снимем, а уж потом и война из тебя делать будем.

Ваня тяжело вздохнул, но смолчал. Как ему ни хотелось поскорее надеть на себя обмундирование и наконец превратиться в настоящего солдата, он не посмел возражать старшему. Он уже чувствовал, хотя еще и не вполне понимал, что такое воинская дисциплина. Он уже научился беспрекословно подчиняться. Он уже однажды на собственном опыте убедился, что значит самовольный поступок и к чему он может привести. Ему до сих пор было совестно перед Биденко и Горбуновым за то беспокойство, которое он причинил им, занявшись без спросу топографией. Двое суток Горбунов, каждую минуту рискуя быть схваченным немецким патрулем и поплатиться жизнью, скрывался в немецком штабном лесу, разыскивая Ваню.

Это мальчик знал. Но многого он не знал. Он не знал, что Горбунов твердо решил без него в часть не возвращаться. Горбунов взял Ваню в разведку без разрешения и отвечал за него перед командиром батареи головой. Ваня также не знал, что, когда Биденко, благополучно вернувшись в часть, доложил по команде о происшествии, капитан Енакиев пришел в бешенство. Он обещал отдать лейтенанта Седых, командира взвода управления, под суд и приказал немедленно отправить на розыски мальчика группу разведчиков в пять человек. К счастью, в этот же день началось новое наступление, и все решилось само собой.

На этот раз немецкий фронт был прорван более чем на сто километров в ширину. В первый же день наши войска с боем прошли более тридцати километров вперед, не давая немцам останавливаться и привести себя в порядок.

Потому к исходу этого славного дня штабной лес — так его именовали на картах и в донесениях — оказался у нас в глубоком тылу, а наши войска продолжали безостановочно продвигаться, парализуя удары, так что блиндаж, занятый Горбуновым для своей команды, не понадобился.

Все же Ваня побывал в этом проклятом блиндаже. Немцы бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось, как было. Даже черная фуражка висела на тесовой стене.

Ваня взял со стены свою торбу, компас и букварь,

по-прежнему открытый на разрисованной странице с прописью: «Рабы не мы. Мы не рабы», запачканной высохшей кровью.

Наступление развивалось быстро. Тылы отстали. Поэтому прошло довольно много времени, пока пришло Ванино обмундирование. Затем обмундирование нужно было еще перешить и подогнать по росту мальчика.

В условиях ежедневных передвижений это было почти невозможно. Но разведчики употребили все свое влияние для того, чтобы на ходу найти хорошего портного, сапожника, а главное — парикмахера с машинкой.

Хозяйственный Горбунов не поспешил на угощение. В ход пошла и свиная тушенка, и сотня трофейных сигарет, немало рафинада и фляжка чистого авиационного спирта.

За портным, сапожником и парикмахером, которых отыскивали во втором эшелоне у гвардейских минометчиков, ухаживали, как за любимыми родственниками, не щадя продуктов. Зато все Ванино обмундирование было готово в самый короткий срок и вызвало единодушное восхищение разведчиков. Такое оно было маленькое, аккуратное, толковое, с иголки. А посмотреть на Ванины сапожки приходили даже солдаты из соседних блиндажей.

Теперь все стояло только за баней и парикмахером.

Баня, устроенная в землянке, уже топилась, а парикмахера с машинкой ждали. И вот парикмахер наконец явился, предшествуемый Горбуновым.

— Ну-ка, друзья. Попрошу вас — не раскидывайтесь, освободите лишнее место. А то товарищу парикмахеру неловко будет работать. Надо ему создать для работы необходимые условия, — говорил Горбунов, суетливо расчищая для парикмахера место и ставя посредине тесной маленькой землянки ящик из-под осколочных гранат. — Иди сюда, Ваня. Садись. Не бойся. Сейчас тебя товарищ парикмахер будет стричь.

Чувствуя необыкновенно сильное волнение человека, вступающего в новую, прекрасную жизнь, Ваня сел на ящик и робко положил руки на колени.

Все взоры в эту знаменательную минуту были обращены на него, на маленького босого «пастушка», готового к превращению в солдата.

Парикмахер был немолодой человек с добрыми воспаленными глазами и элегической улыбкой на рыжем лице.

По званию он был сержант, но погонов его не было видно, так как на нем поверх толстой шинели был надет очень узкий и очень коротенький — совсем детский — бязевый халатик, из бокового кармана которого торчала алюминиевая гребенка.

Он был военоторговский парикмахер. Фамилия его была Глазс. Но по фамилии его называли редко, а большей частью называли его «Восемь Сорок».

Это прозвище утвердилось за сержантом Глазс под Орлом, когда он однажды брил приезжего писателя.

Он усадил писателя на травке, на обратном склоне холма, известного в донесениях того времени как «безыменная высотка к северо-западу от железнодорожного виадука».

Бритье происходило метрах в пятистах от немецкого переднего края. Немцы все время вели по «безыменной высотке» так называемый тревожащий огонь из миномета.

Но сержант Глазс любил свежий воздух и предпочитал работать на просторе, а не мучиться в тесной щели, где негде было повернуться, тем более что, как известно, немецкий тревожащий огонь обыкновенно меньше всего тревожил русских.

Сержант Глазс брил писателя с особенным старанием, с душой, желая дать ему понять, что парикмахерское дело поставлено в Военторге на должную высоту. Он побрил писателя очень тщательно два раза — один раз по волосу, другой раз против волоса. Он хотел пройтись еще и третий раз, но писатель сказал:

— Не надо.

Затем Глазс подправил писателю волосы на затылке и спросил, какие виски он предпочитает — прямые, косые или севастопольские полубачки?

— Все равно, — сказал писатель, прислушиваясь к разрывам мин на гребне безыменной высотки.

— В таком случае я вам сделаю косые. У нас почти все гвардейцы-минометчики предпочитают косые.

— Ну, пусть будут косые, — сказал писатель.

— Вас не беспокоит? — спросил Глазс, уловя некоторое раздражение в голосе клиента.

— Я тороплюсь, — сказал писатель.

— Пять минут. Не больше, — сказал Глазс. — Я должен вам сделать виски, как следует быть, для того чтобы вы могли иметь представление о работе военоторгов-

ских парикмахеров. Может быть, это вам пригодится как материал для статьи.

Когда Глазс делал писателю второй висок, довольно близко от них разорвалась мина.

— Не беспокойтесь,— сказал Глазс,— он кидает набум. Это никого не волнует. Разрешите попудрить?

— У вас есть и пудра? — удивился писатель.

— Разумеется. У нас есть все, что положено для культурной парикмахерской.

— Как, даже одеколон? — еще больше изумился писатель.

— Разумеется, — сказал Глазс. — Разрешите освежить?

— Освежите,— сказал писатель.

Глазс вынул из кармана склянку, сунул в нее трубку и подул писателю в лицо одеколоном. Он уже собирался вытереть клиенту лицо вафельным полотенцем, как вдруг прислушался и сказал:

— А вот теперь я вам советую на одну минуту спуститься в щель.

И едва они успели спрыгнуть в щель, как совсем рядом разорвалась мина, в один миг уничтожившая все инструменты Глазса, оставленные на траве: помазок, чашечку, оселок, тюбик крема для бритья и зеркало.

Когда ветер унес коричневый дым, писатель не без юмора сказал:

— Сколько прикажете?

Тогда парикмахер поднял свои воспаленные глаза к небу, некоторое время шевелил губами и, наконец, сказал:

— Восемь сорок.

Вот каков был человек, явившийся брить «пастушка».

Он развернул вафельное полотенце, где у него были завернуты инструменты, и в большом порядке разложил их на пустой койке, полотенце же завязал Ване вокруг шеи.

— Давно не был в бане? — деловито спросил он мальчика.

— С сорок первого года,— сказал Ваня.

— Сравнительно не так давно, — сказал Восемь Сорок.

Все почтительно засмеялись. Было сразу видно, что Восемь Сорок человек знаменитый и в своей области счи-

тается профессором, оказавшим большую честь своим визитом.

— Сто граммов сейчас будете пить или после работы? — спросил Горбунов, ставя на койку фляжку, кружку, два громадных ломтя хлеба и открытую банку свиной тушенки.

— До войны у нас в Бобруйске умные люди имели обыкновение сначала работать, а уже потом выпивать, — сказал парикмахер меланхолично. — Что будем делать с молодым человеком? — спросил он, поднимая двумя пальцами волосы мальчика на затылке.

— Постричь надо ребенка, — жалостным бабьим голосом сказал Биденко, с нежностью глядя на «пастушка».

— Это ясно, — сказал Восемь Сорок, — но возникает вопрос: как именно стричь? Стрижка бывает разная. Есть нулевая, есть под гребенку, есть под бокс, есть с чубчиком.

— С чубчиком, — сказал Ваня.

— Почему именно с чубчиком?

— Я так видел у одного мальчика, гвардейского кавалериста. У ихнего сына полка. У ефрейтора Вознесенского. Красивый чубчик!

— Знаю. Моя работа, — сказал парикмахер.

— Нет, артиллеристу с чубчиком не подходит, — строго сказал Биденко. — Для конника — да. А для батарейца — нет. Батарейца надо стричь под ноль-ноль. Чтоб — как шаром покати.

— Ну, брат, не думаю, — сказал Горбунов. — Под ноль это, скорее всего, годится для пехотинца, а для артиллериста — никак. Какой же он будет бог войны, если у него волосы — шаром покати? Скорее всего, артиллериста надо стричь под бокс. Это более подходяще.

— Под бокс — это для авиации, — глухо сказал кто-то из угла.

— Для авиации? Пожалуй, да. Стало быть, под гребенку.

— Это уж будет слишком по-танкистски.

— Верно, братцы! Чересчур бронетанковый вид получится у нашего Вани. Это не годится. Надо его так подстричь, чтобы сразу было видать, что малый — артиллерист.

Довольно долго вся команда разведчиков обсуждала вопрос о Ваниной стрижке. Парикмахер терпеливо ждал. Когда же выяснилось, что в конце концов никто толком

не знает, как надо стричь по-артиллерийски, Восемь Сорок сказал со снисходительной улыбкой:

— Хорошо. Теперь я его буду стричь так, как я то сам себе мыслю. Мальчик, нагни голову.

И с этими словами вынул из бокового карманчика алюминиевую гребенку.

— Только с чубчиком,— жалобно сказал Ваня.

— И височки не забудьте покосее,— добавил Горбунов.

— Не беспокойтесь,— сказал парикмахер, и в его высоко поднятой руке звонко защебетали ножницы.

На вафельное полотенце посыпались густые хлопья Ваниных волос.

Восемь Сорок был великий мастер своего дела. Это знали все. Но тут он превзошел самого себя. Он стриг мальчика и так и этак, всеми способами, на все фасоны.

В его руках, как у фокусника, менялись инструменты. То мелькали ножницы, то повизгивала машинка, то вдруг на миг вспыхивала, как молния, бритва, прикасаясь к вискам.

И по мере того как на вафельном полотенце вырастала гора снятых волос, голова мальчика волшебю изменялась.

Ваня ежился и сдержанно хихикал от прикосновения холодных инструментов к своей непривычно оголенной голове. Посмеивались и разведчики, видя, как их «пастушок» на глазах превращается в маленького солдатыка.

Его острые уши, освобожденные из-под волос, казались несколько великоваты, шейка несколько тонка, зато лоб казался открытый, круглый, упрямый, но только с небольшой хорошенькой челочкой.

Челочка вызвала у разведчиков особенное восхищение. Это было как раз то, что нужно. Не бесшабашный кавалерийский чубчик, а именно приличная, скромная артиллерийская челка.

— Ну, брат, конечно дело! — воскликнул в восторге Горбунов. — Сняли с нашего пастушка крышу.

Ване страсть как хотелось поскорее посмотреть на себя в зеркало, но парикмахер, как истинный артист и взыскательный художник, еще долго возился, окончательно отделывая свое произведение.

Наконец он обмахнул Ванину голову веничком и пошел на Ваню из трубочки одеколоном. Ваня не успел за-

жмуриться. Глаза жгуче защипало. Из глаз брызнули слезы.

— Готово, — сказал парикмахер, сдергивая с Вани полотенце, — любуйся.

Ваня открыл глаза и увидел перед собой маленькое зеркало, оклеенное позади обоями, а в зеркале чужого, но вместе с тем странно знакомого мальчика, со светлой голой головкой, крупными ушами, крошечной льняной челочкой и радостно раскрытыми синими глазами.

Ваня погладил себя холодной ладонью по горячей голове, отчего и ладони и голове стало щекотно.

— Чубчик, — восхищенно прошептал мальчик и тронул пальцем шелковистые волосики.

— Не чубчик, а челочка, — наставительно сказал Биденко.

— Пускай челочка, — с нежной улыбкой согласился Ваня.

— Ну, а теперь, брат, в баньку!

17

Пока знаменитый мастер заворачивал инструмент в полотенце, пока он затем выпивал честно заработанные сто граммов и закусывал, Горбунов и Биденко повели мальчика в баню.

Хотя банька эта была устроена в маленьком немецком блиндаже и состояла из печки, сделанной из железной бочки, и казана, сделанного тоже из железной бочки, так что горячая вода немного пахла бензином, но для Вани, не мывшегося уже три года, эта банька показалась раем.

Оба дружка — Горбунов и Биденко — знали толк в банях. Они сами любили париться, да и других любили хорошо попарить.

Они вымыли мальчика на славу.

Для такого случая Горбунов не пожалел куска душистого мыла, которое уже два года лежало у него на дне вещевого мешка, ожидая своего часа. А Биденко добыл у земляков из батальона капитана Ахунбаева рогожу и нащипал из нее отличной мочалы.

Что касается березовых веников, то, к немалому изумлению Вани, они тоже нашлись у заасливого Горбунова.

В бане горел фонарь «летучая мышь». В жарком, туманном воздухе, насыщенном крепким духом распаренного березового листа, оба разведчика двигались вокруг мальчика, наклоняя головы, чтобы не стукнуться о бревенчатый потолок.

Их богатырские тени, как балки, пробивали туман.

В какие-нибудь полчаса они так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскаленная железная печка.

Но конечно, добиться этого было не так-то легко. Биденко и Горбунов употребили все свои богатырские силы для того, чтобы смыть с мальчика трехлетнюю грязь. Они по очереди терли ему спину рогожной мочалкой, они покрывали его тело душистой мыльной пеной, они обливали его горячей водой из громадной консервной банки, они клали его на скользкую лавку и шлепали его в два веника, очень напоминая при этом кустарную деревянную игрушку «мужик и медведь», причем в особенности напоминал медведя голый Горбунов, весь как бы грубо сработанный долотом из липы.

В пяти водах пришлось мыть Ваню, и после каждой воды его снова мылили.

Первая вода потекла с него до того черная, что даже показалась синей, как чернила. Вторая вода была просто черная. Третья вода была серая. Четвертая — нежно-голубая. И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.

— Ну, брат, намучились с тобой, сил нет, — сказал Горбунов, вытирая с лица пот, — тебя, знаешь, брат, надо было скрести не мочалой, а, скорее всего, наждачной бумагой.

— Или даже рашпилем, — добавил Биденко, с удовольствием разглядывая хотя и худую, но стройную, крепкую фигурку «пастушка» с прямыми, сильными ногами и по-детски острыми ключицами.

Особенно же умилили разведчиков Ванины лопатки, выступающие на чистенькой спине, как топорики.

Ваня вытерся собственным новым полотенцем и надел в предбаннике собственное белье — рубаху и подштанники с оловянными пуговицами.

И вот наступила великая минута: Ваня наконец надел на себя обмундирование. Он надел шерстяную гимнастерку с воротником, аккуратно подшитым белым полотняным

воротничком. Ваня почувствовал на своих плечах твердо картонки погон и шнурочки, которыми эти погоны были привязаны к гимнастерке сквозь специальные дырочки.

Почувствовав погоны, мальчик вместе с тем почувствовал гордое сознание, что с этой минуты он уже не простой мальчик, а солдат Красной Армии.

Он стоял, с мокрой челочкой, босиком на полу предбанника, усталном можжевельником. Он смотрел, поднимая глаза на своих воспитателей, как бы спрашивая: «Ну как? Правильно я обмундировываюсь?»

Но они молчали, внимательно наблюдая, как он одевается. Продолжая искоса поглядывать на великанов, Ваня чистенькими, белыми, сморщенными от воды пальцами стал застегивать толстый воротник и тесные рукава.

С непривычки это было довольно трудно. Крепко пришитые медные пуговицы со звездочками с трудом пролезали в тесные петельки. Петельки то и дело выскальзывали из пальцев. Но мальчик, упрямо сжав губы, все-таки наконец справился с ними.

Теперь его запястья были тесно и прочно схвачены рукавами. Застегнутый воротник плотно облегал шею, делая ее твердой, прямой.

Оставалось только надеть пояс и обуться.

Мальчик был в затруднении. Он не знал, что «положено» — надевать сначала пояс или сапоги. Он вопросительно посмотрел на Биденко и Горбунова. Они молчали. Немного подумав, Ваня взялся за сапоги.

— Правильно, — сказал Биденко.

Ваня натянул белые нитяные носки и решительно взял портянки. Он никогда еще не надевал портянок. Он не знал, как с ними надо обращаться.

Горбунов легонько толкнул локтем Биденко. Ваня сердито нахмурился и покраснел. Он быстро намотал на ногу портянку. Горбунов и Биденко молчали. Ваня взял сапог и сунул в него обмотанную ногу, но она застряла в голенище. Ваня стал тянуть ее назад и с трудом вытащил.

— Не лезет, — сказал он, отдуваясь.

Разведчики молчали. Ваня покраснел еще больше.

— А, черт! — сказал Ваня и снова стал со злобой вбивать ногу в сапог.

— Не лезет? — сказал Биденко сочувственно.

— Не лезет, — сказал Ваня, кряхтя.

— Значит, узкие, — сказал Горбунов.

— Да, — сказал Биденко и вздохнул. — Никуда не го-

дятся сапоги. Испортил, проклятый сапожник. Придется их выкинуть. Верно, Чалдон?

— Не иначе. Давай сюда сапоги, Ваня. Я их сейчас выкину.

Ваня испугано посмотрел на Горбунова.

— Не надо, дяденька. Я их без портянок попробую надеть. Может быть, палезут.

— Без портянок нельзя. Не положено.

Неумолимое слово «не положено» привело мальчика в отчаяние. Он схватил сапог и снова стал его натягивать. Он натянул его до половины. Дальше нога решительно не лезла. Тогда Ваня попытался стащить сапог. Но это тоже не вышло. Нога прочно застряла. Ни туда, ни сюда.

— Плохо дело,— сказал спокойно Биденко.

— Погоди,— сказал Горбунов. — А может быть, не сапог узкий, а портянка чересчур толстая попалась?

— Ага! Чересчур толстая! — неуверенно сказал Ваня, чувствуя, что дело тут совсем не в сапоге и не в портянке и что есть какой-то солдатский секрет, который Горбунов и Биденко отлично знают, да только не хотят ему сказать: испытывают его.

Мальчик жалобно смотрел на своих учителей, и они не стали его слишком долго мучить.

— Так что, пастушок,— сказал Биденко строго, назидательно,— выходит дело, что из тебя не получилось настоящего солдата, а тем более артиллериста. Какой же ты батареец, коли ты даже не умеешь портянку завернуть как положено? Никакой ты не батареец, друг сердечный. Стало быть, одно: переодеть тебя обратно в гражданского и отправить в тыл. Верно?

Ваня молчал, подавленный мрачной перспективой лишиться обмундирования и схать в тыл.

— Такие-то дела, Ванюша,— продолжал Биденко.— Но я сказал это только так, к примеру. В тыл мы тебя, конечно, отправлять не будем, поскольку ты уже прошел приказом, а также потому, что сильно к тебе привыкли. Стало быть, одно. Придется тебе научиться заворачивать портянки, как полагается каждому культурному воину. И это будет твоя первая солдатская наука. Гляди.

С этими словами Биденко разостлал на полу свою портянку и твердо поставил на нее босую ногу. Он поставил ее немного наискосок, ближе к краю, и этот треугольный краешек подsunул под пальцы. Затем он сильно натянул

длинную сторону портянки так, что на ней не стало ни одной морщинки. Он немного полюбовался тугим полотнищем и вдруг, с молниеносной быстротой, легким, точным, воздушным движением запахнул ногу, круто обернул полотнищем пятку, перехватил свободной рукой, сделал острый угол и остаток портянки в два витка обмотал вокруг лодыжки.

Теперь его нога — туго, без единой морщинки, была спелената, как ребенок.

— Куколка! — сказал Биденко и надел сапог.

Он надел сапог и не без щегольства притопнул каблуком.

— Красота, — сказал Горбунов. — Можешь сделать так?

Ваня во все глаза с восхищением смотрел на действия Биденко. Он не пропустил ни одного движения. Ему казалось, что он в точности может повторить все это. Однако, живя с солдатами, он научился солдатской осторожности. Ему не хотелось осрамиться.

— А ну-ка, дядя Биденко, покажи мне еще один раз.

— Изволь, брат.

И Биденко обернул портянкой вторую ногу, и надел на нее сапог, и притопнул с еще большей быстротой и точностью.

— Заметил?

— Заметил, — сказал Ваня, став необыкновенно серьезным.

Он разостлал на лавке свою портянку совершенно так же, как это сделал Биденко. Он долго примеривался, прежде чем поставить на нее ногу. Вид у него был смущенный, даже робкий. Но Ваня притворялся. В его опущенных глазах нет-нет да и продергивалась сквозь ресницы сняя озорная искорка.

Для того чтобы не обнаружить улыбку, Ваня покусывал губы, сизые после купанья.

И вдруг в один миг он обернул ногу портянкой по всем правилам — туго, почти без единой морщинки.

— Куколка! — крикнул он, натянул сапог и лихо притопнул каблучком.

— Силен! — сказал Горбунов, обменявшись с Биденко многозначительным взглядом.

С каждым днем мальчик правился им все больше и больше. Они не ошиблись в нем. Это действительно был толковый, смышленный парнишка, который все схватывал

на лету. Теперь уже не могло быть сомнения, что из него выйдет отличный солдат.

Когда же Ваня надел сапоги и подпоясался новеньким, скрипучим ремнем, оба разведчика даже захотали от удовольствия — такой стройный, такой ладный стоял перед ними мальчик, вытянув руки по швам и сияя озорными глазами. Даже веснушки, появившиеся на отмытом носу, сияли.

— Хорошо, — сказал Биденко. — Молодец, пастушок. Вот теперь ты настоящий вояка!

Но Горбунов, внимательно осмотрев мальчика, остался недоволен.

— А ну-ка, подойди. Два шага вперед! — скомандовал он.

И, когда Ваня приблизился, Горбунов сунул ему за пояс кулак.

— Никуда, брат, не годится. У тебя пояс болтается, как на корове седло. Целый кулак вошел, а положено, чтобы два пальца входили. Отставить.

Ваня быстро рванул ремень, туго его затянул, но застегнуть не мог, так как не было больше дырочек. Тогда Биденко достал из необъятного кармана своих шаровар ножик и проколол в Ванином поясе еще одну дырочку. Теперь пояс затягивал Ваню как положено.

Не дожидаясь нового замечания, мальчик крепко обтянул гимнастерку и все складки согнал назад.

— Верно, — сказал Горбунов. — Теперь молодец.

Появление обмундированного Вани в блиндаже разведчиков вызвало общий восторг. Но не успели еще разведчики как следует налюбоваться своим сыном, как в землянку вошел сержант Егоров.

Он окинул мальчика быстрым, внимательным взглядом и, видимо, остался доволен, так как не сделал никакого замечания.

— Пастушок, — сказал он, — живо собирайся. К командиру батареи.

На войне все совершается быстро. Судьба солдат меняется неожиданно. Глазом не успеешь мигнуть.

И через две минуты Ваня в новой шинели и новой пухляковой шапке, которая глубоко сидела на его стриженной, скользкой голове, уже шел по расположению батареи, разыскивая командирский блиндаж.

Капитан Енакиев отдыхал. Не часто приходилось ему отдыхать. Но даже и эти счастливые дни, а то и часы отдыха капитан Енакиев старался употребить с наибольшей пользой для службы.

Имелось много дел, которыми не было времени заняться в дни боев. В большинстве эти дела были очень важные, хотя и не первоочередные. Капитан Енакиев никогда о них не забывал. Он только откладывал их до более свободного времени.

Что же касается своих личных дел, то личных дел у него почти не было. После гибели семьи ему не от кого было получать письма и некому было больше писать. У него не было родственников. Он был совсем одинок. Но он был человек замкнутый. О его несчастье и о его одиночестве почти никто в полку не знал и лишь немногие догадывались.

Батарея сделалась семьей капитана Енакиева. А у каждой семьи есть свои внутренние, семейные дела. Этими-то семейными делами батареи капитан Енакиев обычно занимался в дни своего отдыха.

К числу их принадлежал и вопрос о дальнейшей судьбе Вани Солнцева.

Капитан Енакиев видел мальчика и разговаривал с ним всего один раз. Но у Вани была счастливая способность нравиться людям с первого взгляда. Было что-то необыкновенно привлекательное в этом оборванном, деревенском «пастушке» с холщовой торбой, в его заросшей голове, похожей на соломенную крышу маленькой избушки, в его синих ясных глазах.

Капитан Енакиев, так же как и его солдаты, с первого взгляда полюбил мальчика.

Но разведчики полюбили Ваню как-то весело, может быть, даже немного легкомысленно. Они в шутку называли его своим сыном. Но, вернее сказать, он был для них не сыном, а младшим братишкой, озорным и забавным пареньком, внесшим так много разнообразия в их суровую боевую жизнь.

Что же касается капитана Енакиева, то мальчик пробудил в его душе более глубокие чувства. Ваня растравил в его душе еще не зажившую рану.

Разрешив разведчикам оставить Ваню у себя, капитан Енакиев не забыл о нем. Каждый раз, как лейтенант Се-

дых докладывал о делах взвода управления, капитан Енакиев непременно спрашивал и о мальчике.

Он часто о нем думал. И, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы семь лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете.

Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет. Он ничуть не был на него похож — ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Тот мальчик был еще слишком мал, чтобы иметь какой-нибудь определенный характер, а Ваня уже был почти сложившийся человек. Нет, дело, конечно, было не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику.

Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала.

Когда капитану Енакиеву донесли о разведке, в которой участвовал Ваня, когда он узнал о происшествии в штабном лесу, он очень рассердился. Только тогда он понял, как ему дорог этот веснушчатый, чужой для него мальчик. Он разрешил оставить Ваню у разведчиков, но он ничего не говорил о том, чтобы посылать мальчика в разведку. Плохо бы пришлось лейтенанту Седых, если бы дело не кончилось благополучно.

Капитан Енакиев тогда же решил при первом удобном случае заняться Ваней Солнцевым вплотную.

По множеству мелких признаков, которые всегда отличают место, где находится командирская квартира, Ваня Солнцев, никого, по обычаю разведчиков, не расспрашивая, сам быстро нашел блиндаж капитана Енакиева.

Непривычно стуча по ступенькам скользкими, немного выпуклыми подметками новых сапог, Ваня спустился в командирский блиндаж.

Он испытывал то чувство подтянутости, лихости и вместе с тем некоторого страха, которое всегда испытывает солдат, являющийся по вызову командира.

Капитан Енакиев сидел по-домашнему — без сапог, в расстегнутом кителе, под которым виднелась голубая байковая фуфайка, на походной койке, застланной попоной.

Койка его отличалась от койки любого разведчика лишь тем, что на ней была подушка в свежей, только что выглаженной наволочке.

Без шинели и без фуражки, с несколькими потертыми орденскими ленточками на кителе, с небольшой проседью в темных висках, командир батареи показался Ване более старым, чем тогда, когда он его увидел в первый раз.

Ваня обеими руками стащил с головы шапку и сказал:
— Здравствуйте, дяденька!

Капитан Енакиев посмотрел на него темными глазами, окруженными суховатыми морщинами, и слегка прищурился. В первую минуту он не узнал «пастушка» Ваню в этом стройном и довольно высоком солдате, — сапоги прибавляли ему роста, — с круглой крепкой головой, высунутой из широкого воротника новой шинели с артиллерийскими погонами и петлицами.

— Здравствуйте, дяденька, — повторил Ваня, сияя счастливыми глазами и как бы приглашая командира батареи обратить внимание на свою одежду.

Но так как Енакиев продолжал молчать, Ваня осторожно присел возле двери на ящик, подтянул голенища сапог и положил на колени руки, в которых он держал шапку.

— Ты кто такой? — наконец сказал капитан с холодным любопытством.

Никакой вопрос не доставил бы Ване большего удовольствия.

— Это же я, Ваня, пастушок, — сказал мальчик, широко улыбаясь. — Не узнали меня разве?

Но капитан не улыбнулся, как того ожидал Ваня. Напротив, лицо его стало еще холодней.

— Ваня? — прищурился, сказал он. — Пастушок?

— Ага.

— А во что это ты нарядился? Что это у тебя на плечах за штучки?

Ваня слегка растерялся.

— Это погоны, — сказал он неуверенно.

— Зачем?

— Положено.

— Ах, положено! Для чего же положено?

— Всем солдатам положено, — сказал Ваня, удивляясь неосведомленности капитана.

— Так ведь это солдатам. А ты разве солдат?

— А как же! — с гордостью сказал Ваня. — Приказом даже прошел. Вещевое довольствие нынче получил. Новенькое. На красоту.

— Не вижу.

— Чего вы не видите, дяденька? Вот же оно, обмундирование. Сапожки, шинелька, погоны. Глядите, какие пушечки на погонах. Видите?

— Пушки на погонах вижу, а солдата не вижу.

— Так я же самый и есть солдат,— окончательно сбитый с толку ледяным тоном капитана, прошептал Ваня, глупо улыбаясь.

— Нет, друг мой, ты не солдат.

Капитан Енакиев вздохнул, и вдруг лицо его стало суровым. Он кинул на стол исторический журнал, заложив его карандашиком, и резко сказал, почти крикнул:

— Так солдат не является к своему командиру батареи. Встать!

Ваня вскочил, вытянулся и обмер.

— Отставить. Явись сызнова.

И тут только мальчик сообразил, что, всецело занятый своим обмундированием, он забыл все на свете — и кто он такой, и где находится, и к кому явился по вызову.

Он проворно нахлобучил шапку, выскочил за дверь, поправил сзади пояс, заложенный за хлястик, и снова вошел в блиндаж, но уже совсем по-другому.

Он вошел строевым шагом, щелкнул каблуками, коротко бросил руку к козырьку и коротко оторвал ее вниз.

— Разрешите войти? — крикнул он писклявым детским голосом, который ему самому показался лихим и воинственным.

— Войдите.

— Товарищ капитан, по вашему приказанию явился красноармеец Солнцев.

— Вот это другой табак,— смеясь одними глазами, сказал капитан Енакиев. — Здравствуйте, красноармеец Солнцев.

— Здравия желаю, товарищ капитан! — лихо ответил Ваня.

Теперь уже капитан Енакиев не скрывал веселой, добродушной улыбки.

— Силен! — сказал он то самое, очень распространенное на фронте словечко, которое мальчик уже много раз слышал по своему адресу и от Горбунова, и от Биденко, и от других разведчиков. — Теперь я вижу, что ты солдат, Ванюша. Давай садись. Потолкуем. Соболев, чай поспел? — крикнул капитан Енакиев.

— Так точно, поспел,— сказал Соболев, появляясь с большим чайником, охваченным паром.

— Наливай. Два стакана. Для меня и для красноармейца Солнцева. А то он подумает, что мы с тобой живем хуже, чем его разведчики. Верно, Соболев?

— Это уж как водится, — сказал Соболев, топом своим давая понять, что он вполне разделяет мнение капитана о разведчиках, как о людях, хотя и толковых, но имеющих слабость пускать пыль в глаза своим угощением.

Соболев поставил на столик два стакана в серебряных подстаканниках и налил крепкого, почти красного чаю, от которого сразу распространился чудеспейший горячий аромат.

И тут только Ваня понял, что такое настоящее богатство и роскошь.

Сахар, правда, был не рафинад, а песок, но зато Соболев подал его в стеклянной вазочке. Свиной тушенки с картошкой тоже не было. Но зато капитан Енакиев поставил на стол коробку с печеньем «Красный Октябрь» и выложил плитку шоколада «Спорт», что заставило «пастушка» почти онеметь от восхищения.

Капитан Енакиев с веселым оживлением смотрел на Ваню.

— Ну, пастушок, говори: где лучше — у нас или у разведчиков?

Ваня чувствовал, что здесь лучше. Но ему не хотелось обижать разведчиков и отзываться о них дурно, в особенности за глаза.

Он подумал и сказал уклончиво:

— У вас богаче, товарищ капитан.

— А ты, Ванюша, хитрый. Своих в обиду не даешь. Верно, Соболев? Не даст своих в обиду?

— Точно. Разве солдат своих в обиду даст?

— Ну, ладно, Соболев. Пока можешь быть свободен. А мы тут с красноармейцем Солнцевым побеседуем по душам. Такие-то дела, Ванюша, — сказал капитан Енакиев, когда Соболев ушел к себе за перегородку. — Что же мне с тобой дальше делать, вот в чем вопрос?

Ванюша испугался, что его снова хотят отправить в тыл. Он вскочил с ящика и вытянулся перед своим командиром.

— Виноват, товарищ капитан. Честное батарейское — больше не повторится.

— Чего не повторится?

— Что явился не как положено.

— Да, брат. Явился ты, надо прямо сказать, неваж-

по. Но это дело поправимое. Научись. Ты парень смышленный. Да ты что стоишь? Садись. Я с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному.

Ваня сел.

— Так вот я и говорю: что мне с тобой делать? Ты ведь хотя еще и не большой, но все же вполне человек. Живая душа. Для тебя жизнь только-только начинается. Тут никак нельзя промахнуться. А?

Капитан Енакиев смотрел на мальчика с суровой нежностью, как бы пытаясь взглядом своим проникнуть в самую глубь его души.

Как непохож был этот маленький стройный солдатик с нежной, как у девочки, шеей, натертой грубым воротником шинели, на того простоволосого босого «пастушка», который разговаривал с ним однажды у штаба полка! Как неузнаваемо он переменялся за такое короткое время! Изменилась ли так же и его душа? Выросла ли она с тех пор, окрепла ли, возмужала? Готова ли она к тому, что ей предстоит?

И Ваня почувствовал, что именно сейчас, в эту самую минуту, по-настоящему решается его судьба. Он стал необыкновенно серьезен. Он стал так серьезен, что даже его чистый выпуклый детский лоб покрылся морщинами, как у взрослого солдата.

Если бы разведчики увидели его в эту минуту, они бы не поверили, что это их озорной, веселый «пастушок». Таким они его никогда не видели. Таким он был, вероятно, первый раз в жизни.

И это сделали не слова капитана Енакиева — простые, серьезные слова о жизни — и даже не суровый, нежный взгляд его немного усталых глаз, окруженных суховатыми морщинками, а это сделала та живая, деятельная, отцовская любовь, которую Ваня почувствовал всей своей одинокой, в сущности, очень опустошенной душой. А как ей была необходима такая любовь, как душа ее бессознательно жаждала!

Оба они долго молчали — командир батареи и Ваня, соединенные одним могущественным чувством.

— Ну, так как же, Ваня, а? — наконец сказал капитан.

— Как вы прикажете, — тихо сказал Ваня и опустил ресницы.

— Приказать мне недолго. А вот я хочу знать, как ты сам решишь.

— Чего же решать? Я уже решил.
— Что же ты решил?
— Буду у вас артиллеристом.
— Вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих опросить. Да ведь у тебя, кажись, никого не осталось?

— Да. Круглый сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету.

— Стало быть, сам себе голова?

— Сам себе голова, товарищ капитан.

— Вот и я сам себе голова,— неожиданно для себя с грустной улыбкой сказал капитан Енакиев, но тотчас спохватился и прибавил шутливо:— Одна голова хорошо, а две лучше. Верно, пастушок?

Капитан Енакиев нахмурился и некоторое время задумчиво молчал, поглаживая указательным пальцем короткую щеточку усов, как умел обыкновение делать всегда перед тем, как принять окончательное решение.

— Ладно,— сказал он решительно и слегка ударил ладонью по столу.— Рано тебе еще в разведку ходить. Будешь у меня связным. Соболев! — крикнул он весело и решительно.— Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи красноармейца Солнцева.

И судьба Вани опять переменилась с той быстротой, с какой всегда меняется судьба человека на войне.

19

С этого дня Ваня стал в основном жить у капитана Енакиева.

Но капитан Енакиев взял его к себе вовсе не для того, чтобы действительно сделать из мальчика связного. У него были гораздо более широкие намерения. Он хотел лично воспитать Ваню.

Со свойственной ему основательностью капитан Енакиев составил план воспитания. Он продумал его во всех подробностях, так же, как он продумывал для своей батареи решение боевой задачи. Но, обдумав план всесторонне, не торопясь, он приступил к его осуществлению быстро и решительно.

Прежде всего по этому плану Ваня должен был постепенно научиться выполнять обязанности всех номеров орудийного расчета.

Для этого, посоветовавшись со своим старшиной, капитан Енакиев прикомандировал Ваню к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера.

Первые дни мальчик очень скучал по своим друзьям — разведчикам. Сначала ему показалось, что он лишился родной семьи. Но скоро он увидел, что новая его семья ничем не хуже старой. Эта семья сразу приняла его, как родного.

Ваня еще не знал, что нет людей более осведомленных, чем солдаты. Солдатам всегда все известно. Все новости узнаются мгновенно, как принято говорить, «по солдатскому телеграфу».

Когда Ваня явился в первое орудие, то, к его крайнему удивлению, там уже о нем было все известно. Орудийный расчет прекрасно знал историю мальчика. Знал, как его нашли разведчики в лесу, как он убежал от Биденко, как ходил со слепой лошадью в разведку, как попался немцам, как был освобожден, и вообще абсолютно все, вплоть до компаса и букваря с прописью «Рабы не мы. Мы не рабы».

В особенности орудийному расчету нравился случай с Биденко.

Они все время заставляли Ваню рассказывать эту историю с самого начала, они хохотали, как дети, когда рассказ доходил до места с веревкой. Они валились на плечи друг другу головой, хлопали друг друга по спине кулаками, вытирали слезы рукавами. Они еле могли говорить от смеха, душившего их.

— Слышь, Никита, он его дергает за веревку, а этот притворяется, что спит. Чуешь?

— Ах, чтоб ты пропал!

— Вполне, как говорится, связался черт с младенцем.

— Точно. Именно, что связался. Тот его дергает, а этот задает храпака. А потом тот его обратно дергает, а этого уж и след простыл. Ищи ветра в поле.

— Ай, пастушок! Ай, друг милый! Такого знаменитого разведчика обдурил. Это ж надо уметь.

— Да. Ничего не скажешь. Силен!

Разведчики принадлежали к батарейной аристократии. Слов нет, они жили богато, по-хозяйски. Один их знаменитый чайник чего стоил! Но и орудийный расчет жил тоже не худо. Правда, такого исключительного чайника у них не было и насчет трофеев дело обстояло куда хуже, чем у разведчиков, которые всегда были впереди.

Но зато они владели превосходной, громадной эмалированной кастрюлей, в которой приготавливали себе сами необыкновенно вкусные ужины. Они оставляли от обеда мясные порции и жарили их с гречневой кашей на коровьем масле.

Жили орудийцы тесной, дружной семьей. Жили, пожалуй, еще дружней, чем разведчики. Да это и понятно. Разведчики редко собирались все вместе, а орудийцы постоянно находились все вместе, возле своей пушки. Тут они и воевали, тут они и отдыхали, тут они питались, тут они, как говорится, и песни пели.

А пели они песни действительно замечательно, потому что на редкость удачно подбирались по голосам.

Кроме того, у них был еще один козырь против разведчиков. У них был замечательный, очень дорогой баян — подарок шефов, которые приезжали в гости к батареям с Урала в 1942 году. И, кроме того, был знаменитый на всю дивизию баянист Сеня Матвеев, сержант, командир орудия. Так что, когда, бывало, во время наступления батарея меняла позицию, то первое орудие мчалось вперед с музыкой. Орудийный расчет сидел на грузовике и пел хором, а Сеня Матвеев, в фуражке, нагнутой на самые брови, в расстегнутой шинели, с черными злодейскими усиками, стоял на крепко расставленных ногах с подарочным баяном и так давал, что пехота невольно сходила с дороги, останавливалась и, глядя вслед веселому грузовику, за которым в облаке пыли прыгала маленькая пушечка, с уважением кричала:

— Здорово, бог войны! Дай ему там жизни. Подбавь огоньку!

— Сейчас дадим,— отвечал Сеня Матвеев, еще шире растягивая свой баян.— Ваш табачок, наш огонек. Прощай, царица полей. До скорого свиданья на полях сражений!

Но это, конечно, было не главное. Главное заключалось в том, что орудийный расчет первого орудия первого взвода батареи капитана Енакиева в своей области был так же знаменит на всю дивизию, как и команда разведчиков.

Первое орудие славилось меткостью и невероятной быстротой стрельбы. Там, где другие орудия, даже самые лучшие, успевали выпустить два снаряда, первое орудие выпускало три. А это свидетельствовало об отличной ра-

боте орудийного расчета в целом и каждого номера в отдельности.

В особенности же был знаменит Ковалев, лучший наводчик фронта, Герой Советского Союза.

Стало быть, новая семья, принявшая Ваню к себе, была очень известная и очень уважаемая. Ваня это сразу почувствовал, хотя орудийцы были народ скромный и о своих боевых делах говорили мало.

И Ваня стал гордиться первым орудием так же сильно, как он раньше гордился командой разведчиков. И это яснее всего показывало, что у него душа настоящего солдата, ибо какой же хороший солдат не гордится своим подразделением.

Но что особенно поразило воображение мальчика, что помогло ему сравнительно легко пережить разлуку с разведчиками, это — орудие.

Уже самое это слово — орудие — всегда звучало для мальчика заманчиво и грозно. Оно было самое военное из всех военных слов, окружавших Ваню.

Было много военных слов: блиндаж, пулемет, атака, бой, разведка, азимут, авиация, винтовка, дзот, — да мало ли их было! Но ни в одном из них с такой отчетливостью не слышался грохот боя, вой снарядов, звон стали. Ваня знал, что артиллерию называют «бог войны». И, смутно представляя себе этого могущественного, громадного бога, Ваня ясно слышал единственное слово, которое говорил этот бог: орудие.

Ваня часто слышал слово «орудие», но редко ему удавалось посмотреть вблизи, а тем более потрогать руками самое орудие. Было что-то неуловимое, таинственное в существе орудия, особенно на поле боя. Вокруг гремели сотни, даже тысячи орудий. Все небо горело от орудийных залпов, не погасая ни на минуту. Люди должны были кричать друг другу в ухо, чтобы быть услышанными. Снаряды непрерывным потоком текли над головой с шумом гигантского точильного камня. Взрывы кидали вверх тонны черной земли. А самых орудий, которые все это делали, не было видно. Они были везде и нигде.

Теперь же Ваня не только увидел орудие вблизи, не только мог его потрогать, но он должен был помогать из него палить.

Это было первое орудие первого взвода, а значит, оно было отчасти и его, Ванино.

На всю жизнь запомнил «пастушок» этот дивный, ни с чем не сравнимый день, когда он в первый раз подошел к орудию.

Их было всего четыре орудия в батарее капитана Енакиева. Они стояли в ряд, метрах в сорока друг от друга. Они все были в точности похожи одно на другое. И все же то орудие, к которому робко приблизился Ваня, было совсем особенное, единственное в мире, ни на какое другое не похожее орудие. Оно было «свое».

Пушка стояла в небольшом полукруглом окопчике, стволом на запад, крепко упираясь сошником в подкопанную землю. Не спуская с пушки очарованных глаз, Ваня робко обошел вокруг нее. Хотя на дульную часть ствола был надет маленький брезентовый чехол вроде крышечки, но Ваня, проходя мимо, на всякий случай ускорил шаги и нагнулся, боясь, как бы орудие нечаянно не пальнуло.

Впрочем, у пушки был крайне мирный и очень аккуратный вид. Было сразу заметно, что ее любят и холят. Она была чисто вытерта, смазана. Все на ней было хорошо, ладно пригнано, как на исправном солдате. А если и были кое-где дыры или царапины от осколков, то они были тщательно заделаны и покрашены.

Кроме чехла на дульной части ствола, на пушке было еще два других брезентовых чехла. Один покрывал замок, а другой какую-то странную, очень загадочную штуку, которая торчала вверх, возле щита.

Были на пушке еще какие-то маховички, колесики, ящики. Были туго притороченные к лафету лопаты, кирка, топор. Видать, пушке было «положено» иметь при себе множество самых разнообразных необходимых вещей.

Но это было не все.

Вокруг пушки, как вокруг главного дома в хорошем, исправном колхозном хозяйстве, в большом порядке размещались различные службы, пристроечки и флигельки. Зарядный ящик, вкопанный в землю по ступицу колеса рядом с пушкой, представлялся Ване главной конторой; откупоренные плоские деревянные ящики, в которых виднелись тесно уложенные патроны с медными гильзами и разноцветными полосками на снарядах, были, несомненно, пожарным сараем; окопчик телефониста казался баней; ровки для номеров были земляным валом, окружавшим гумно; несколько закопченных снарядных гильз, валявшихся в стороне, были сельскохозяйственным инвента-

рем, собранным для ремонта; елочки маскировки напоминали палисадник.

И вместе с тем во всей этой мирной картине чувствовалось что-то очень опасное, угрожающее.

Сначала мальчик никак не мог понять, что же это такое, это угрожающее, и где оно. Но потом понял. Это были воронки, на которые он по привычке сначала не обратил внимания. Их было несколько десятков в разных местах вокруг орудия.

Это были свежие, совсем недавние воронки. Земля и глина, выброшенные из них на почерневшую траву, еще не успели слежаться, были пухлыми и даже казались теплыми. Значит, совсем недавно, может быть, утром, сюда прилетали немецкие снаряды. Конечно, они метили в пушку.

Раньше Ваня почти не обращал внимания на воронки, попадавшиеся ему на пути. Они его не касались, он равнодушно проходил мимо, знал, что «это» уже совершилось, что снаряды уже сделали свое дело, что опасность миновала.

Теперь же он вдруг увидел их и почувствовал совсем по-новому. Немецкие снаряды только что прилетели на батарею. Они разорвались вокруг пушки, оставив зловещие следы. Но ведь батарея не ушла. Пушка стояла на прежнем месте. Ничто на фронте не изменилось. Значит, немецкие снаряды в любой миг могли прилететь снова и на этот раз принести смерть.

Казалось, самый воздух — холодный, осенний воздух — дышит вокруг смертью. Тень смерти лежала на тучах, на елочках, на земле. А между тем орудийный расчёт ничего этого как будто не замечал.

Солдаты, расположившиеся вокруг своей пушки, были заняты каждый своим делом. Кто, пристроившись к сосновому ящичку со снарядами, писал письмо, слюня химический карандаш и сдвинув на затылок шлем; кто сидел на лафете, пришивая к шинели крючок; кто читал маленькую артиллерийскую газету; кто, скрутив сигарку, высекал искру и раздувал самодельный трут, из которого валил белый дым.

Живя с разведчиками и наблюдая поле боя с разных сторон, Ваня привык видеть войну широко и разнообразно. Он привык видеть дороги, леса, болота, мосты, ползущие танки, перебегающую пехоту, минеров, конницу, накапливающуюся в балках.

Здесь, на батарее, тоже была война, но война, ограниченная маленьким кусочком земли, на котором ничего не было видно, кроме оружейного хозяйства (даже соседних пушек не было видно), елочек маскировки и склона холма, близко обрезанного серым осенним небом. А что было там, дальше, за гребнем этого холма, Ваня уже не знал, хотя именно оттуда время от времени слышались звуки перестрелки.

Ваня стоял у колеса орудия, которое было одной с ним вышины, и рассматривал бумажку, наклеенную на косой оружейный щит. На этой бумажке были крупно написаны тушью какие-то номера и цифры, которые мальчик безуспешно старался прочесть и понять.

— Ну, Ванюша, нравится тебе наше орудие? — услышал он за собой густой добродушный бас.

Мальчик обернулся и увидел наводчика Ковалева.

— Так точно, товарищ Ковалев, очень нравится, — быстро ответил Ваня и, вытянувшись в струнку, отдал честь.

Видно, урок капитана Енакиева не прошел зря. Теперь, обращаясь к старшему, Ваня всегда вытягивался в струнку и на вопросы отвечал бодро, с веселой готовностью. А перед наводчиком Ковалевым он даже перусердствовал. Он как взял под козырек, так и забыл опустить руку.

— Ладно, опусти руку. Вольно, — сказал Ковалев, с удовольствием оглядывая ладную фигурку маленького солдатика.

Наружностью своей Ковалев меньше всего отвечал представлению о лихом солдате, Герое Советского Союза, лучшим наводчике фронта.

Прежде всего, он был не молод. В представлении мальчика он был уже не «дяденькой», а скорее принадлежал к категории «дедушек». До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог не идти, но в первый же день войны он записался добровольцем.

Во время первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Вот почему и в эту войну он попросился в артиллерию наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием, — уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда.

Его работа при орудии была высочайшей степенью искусства. Бывают наводчики хорошие, способные. Бывают наводчики талантливые. Бывают — выдающиеся. Он был наводчик гениальный. И самое удивительное заключалось в том, что за четверть века, которая прошла между двумя мировыми войнами, он не только не разучился своему искусству, но как-то еще больше в нем окреп. Новая война поставила артиллерии много новых задач. Она открыла в старом наводчике Ковалеве качества, которые в прежней войне не могли проявиться в полном блеске.

Он не имел соперников в стрельбе прямой наводкой. Вместе со своим расчетом он выкатывал пушку на открытую позицию и под градом пуль спокойно, точно и вместе с тем с необыкновенной быстротой бил картечью по немецким цепям или бронебойными снарядами по немецким танкам.

Здесь уже мало было одного искусства, как бы высоко оно ни стояло. Здесь требовалось беззаветное мужество. И оно было. Несмотря на свою ничем не замечательную гражданскую внешность, Ковалев был легендарно храбр.

В минуту опасности он преображался. В нем загорался холодный огонь ярости. Он не отступал ни на шаг. Он стрелял из своего орудия до последнего патрона. А выстрелив последний патрон, он ложился рядом со своим орудием и продолжал стрелять из автомата. Расстреляв все диски, он спокойно подтаскивал к себе ящики с ручными гранатами и, прищурившись, кидал их одну за другой, пока немцы не отступали.

Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалев был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех ее врагов. А с немцами у него были особые счеты. В шестнадцатом году они отравили его удушливыми газами, и с тех пор Ковалев всегда немного покашливал. О немцах он говорил коротко:

— Я их хорошо знаю. Это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор — беглым огнем. Другого они не понимают.

Трое его сыновей были в армии. Один из них уже был убит. Его жена, по профессии врач, тоже была в армии. Дома никого не оставалось. Его дом — была армия.

Несколько раз командование пыталось выдвинуть Ко-

валева на более высокую должность, но каждый раз Ковалев просил оставить его наводчиком и не разлучать с орудием.

— Наводчик — это мое настоящее дело, — говорил Ковалев, — с другой работой я так хорошо не справлюсь. Уж вы мне поверьте. За чинами я не гонюсь. Тогда был наводчиком и теперь до конца войны хочу быть наводчиком. А для командира я уже не гожусь. Стар. Надо молодым давать дорогу. Покорнейше вас прошу.

В конце концов командование оставило его в покое. Впрочем, может быть, Ковалев был прав. Каждый человек хорош на своем месте. И в конце концов для пользы службы лучше иметь выдающегося наводчика, чем посредственного командира взвода.

Все это было Ване известно, и он с робостью и уважением смотрел на знаменитого Ковалева.

Ковалев был высокий, худощавый человек в новом, но уже промасленном орудийном салом ватнике, накинутом на плечи. Он был по-домашнему, без головного убора. Его голова была наголо обрита — так, как иногда имеют обыкновение брить голову мужчины, начинающие лысеть. Шея у него была красная, обветренная, вся в крупных клетчатых морщинах, а русые усы и чисто выскобленный подбородок были солдатские.

Вообще все на нем было хоть и строгое, по-артиллерийски опрятное, но несколько старомодное, «с той войны», — и собственные черные суконные шаровары, которые он принес с собой в армию, и крашеная трубочка с жестяной крышечкой, почерневшей от дыма.

Ване хотелось расспросить Ковалева о многом: о том, как, например, наводится пушка, как производится выстрел, для чего колесико с ручкой, что спрятано под чехлами, что написано на бумажке, приклеенной к щиту, скоро ли будут палить из орудия и многое другое.

Но воинская дисциплина не позволяла ему первому начинать разговор со старшим.

— Это хорошо, что тебе нравится наше орудие, — сказал наводчик Ковалев, — славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга.

Он похлопал пушку по стволу, словно это была ло-

шадь, затем посмотрел на ладонь и, заметив, что она запачкалась, вынул из кармана чистую сухую ветошку и любовно обтер пушку.

— Она у меня чистоту любит, — сказал он, как бы извиняясь за свою мелочность. — Так, стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал?

— Так точно, товарищ сержант.

— Не козыряй все время. Ничего. Не тянись. Ну что же, это правильно. Коли хочешь быть хорошим артиллеристом, с малых лет учишься работать возле пушки, а привыкнешь, так потом до седых волос доживешь — не забудешь, как что делается.

Он сел на лафет и стал плоскогубцами починять свои очки, посматривая на Ваню необыкновенно добрыми и вместе с тем пронизательно-острыми глазами очень дальнорядного человека.

— Так-то, орел. Пушку надо смолоду любить. Вот этаким-то Макаром, как ты сейчас, и я когда-то пришел на батарею. Было это, братец ты мой, не более не менее, как тридцать годов тому назад. Немалое времечко. А я, как сейчас, все помню. Был я тогда, конечно, постарше тебя. Шел мне девятнадцатый год. Я охотником на войну попал. Но все равно — мальчишка. И представь себе, какое чудо: наша батарея тогда стояла на позиции как раз где-то в этих же самых местах. Видал, какой круг моя жизнь описала? Сейчас, конечно, не узнать.

Он огляделся по сторонам и махнул рукой.

— Сильно земля с тех пор переменилась. Где были леса, там стали поля. Где были поля — там выросли леса. Но в общем, где-то здесь. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Только и всего.

Эти слова крайне поразили Ваню. Он, конечно, много раз слышал разговоры о том, что армия наступает на Восточную Пруссию, что Восточная Пруссия это уже Германия, что скоро советские войска ступят на немецкую землю.

Ваня, так же как и все в армии, твердо верил, что так оно в конце концов и будет. Однако теперь, когда он услышал эти желанные и так долго ожидаемые слова: «граница Германии», он даже как-то не совсем понял, о чем говорит Ковалев. Он был так взволнован, что даже не удержался и назвал Ковалева «дяденькой».

— Где же Германия, дяденька? Где граница?

— Да вот же она. Тут и есть, — сказал Ковалев, показывая через плечо плоскогубцами с таким видом, как

будто показывал заблудившемуся прохожему знакомый переулочек.— За этой высоткой. Километров пять отсюда. Не больше.

— Дяденька, правда? Вы меня не обманываете? — жалобно сказал мальчик, знавший по опыту, что некоторые солдаты любят над ним подшутить.

Но глаза Ковалева были вполне серьезны.

— Верно говорю,— сказал он, — река, а за ней самая Германия и начинается.

— Честное батарейское? — живо спросил Ваня.

— Да зачем тебе честное батарейское, когда мы только что по ней пристрелку вели? Видал, сколько целей пристреляли?

И Ковалев показал плоскогубцами на бумажку с номерками на оружейном щите.

Но Ваня все-таки еще сомневался. Ему трудно было поверить, что вот тут, совсем близко, в каких-нибудь пяти километрах, начинается Германия.

— Дяденька, не обманывайте меня! — почти со слезами сказал Ваня.

— Фу, будь ты неладен,— рассмеялся Ковалев,— не веришь. А что же тут особенного? Да наши разведчики еще вчера в эту Германию ходили, нынче утром вернулись. Паника там, говорят, не приведи бог.

— Как! Разведчики были в Германии?

Ковалев даже не представлял себе, какой удар нанес он Ване в самое сердце. Оказывается, разведчики уже были в Германии. Весьма возможно, что в Германии уже побывали Биденко и Горбунов, а сержант Егоров наверняка побывал. Значит, если бы Ваню не перевели в огневой взвод, он тоже мог бы уже побывать в Германии. Он упросил бы разведчиков. Они бы его взяли. Это уж верно. И Ваня почувствовал жгучую обиду. Все-таки в душе он был еще разведчиком. Самолюбие его сильно страдало.

Конечно! Все разведчики уже были, а он еще не был. Он надулся, густо покраснел и, кусая губы, опустил ресницы, на которых проступили слезы.

— Я бы им там дал, в Германии,— неожиданно сказал он сквозь зубы, и глаза его метнули синие искры.

Ковалев с любопытством посмотрел на мальчика, но не улыбнулся и не сказал того, что непременно сказал бы всякий другой солдат: «А ты, братец пастушок, злой!» Он понял, что в эту минуту делалось в душе Вани. Он вынул

свою трубку, насыпал в нее махорки, зажег, защелкнул крышечку и, пустив через усы душистый белый дым, очень серьезно заметил:

— Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться. Твое место теперь у орудия. Вместе с орудием и въедешь в Германию.

И для того, чтобы его слова не показались мальчику слишком сухими, нравоучительными, прибавил, улыбаясь:

— С музыкой!

И как раз в этот миг где-то за елочками маскировки раздалась громкая команда:

— Батарея, к бою! Стрелять первому орудию!

Из окопчика телефониста выскочил сержант Сеня Матвеев, на ходу застегиваясь и оправляя свою измятую шинельку с черными петлицами. Сияя всем своим молодым возбужденным лицом, он изо всех сил крикнул, раскатываясь на букве «р»:

— Первое орудие, к бою! По цели номер четырнадцать. Гранатой. Взрыватель осколочный. Правее восемь ноль-ноль. Прицел сто десять.

И, прежде чем были произнесены эти слова, показавшиеся Ване таинственными заклинаниями, все вокруг мгновенно переменилось — и люди, и самое орудие, и вещи вокруг него, и даже небо над близким горизонтом, — все стало суровым, грозным, как бы отливающим хорошо отшлифованной и смазанной сталью.

Прежде всех изменился наводчик Ковалев.

Ваня не успел посторониться, не успел подумать: «Вот оно, начинается!» — как Ковалев уже перепрыгнул через станину, одной рукой надевая невесть откуда взявшийся шлем, а другой снимая брезентовый чехол с той высокой штучки возле щита, которую мальчик давеча заметил.

Теперь, когда с нее был сдернут чехол, она оказалась еще более прекрасной и таинственной, чем можно было предполагать. Это было нечто среднее между биноклем, стереотрубой — их Ваня уже видел много раз — и еще чем-то невиданным, какой-то машинкой со множеством мелких и крупных цифр, насеченных на стальных кольцах и барабанчиках. Эта машинка сразу вызвала в представлении мальчика слово «арифметика». И еще было что-то — черной вороненой стали, с выпуклым стеклом, косым зеркальцем и плоской черной коробочкой с длинной прорезью. Это вызвало другое слово — «фотоаппарат».

Наклонившись и прильнув глазом к черной трубке,

наводчик Ковалев неподвижно, как изваяние, стоял на крепко расставленных, согнутых ногах, в то время как его руки, мелькая длинными пальцами, с молниеносной быстротой бегали вверх и вниз по прибору, касаясь барабанов и колец.

У мальчика разбежались глаза. Он не знал, на что смотреть.

Во-первых, чем-то и как-то в один миг с пушки был сдернут второй чехол, и Ваня увидел оружейный затвор — массивный, тяжелый, сверкающий хорошо смазанной сталью, с алюминиевой рукояткой и могучим стальным рычагом, кривым, как челюсть.

Но, главное, Ваня увидел спусковой шнур — стальную цепочку, обшитую потертой кожей. Он сразу понял, что это такое. Стоило только потянуть за эту кожаную колбаску, как пушка выпалит.

Едва замковый, — Ваня сразу понял, что этот солдат именно и есть замковый, — едва замковый потянул за рукоятку и пудовый замок маслянисто-легко, бесшумно отворился, показав свой рубчатый стальной цилиндр с точкой бойка в самом центре и зеркальную витую внутренность пустого оружейного ствола, — как внимание мальчика привлекли патроны.

Они уже были вынуты из своих ящичков и стояли на земле правильными рядами, как солдаты в металлических касках, рассортированные по цветам своих полосок, черные к черным, желтые к желтым, красные к красным. Один патрон уже лежал на левом колене солдата, припавшего на правое колено, и солдат этот — ящичный — что-то делал с головкой снаряда, в то время как другой солдат уже нес другой приготовленный патрон к пушке и быстро сунул его в канал ствола и достал ладонью. Патрон не успел вылезть назад, как замковый прихлопнул его затвором.

Затвор щелкнул. Ковалев, не отрываясь глазом от черной трубки, взялся одной рукой за спусковой шнурок, а другую руку поднял вверх и сказал:

— Готово.

— Огонь! — закричал сержант Матвеев, с силой рубанув рукой.

И не успел Ваня опомниться, сообразить, что происходит, как наводчик Ковалев, со злым, решительным лицом, коротко рванул за колбаску, отбросив руку далеко назад, чтобы ее не стукнуло замком при откате.

Пушка ударила с такой силой, что мальчику показалось, будто от нее во все стороны побежали красные звенящие круги. И Ваня почувствовал во рту вкус пороховой гари.

На один миг все замерли, прислушиваясь к слабому шуму снаряда, улетавшего в Германию. Потом Ковалев опять припал к панораме и забегал пальцами по барабанчикам, а замковый рванул затвор, откуда выскочила и со звоном перевернулась по земле медная дымящаяся гильза.

Ваня стоял оглушенный и очарованный чудом, которое он только что видел, — чудом выстрела. Потом ему сделалось неловко стоять среди занятых людей и ничего не делать. Он взял теплую, слегка потускневшую стреляную гильзу, отнес ее в сторонку и положил в кучу других стреляных гильз. Когда он ее нес — всю очень тонкую и очень легкую, но с толстым и тяжелым дном, как ванька-встанька, ему казалось, что в его руках она еще продолжала тонко звенеть от выстрела.

— Правильно делаешь, Солнцев, — сказал сержант Матвеев, что-то записывая карандашиком в потрепанную записную книжку и вместе с тем озабоченно поглядывая в окопчик телефониста, откуда он ждал новой команды. — Пока что будешь прибирать стреляные гильзы, чтобы они не мешались под ногами.

— Слушаюсь, — радостно сказал Ваня и вытянулся, чувствуя, что теперь и он тоже причастен к тому важному и очень почетному делу, о котором на фронте всегда говорят с большим уважением: «Артогонь».

— А после стрельбы сосчитаешь и уложишь в пустые лотки, — прибавил Матвеев.

— Слушаюсь, — еще веселее ответил Ваня, хотя и не вполне ясно представлял себе, что такое за вещь — лоток.

Ваня поставил все стреляные гильзы рядом, подровнял их, полюбовался своей работой, но так как делать пока было нечего, то он подошел к Ковалеву.

— Дяденька, — сказал он, но, вспомнив, что находится при выполнении боевого задания, быстро поправился, — товарищ сержант, разрешите обратиться.

— Попробуй, — сказал Ковалев.

— Чего я вас хотел спросить: куда вы только что стрельнули? По Германии?

— По Германии.

— А сначала нацелились?

— Сначала нацелился.

— Вы глазом нацеливались? Через эту черную трубочку?

— Вот именно.

Ваня некоторое время молчал. Он не решался говорить дальше. То, что он хотел попросить, казалось ему слишком большой дерзостью. За такую просьбу, пожалуй, отберут обмундирование и отчислят в тыл. И все же любопытство взяло верх над осторожностью.

— Дяденька,— сказал Ваня, выбирая самые убедительные, самые нежные оттенки голоса,— дяденька, только вы на меня не кричите. Если не положено, то и не надо. Я ничего не имею. Разрешите мне один раз — один только разик, дяденька! — посмотреть в трубку, через которую вы нацеливались.

— Отчего же? Это можно. Загляни. Только аккуратно. Наводку мне не сбей.

Не смея дышать, Ваня подошел на цыпочках и стал на место, которое уступил ему Ковалев. Расставив руки в стороны, чтобы как-нибудь случайно не сбить наводку, мальчик осторожно приложил глаз к окуляру, еще теплomu после Ковалева. Он увидел четкий круг, в котором светло и приближенно рисовался болотистый ландшафт с зубчатой стеной синеватого леса. Две резкие тонкие черты, крест-накрест делившие круг по вертикали и по горизонтали, делали этот ландшафт отчетливым, как переводная картинка. Как раз на скрещивании линий Ваня увидел отдельную верхушку высокой сосны, высунувшуюся из леса.

— Ну, как? Видишь что-нибудь? — спросил Ковалев.

— Вижу.

— Что же ты видишь?

— Землю вижу, лес вижу. Красиво как!

— А перекрещенные волоски видишь?

— Ага. Вижу.

— А замечаешь отдельное дерево? Его как раз пересекают волоски.

— Вижу.

— Вот я в эту самую сосну и наводил.

— Дяденька, — прошептал Ваня, — это и есть самая Германия?

— Где?

— Куда я смотрю.

— Нет, брат. Это отнюдь не Германия. Германии от-

сюда не видать. Германия там, впереди. А ты видишь то, что находится сзади.

— Как— сзади? Да ведь вы же, дяденька, сюда наводили?

— Сюда.

— Ну, стало быть, это и есть Германия.

— Вот как раз и не угадал. Сюда я наводил, это верно. Отмечался по сосне. А стрелял совсем в другую сторону.

Ваня во все глаза смотрел на Ковалева, не понимая, шутит он или говорит серьезно. Как же так: наводил назад, а стрелял вперед? Что-то чудно. Он пытливо всматривался в лицо Ковалева, стараясь найти в нем выражение скрытого лукавства. Но лицо Ковалева было совершенно серьезно.

Ваня переступил с ноги на ногу, подавленный загадкой, которую не мог понять.

— Дяденька Ковалев, — наконец сказал Ваня, изо всех сил наморщив свой чистый ясный лоб. — А снаряда то ведь полетел в Германию?

— Полетел в Германию.

— И там ахнул?

— И там ахнул.

— И вы через трубку видели, как он ахнул?

— Нет. Не видел.

— Э! — сказал Ваня разочарованно. — Значит, вы так себе снарядами кидаетесь, наобум господ бога!

— Зачем же так говорить, — посмеиваясь в усы и покашливая, сказал Ковалев. — Мы не наобум кидаемся. Там, на наблюдательном пункте, сидят люди и смотрят, как мы ахаем. Если у нас что-нибудь неладно выйдет, они нам тотчас по телефону скажут — как и что. Мы и поправимся.

— Кто же там сидит?

— Наблюдатели, старший офицер. Иногда взводные офицеры. Когда как. Нынче, например, сам капитан Енакиев ведет стрельбу.

— И капитану Енакиеву оттуда видать Германию?

— А как же!

— И видать, как мы ахнули?

— Безусловно. Вот подожди. Он нам сейчас скажет, как там у нас получилось.

Ваня молчал. Его мысли разбежались. Он никак не мог их собрать и понять, как это все же получается, что

наводят назад, стреляют вперед, а капитан Енакиев один все видит и все знает.

— Левее ноль три! — крикнул сержант Матвеев. — Осколочной гранатой. Прицел сто восемнадцать.

Могучие руки подняли Ваню, перенесли через колесо и поставили в сторону, а на месте Вани у панорамы уже по-прежнему стоял Ковалев, прильнув глазом к черному окуляру.

Теперь все было сделано еще быстрее, чем в первый раз. И все же, несмотря на эту чудесную быстроту, Ковалев успел повернуть к мальчику лицо и сказать:

— Видишь? Маленько отбились. Теперь будет ладно.

— Огонь! — закричал Матвеев и с еще большей силой рубанул рукой.

Пушка ахнула. Но этот выстрел уже не так ошеломил мальчика. Твердо помня свою боевую задачу, он проворно обежал орудие, ствол которого после отдачи назад теперь плавно, маслянисто накатывался вперед на прежнее место, и успел подхватить горячую стреляную гильзу в тот самый миг, как она выскакивала из пушки.

— Молодец, Солнцев, — сказал Матвеев, снова торопливо записывая что-то в записную книжку, положенную на согнутое колено. — Какой расход патронов?

— Две осколочные гранаты! — лихо крикнул Ваня.

— Молодец! — сказал Матвеев.

Ваня хотел ответить: «Служу Советскому Союзу», но ему показалось совестно говорить такие слова по такому простому поводу.

— Ничего, — пробормотал он застенчиво.

— Держись, пастушок! — весело крикнул Ковалев, поправляя очки. — Теперь успевай только подбирать. Сейчас мы тебе их накидаем гору.

И точно. В следующий миг из окопчика высунулся зеленый шлем телефониста, и сержант Матвеев закричал зычным, высоким и торжественным голосом:

— Четыре патрона беглых! По немецкой земле. Огонь!

Четыре выстрела ударило почти подряд, так что Ваня едва успел поймать четыре выскочившие гильзы, но он их все-таки не только поймал и поставил в ряд, но еще и подровнял.

С этого времени пушка стреляла, уже не останавливаясь ни на минуту, с непостижимой, почти чудесной быстротой.

Бегая без устали за гильзами, Ваня прислушался и понял, что теперь уже стреляет не только одно первое орудие. Отовсюду слышались громкие крики команды, звонко стучали затворы, ударяли пушки. Теперь уже стреляла вся батарея капитана Енакиева.

Бесперывно, один за другим, а то и по два и по три сразу, с утихающим шумом уносились снаряды за гребень высоты, в Германию, туда, где небо казалось уже не русским, а каким-то отвратительным, тускло-металлическим, искусственным, немецким небом.

Орудийные номера по очереди подбегали к Ковалеву, и он каждому давал раз или два дернуть за шнур и выстрелить по Германии. Стреляя, они кричали:

- По немецкой земле! Огонь!
- Держись, Германия! Огонь!
- За родину! Огонь!
- Смерть Гитлеру! Огонь!
- Что, взяли нас, гады? Огонь!

Подбежав к Ковалеву, Ваня потянул его сзади за ватник.

— Дядя Ковалев, дайте я тоже раз дам по Германии.

Он так боялся, что Ковалев ему откажет. Он даже побледнел и часто, коротко дышал через ноздри, ставшие круглыми, как у лисицы. Но Ковалев его не замечал. Тогда мальчик вдруг залился густой пунцовой краской, сердито топнул ногой и требовательным дрожащим голосом крикнул, стараясь перекричать выстрелы:

— Товарищ сержант! Разрешите обратиться. Дайте мне стрельнуть по Германии. Я тоже заслужил. Видите, у меня ни одной стреляной гильзы не валяется.

Только теперь Ковалев заметил его.

— Давай, пастушок, давай. Пали. Только руку быстро убирай, чтоб затвором не стукнуло.

— Я знаю,— быстро сказал Ваня и почти вырвал из рук Ковалева спусковой шнур.

Он сжал его с такой силой, что косточки на его кулачке побелели. Казалось, никакая сила в мире не могла бы теперь вырвать у него эту кожаную колбаску с колечком на конце. Сердце мальчика неистово колотилось. Одно лишь чувство в этот миг владело его душой — страх, как бы не дать осечку.

— Огонь! — крикнул Матвеев.

— Тяни,— шепнул Ковалев.

Он мог этого не говорить.

— На! Получай! — крикнул мальчик и с яростью, изо всех сил рванул колбаску.

Он почувствовал, что пушка в один и тот же миг встрепенулась возле него, как живая, подскочила и ударила. Из дула метнулся платок огня. В голове зазвенело.

И по дальнему лесу пропесся шум Ваниного снаряда, улетевшего в Германию.

Капитан Енакиев поежился от холода, сдержанно зевнул.

— Однако как нынче поздно светает.

— Что вы хотите, — осень, — сказал Ахунбаев.

— «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели», — сказал Енакиев, еще раз зевая.

— Красиво написано, — сказал Ахунбаев. — Очень художественное изображение осени.

Капитан Ахунбаев произнес эти слова между двумя быстрыми затяжками. Он торопливо докуривал мятую немецкую сигаретку и, морщась, разгонял рукой дым, чтобы он не слишком заметно поднимался над окопом. Впрочем, это была излишняя предосторожность. Светать только еще начинало, вокруг было серо, туманно.

Старый немецкий окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля.

На почерневшей ботве, стоявшей на уровне глаз, холодно белели мельчайшие капли воды. Справа тянулось невидимое шоссе, обсаженное старыми вязами. Их толстые стволы и голые ветки туманно рисовались на белом предутреннем небе, как на матовом стекле.

Несколько разбитых острых готических крыш так же туманно виднелись слева.

Впереди же была черная мокрая земля картофельного поля, полого спускавшегося в низинку, наполненную синеватым туманом. А еще дальше за низиной начиналась опять возвышенность, но сейчас ее совсем не было видно. На ней были немецкие позиции, которые с наступлением дня должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Енакиева.

План атаки, разработанный Ахунбаевым со свойствен-

ной ему быстротой и горячностью, в самых общих чертах заключался в следующем.

Две роты должны были до света скрытно обойти немцев справа, перехватить немецкие коммуникации и ждать, по возможности не открывая огня и во всяком случае не обнаруживая своей численности. Затем одна рота должна была при поддержке всей артиллерии открыто атаковать немецкие позиции в лоб. Одна рота должна была остаться в резерве. Капитан Ахунбаев рассчитывал, что, атакуя одной ротой позиции противника, у которого, по сведениям разведки, было около батальона, он заставит немцев выйти из окопов и перейти в контратаку. Именно в момент этой контратаки и должны были ударить с фланга, а даже, может быть, и с тыла, те две роты, которые были посланы в обход. Таким образом, немцы оказались бы зажатыми в тиски и принужденными под сильным фланговым огнем перестраивать свои боевые порядки, что всегда ведет к огромным потерям и в конечном счете к сдаче позиции, или они должны были продолжать бой в прежнем направлении, заслонившись с тыла резервом. Но тогда капитан Ахунбаев перебрасывает роту своего резерва на усиление двух рот, действующих в тылу у неприятеля, добивается в этом месте численного превосходства и занимает немецкие позиции с тыла, посадив немцев в мешок.

План этот был хорош и, принимая в расчет плохое моральное состояние противника, а также отличное качество стрелков Ахунбаева, вполне осуществим.

Но для капитана Енакиева, привыкшего тщательно взвешивать и обдумывать каждую мелочь, была в этом плане одна неясная вещь. Было в точности не известно, какими резервами располагают немцы. По данным разведки, их резервы были невелики. Но кто мог поручиться, что в течение ночи они не перебросили сюда крупных подкреплений? Может быть, сейчас, в эту самую минуту, немецкая пехота выгружается из транспортеров где-нибудь за возвышенностью, которую собирается атаковать капитан Ахунбаев,— тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться для капитана Ахунбаева очень худо.

Но так как все эти сомнения капитана Енакиева были основаны не на точных фактах, а только на предположениях, то, выслушав план и получив боевое задание, он коротко и сухо ответил:

— Слушаюсь.

А впрочем, ничего нельзя было и сделать. Роты Ахунбаева уже занимали исходные рубежи, машина атаки хотя еще и незаметно, но уже пришла в движение, а капитан Енакиев твердо знал, что принятое решение никогда не следует отменять. Он только понял, что дело будет горячее и что если у немцев обнаружатся свежие резервы, то остается одна надежда на меткость и быстроту огня его пушек.

Он посмотрел в свою записную книжку, подсчитал общее количество имеющихся патронов, поморщился и приказал по телефону как можно скорее привезти на огневую позицию еще боевой комплект.

Теперь все это было сделано. Оставалось ждать.

— Ну, капитан,— сказал Енакиев, протягивая Ахунбаеву руку в замшевой перчатке,— разрешите откланяться.

— Где вы будете находиться?

— На своем наблюдательном пункте. А вы?

— С ротой резерва.

Они крепко пожали друг другу руки. И, как всегда, перед тем как расстаться, сверили часы. У капитана Ахунбаева было шесть часов двенадцать минут, у капитана Енакиева шесть часов девять минут.

— Отстаете,— сказал капитан Ахунбаев.

— Торопитесь,— сказал капитан Енакиев с ударением.

Они немножко поспорили о том, у кого вернее часы. Но это было только так, скорее по старой привычке. Ахунбаев знал, что у Енакиева часы идут абсолютно верно.

— Уговорил,— сказал Ахунбаев, весело блестя своими черными, как жучки, жесткими глазами, и перевел свои часы на три минуты назад.— Итак, надеюсь на вас, как на каменную гору.

— Надейтесь.

— Огоньку не жалейте.

— Дадим. Ваш табачок, наш огонек— сказал Енакиев рассеянно и не совсем кстати солдатскую поговорку.

— Главное — не отставайте.

— Не отстану.

— Стало быть, до свиданья на немецкой оборонительной линии.

— Или раньше.

— Ну, счастливо,— решительно и уже по-командирски сказал Ахунбаев.— Действуйте.

— Слушаюсь.

Они еще раз пожали друг другу руки и разошлись. Первым из окопа выбрался капитан Енакиев и, приказав своему телефонисту открепляться и тянуть провод на командирский наблюдательный пункт, сам отправился посмотреть, что делается на батарее.

Дул неприятный предрассветный ветер, и кое-где под сапогами потрескивал ледок. Все вокруг было тихо, и лишь изредка на западе — то там, то здесь — трепыхался качающийся свет немецких осветительных ракет, уже совсем бледных на фоне отчетливо побелевшего неба.

Когда капитан Енакиев, за которым по пятам, с автоматом на шее, следовал Соболев, добрался до батареи, туман на востоке уже немного порозовел и ветер стал еще неприятней.

Огневая позиция батареи была разбита на площади громадного яблоневого сада за очень длинной и скучной стеной, сложенной из бурого плитняка. В нескольких местах стена была обвалена снарядами. Через одну из этих брешей капитан Енакиев прошел в сад.

Пушки, глубоко вкопанные в землю между старыми, симметрично посаженными яблонями, далеко отстояли друг от друга и были затянuty маскировочными сетями. Их трудно было заметить даже вблизи. Но далеко, сквозь голые ветви яблонь, за садом виднелась длинная черепичная крыша бурого, скучного фольварка, с вырванными рамами окон, и под этой крышей утомленным утренним огоньком светился еще не погашенный фонарик — ночная точка отметки. Она показывала, что батарея здесь.

Часовой с поднятым автоматом и смутным лицом, на котором еще лежала ночная тень, преградил капитану Енакиеву дорогу, но, узнав своего командира батареи, отступил в сторону и застыл.

Капитан подошел к первому орудию.

Номера в полной боевой готовности, в шлемах и при оружии, спали прямо на земле, каждый на своем месте, положив под голову кто стреляную гильзу, кто ящик из-под снарядов, кто котелок, кто просто руку.

Среди спящих капитан Енакиев заметил маленькую фигурку Вани. Мальчик спал на лафете, поджав ноги и положив под голову в шлеме кулак, в котором был крепко зажат дистанционный ключ. Его губы немного посинели от утреннего холода, но какая-то добрая душа набросила

на него просаленный ватник, и мальчик во сне улыбался таинственной, блуждающей улыбкой.

При виде этой улыбки капитан Енакиев и сам было улыбнулся, но, заметив подхажившего с рапортом сержанта Матвеева, согнал с лица улыбку и строго нахмурился.

— Ну, как мальчик? — спросил он, выслушав рапорт и поздоровавшись с командиром орудия, который в этот день дежурил на батарее.

— Мальчик ничего, товарищ капитан, — доложил сержант, почтительно и вместе с тем несколько щеголевато прикасаясь пальцами к своим новеньким черным «сева-стопольским» усикам и новеньким черным полубачкам.

— Работает?

— Так точно.

— Какие обязанности выполняет при орудии?

— До сего дня он у меня стреляные гильзы укладывал. А сегодня — или, сказать точнее, вчера вечером — я его помощником шестого номера поставил.

— Ну и как? Справился?

— Ничего. Толково снимает колпачки. Без задержки. Прикажете поднять орудийный расчет?

— Не надо. Пусть отдыхают. Нынче будет много работы. Патроны привезли?

— Так точно.

— Хорошо. Тут в некоторых местах нарушен забор. Вы не пробовали — через эти проломы в случае чего можно выкатить пушки?

— Так точно. Пробовал. Выкатываются.

— Хорошо. Учтите это. Связь с наблюдательными пунктами исправно работает?

— Исправно.

— Кто дежурит на правом боковом?

— Не могу знать.

— Узнайте и доложите. И пусть мне сюда подадут машину.

— Слушаюсь.

Кроме сержанта Матвеева и телефониста, в первом орудии не спал еще один человек — наводчик Ковалев. Это был единственный человек в батарее, с которым капитан Енакиев позволял себе быть накоротке.

— Ну, как дела, Василий Иванович? — сказал капитан Енакиев, присаживаясь рядом с Ковалевым на край орудийной площадки.

— По-моему, не плохо, Дмитрий Петрович. Вот мы уже и в Восточной Пруссии.

— Да, в Германии,— рассеянно сказал капитан Енакиев, рассматривая этот громадный скучный сад с выбеленными стволами и охапками соломы, приготовленной для обертывания деревьев на зиму.

Собственно говоря, у капитана Енакиева на батарее не было никакого дела. Но всегда перед боем у него являлась потребность хотя бы несколько минут побыть в своем хозяйстве и лично убедиться в полной готовности людей и пушек к бою. Без этого он никогда не чувствовал себя совершенно спокойным.

Ему стоило только бросить беглый взгляд хотя бы на одно орудие, чтобы с точностью определить, в каком состоянии находится вся его батарея. И сейчас он уже определил это состояние. Оно было отличным. Он видел это по всему — и по тому, как спокойно спали его одетые и вооруженные люди, каждый на своем месте; и по тому, как были отрыты ровики, приготовлены для стрельбы патроны; и по тому, как была аккуратно натянута над орудием маскировочная сеть; и даже по тому, как ясно горел под крышей фюльварка фонарик для ночной наводки. Впрочем, фонарик он тут же приказал потушить, так как уже рассвело и холодный свет зари низко стлался по сквозному, оголенному саду, очень бледно и как-то болезненно-жидко золотя землю, покрытую подмерзшими листьями и падалицей.

Чувствовалось, что едва взошедшее солнце показалось в тумане на одну только минуту и сейчас, уже на весь день, войдет в сплошные тучи.

Капитан Енакиев посмотрел на часы. Было уже время пробираться на наблюдательный пункт. Но на этот раз ему почему-то было жалко расставаться со своим хозяйством. Хотелось еще хоть минут пять посидеть у пушки рядом с Ковалевым, которого он любил и уважал. Он как бы предчувствовал, что нынче понадобятся все его физические и душевные силы, и он набирался их, пользуясь последними минутами.

— Товарищ капитан, разрешите доложить. На правом наблюдательном старший сержант Алейников,— сказал подошедший Матвеев.— Машина приехала.

— Хорошо. Пускай стоит. Идите.

Капитан Енакиев вынул из кожаного портсигара две папиросы и дал одну Ковалеву. Они закурили.

— Так что же? Стало быть, мальчик — ничего? — сказал капитан Енакиев.

— Хороший мальчик, — сказал Ковалев серьезно, с убеждением, — стоящий.

— Вы думаете, стоящий? — быстро сказал Енакиев и, прищурившись, посмотрел на Ковалева.

— По-моему, стоящий.

— Толк из него выйдет?

— Обязательно.

— Вот и мне тоже так показалось.

— Я с ним давеча немножко возле панорамы позанимался. Представьте себе — все понимает. Даже удивительно. Прирожденный наводчик.

Капитан Енакиев рассмеялся.

— А разведчики говорят, что он прирожденный разведчик. Поди разберись. Одним словом, какой-то он у нас вообще прирожденный. Верно?

— Прирожденный артиллерист.

— Просто прирожденный вояка.

— Не худо.

— А вы знаете, Василий Иванович, — вдруг сказал капитан Енакиев, пытливо глядя на Ковалева глазами, ставшими по-детски доверчивыми, — я его думаю усыновить. Как вам кажется?

— Стоящее дело, Дмитрий Петрович, — тотчас сказал наводчик, как будто ожидал этого вопроса.

— Человек я в конечном счете одинокий. Семьи у меня нет. Был сынишка, четвертый год... Вы ведь знаете?

Ковалев строго наклонил голову. Он знал. Он был единственный человек в батарее, который знал. Капитан Енакиев помолчал, глядя прищуренными глазами перед собой, как бы рассматривая где-то вдалеке маленького мальчика в синей матросской шапочке, которому сейчас должно было бы исполниться семь лет.

— Заменить-то он мне его, конечно, не заменит, что об этом толковать, — сказал он, глубоко вздохнув и не стараясь скрыть от Ковалева этот вздох, — но... но... ведь бывает же, Василий Иванович, и два сына? Верно?

— Бывает и три сына, — сумрачно сказал Ковалев и тоже вздохнул, не скрывая своего вздоха.

— Ну, я очень рад, что вы мне советуете. Я, признаться, уже и рапорт командиру дивизиона подал, чтобы мальчика оформить. Пусть будет у меня хороший, смысленный сынишка. Верно?

Капитан Енакиев крепко затанулся и стал медленно выпускать изо рта дым, продолжая сквозь этот дым задумчиво смотреть вдаль. И вдруг лицо его переменялось. Он немного повернул ухо в сторону переднего края и нахмурился. Ему показалось, что где-то далеко на правом фланге, в глубине немецкой обороны, начался сильный ружейный и минометный огонь. Капитан Енакиев вопросительно посмотрел на Ковалева.

— Точно. Бьют. И довольно сильно,— сказал Ковалев, вынимая ватку из уха.

Капитан Енакиев снова прислушался. Но теперь можно было и не прислушиваться. К звукам ружейной и минометной перестрелки присоединился грохот артиллерии. Он был так громок, что разбудил некоторых солдат, которые вскочили и, сидя на земле, стали поправлять шлемы.

Капитан Енакиев сразу понял значение этого внезапного шквального огня на правом фланге. Случилось то худшее, что он и предполагал. Немцы успели подбросить сильные резервы, и теперь эти резервы громили две роты Ахунбаева, посланные в обход.

Капитан Енакиев бросился к телефонному окопчику, чтобы соединиться с Ахунбаевым. Но в это время на встречу ему из окопчика выскочил сержант Матвеев, крича:

— Батарея, к бою!

Капитан резко отстранил его и спрыгнул в окоп.

— Командирский наблюдательный,— быстро сказал он.

— На проводе,— сказал телефонист и подал ему трубку, предварительно обтерев ее рукавом.

— У телефона шестой,— сказал капитан Енакиев, делая усилие, чтобы говорить спокойно.— Что там у вас делается?

— В районе цели номер восемь наблюдается сильное движение противника. По-видимому, готовится к атаке. Накапливается.

— Какими силами?

— До батальона.

— Хорошо. Сейчас приду,— сказал капитан Енакиев

и хотел швырнуть трубку, но вовремя сделал над собой усилие и, не торопясь, отдал ее телефонисту.

Цель номер восемь находилась как раз на той самой высоте, которую собирался атаковать в лоб капитан Ахунбаев. Теперь уже вся картина была полностью ясна. Случилось самое тяжелое из того, что можно было предполагать. Немцы разгадали план Ахунбаева и опередили его.

И когда капитан Енакиев мчался на «виллисе» — на переднем крае он редко пользовался лошадью — напрямик через канавы и огороды к наблюдательному пункту, он услышал, как сзади беглым огнем бьет его батарея и как низко над головой свистят ее снаряды, а впереди начинается пехотный бой.

23

Командирский наблюдательный пункт был вынесен так далеко вперед, что поле боя просматривалось с него простым глазом.

Достаточно было капитану Енакиеву посмотреть в амбразуру, чтобы сразу понять всю обстановку. Батальон немецкой пехоты спускался с возвышенности на ту самую роту капитана Ахунбаева, которая предназначалась для фронтальной атаки и еще не развернулась.

Теперь капитан Ахунбаев, учитывая обстановку, мог сделать только две вещи. Либо немного отступить и занять более выгодную оборону в старых немецких окопах, по сю сторону лощины, что было вполне благоразумно, либо принять встречный бой с превосходящим его противником и немедленно ввести в дело единственную свою роту резерва, что было бы смело до дерзости.

Капитан Енакиев достаточно хорошо знал своего друга Ахунбаева. Не было сомнений, что он выберет встречный бой. И действительно, не успел Енакиев это подумать, как телефонист подал ему снизу, из своей ниши, телефонную трубку. Енакиев присел на корточки на дне окопа, чтобы пальба не мешала разговаривать, и услышал возбужденный, веселый голос Ахунбаева:

- С кем говорю? Это вы, шестой?
- Шестой слушает.
- Узнаете меня по голосу?
- Узнаю.
- Прекрасно. Вам обстановка ясна?

- Вполне.
- Ввожу в дело резервы. Атакую. Поддержите.
- Слушаюсь.
- Через сколько времени ждать?
- Через пятнадцать минут.
- Долго.
- Быстрей не могу.
- Отстаєте, деточка,— пошутил Ахунбаев.

И, несмотря на всю серьезность обстановки, Енакиев принял его шутку.

— Не мы отстаем, а вы, как всегда, спешите,— отшутился Енакиев, хотя на душе его было невесело.— Где вы находитесь?

— В точке, которая обозначена на вашей карте синим кружком со стрелкой.

— Понятно. Так мы — соседи.

— Милости просим.

— Сейчас будем вместе.

— Всегда рад.

— До свидания.

— Целую, обнимаю вас и все ваше хозяйство.

Этот легкий, веселый разговор по телефону, который со стороны мог показаться пустым, на самом деле был полон глубочайшего смысла. Он обозначал требование Ахунбаева, чтобы его пехоту сопровождали пушки, и согласие Енакиева на это требование. Он обозначал вопрос Ахунбаева: «А ты меня, друг милый, не подведешь в решительную минуту?» — и ответ Енакиева: «Не беспокойся. Положись на меня. В бою мы будем все время вместе. Мы вместе победим, а если придется умереть, то мы умрем тоже вместе».

После этого капитан Енакиев приказал по телефону первому взводу своей батареи немедленно сняться с позиции и, не теряя ни секунды, передвинуться вперед, сколько можно будет — на грузовиках, а дальше — на руках, вплоть до ротных порядков. Второму взводу он приказал все время стрелять, прикрывая открытые фланги ударной роты капитана Ахунбаева.

И тут же он вспомнил, что Ваня был в первом взводе. В первую секунду он хотел отменить свое приказание и выбросить вперед второй взвод, а первый оставить на месте прикрывать фланги. Он уже протянул руку к телефонной трубке, но вдруг решительно повернулся и, поручив ведение огня старшему офицеру, стал пробираться

ся с двумя телефонистами и двумя разведчиками на командный пункт Ахунбаева.

Часть пути они прошли, пригибаясь, а часть пришлось ползти, так как местность была ровная и откуда-то по ним уже несколько раз начинал бить пулемет.

Командный пункт Ахунбаева представлял собой место посреди пустынного картофельного поля — здесь всюду были картофельные поля — за двумя большими кучами картофельной ботвы, почерневшей от дождей.

Но капитана Ахунбаева здесь уже не было. Он ушел вперед с ротой резерва, оставив на месте связного и телефониста.

Енакиев был поражен быстротой, с которой действовал Ахунбаев. Теперь обстановка уже не казалась ему такой трудной. Конечно, вести встречный бой двумя ротами против батальона было нелегко. Но такой страстный, напористый, храбрый офицер, как Ахунбаев, мог обеспечить успех. Кроме того, в точности еще не была известна судьба тех двух рот, которые пошли во фланг. Последние сведения были, что они окружены. Потом связь прекратилась. Но вполне возможно, что они вырвутся и ударят на немцев с тыла. И это решит исход боя.

Послав разведчиков встретить взвод и провести пушки по самой короткой и наиболее скрытой дороге в расположение пехоты, капитан Енакиев лег за кучей ботвы, разложил карту и стал поджидать капитана Ахунбаева, чтобы вместе с ним решить, как надо действовать.

Между тем Ваня вместе со своим расчетом мчался на грузовике к месту, назначенному капитаном Енакиевым. За ними едва поспевал грузовик второго орудия. Оба грузовика мчались сломя голову. И все-таки сержант Матвеев, который, по своему обыкновению, сжал стоя, то и дело стучал прикладом автомата в кабину водителя, крича:

— Ну, что же ты, Костя! Давай нажимай! Давай, давай, давай!

Орудие, прицепленное вместе со своим передком к грузовику, моталось и подскакивало, как игрушечное. Солдат на поворотах валяло. Они стучались шлемами, хватались друг за друга руками. Но никто при этом не смеялся. Не слышно было также и шуток, столь обычных в подобных случаях.

Лица у всех были грубые, неподвижные, словно вырубленные из дерева. А зеленые шлемы, надвинутые

глубоко на глаза, при свете темного ветреного утра казались почти черными.

Ваня не знал, куда их везут. Они так быстро снялись, что мальчик не успел ни у кого спросить. Он только понимал, что их бросают в бой, который уже начался, и что в этом бою они будут действовать как-то необычно, не так, как всегда.

Подчиняясь общему настроению сурового и нетерпеливого ожидания, Ваня сидел, крепко вцепившись одной рукой в скамейку, а другой все время ощупывая в кармане дистанционный ключ.

Его рот был плотно сжат, глаза серьезно и вопросительно смотрели по сторонам, а маленькое лицо, казавшееся под большим шлемом еще меньше и тоньше, так же, как и у других солдат, было как бы вырезано из дерева.

Проехав не более двух километров без дороги, по вспаханым полям и огородам, машина спустилась в низину, где навстречу им выбежал высокий солдат, еще издали делая поднятыми над головой руками какие-то знаки.

Передний грузовик немного замедлил ход, и солдат вскочил на подножку.

— Давай, давай,— быстро сказал он водителю, показывая громадной черной рукой направление.— Давай полный, не останавливайся. Надо быстро проскочить через вот ту высотку. Видишь? Там из миномета достает.

Водитель резким рывком переставил рычаги, радиатор окутался паром, и машина с натужливым, ноющим звуком полезла в гору.

— Ну, как там дело? — спросил сержант Матвеев солдата, который продолжал стоять на подножке и показывать дорогу.

— У него там целый батальон против наших двух рот. Жара. Пехота огонька просит.

— А пехота чья?

— Ахунбаевская.

Сержант Матвеев с удовлетворением кивнул головой:

— Сейчас дадим.

Ваня посмотрел на солдата и узнал в нем Биденко.

— Дяденька Биденко! — радостно закричал он.— Смотрите, я тоже тут. Шестым номером стою. У меня и ключ специальный есть, чтобы трубки ставить. Во, ключ!

Мальчик вытащил из кармана дистанционный ключ.

Но Биденко не заметил Ваню. Как раз в это самое время грузовик выехал на опасную высоту. Теперь он мчался с предельной скоростью. А водитель все жал и жал, ругаясь сквозь зубы и яростно дергая рычаги.

Четыре мины одновременно разорвались вокруг грузовика. За стуком ящиков с патронами, за воем мотора, за громоханием орудия, мотающегося сзади по рытвинам и колдобинам, мальчик не услышал ни их полета, ни их разрыва. Он только вдруг увидел черный сноп земли, выброшенный вверх из картофельной грядки. Он почувствовал, как его толкнуло воздухом.

Все же эти четыре мины разорвались недостаточно близко, чтобы причинить какой-нибудь вред. В следующую минуту грузовик проскочил опасное место. Теперь он быстро спускался под гору, в то время как позади весь гребень высоты уже был покрыт бурыми облаками взрывов.

— Ну, теперь будет кидать по пустому месту до вечера,— презрительно заметил Матвеев и потрогал свои щегольские усики и свои севастиопольские полубачки, как бы желая убедиться, что они находятся на своем месте и не пострадали от обстрела.

— Стоп,— сказал Биденко.

Машина круто развернулась, так что орудие оказалось дулом к неприятелю, и остановилась. Номера соскочили на землю и стали снимать пушку с передка. И Биденко заметил Ваню.

— А, пастушок? Друг милый? И ты здесь?

Он схватил мальчика своими могучими руками, снял его с высокого грузовика и поставил на землю.

— Во, дядя Биденко, глядите,— возбужденно сказал Ваня, показывая разведчику дистанционный ключ.

— Ишь ты, какой стал завзятый орудиец!

Биденко смотрел на мальчика радостно и вместе с тем несколько ревниво, стараясь разглядеть, какие улучшения и усовершенствования ввели орудийцы во внешний вид его бывшего воспитанника. Усовершенствование было одно: орудийцы надели на мальчика шлем. Это еще больше приблизило Ваню к бывалому солдату. В остальном же все было по-прежнему. Правда, обмундирование Вани уже не имело прежнего ослепительно нового вида. Оно обмялось, потерлось, на сапогах сделались толстые складки, голенища осели, рукав шинели в одном месте был промаслен орудийным салом.

Биденко в глубине души все это даже нравилось. Это придавало его любимцу еще более боевой вид. Но все же он не удержался, чтобы не сказать ворчливо:

— А обтрепался весь, вывалялся. Срам смотреть.

— Я, дяденька, не виноват. Иной раз приходится не раздевавшись ночевать возле орудия, прямо на земле.

— Возле орудия... — с горечью сказал Биденко. — Небось у нас чище ходил. Все-таки надо аккуратнее носить казенное обмундирование.

Ваня понимал, что Биденко это говорит только так, лишь бы поворчать. Он чувствовал, что Биденко его по-прежнему любит. Его сердце сразу согрелось, и ему захотелось рассказать Биденко все радостные и важные новости, которые произошли с ним за последнее время, что он уже один раз сам выпалил из пушки, что вчера его поставили шестым номером, что капитан Енакиев принимает его к себе сыном и уже подал рапорт командиру дивизиона.

Ему хотелось расспросить разведчика о Горбунове, что у них слышно хорошего, какие есть новые трофеи.

Но ничего этого сказать он не успел. Вокруг шел бой. Каждая секунда была на вес золота. Много разговаривать не приходилось.

Как только пушки были сняты с передков и ящики с патронами выгружены, — а это сделалось не более чем в полторы минуты, — сержант Матвеев подал новую, еще ни разу не слышанную Ваней команду:

— На колеса!

24

Номера тотчас окружили пушку, подняли хобот, навалились на колеса, — по два человека на каждое колесо, — пристегнули лямки к колпакам колес, крикнули, ухнули и довольно быстро покатали орудие по тому направлению, которое показывал знаками бежавший впереди Биденко.

Остальные солдаты схватили ящики с патронами и потащили их волоком следом за пушкой.

Мальчику никто ничего не сказал. Он сам понял, что ему надо делать. Он взялся за толстую веревочную ручку ящика и попытался его сдвинуть с места. Но ящик был слишком тяжел. Тогда Ваня, не долго думая, отбил ди-

станционным ключом крышку, положил себе на каждое плечо по длинному, густо смазанному салом патрону и побегал, приседая от тяжести, за остальными.

Когда он прибежал, оружие уже стояло возле большой кучи картофельной ботвы и было готово к бою. Недалеко находилось и другое оружие.

Капитан Енакиев тоже был здесь.

Ваня никогда еще не видел его в таком положении. Он лежал на земле, как простой солдат, в шлеме, раскинув ноги и твердо вдавив в землю локти. Он смотрел в бинокль.

Рядом с ним, облокотившись на автомат, полулежал капитан Ахунбаев в пестрой плащ-палатке, туго завязанной на шее тесемочками. Возле него на земле лежала сложенная, как салфетка, карта. Ваня заметил на ней две толстые красные стрелы, направленные в одну точку. Тут же лежали еще два человека — наводчик Ковалев и наводчик второго орудия, фамилии которого Ваня еще не знал. Они оба смотрели в том же направлении, куда смотрел и командир батареи.

— Хорошо видите? — спросил капитан Енакиев.

— Так точно, — ответили оба наводчика.

— По-вашему, сколько метров до цели?

— Метров семьсот будет.

— Правильно. Семьсот тридцать. Туда и давайте.

— Слушаюсь.

— Наводить точно. Стрелять быстро. Темпа не терять. От пехоты не отрываться. Особой команды не будет.

Капитан Енакиев говорил жестко, коротко, каждую фразу отбивал точкой, словно гвоздь вбивал. Ахунбаев на каждой точке одобрительно кивал головой и улыбался совсем не веселой, странной зловеще-остановившейся улыбкой, показывая свои тесные сверкающие зубы.

— Открывать огонь сразу по общему сигналу, — сказал капитан Енакиев.

— Одна красная ракета, — нетерпеливо сказал Ахунбаев, запихивая карту в полевую сумку. — Я сам пуцу. Следите.

— Слушаюсь.

Ахунбаев вставил в металлическую петельку полевой сумки кончик ремешка и с силой его дернул.

— Пошел! — решительно сказал он и, не попрощавшись, широкими шагами побегал вперед, туда, откуда слышалась все учащавшаяся ружейная стрельба.

— Вопросов нет? — спросил капитан Енакиев наводчиков.

— Никак нет.

— По орудиям!

И оба наводчика поползли каждый к своему орудью. Тут только Ваня заметил, что все люди, которые были вокруг, — а их было довольно много: и батарейцы, и пехотинцы, и две девушки-санитарки со своими сумками, и несколько телефонистов с кожаными ящиками и железными катушками, и один раненый с забинтованной рукой и головой, — все эти люди лежали на земле, а если им нужно было передвинуться на другое место, то они ползли.

Кроме того, Ваня заметил, что иногда в воздухе раздается звук, похожий на чистое, звонкое чириканье какой-то птички. Теперь же ему стало ясно, что это пошвыстывают шальные пули. Тогда он понял, что находится где-то совсем близко от пехотной цепи. И сейчас же он увидел эту пехотную цепь. Она была совсем рядом.

Ваня давно уже видел впереди, посредине картофельного поля, ряд холмиков, которые казались ему кучками картофельной ботвы. Теперь он ясно увидел, что именно это и есть пехотная цепь. А за нею уже никого своих нет, а только немцы.

Тогда он, осторожно пригибаясь, подошел к своему орудью, поставил снаряды на землю и лег на свое место шестого номера возле ящика.

Ване казалось, что все то, что делалось в этот день вокруг него, делается необыкновенно томительно, медленно. В действительности же все делалось со сказочной быстротой.

Не успел Ваня подумать, что было бы очень хорошо как-нибудь обратить на себя внимание капитана Енакиева, улыбнуться ему, показать дистанционный ключ, сказать: «Здравия желаю, товарищ капитан», — словом, дать ему понять, что он тоже здесь вместе со своим орудием и что он, так же, как и все солдаты, воюет, — как впереди хлопнул слабый выстрел и взлетела красная ракета.

— По наступающим немецким цепям. Прямой наводкой. Огонь! — коротко, резко, властно крикнул капитан Енакиев, вскакивая во весь рост.

— Огонь! — закричал сержант Матвеев.

И в этот же самый миг или даже, как показалось,

немного раньше ударили обе пушки. И тотчас они ударили еще раз, а потом еще, и еще, и еще. Они били подряд, без остановки. Звуки выстрелов смешивались со звуками разрывов. Непрерывный звенящий гул стоял, как стена, вокруг орудий. Едкий, душный запах пороховых газов заставлял слезиться глаза, как горчица. Даже во рту Ваня чувствовал его кислый, металлический вкус.

Дымящиеся гильзы одна за другой выскакивали из канала ствола, ударялись о землю, подпрыгивали и переворачивались. Но их уже никто не подбирал. Их просто отбрасывали ногами.

Ваня не успевал вынимать патроны из укупорки и сдирать с них колпачки.

Ковалев всегда работал быстро, но сейчас каждое его движение было мгновенным и неуловимым, как молния. Не отрываясь от панорамы, Ковалев стремительно крутил подъемный и поворотный механизмы одновременно обеими руками, иногда в разные стороны. То и дело, закусив съеденными зубами ус, он коротко, злобно рвал спусковой шнур. И тогда пушка опять и опять судорожно дергалась и окутывалась прозрачным пороховым газом.

А капитан Енакиев стоял рядом с Ковалевым по другую сторону орудийного колеса и пристально следил в бинокль за разрывами своих снарядов. Иногда, чтобы лучше видеть, он отходил в сторону, иногда бежал вперед и ложился на землю. Один раз он даже с необыкновенной легкостью взобрался на кучу ботвы и некоторое время стоял во весь рост, несмотря на то что несколько мин разорвалось поблизости, и Ваня слышал, как один осколок резко щелкнул по щиту пушки.

— Вот-вот. Хорошо. Еще разик, — нетерпеливо говорил капитан Енакиев, снова возвращаясь к пушке и что-то показывая Ковалеву рукой. — А теперь правой два деления. Видишь, там у них миномет. Давай туда. Три штучки. Огонь!

Пушка снова судорожно дергалась. А капитан Енакиев, не отрываясь от бинокля, быстро приговаривал:

— Так-так-так. Молодец, Василий Иванович, угодил в самую ямку. Замолчал, мерзавец. А теперь, пожалуйста, опять по пехоте. Ага, черти! Прижались к земле, не могут головы поднять. Дай им еще, Василий Иванович.

Один раз, при особенно удачном выстреле, капитан

Енакиев даже захохотал, бросил бинокль и похлопал в ладоши.

Никогда еще Ваня не видел своего капитана таким быстрым, оживленным, молодым. Он всегда им гордился, как солдат гордится своим командиром. Но сейчас к этой солдатской гордости примешивалась другая гордость — гордость сына за своего отца.

Вдруг капитан Енакиев поднял руку, и обе пушки замолчали. Тогда Ваня услышал торопливую, захлебывающуюся скороговорку, по крайней мере, десяти пулеметов, собранных в одном месте. Звук был такой, что мальчика мороз подрал по коже. Он не понимал, хорошо это или плохо. Но когда он посмотрел на капитана Енакиева, то сразу понял, что это очень хорошо.

Впоследствии мальчик узнал от солдат, что это были двенадцать пулеметов Ахунбаева. Они были спрятаны и молчали до тех пор, пока немцы не подошли совсем близко. Тогда они внезапно и все разом открыли огонь.

— Ага, бегут, — сказал капитан Енакиев. — А ну-ка, по отступающим немецким целям, шрапнелью. Прицел тридцать пять, трубка тридцать пять. Огонь! — закричал он, и тогда пушки выстрелили каждая шесть раз; он снова легким движением руки остановил огонь.

Пулеметы продолжали заливаться, но теперь, кроме их машинного, обгоняющего друг друга звука, слышался уже знакомый звук многих человеческих голосов, кричавших в разных концах поля: «Ура-а-а-а...»

— Вперед! — сказал капитан Енакиев и, не оглядываясь, побежал вперед.

— На колеса! — крикнул сержант Матвеев, у которого по щеке текла кровь.

И пушки снова покатались вперед. Теперь они катились еще быстрее. Навстречу им выбегали разгоряченные боем пехотинцы и с громкими азартными криками помогали артиллеристам толкать спицы колес. Другие несли или волокли ящики с патронами.

Между тем капитан Ахунбаев продолжал гнать немцев, не давая им залечь и окопаться. Двенадцать пулеметов были не единственным сюрпризом, приготовленным Ахунбаевым. Он держал в запасе минометную батарею, которая тоже была надежно укрыта и не сделала еще ни одного выстрела.

Теперь, пока пушки были на ходу и не могли стре-

лять, настала очередь минометной батареи. Она сразу сосредоточенным веером обрушилась на бегущих немцев. Немцы бежали так быстро, что преследующая их пехота, а вместе с нею и пушки долго не могли остановиться.

Не сделав ни одной остановки, пушки Енакиева продвинулись до середины возвышенности, откуда до основных немецких позиций было рукой подать. Здесь немцам удалось зацепиться за длинный ров огорода. Они стали окапываться. Но в это время подоспели пушки. Бой разгорелся с новой силой.

Теперь пушки стояли среди стрелковых ячеек. Справа и слева Ваня видел лежавших на земле стреляющих пехотинцев. Он видел раздатчиков патронов, которые быстро бежали и падали позади стрелков, волоча за собой цинковые ящики.

Ваня слышал крики офицеров, командующих залпами.

Вся земля была вокруг изрыта дымящимися воронками. Всюду валялись стреляные пулеметные ленты с железными гильзами, раздавленные немецкие фляжки, обрывки кожного снаряжения с тяжелыми цинковыми крючками и пряжками, неразорвавшиеся мины, порванные в клочья немецкие плащ-палатки, окровавленные тряпки, фотокарточки, открытки и множество того зловещего мусора, который всегда покрывает поле недавнего боя.

Несколько немецких трупов в тесных землисто-зеленых мундирах и больших серых резиновых сапогах валялось недалеко от пушек.

Сначала Ване показалось, что здесь они простоят долго.

Но, видя, что атака захлебывается, капитан Ахунбаев выложил свой третий, и последний, козырь. Это был свежий, еще совсем не тронутый взвод, который капитан Ахунбаев приберег на самый крайний случай. Он подвел его скрытно, с необыкновенной быстротой и мастерством развернул и лично повел в атаку мимо орудий Енакиева на самый центр немцев, не успевших еще как следует окопаться.

Это была минута торжества. Но она пролетела так же стремительно, как и все, что делалось вокруг Вани в это утро.

Едва орудийный расчет взялся за лопаты, чтобы поскорее закрепиться на новой позиции, как Ваня заметил,

что вдруг все вокруг изменилось как-то к худшему. Что-то очень опасное, даже зловещее показалось мальчику в этой тишине, которая наступила после грохота боя.

Капитан Енакиев стоял, прислонившись к оружейному щиту, и, прищурившись, смотрел вдаль. Ваня еще никогда не видел на его лице такого мрачного выражения.

Ковалев стоял рядом и показывал рукой вперед. Они негромко между собой переговаривались. Ваня прислушался. Ему показалось, что они играют в какую-то игру-считалку.

— Один, два, три,— говорил Ковалев.

— Четыре, пять,— продолжал капитан Енакиев.

— Шесть,— сказал Ковалев.

Ваня посмотрел туда, куда смотрели командир и наводчик. Он увидел мутный, зловещий горизонт и над ним несколько высоких остроконечных крыш, несколько старых деревьев и силуэт железнодорожной водокачки. Больше он ничего не увидел.

Но в это время подошел капитан Ахунбаев. Его лицо было горячим, красным. Оно казалось еще более широким, чем всегда. Пот, черный от копоти, струился по его щекам и капал с подбородка, блестящего, как помидор. Он утирал его краем плащ-палатки.

— Пять танков,— сказал он, переводя дух.— Направление на водокачку. Дальность три тысячи метров.

— Шесть,— сказал капитан Енакиев,— расстояние две тысячи восемьсот.

— Возможно,— сказал Ахунбаев.

Капитан Енакиев посмотрел в бинокль и сказал:

— В сопровождении пехоты.

Капитан Ахунбаев нетерпеливо взял из его рук бинокль и тоже посмотрел. Он смотрел довольно долго, вода биноклем по горизонту. Наконец он вернул бинокль.

— До двух рот пехоты,— сказал Ахунбаев.

— Приблизительно так,— сказал капитан Енакиев.— Сколько у вас осталось штыков?

Ахунбаев не ответил на этот вопрос прямо.

— Большие потери,— с раздражением сказал он, перевязав на шее тесемочки плащ-палатки, подтянул осевшие голенища сапог и широкими шагами побежал вперед, размахивая автоматом.

Как ни тихо велся этот разговор, но в тот же миг слово «танки» облетело оба орудия.

Солдаты, не сговариваясь, стали копать быстрее, а пятые и шестые номера стали поспешно выбирать из ящиков и складывать отдельно бронебойные патроны. Твердо помня свое место в бою, Ваня бросился к патронам.

И в это время капитан Енакиев заметил мальчика.

— Как! Ты здесь? — сказал он. — Что ты здесь делаешь?

Ваня тотчас остановился и вытянулся в струнку.

— Шестой номер при первом орудии, товарищ капитан, — расторопно доложил он, прикладывая руку к шлему, ремешок которого никак не затягивался на подбородке, а болтался свободно.

Тут, надо признаться, мальчик немножко слукавил. Он не был шестым номером. Он только был запасным при шестом номере. Но ему так хотелось быть шестым номером, ему так хотелось предстать в наиболее выгодном свете перед своим капитаном и названным отцом, что он невольно покривил душой.

Он стоял навытяжку перед Енакиевым, глядя на него широко раскрытыми синими глазами, в которых светилось счастье, оттого что командир батареи наконец его заметил.

Ему хотелось рассказать капитану, как он переносил за пушкой патроны, как он снимал колпачки, как недалеко упала мина, а он не испугался. Он хотел рассказать ему все, получить одобрение, услышать веселое солдатское слово «силен»!

Но в эту минуту капитан Енакиев не был расположен вступать с ним в беседу.

— Ты что — с ума сошел? — сказал капитан Енакиев испуганно.

Ему хотелось крикнуть: «Ты что — не понимаешь? На нас идут танки. Дурачок, тебя же здесь убьют. Беги!» Но он сдержался. Он строго нахмурился и сказал отрывисто, сквозь зубы:

— Сейчас же отсюда уходи.

— Куда? — сказал Ваня.

— Назад. На батарею. Во второй взвод. К разведчикам. Куда хочешь.

Ваня посмотрел в глаза капитану Енакиеву и понял все. Губы его дрогнули. Он вытянулся еще сильнее.

— Никак нет,— сказал он.

— Что? — с удивлением переспросил капитан Енакиев.

— Никак нет,— повторил мальчик упрямо и опустил глаза в землю.

— Я тебе приказываю, слышишь? — тихо сказал капитан Енакиев.

— Никак нет,— сказал Ваня с таким напряжением в голосе, что даже слезы показались у него на ресницах.

И тут капитан Енакиев в один миг понял все, что происходило в душе этого маленького человека, его солдата и его сына. Он понял, что спорить с мальчиком не имеет смысла, бесполезно, а главное — уже нет времени.

Чуть заметная улыбка, молодая, озорная, хитрая, скользнула по его губам. Он вынул из полевой сумки листок серой бумаги для донесений, приложил его к оружейному щиту и быстро написал химическим карандашом несколько слов. Затем он вложил листок в небольшой серый конвертик и заклеил.

— Красноармеец Солпцев! — сказал он так громко, чтобы услышали все.

Ваня подошел строевым шагом и стукнул каблуками.

— Я, товарищ капитан.

— Боевое задание. Немедленно доставьте этот пакет на командный пункт дивизиона, начальнику штаба. Попятно?

— Так точно.

— Повторите.

— Приказано немедленно доставить пакет на командный пункт дивизиона, начальнику штаба,— автоматически повторил Ваня.

— Правильно.

Капитан Енакиев протянул конверт. Так же автоматически Ваня взял его. Расстегнул шинель и глубоко засунул пакет в карман гимнастерки.

— Разрешите идти?

Капитан Енакиев молчал, прислушиваясь к отдаленному шуму моторов. Вдруг он быстро повернулся и коротко бросил:

— Ну? Что же вы? Ступайте!

Но Ваня продолжал стоять навтыжку, не в силах отвести сияющих глаз от своего капитана.

— Что же ты? Ну? — ласково сказал капитан Енакиев.

Он притянул к себе мальчика и вдруг быстро, почти порывисто, прижал его к груди.

— Выполний, сынок, — сказал он и слегка оттолкнул Ваню от себя небольшой рукой в потертой замшевой перчатке.

Ваня повернулся через левое плечо, поправил шлем и, не оглядываясь, побежал. Не успел он пробежать и ста метров, как услышал за собой орудийные выстрелы. Это били по танкам пушки капитана Енакиева.

25

Когда Ваня, трудно дыша и обливаясь потом, добежал до артиллерийских позиций и наконец разыскал командный пункт дивизиона, — на той высоте, где он оставил капитана Енакиева, уже давно кипел бой.

Вся высота была сплошь покрыта смешавшимися клубами белого, черного и серого дыма, тугого и кудрявого, как новая овчина.

В дыму мигали молнии взрывов. Земля вздрагивала. Воздух ходил над полем, как будто все время где-то распахивали и запахивали огромные ворота.

И десятки снарядов наших ближних и дальних батарей каждый миг проносились над головой по направлению к этой высоте.

Не глядя на Ваню, начальник штаба взял пакет, прочитал, нахмурился, сказал:

— Да. Я уже знаю.

И положил пакет в папку боевых донесений.

Ваня вышел из штабного блиндажа и побежал назад. Только теперь он заметил, что бой идет не только на той высоте, где находился капитан Енакиев. Теперь бой уже шел по всему фронту, медленно перемещаясь на запад.

Ваня бежал, а мимо него, обгоняя, проносились грузовики мотомеханизированной пехоты; танки косо переваливались через глубокие канавы, как утки; на вид медленно, а на самом деле быстро, двигались, скрежеща гусеницами, самоходные пушки; бежали со своими палками и катушками телефонисты, наращивая свои линии; ехал на прыгающем «виллисе» генерал в дымчатой папахе с красным верхом, держа перед глазами карту, развернутую, как газета.

Словом, все вокруг перемещалось, все было в движении, все торопилось вперед.

Ваня с трудом узнавал знакомую местность, которая, казалось, тоже переменялась, стала какой-то чужой, странной. Ваня не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оставил свое орудие. Ему казалось, что прошло несколько минут. На самом деле прошло несколько часов. Он думал, что на высоте продолжается бой, и очень торопился.

Он не знал, что там уже давно все кончено: танки уничтожены, атака отбита, взятая высота закреплена, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это все случилось. Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение сорока минут отбивались от окруживших их немцев ручными гранатами, а когда не стало гранат, то они дрались штыками, лопатами, чем попало. Но так как немцы продолжали наседавать, то капитан Енакиев позвонил в дивизию и вызвал огонь батарей дивизиона на себя.

Ничего этого Ваня не знал. Но необъяснимая тревога мало-помалу охватила его душу, когда он стал приближаться к знакомому месту.

Впрочем, это место тоже теперь было незнакомым. Ваня с трудом узнавал его.

Вот позиция, откуда они первый раз стреляли прямой наводкой. Ваня узнал ее только по куче картофельной ботвы, немного сбитой набок, когда на нее взбирался капитан Енакиев. Возле этой кучи раньше лежал пустой, расколовшийся ящик от патронов. Он и сейчас лежал здесь. Но теперь из него кто-то, неизвестно зачем, вынул внутренние перегородки с луночками для патронов и бросил их тут же на замершую землю. Больше ничего знакомого не было. Главное, не было тех людей, которые тогда здесь находились и которые-то и делали это место знакомым.

Мальчик пошел дальше.

На том поле, где раньше лежала в цепи пехота Ахунбаева, теперь дымился обугленный грузовик, со всех сторон окруженный взорвавшимися и разлетевшимися орудийными патронами. И Ваня понял, что это был грузовик, который, наверное, пытался подвезти капитану Енакиеву патроны.

Еще дальше Ваня увидел два разбитых немецких танка, которых тут раньше не было. Из одного развороченного танка торчала нога в серой обгоревшей обмотке и в толстом башмаке, подбитом стершимися железными гвоздиками. Возле другого танка с расщепленным оружейным стволом, в воронке, валялась какая-то треснувшая склянка, похожая на электрическую лампочку. Из этой склянки медленно вытекала густая прозрачная жидкость, горя неподвижным пламенем — желтым и неярким, как фосфор.

Дальше все поле было изрыто воронками. Большие и маленькие воронки так близко находились одна от другой, что между ними невозможно было найти ровного места, чтобы поставить ногу. Все время приходилось спускаться вниз и подниматься вверх. Ваня прошел по этому полю шагов тридцать и совсем устал.

Горячий пот покрывал его голову под тяжелым шлемом. Тяжелая шинель давила плечи.

Несколько незнакомых артиллеристов прошли мимо Вани; на спине у одного из них был зеленый ящик с зеленой антенной, похожей на камышинку с тремя узкими листьями.

Проехал незнакомый артиллерийский капитан на незнакомой рослой вороной кобыле и за ним незнакомый разведчик с автоматом на шее.

Все вокруг было незнакомым, чужим, под этим сумрачным низким небом, откуда холодный ветер нес первые снежинки.

И вдруг Ваня увидел свою пушку. Она стояла, немного накренившись, и вместо одного колеса, которого почему-то не было, ее подпирало несколько ящиков от патронов, поставленных один на другой.

Недалеко от пушки стоял грузовик с откинутым бортом, и несколько человек в него что-то осторожно грузили.

С замершим, почти остановившимся сердцем мальчик подошел ближе. Поле против пушки было покрыто немецкими трупами. Всюду валялись кучи стреляных гильз, пулеметные ленты, растоптанные взрыватели, окровавленные лопаты, вещевые мешки, раздавленные гильзы, порванные письма, документы.

И на лафете знакомой пушки, которая одна среди этого общего уничтожения казалась сравнительно мало пострадавшей, сидел капитан Енакиев, низко свесив го-

лову и руки и боком, всем телом повалившись на открытый затвор.

Ване показалось, что капитан Енакиев спит. Мальчик хотел броситься к нему, но какая-то могучая, враждебная сила заставила его остановиться и окаменеть.

Он неподвижно смотрел на капитана Енакиева, и чем больше он на него смотрел, тем больше ужасался тому, что видит.

Вся аккуратная, ладно пригнанная шинель капитана Енакиева была порвана и окровавлена, как будто его рвали собаки. Шлем валялся на земле, и ветер шевелил на голове капитана Енакиева серые волосы, в которые уже набилось немного снега.

Лица капитана Енакиева не было видно, так как оно опустилось слишком низко. Но оттуда все время капала кровь. Ее уже много натекло под лафет, целая лужа.

Руки капитана Енакиева были почему-то без перчаток. Одна рука виднелась особенно хорошо. Она была совершенно белая, с совершенно белыми пальцами и голубыми ногтями.

Между тем ноги в тонких, старых, но хорошо вычищенных сапогах были неестественно вытянуты и, казалось, вот-вот поползут, царапая землю каблуками.

Ваня смотрел на него, знал наверное, что это капитан Енакиев, но не верил, не мог верить, что это был он. Нет, это был совсем другой человек — неподвижный, непонятный, странный, а главное — чужой, как и все, что было в эту минуту в мире вокруг мальчика.

И вдруг чья-то рука тяжело, но вместе с тем нежно опустилась на Ванин погон. Ваня поднял глаза и увидел Биденко. Разведчик стоял возле него — большой, добрый, родной — и ласково улыбался.

Одна его могучая рука лежала на Ванном плече, а другую руку, толсто забинтованную и перевязанную окровавленной тряпкой, он держал, неумело прижимая к груди, как ребенка.

И вдруг в душе у Вани будто что-то повернулось и открылось. Он бросился к Биденко, обхватил руками его бедра, прижался лицом к его жесткой шинели, от которой пахло пожаром, и слезы сами собой полились из его глаз.

— Дяденька Биденко... дяденька Биденко... — повторял он, вздрагивая всем телом и захлебываясь слезами.

А Биденко, осторожно сняв с него тяжелый шлем, гладил его забинтованной рукой по теплой стриженной голове и смущенно приговаривал:

— Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что солдат плачет. Да ведь что поделаешь. На то война.

26

В кармане убитого капитана Енакиева нашли записку. Он написал ее перед тем, как вызвать огонь на себя. Хотя она была написана второпях, но можно было подумать, что капитан Енакиев писал ее в совершенно спокойной обстановке у себя в блиндаже. Такая она была аккуратная, четкая, без единой помарки.

А между тем в ту страшную, последнюю минуту, когда он ее писал, вокруг него почти уже никого не осталось.

Капитан Ахунбаев лежал на земле, раскинув из-под плащ-палатки руки. Пуля пробила его широкий упрямый лоб в самой середине. Только что Ковалев сел на землю в такой позе, как будто он хотел снять сапог и перемотать портянку, но вдруг повалился на бок и больше уже не двигался.

Однако капитан Енакиев в своей записке не забыл проставить число, месяц, год и час, когда он ее писал. Он даже обозначил место: «В районе цели номер восемь». Подписав свою фамилию, не забыл поставить точку.

Записка была свернута треугольником и положена в наружный карман гимнастерки с таким расчетом, чтобы ее легко можно было найти.

В этой записке капитан Енакиев прощался со своей батареей, передавал привет всем своим боевым товарищам и просил командование оказать ему последнюю воинскую почесть — похоронить его не в Германии, а на родной советской земле.

Кроме того, он просил позаботиться о судьбе его названного сына Вани Солнцева и сделать из него хорошего солдата, а впоследствии достойного офицера.

Последняя воля капитана Енакиева была свято выполнена. Его похоронили на советской земле.

После того как вьюга замела могилу первым снегом, Ваню Солнцева потребовали на командный пункт полка

к командиру. И Ваня опять услышал то слово, которое всегда для солдата обозначает перемену судьбы.

Командир артиллерийского полка объявил Ване, что он направляется в суворовское училище, и сказал:

— Собирайся.

А через четыре дня по широкой ухабистой улице, ведущей от вокзала к центру старинного русского города, шел Ваня Солнцев в сопровождении ефрейтора Биденко.

Они шли не спеша, с тем выражением достоинства и некоторого скрытого недовольства, с которым обычно ходят фронтовики по улицам тылового города, удивляясь тишине и беспорядку его жизни.

Биденко шел налегке, с подвязанной рукой. За спиной у мальчика был зеленый вещевой мешок.

В этом мешке лежало множество нужных и ненужных вещей, которые подарили Ване разведчики и орудийцы, соединенными усилиями собирая своего сына в дальнюю путь-дорогу.

Была в вещевом мешке и знаменитая торба с букварем и компасом. Был кусок превосходного душистого мыла в розовой целлулоидной мыльнице и зубная щетка в зеленом целлулоидном футляре с дырочками. Были зубной порошок, иголки, нитки, сапожная щетка, вакса. Была банка свиной тушенки, мешочек рафинада, спичечная коробочка с солью и другая спичечная коробочка — с заваркой чаю. Была кружка, губная гармоника, трофейная зажигалка, несколько зубчатых осколков и два патрона от немецкого крупнокалиберного пулемета — один с желтым снарядиком, другой с черным. Была буханка хлеба и сто рублей денег.

Но главное, там были тщательно завернутые в газету «Суворовский натиск», а сверх того, еще в платок погоны капитана Енакиева, которые на прощанье вручил Ване командир полка на память о капитане Енакиеве и велел их хранить, как зеницу ока, и сберечь до того дня, когда, может быть, и он, Ваня, сможет надеть их себе на плечи.

И, отдавая мальчику погоны капитана Енакиева, полковник сказал так:

— Ты был хорошим сыном у своего родного отца с матерью. Ты был хорошим сыном у разведчиков и у орудийцев. Ты был достойным сыном капитана Енакиева — хорошим, храбрым, исполнительным. И теперь весь наш артиллерийский полк считает тебя своим сыном.

Помни это. Теперь ты едешь учиться, и я надеюсь — ты не посрамишь своего родного полка. Я уверен, что ты будешь прекрасным воспитанником, а потом прекрасным офицером. Но имей в виду: всегда и везде, прежде всего и после всего, ты должен быть верным сыном своей матери-родины. Прощай, Ваня Солнцев, и когда ты станешь офицером — возвращайся в свой полк. Мы будем тебя ждать и примем тебя, как родного. А теперь — собирайся.

Ваня и Биденко прошли через весь город, заваленный сугробами, и остановились перед большим домом екатерининских времен, с колоннами и арками.

Город в сорок втором году некоторое время находился в руках у немцев, и дом этот в иных местах еще хранил на себе следы пожара.

Узорная чугунная решетка была покрыта инеем. Несколько столетних берез росло вокруг дома. Воздушные массы ветвей с темными шапками вороньих гнезд, так же, как и решетка, покрытая инеем, хрупко висели в нежном розоватом воздухе и казались совершенно голубыми.

Низкое солнце, лишённое лучей, плавало в морозном дыму, как яичный желток, и над старинной пожарной каланчой с выгоревшими стенами летали галки.

Биденко и Ваня прошли через контрольную будку, и в громадных сводчатых сенях Биденко сдал Ваню и пакет с документами дежурному офицеру, а сам сел под толстой аркой на старинный деревянный ларь и принялся ждать.

Он ждал довольно долго. Несколько раз из-под лестницы выходил молодой трубач, смотрел на часы и трубил. Раздирающие звуки трубы оглушительно ревели в этих просторных сенях с каменными толстыми стенами и каменными плитами пола. Они уносились вверх по громадной каменной лестнице с медными перилами, медленно утихали, и только слабое эхо еще долго носилось где-то в глубине здания по коридорам, классам и залам.

Здесь все совершалось по трубе. Труба управляла невидимой жизнью этого дома. Труба вдруг вызывала слитный шум сотен голосов и шарканье сотен ног. Она же вдруг водворяла такую мертвую тишину, что ни одного звука больше не слышалось, кроме шлепанья капли из рукомойника в умывальной и резкого тиканья часов под

лестницей. Один раз труба приказала выстроиться невидимой роте, и Биденко слышал, как в тишине где-то строилась эта невидимая рота, рассчитываясь на первый-второй, вздваивала ряды, поворачивалась, а потом быстро прошла, враз отбивая шаг сотней крепких башмаков: «Ать-два, ать-два, ать-два... левой! левой!»

А один раз на второй площадке лестницы появился маленький рыжий мальчик в черном мундирчике и длинных брюках с красными лампасиками. Судя по тому, как осторожно пробирался этот мальчик, можно было заключить, что труба не велела ему выходить сюда в это время и он это сделал сам по себе, без спросу.

Думая, что он один, мальчик лег животом на перила и с выражением блаженства на курносом веснушчатом лице съехал вниз. Но, заметив Биденко, страшно смутился, обдернул мундирчик, строевым шагом прошел по каменным потертым плитам и юркнул в боковую дверь.

А Биденко сидел, пригорюнившись, и гладил свою раненую руку, которая к вечеру стала побаливать. Ему жалко было расставаться с Ваней, потому что он чувствовал, что теперь они расстанутся навсегда.

На первой площадке лестницы висела большая, во всю стену, картина. На ней была нарисована белая лестница, похожая на ту, над которой она висела. Нарисованная лестница казалась продолжением настоящей. По сторонам ее были нарисованы старинные пушки, барабаны, знамена и трубы. По ступеням поднимался маленький мальчик в черном мундирчике с красными погонами. Сверху к нему протягивал руку Суворов в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над высоким сухим лбом.

И Биденко представилось, что это его Ваня, его «па-стушок», между труб и знамен шагает вверх по лестнице, а Суворов протягивает ему руку.

Но вот открылась боковая дверь, и в сени вошли дежурный офицер и Ваня. Биденко вскочил с ларя и вытянулся. Биденко ожидал увидеть Ваню уже в форме суворовского училища. Но мальчик еще был в своем армейском обмундировании, хотя без шинели и без чубчика, который успели состричь.

— Воспитанник Солнцев, можете проститься с провожатым,— сказал дежурный офицер и отошел в сторону.

Ваня подошел к Биденко. Они некоторое время молчали, не зная, что нужно делать.

В эту минуту в памяти мальчика промелькнула вся его жизнь. И он понял, что эта жизнь навсегда кончилась, а теперь для него начинается другая жизнь, совсем не похожая на прежнюю.

— Прощай, пастушок,— сказал наконец Биденко.

— Счастливого пути,— сказал Ваня.

Ему хотелось броситься к Биденко, обнять его так, как он обнял его тогда, у разбитого орудия в районе цели номер восемь, прижаться лицом к его обгорелой шинели, заплакать. Но та непонятная, могущественная сила, которая уже давно стала управлять его жизнью, остановила его.

Биденко молча протянул ему руку. В первый раз мальчик пожал эту громадную грубую руку, почувствовал всю ее силу и всю ее нежность. И в это время Биденко не удержался, и опять, как тогда в районе цели номер восемь, погладил Ванину стриженую голову своей забинтованной рукой.

— Дядя Биденко, прощайте! — вдруг изо всех сил крикнул Ваня, когда Биденко открывал тяжелую входную дверь с медными пружинами.

Но разведчик, не оглянувшись, вышел на улицу.

27

А через несколько часов, получив у капитанармуса и примерив форменное обмундирование, с тем чтобы надеть его на другой день с утра, Ваня — исполняя приказанье трубы — уже спал вместе с другими воспитанниками в большой теплой комнате, на отдельной кровати, под новеньким байковым одеялом.

На рассвете, незадолго перед подъемом, старый генерал, начальник училища, который всегда просыпался раньше всех, обходил, по своему обыкновению, спальни, для того чтобы посмотреть, как спят его мальчики.

Он остановился возле Ваниной койки и долго стоял, рассматривая мальчика. Ваня спал очень глубоким, но беспокойным сном, сбросив с себя одеяло и раскидавшись. По его лицу пробегали отражения снов, которые он видел. Каждую минуту оно меняло выражение.

Душа мальчика, блуждающая в мире сновидений, была

так далеко от тела, что он не почувствовал, как генерал покрыл его одеялом и поправил подушку.

Генерал смотрел на его одухотворенное спящее лицо, и ему хотелось проникнуть в душу этого маленького солдата, в самую ее глубину, прочесть самые его сокровенные чувства.

Генералу была известна Ванина история во всех подробностях. Знал он, конечно, и то, что в батарее мальчика прозвали «пастушком». И это особенно нравилось генералу. Он сам происходил из простой крестьянской семьи. Он любил иногда вспоминать свое детство.

И теперь, глядя на спящего «пастушка», генерал — совершенно так, как однажды ефрейтор Биденко, — вспомнил свое детство: раннее деревенское утро, коров, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зеленому лугу, разноцветные искры росы — огненно-фиолетовые, синие, красные, желтые — и в руках у себя вспомнил маленькую, вырезанную из бузины дудочку, из которой он выдувал такие тонкие и такие нежные, однообразные и вместе с тем веселые звуки.

Он невольно посмотрел на руку мальчика, выпроставшуюся из-под одеяла. Маленькие пальцы шевелились во сне, как будто перебирали скважины свирели.

И старый боевой генерал, герой гражданской войны, дравшийся под Царицыном, под Кронштадтом, под Орлом и сражавшийся во время Великой Отечественной войны под тем же Орлом и под тем же Царицыном, ставшим уже Сталинградом, — этот мужественный, суровый человек, с седой лысой головой, грубым морщинистым лицом и светлыми бесстрашными глазами, вдруг опустил голову, погладил себя по сивым усам и нежно улыбнулся.

И в это время с лестницы по коридорам и залам прилетел звук трубы, заигравший подъем.

Ваня услышал тотчас властный, резкий, требовательный голос трубы, но проснулся не сразу. Он еще некоторое время лежал с закрытыми глазами, не будучи в силах сразу вырваться из оцепенения сна.

Тогда генерал наклонился и слегка потянул мальчика за руку.

В то самое время Ване снился последний, предутренний сон. Ему снилось то же самое, что совсем недавно было с ним наяву.

Ване снилась длинная белая дорога, по которой белый грузовик вез тело капитана Енакиева. Вокруг стоял дре-

мучий русский бор, сказочно прекрасный в своем зимнем уборе. Четыре солдата с автоматами на шее стояли по углам гроба, покрытого полковым знаменем. Ваня был пятый, и он стоял в головах.

Была ночь. По всему лесу потрескивал мороз. Верхушки вековых елей, призрачно освещенные звездами, блестя и дымились, словно были натерты фосфором.

Ели, стоявшие по колено в сугробах, были громадно высоки. По сравнению с ними телеграфные столбы казались маленькими, как спички. Но еще выше елей было небо, все засыпанное зимними звездами. Особенно прекрасно сверкали звезды впереди, на том черном бархатном треугольнике неба, который соприкасался с белым треугольником бегущей дороги. Там дрожало и переливалось несколько таких крупных и таких чистых созвездий, словно они были выгранены из самых лучших и самых крупных алмазов в мире.

Узкий ледяной луч прожектора иногда скользил по звездам. Но он был не в силах ни погасить, ни даже ослабить их блеск. Они играли еще ярче, еще прекраснее.

А вокруг стояла громадная тишина, которая казалась выше елей, выше звезд и даже выше самого черного бездонного неба.

Внезапно какой-то далекий звук раздался в темной глубине леса. Ваня сразу узнал его. Это был резкий, требовательный голос трубы. Труба звала его. И тотчас все волшебство изменилось. Ели по сторонам дороги превратились в седые плащи и косматые бурки генералов. Лес превратился в сияющий зал. А дорога превратилась в громадную мраморную лестницу, окруженную пушками, барабанами и трубами.

И Ваня побежал по этой лестнице.

Бежать ему было трудно. Но сверху ему протягивал руку старик в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над прекрасным сухим лбом.

Он взял Ваню за руку и повел его по ступенькам еще выше, говоря:

— Иди, пастушок... Шагай смелее!

Москва, 1944 г.

ПОЕЗДКА НА ЮГ

Повесть

Оказалось, что наш автомобиль «Победа» — кабриолет с открывающимся брезентовым верхом — довольно емкая машина. В ней поместилось все семейство, двое взрослых, трое детей, шестой — дядя Саша, водитель.

Вещей взяли самое небольшое количество. Никаких спальных принадлежностей. Три дорожных мешка и ручной чемоданчик. Их заперли в багажник. Сумку с едой положили на спинку заднего сиденья. Так что, когда в семь часов утра тронулись в путь, никто бы не подумал, что нам предстоит проехать свыше тысячи пятисот километров.

Для того чтобы попасть с Минского шоссе на симферопольскую магистраль, следовало проехать через Москву. Там мы остановились возле колонки и заправились. Дядя Саша в последний раз обошел машину, открыл капот, измерил стальной линейкой уровень зеленовато-черного масла, потрогал баллоны, и мы тронулись по утренним улицам, мимо закрытых магазинов, к заставе. Невысокое солнце сухо горело в стеклах автобусов. По улицам летали зеркальные отражения легковых машин. Бесшумно хлопали сверкающие медью двери метро, торопливо впуская и выпуская пассажиров. Это был час, когда по городу развозят продукты. То и дело попадались кремовые цистерны с молоком, автофургоны — «Хлеб», «Мясо», «Рыба». Армия мороженщиц в белых халатах катила голубые ящики, торопясь занять места у троллейбусных остановок, и грузовики со льдом сбрасывали на ходу сверкающие глыбы возле тележек с газированной водой.

— Мне пришла в голову идея, — сказал Павлик. — Давайте на прощанье скушаем мороженого.

— Мороженого! Мороженого! — закричали ребята хором.

— Этого еще не хватало! — сказала мама. — Еще не выехали на шоссе, а уже останавливаться. И, кроме того, что это за манера есть мороженое в восемь часов утра? Потерпите до Тулы.

Утренний зной низко висел над городом. В нескольких местах из него мягко выступали очертания высотных зданий. Они как бы стояли по колено в пелене жаркого тумана. Совсем недавно мы были свидетелями их зарождения. Они развивались из простейших клеток, которые с поражающей быстротой росли вверх. Некоторое время они возвышались над разными районами города, как строгие прямоугольные каркасы — почти чертежи, — еще не здания, а лишь как бы схемы зданий. По ночам над ними высоко в черном небе горели унизированные электричеством стрелы кранов и по стальным клеткам бегали сапфировые звезды электросварки. Теперь, заполненные кирпичом и частично облицованные, они уже приобрели почти законченную архитектурную форму, эти первенцы послевоенных пятилеток, новорожденные богатыри, озирающие с высоты своего могучего роста поля, огороды и рощи Подмосковья. Они были похожи, как родные братья, но каждый из них имел свои особые черты. Мы легко узнавали их, как хороших знакомых, хотя еще и не знали их имен. Мы их называли так: «тот, что на Смоленской», «у Красных ворот», «на Кудринке», «который на Комсомольской площади». Только один уже имел имя: «Новый Московский университет» — самый высокий из всех братьев-богатырей, не дворец, а целый город, видный с расстояния по крайней мере сорока километров.

Мы уезжали всего на один месяц, но нам было жалко расставаться с высотными зданиями. Мы уже к ним привыкли. Видимо, и они к нам привыкли. Они все время появлялись то справа, то слева, то впереди, то сзади, то сбоку. Мы еще ехали городом, а они уже видели вдальке магистраль, по которой нам предстояло через несколько минут промчатся. Они расступались, вежливо и доброжелательно уступая нам дорогу. Интересно знать, какие они будут через месяц, когда мы вернемся? Наверное, еще больше подрастут и сформируются. В час добрый, до скорого свидания, великаны!

Мы проехали мимо речного вокзала и выскочили на широкий асфальт Варшавского шоссе. Но город еще долго

не кончался. Он плавно расходился по сторонам сотнями фабричных корпусов, тысячами многоэтажных жилых зданий, новыми и старыми школами, универмагами. Старые и новые заводские трубы расстилали по горизонту скатерть пепельного дыма, который смягчал краски, и сквозь него вся эта фабрично-заводская панорама, с ее решетчатыми вышками, трансформаторами, подстанциями, виадуками, мостиками, казалась нарисованной пастелью.

Кое-где между домов мелькнули огороды. Показалась маленькая роща, потом кусочек желто-зеленого поля, над ним — легкое облачко с синим основанием. Повеяло полевым простором. Но шоссе по-прежнему оставалось как бы продолжением города с его массивными чугунными фонарями, выкрашенными серебряной краской, с яркими дисками и треугольниками знаков уличного движения, с полосатыми жезлами милиционеров.

Но вот фонари исчезли. Кончилась сеть трамвайных и троллейбусных проводов. Над головой пролетел последний светофор. Шоссе круто нырнуло под косой железнодорожный мост с крупно написанными во всю его ширину волшебными словами «Москва — Симферополь» и громадным черным восклицательным знаком, окруженным зеркальными пуговками. Машина на миг окунулась в резкую косую тень и тотчас выскочила на яркое солнце. Мы оглянулись — Москвы уже не было. Лишь на горизонте мерцало дымное марево, да над ним за синей полосой далекого леса виднелась верхушка нового университета и ползущий мимо нее в небе чуть заметный самолет. Скоро она скрылась. Но дорога пошла вверх, и верхушка опять показалась над лесом. И опять скрылась, и опять показалась — маленький мерцающий клинышек, затепленный сиянием утреннего света.

Павлик привстал со своего места и, ухватясь за спинку переднего сиденья, с жадностью смотрел в боковое окошко с косо повернутым стеклом, по которому, шурша резинкой, скользил ветерок.

Я посмотрел в окно.

Вокруг поворачивались поля, рощи. Вдоль и поперек шагали по земле за горизонт четырехногие, шестирукие мачты высоковольтной электропередачи, неся на плечах грузно провисшие провода. Вдалеке полз трактор.

Асфальтная лента шоссе, твердая, гладкая, накатанная до стеклянного глянца, плавно сужаясь к горизонту,

стремительно стлалась под машиной и уносилась назад, увлекая за собой дорожные знаки, бело-черные столбики переездов, избы, деревья и крупную надпись: «До Симферополя 1388 км».

Первый город на нашем пути был Подольск. Мы увидели высокие трубы цементного и шпательного заводов. Они стояли попарно, как стволы двустволок. Дорогу пересекала заводская железнодорожная ветка. На повороте возвышалась белая статуя молодого рабочего в спецовке с разводным ключом в откинутой руке. За ним виднелась внушительная панорама заводов, длинные насыпи шлака, в которых копалось несколько экскаваторов. Мы проехали мимо новых домов рабочего поселка. Шоссе пошло вниз, стало широко поворачивать. На обочине появились серебряные столбики с красными зеркальными пуговичками. Слева в густой зелени мелькнула река Пахра. На одном из деревянных домиков мы увидели белую мраморную доску с надписью: «Здесь в 1900 году жил великий вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин». Мы остановились. Но дом-музей оказался закрытым — было еще слишком рано, — и мы отправились дальше, решив посетить музей на обратном пути. Варшавское шоссе свернуло вправо. На стрелке на миг показалось слово «Брест». А мы продолжали катить прямо на юг по симферопольской магистрали.

От старого, дореволюционного Подольска осталась какая-нибудь сотня маленьких трехконных домиков с провинциальными палисадниками да старая церковь, на минуту показавшая из пыльной зелени церковного сада свои синие полинявшие купола, усеянные серебряными звездами. Еще сравнительно недавно, до войны, проехать через Подольск на машине было делом не совсем приятным: скверная, тряская мостовая, выбоины, объезды. Теперь все было покрыто новым асфальтом шириной метров в пятнадцать. К сожалению, мы не смогли полностью использовать этот простор, так как всюду висели знаки, запрещающие обгон, — мера, по-моему, неоправданно строгая, если принять во внимание ширину шоссе. Вследствие этого нам пришлось сбросить скорость и плестись через весь город, уткнувшись в хвост длиннейшей вереницы грузового транспорта. Впрочем, это не испортило нам настроения. Слишком горячо и радостно сияло летнее утро, слишком много увлекательного и неизвестного ожидало нас впереди, а наверстать упущенные десять

минут нам ничего не стоило. Едва позади остался последний запретительный кружок и последний подольский регулировщик, как дядя Саша воспрянул духом и дал во семьдесят. Чистый теплый ветер ворвался в открытые окна и, пролетев по машине, выдул летние городские запахи горячего асфальта, отработанного газа, печеного хлеба, свежей масляной краски.

Пейзаж по-прежнему был подмосковный. Гармоничное соединение полей, лугов и огородов с островками смешанного леса. Живописная, извилистая речка. Дымок поезда. Стога свежего, серо-зеленого сена. И непременно где-нибудь столбы высоковольтной электропередачи, бредущие напрямик, без дороги, через поля, деревни и рощи.

— Типичный третий, — заметила Женя. — Область «среднего» климата, более умеренного, чем на севере, и не такого жаркого, как на юге, со средним количеством осадков; область постепенного перехода от леса к степи, от бедных подзолистых почв и суглинков к богатейшим и плодороднейшим черноземам.

И мы все с уважением посмотрели на умную и широко образованную Женю, хотя так и не поняли, что она имела в виду, когда сказала, что это «типичный третий».

По мере приближения к Серпухову места становились все более и более прелестными. Было в них что-то очень родное, неповторимое, напоминающее музыку Чайковского и живопись Левитана. Промчался столбик с табличкой «Лопасня». Начинались чеховские места. В тринадцати километрах от станции Лопасня находится усадьба Мелехово, в которой жил Чехов до переезда в Ялту. Мелехово было Ясной Поляной Чехова. В Мелехове и в близлежащих селах, Талеже и Новоселках, он на свои деньги выстроил школы для крестьян. Здесь он между прочим написал «На подводе»... Невозможно забыть образ сельской учительницы из этого потрясающего рассказа. Вот она едет на тряской телеге по весеннему бездорожью из города в свою деревенскую школу, эта русская девушка, постаревшая, огрубелая, измученная жизнью в избе, где от сырости облезла даже фотография матери — единственное, что у нее осталось от лучших дней. Лошади входят в холодную воду разлившейся реки. Озноб пронизывает Марью Васильевну. Калоши, ботинки полны воды. Платье и шубка мокры. Подмочены сахар и мука. На переезде опущен шлагбаум. Надо дожидаться, пока не пройдет

поезд. И вот наконец он пролетает, сверкающий курьерский поезд. Марья Васильевна, дрожа всем телом от холода, смотрит на его окна, горящие на солнце ярким блеском, «как кресты на церкви». И вдруг учительнице кажется, что на площадке первого класса стоит ее покойная мать. От восторга Марья Васильевна сжимает себе ладонями виски и кричит нежно, с мольбой: «Мама!» — и плачет неизвестно отчего... Да, никогда не умирали ее отец и мать. Никогда она не была учительницей. То был длинный, тяжелый, страшный сон. А теперь она проснулась... И все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Она, дрожа, коченея от холода, села в телегу. И вот она снова едет на тряской подводе в свою школу, где ее ожидает грубый сторож, который бьет детей, и грубый попечитель, которого надо умолять о присылке дров...

Впереди мелькнуло что-то пестрое, нарядное. Девушка на велосипеде. Мы ее быстро нагнали. Легкое летнее платье, белые щегольские босоножки, длинные загорелые руки — нежные и в то же время крепкие, «спортивные». Сзади, на багажнике, портфель и связка книг. Ветер относит в сторону русые, выгоревшие на солнце волосы с белым целлулоидным бантиком. Девушка наклоняет голову от ветра, поворачивает к нам голубоглазое лицо. На крышечке велосипедного звонка вспыхивает серебряная звезда. И мы проносимся мимо. Кто она такая, эта девушка? Очень возможно — даже наверное! — она так же, как и чеховская Марья Васильевна, «сельская» учительница. Но преподает она в колхозной десятилетке, комсомолка или молодой член партии, занимается общественной деятельностью, весьма возможно — депутат местного Совета трудящихся, много читает, и когда ей нужно поменять в библиотеке книги, садится на свой велосипед и весело катит по асфальту в ближайший город.

Но вот впереди, слева у дороги, из-за леса показался хорошенький кирпичный домик с высокой черепичной крышей, террасой, орнаментированными карнизами. Перед домиком — цветник, ограда, позади — усыпанный свежим песком квадратный дворик. По углам дворика — службы, тоже под черепицей: небольшой, аккуратный сеновал с решетчатым деревянным мезонином, гараж, колодец и сторожка. Что-то южное, почти крымское, чувствуется в этой игрушечной усадьбе. Это домик линейного мастера, один из множества однотипных домиков, выстроенных вдоль всей магистрали.

Асфальт так гладок, машина тянет так легко, почти бесшумно, что если закрыть глаза, то кажется, что она стоит на месте, только слегка покачивается. Между тем наша скорость — семьдесят, а местами и восемьдесят. Нетрудно было бы выжать и все девяносто. Но ведь, в конце концов, мы никуда не спешим.

Теперь по сторонам бежали массивы свежего смешанного леса, в чаще которого мутно сияли косые полосы зеленого солнечного света. Это самые грибные места Подмосковья. Однажды, возвращаясь по этой дороге с фронта, я купил у колхозницы целую бельевую корзину чудеснейших грибов — белых, подберезовиков, груздей, маслят. Их некуда было положить, и я с большим трудом увязал их в шинель с отстегнутым хлястиком. То-то была радость дома, в Москве! Так мне на всю жизнь и запомнился этот лес.

Скоро большой дорожный указатель с надписью «Серпухов», четко выложенной зеркальными пуговичками, предупредил, что через десять километров мы въедем во второй крупный город на нашем пути.

Серпухов встретил нас, как и Подольск, высокими заводами, бензиновыми колонками, «гастрономами», поликлиниками, универмагами, усиленным движением грузовиков, автобусными остановками, газетными киосками — одним словом, всем тем, что присуще советскому промышленному городу, крупному районному центру. Ничего от уездного города бывшей Российской империи в нем уже, разумеется, не осталось. О старом, купеческом Серпухове напомнили разве только сохранившийся в центре города традиционный гостиный двор да несколько старинных церквей разного стиля и разных эпох, мелкие купола и шатровые колокольни которых выглядывали из зелени нижней части города, круто спускающейся к Оке. Но круглая обширная площадь вокруг гостинного двора давно уже реконструирована, залита асфальтом, покрыта яркими ковриками цветников и вообще как бы стала составной частью Симферопольского шоссе. Посреди площади стоял большой указатель со схемой симферопольской магистрали и кружками главных пунктов, через которые нам предстоит проехать: Тула — Орел — Кромы — Курск — Белгород — Харьков — Запорожье — Мелитополь — Симферополь. Мы обогнули площадь и, повинаясь стреле, показывающей направление на Тулу, стали спускаться к Оке.

Машина стремительно сбегала вниз. Плавный поворот. И вдруг перед нами открылся такой простор, что мы ахнули. Город остался за нами справа, на горе. От подошвы этой горы на запад, сколько хватал глаз, до самого горизонта лежали заливные луга, огороды, камыши и песчаные отмели Оки. Мы увидели воздушные, решетчатые арки громадного железнодорожного моста, а рядом с ним другой мост, деревянный, по которому проходило наше шоссе. Машина вбежала на мост. Под ним медлительно, как бы неподвижно, текла широкая, полноводная река. Она выглядела темной, несмотря на яркое солнце. Лишь на горизонте, на изгибе, она зеркально голубела, отражая чистое небо. Но зато какими яркими красками, как отчетливо рисовались пароходная пристань, только что причаливший к ней пароход с алыми плицами, выкрашенные свежим суриком бакены фарватера — все эти подробности большой судоходной реки. В особенности же заманчиво блестела широкая полоса прибрежного песка, такого чистого, шелковистого, даже на вид горячего, что всем сразу захотелось купаться. Один лишь дядя Саша, видимо, не разделял этого желания. Пока раздавались беспорядочные восклицания: «Ух какой мировой пляж!», «Купаться!», «Загорать!», «Нырять!», «Плывать!», «Где мои купальные трусики?» — дядя Саша с видом глухонемого продолжал бесстрастно жать на газ, и не успели мы глазом моргнуть, как машина съехала с моста, круто нырнула налево вниз, потом направо вверх, выскочила на прямую, и оказалось, что Ока уже далеко позади. В последний раз обольстительно блеснула вода — и скрылась.

Мы уже мчались по Тульской области мимо каких-то многоэтажных жилых корпусов, с продовольственным магазином и заводской столовой, мимо очень большой автобазы, во дворе которой стояло несколько десятков пяти-тонок.

Вот тебе и выкупались!

Промчались через большое село. Здесь уже все было какое-то свое, особое, тульское — основательное, немного неуклюжее: кирпичные избы, столетние деревья, серые дубовые бревна на зеленых дворах. Возле кузни с хозяйственно положенными на крышу железными обручами от бочки в порядке расставлены сельскохозяйственные машины, видимо только что вышедшие из ремонта: молотилка, конные грабли, большой старый трактор «ХТЗ»

с высокой трубой. Даже облачко, появившееся в небе, было прочное, тульское.

Мало-помалу прошли леса, остались позади, за Окой. Сплошные ржаные поля живописно раскинулись по косогорам и холмам. Кое-где среди них одиноко темнели правильные тяжелые кроны дубов. Здесь уже не было ничего чеховского, левитановского. Продолжалась все та же средняя полоса России, но теперь это была уже природа Толстого, Поленова.

Солнце поднялось довольно высоко. Шоссе блестело, как алюминиевое. Этот текучий, лучистый блеск понемногу усыплял. Внимание притупилось, захотелось сладко вытянуться, распрямить ноги. Вдруг машина стала сбавлять ход, плавно съехала на обочину и мягко остановилась среди некошенной травы, полной полевых цветов. В ту же минуту ветерок, все время освежавший в пути, упал, и нас вдруг с ног до головы охватили неподвижный зной, блаженная тишина летнего утра. Мы услышали пение птиц, жужжанье пчел.

— Что такое? В чем дело? Что случилось?

Но дядя Саша, не говоря ни слова, выключил мотор, взял свою полосатую дорожную подушечку и вышел из машины. Он с трудом доплелся до ближайшего кустика, посмотрел на нас с детской сонной улыбкой, с трудом ворочая языком, пролепетал:

— Десять минут, не больше,— и лег в цветы.

Проснувшись ровно через десять минут, он нам объяснил свое странное поведение. Оказывается, сидя долго за рулем без отдыха, шофер иногда начинает незаметно для себя засыпать. Приступ сонливости бывает так силен, что с ним никак невозможно справиться. А нет ничего хуже, чем заснуть за рулем,— верная катастрофа. Опыт показал, что в подобном случае лучше всего не пересиливать себя, а со сном бороться сном. Вместо того, чтобы мучиться и рисковать, рекомендуется просто остановить машину и заснуть. Как это ни странно, но совершенно достаточно десяти минут крепкого сна, чтобы полностью восстановить силы. Сон как рукой снимет.

Только теперь мы сообразили, что уже отмахали верных сто пятьдесят километров без остановки. Пока дядя Саша, раскинувшись среди ромашек и похрапывая, энергично боролся со сном, мы не без удовольствия вылезли из машины и немного размялись. Тут мы сделали откры-

тие. Шоссе, казавшееся нам, пока мы ехали, просто оживленным, теперь, как только мы остановились, оказалось полным самого бурного движения.

Сначала мимо нас со скоростью ста двадцати километров промчались с севера на юг два новеньких «легковика» с пояском в шашечку — таксомоторы линии Москва — Симферополь. Они окатили нас взрывной волной воздуха, мелькнули ослепительно-белыми кругами шин и, показав в задних окошках занавески с помпончиками, скрылись из глаз, точно провалились сквозь землю. Немного погодя вслед за этими аристократами автомобильной промышленности проследовало несколько степенных периферийных грузовиков-работяг с мешками и ящиками, на которых подпрыгивали и пели песни крепенькие тульские девчата-попутчицы. Затем с юга прошел набитый пассажирами автобус междугородной линии Москва — Тула. В дальнейшем на нашем пути постоянно и в большом количестве встречались автобусы разных местных междугородных линий: Тула — Орел, Харьков — Запорожье, Запорожье — Мелитополь и т. д. Пробежало с юга на север и с севера на юг несколько обыкновенных такси «Победа». Появился с юга длинный, яркий желто-синий автобус дальнего следования. Не нужно было читать табличку «Москва — Симферополь», чтобы понять, откуда он едет, — так загорелы и свежи были лица его пассажиров-курортников, явно возвращающихся по домам с Южного берега Крыма. Они улыбались нам из окон, украшенных все теми же традиционными занавесками, так что отныне слово «Симферополь» навсегда сочетается в моем представлении с белыми помпончиками. Проследовало также с севера на юг множество машин с московскими, ленинградскими и даже тбилисскими номерами — шоколадные, синие, бежевые, светло-серые «Победы», лихо уносящие на берег Черного моря таких же путешественников, как и мы. Они высывались в окна и махали нам шляпами, газетами. Попадались семиместные вишневые красавцы и юркие «Москвичи», похожие на детей, не желающих отстать от взрослых. Я уже не говорю о местных колхозных «эмках» и районных «БМВ» — они встречались всюду.

— Павлик, смотри, Танька едет! — вдруг крикнула Женя.

— Где Танька? Какая Танька?

— Ах, боже мой, Танька с Кадашевской набережной! Скорей смотри!

Женя запрыгала на месте, как через веревочку, и замахала руками:

— Танька! Танька!

Из заднего окошка серой «Победы» смотрела, расплющив нос о стекло, девочка в соломенной шляпке, с такими красными щеками, что издали ее лицо напоминало яблоко «цыганку».

— Куда ты едешь?— закричал Павлик.

Девочка сделала какие-то странные движения руками, высунула язык, и серая «Победа» в ту же минуту скрылась за холмом.

— Она едет в Сталиногорск, к дедушке, — сказала Женя.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что это персональная машина Танькиного дедушки. Он на ней в прошлом году зимой приезжал из Сталиногорска на Танькин день рождения. Он у них знатный угольщик. Теперь они, наверное, повезли показывать сталиногорской бабушке Петьку.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что в машине сидела Танькина мама с Петькой на руках, а Танькин папа сидел за рулем, а рядом с Танькиным папой сидел Танькин дедушка в шахтерском мундире, с орденом Ленина.

— Счастливая! — сказал Павлик.

— Чем счастливая?

— Может, дедушка ее с собой в шахту возьмет. Интересно!

Над шоссе все время стояла как бы полоса ветра, и для того, чтобы перейти через натертое асфальтовое полотно на другую сторону, нужно было сперва очень внимательно посмотреть на юг и на север.

Оказалось, что мы остановились как раз возле небольшого пруда, скрытого в чаще орешника. Едва мы раздвинули кусты, полные сухой паутины, как перед нами оказался прелестнейший уголок. Большие серебристые ивы, со всех сторон тесно окружавшие пруд, красиво отражались в темной, таинственно неподвижной воде, и только посередине радостно блестело зеркальце неба, тронутое чуть заметной рябью. Ивы росли возле самого берега, а за ними густо зеленела сплошная стена лип и орешника, из чащи которых дышало прохладой. Но едва наши ребята стали рвать пучки еще совсем зеленых орехов, как на той стороне кусты зашевелились и один за другим вы-

ползли по-пластунски четыре пионера в белых полотняных шляпах и красных галстуках, необыкновенно ярко горевших среди зелени. Пионеры поднялись во весь рост и по-боксерски расставили ноги.

— Вы что здесь делаете? — крикнул один из них, приставив ладони ко рту.

— Орехи рвем, не видите! — ответила Женя.

— Так они же неспелые.

— То-то и беда!

— Не слышу! — крикнул пионер, поднося ладони к уху.

— Мы говорим, что то-то и беда, что они зеленые.

— Ничего, скоро поспеют, можете подождать.

— То-то и беда! — вздохнула Женя.

— Опять не слышу. Кричи громче.

— Мы говорим, — закричала Женя, — что то-то и беда, что нам ехать надо!

— А куда вы едете?

— В Крым, — сказала Женя, горделиво оправив платье.

А Павлик быстро добавил:

— На «Победе», кабриолет с открывающимся верхом, чтоб было не так жарко.

— Ага! То-то и беда!

— Что вы там говорите? Мы не слышим.

— Мы говорим, что то-то и беда, что вы едете в Крым и останетесь без орехов.

— Ничего, будем через месяц возвращаться — они к тому времени как раз поспеют.

— То-то и беда!

— Не слышим!

— Экие вы крымские глухари! Мы говорим, что то-то и беда, что когда вы будете из вашего Крыма ехать назад на вашей «Победе» с открывающимся верхом, то мы уже тогда все орехи поедим.

— А вы нам хоть немножечко оставьте.

— То-то и беда, что вряд ли.

— Почему?

— Не удержимся.

— Хоть чуточку!

— Эй вы, крымские с открывающимся верхом, идите лучше к нам купаться!

— Нельзя. Мы сейчас должны в Крым ехать. Идите лучше вы к нам.

— То-то и беда!

— Что?

— Мы говорим, что то-то и беда, что нам тоже нельзя. Запрещается выходить с территории лагеря.

— А где ваш лагерь?

— Голубые ворота за деревьями видите? Это и есть наш лагерь. Там, где мы сейчас стоим, еще территория, а там, где вы стоите, уже не территория.

— А пруд?

— Пруд тоже до половины территория, а до половины не территория.

— А вам в лагере мороженое дают?

— По воскресеньям. А вам?

— А нам не дают.

— А как вас всех зовут?

Но как раз в это время дядя Саша, как нарочно, закончил борьбу со сном, и увлекательная беседа была прервана на самом интересном месте. С большим трудом удалось загнать наших ребят в машину, и под насмешливые восклицания: «То-то и беда!», несшиеся через пруд с «территории», мы покатали дальше, наверстывая упущенное время.

Само по себе шоссе, его твердое, гладкое полотно, было выше всяких похвал. Но все же дорога оказалась не из легких. Она все время поднималась и опускалась, как бы ныряя по волнообразным складкам местности, расположенным с востока на запад. Водителя это утомляло, но нам, пассажирам, даже очень нравилось. То и дело — и всегда неожиданно — открывались виды, один другого красивее. Горизонт то придвигался почти вплотную, то бесконечно удалялся. Полотно шоссе резко обрывалось. Где-то, не видимое нами, оно продолжалось по обратному склону, затем поднималось на новый косогор и снова становилось видимым, но уже более узким, чем раньше: потом снова обрывалось, невидимо продолжалось и опять высывалось, на этот раз совсем узенькой, почти вертикальной полоской. Оно сокращалось и растягивалось, как складная подзорная труба.

Наконец мы увидели в стороне сидящие на траве самолеты тульского аэродрома. Сама Тула началась широкой, бесконечно длинной улицей, двумя рядами крошечных одноэтажных домиков с такими же крошечными, совсем игрушечными садиками. Эти домики обращали на себя внимание колпаками над трубами. Сразу видно, что эти

затейливые, разнообразные по форме колпаки, вернее — хорошенькие ажурные беседочки, с величайшим искусством выкованы из железа большими мастерами и любителями тонкого кузнечного дела. Это уже почти ювелирная работа. Ни в каком другом городе вы не найдете на трубах таких изящных маленьких сооружений с флюгерами и стрелками, которые смело могут поспорить тонкостью исполнения с кованными венецианскими фонарями Возрождения. Казалось странным, что мимо этих домиков ездят по шоссе автомобили, а на перекрестке сидит в своем серебряном подстаканнике милиционер и регулирует уличное движение, управляя огоньками светофора. Это был каким-то чудом сохранившийся кусочек старой Тулы XVIII, а то и XVII века, рабочая слободка, где с незапамятных времен всегда жили в своих пряничных домиках целые поколения знаменитых на весь мир тульских оружейников. И, весьма возможно, именно в этом самом трехконном домике с весьма затейливыми наличниками, возле которого мы на минуту задержались перед семафором, некогда жил воспетый Лесковым легендарный тульский мастеровой косой Левша, подковавший английскую стальную блоху. Впоследствии потомки славного тульского оружейника подковали еще одну английскую блоху — генерала Деникина. Крепко досталось от них также и многим другим блохам, в особенности гитлеровским. В случае необходимости они еще раз смогут так подковать любую блоху — английскую или еще какую-нибудь другую, — что она надолго перестанет танцевать.

Эта своеобразная улица да еще разве древние кирпичные стены местного кремля, мелькнувшие из-за новых домов, — вот, собственно, все, что напоминало старую Тулу. Что же касается тульских самоваров и печатных пряников, то они хотя и продолжают существовать, но уже не являются славой города. Тульский чугун, тульская сталь, тульский уголь, тульский газ, тульская тяжелая промышленность, животноводство, сельское хозяйство, хлеб — вот слава советской Тулы.

Мы проехали через многолюдный центр. Возле универсальных магазинов стояли покупатели, ожидающие открытия. Значит, еще не было одиннадцати часов. На бульваре няньки возили детей в колясочках. Горели на солнце цветники.

Повинуясь различным дорожным указателям, которые продолжали строго, но молчаливо руководить всеми наши-

ми поворотами, мы наконец увидели большую синюю стрелу с надписью «Орел». Но не так-то скоро удалось нам расстаться с Тулой. Она продолжалась и за южной заставой. Сказать точнее, начиналась другая Тула — ее новые, послевоенные промышленные районы, частью уже выстроенные, частью еще в строительных лесах. Это было царство белого и красного кирпича, железной арматуры, песка, извести, щебенки. Мы попали в поток встречных и попутных грузовиков. Чтобы не наглотаться пыли, пришлось спешно закрыть окна. В машине сразу стало душно. Повсюду в облаках пыли рисовались характерные профили строительных механизмов над кирпичными стенами новостроек, поднимающимися ступеньками вверх. Кварталы стандартных домов и бараков. Дощатые вышки и наклонные галереи бетонных заводов, сплошь покрытые зеленовато-серой цементной пылью. Траншеи, котлованы, штабеля чугунных водопроводных труб, черных снаружи и красных внутри... Не без труда выбрались мы из этого хаоса. Но и тут еще не было конца городу. Началась еще одна Тула — горняцкая. На горизонте появились пирамиды терриконов, шахтные строения — типично донбасский пейзаж, весьма странный в окрестностях Тулы.

Мы проехали мимо горняцкого поселка, состоящего из коттеджей с высокими черепичными крышами и яркими цветами в палисадниках — традиционной принадлежностью шахтерского быта.

Над косогором показались высокие колошниковые площадки тульских домен, а немного погодя мы увидели и самые домны, похожие на шахматные туры, затем черные цилиндры кауперов, литейные дворы, башни, и все вместе это напоминало какую-то цитадель, извергавшую на окрестности тучу грозного дыма. Среди яркого летнего дня это производило впечатление начала солнечного затмения, когда уже по холмам неотвратно движется пепельная тень луны. Но шоссе повернуло в сторону, описало широкую дугу и, замелькав двумя рядами ослепительно-белых столбиков, вынесло нас в свежую тень лиственного леса.

Облака белыми колоннами отражались в болотистой реке Воронке. Мелькнули мостики лодочной станции, их легкие, алюминиевые перильца. За рекой показались луга, массивы странно знакомого леса, кусок поля. И это ржаное поле песочного цвета тоже показалось знакомым. Вся природа вокруг была хорошо знакома с детства и

являлась как бы составной частью представления о родной стране. Впереди, в перспективе очень широкой лесной аллеи, по которой бежало наше шоссе, мелькнула низенькая голубая ограда, клумба петуний и над ней что-то белое, испещренное сквозной тенью лип.

— Пойдите!

Дядя Саша резко затормозил, и машина с визгом остановилась как вкопанная возле гипсового бюста Льва Толстого с бородой, несколько свернутой на сторону. Здесь дорога раздваивалась. Главное шоссе шло дальше прямо за Орел, а ветка сворачивала направо, и на стрелке было написано: «Ясная Поляна 2,5 км». И хотя мы уже втянулись в путешествие и были охвачены нетерпеливым желанием безостановочно мчаться вперед, но проехать мимо Ясной Поляны и не поклониться могиле Толстого — было невозможно. Мы свернули направо.

Вот яснополянский парк, знакомые всему миру столбы у въезда: облупившиеся кирпичные столбы с куполообразными крышами, и Лев Толстой в круглой небольшой шляпе с поднятыми с боков полями едет верхом на маленькой лошадке.

Мы вышли из автомобиля возле открытого павильона с прохладительными напитками. Там уже стояло несколько автобусов и легковых машин, привезших экскурсантов. При входе в усадьбу — столик дежурной. Но вход бесплатный. Несмотря на будний день, вверх по аллее шло много народа. Слева мы увидели знаменитый яснополянский пруд, где Толстой любил летом купаться, а зимой бегал на коньках с деревенскими ребятами в эпоху своего увлечения яснополянской школой. Толстой не дождал всего семи лет до крушения ненавистного ему государства рабов и господ, на развалинах которого возникло новое, еще никогда не бывалое в мире государство — свободный союз свободных народов — высшее воплощение правды и справедливости.

Известно, что Толстой был против революции. Но я почему-то глубоко убежден, что, будь он жив, он бы непременно принял Октябрьскую революцию. Он был слишком народный, слишком русский, слишком гениальный, чтобы не понять ту величайшую моральную высоту, на которую поднялся русский народ, совершивший в Октябре подвиг не только национального, но и всемирно-исторического значения. Как это ни трудно представить, но я почему-то глубоко уверен, что Толстой отказался бы от своей фило-

софии, увидев перед лицом величайшей правды Октября всю ее тщету.

Последний раз я был в Ясной Поляне летом 1943 года. Только что началось сражение на Орловско-Курской дуге. Я торопился на фронт. Но, как и сейчас, невозможно было по дороге не заехать в Ясную Поляну. Всюду еще виднелись свежие следы фашистского нашествия, хотя толстовский флигель был уже приведен в порядок и музей начал работать. Где-то неподалеку разместилась воинская часть, и по яснополянскому парку тянулись провода полевых телефонов. Мы тогда побывали и в музее и на могиле, но самое сильное впечатление произвел на меня именно пруд. День был такой же, как и сейчас: жаркий, летний, и в пруду купались солдаты, вероятно, целая рота. Весь берег, заросший осокой, был усеян аккуратно сложенными гимнастерками, шароварами, кирзовыми сапогами, развешанными на кустах портянками и поясными ремнями. Молодые, остриженные под машинку белотелые солдаты с сильно загоревшими лицами, шеями и кистями рук, так что казалось, что они в лайковых коричневых перчатках, стоя по пояс и по горло в воде, мылись мылом и окунались, отчего вода вокруг них была в перламутровых разводах. Некоторые из солдат, закончив мыться, плавали, по-крестьянски, саженками, как бы разминаясь. А посередине пруд мирно сверкал на солнце, и во всей этой картине, в этих молодых, здоровых, сильных голых солдатских телах, в этом купанье перед боем было что-то в высшей степени толстовское, будто из «Войны и мира».

Теперь яснополянский пруд так же мирно сверкал посередине, но был пуст, неподвижен и кое-где по берегам зарос малахитовой ряской.

Мы пошли вверх по длинной сумрачной аллее очень высоких елей, черных и сухих от старости, и наконец почти вплотную приблизились к скрытому в зелени дому. Сквозь кусты старой, разросшейся сирени в два человеческих роста виднелись цветник и окна белого двухэтажного флигеля. И я снова испытал то ни с чем не сравнимое чувство, которое охватывает каждого человека, когда он приближается к этому месту. Казалось невероятным, даже страшным, что именно здесь, в этом самом доме, жил Лев Толстой, что именно здесь, за этими окнами нижнего этажа, в низкой, сводчатой комнате с простой крестьянской косой, висящей на выбеленной стене,

на этом рыночном «венском» стуле с подпиленными ножками, сторбившись над столом в своей блузе, почти всю свою жизнь писал он. Именно здесь ранними утрами, когда в доме все еще спали, своим тонким, но вместе с тем необыкновенно тесным, убористым почерком он написал «Войну и мир», «Анну Каренину»... На клеенчатом диване, который теперь стоит в этом доме, он родился и навсегда ушел отсюда перед смертью, оставив на столе раскрытый том «Преступления и наказания».

Все долго молчали. Ребята притихли. Стоя в кустах столетней сирени, они смотрели на белый дом с тем неподвижным вниманием, которое полнее всего выражает у подростков душевное волнение.

— Ты его когда-нибудь видел? — тихо спросила Женя, глядя на меня снизу вверх небольшими прозрачными глазами.

— Нет, я его не видел.

— Не видел? — разочарованно сказала она.

— Да, но ты его мог видеть? — требовательно спросил Павлик.

— Мог. Когда он умер, мне было примерно столько же лет, сколько сейчас тебе.

— Столько же, сколько мне? — быстро сказал Павлик. — И ты его не видел? Почему же ты его не видел? Я бы его непременно увидел. Я бы непременно пошел к нему и посмотрел.

И Павлик торопливым движением сорвал листок сирени и с досадой бросил.

— Какой же ты еще, в сущности, малыш! — сказала мама, нежно поправляя Павлику растрепавшиеся волосы.

Мы медленно обогнули дом, застекленную террасу с птичками и человечками, выпиленными в его дощатых балюстрадах. Под знаменитым «деревом бедных» с небольшим валдайским колоколом, прибитым к стволу, на скамейке сидели посетители, ожидающие открытия музея. Рабочие, колхозники, служащие, офицеры, юноши, девушки и школьники в пионерских галстуках поодиночке, группами, иногда целыми семьями, с бабушками и маленькими детьми расположились вокруг дома в старых аллеях, полных тени и солнца. Некоторые принесли с собой в кошелках еду и завтракали на траве. Некоторые читали. Молодежь образовала кружки и, не теряя времени, перебрасывалась волейбольными мячами. Из чащи слышались звуки гитары. Но в этом не было ни малейшей фамиль-

ярности или тем более неуважения к памяти Толстого. Наоборот. Было что-то очень трогательное в свободном, простом, естественном поведении этих людей, для которых Толстой был не только великим писателем, художником, зеркалом русской революции, но также их земляком, хорошим знакомым, живым русским человеком, к которому они пришли попросту, как к хорошему человеку, в гости. И я думаю, что подобное отношение к нему народа было бы Толстому, будь он жив, только приятно, радостно и дорого.

Решив не дожидаться открытия музея, мы отправились на могилу Толстого. Довольно долго мы шли парком, потом свернули на дорогу, вымощенную еще во времена Льва Николаевича. Мы увидели большой двор, окруженный хозяйственными постройками — серыми от времени, бревенчатыми, несколько неуклюжими, но по-тульски основательными сараями, амбарами, навесами, видимо также построенными еще при жизни Толстого.

Широкие крепкие ворота были открыты, и так как стояла горячая сенокосная пора, во двор то и дело быстро въезжали грузовики, еле видные под громадными копнами еще не вполне высохшего, одуряюще пахучего сена, которое задевало нас по лицу.

Потом мы опять свернули в лес и, как нам показалось, бесконечно долго шли по его сыроватым аллеям, среди старинных лип и кленов, не пропускавших солнечных лучей, отчего свет в этом частом, заросшем лещиной лесу был необыкновенно ровный, рассеянный, а воздух казался изумрудно-зеленым. По аллее, невольно замедляя шаги, неслышно шли люди. Голоса постепенно, как бы сами собой, замолкали. Звуки глохли. Так что когда мы дошли до надписи «Зона тишины», то вокруг и вправду уже царило такое безмолвие, что не было слышно даже пения птиц. Мы чувствовали, что приблизились к могиле. Но ее все еще нигде не было видно. Аллея бесконечно продолжалась, поворачивала, и начало казаться, что мы сбились с дороги, заблудились и идем не туда. А лес вокруг становился все чаще, стволы лип все теснее, чернее, бархатистее. И вот мы в ровном зеленом свете увидели небольшую круглую площадку и фигуры людей вокруг могилы Льва Толстого — невысокого земляного надгробья, довольно длинного, обросшего травой, как пасхальная горка, величественного в своей неопишуемой простоте и бедности. Единственным украшением этой могилы был ряд

крупных бело-розовых пионов, кем-то разложенных наверху, во всю ее длину...

...Когда мы возвратились к машине, летний день уже был в полном разгаре. В последний раз блеснул пруд. Мы поехали обратно, к бюсту Толстого на развилке, и повернули на Орел мимо красивых зданий новой яснополянской больницы, выстроенных, по моему представлению, на том самом поле, где некогда, возвращаясь с прогулки, Толстой увидел и вырвал, обернув руку носовым платком, тот самый знаменитый колючий куст татарника, которому мир обязан «Хаджи-Муратом».

Шоссе продолжало неуклонно бежать на юг. Солнце перевалило за полдень и теперь уже светило с правой руки, а короткая тень машины скользила слева. Несмотря на открытые окна, было довольно жарко. Впрочем, после полудня по небу разбежались небольшие облачка. Их длинные тени кое-где лежали поперек шоссе, немного смягчая жару. Словом, погода нам благоприятствовала. Вокруг уже совсем не было леса. Земля постепенно меняла цвет, становилась все более темной.

— Серый орловский чернозем,— заметила Женя и, вздохнув, прибавила: — До сих пор все еще третий. Ничего общего с московскими дерновыми и подзолистыми суглинками.

Действительно, мы увидели, что начинается чернозем, плоские полевые просторы Орловщины. Чем дальше на юг, тем хлеба становились суше, желтее. Они будто созревали на наших глазах. Но уборка еще не началась, и мы с нетерпением ожидали появления первого комбайна. Стали попадаться бело-розовые, совсем ситцевые, полосы цветущей гречихи, клеверные луга, и тогда в машине начало пахнуть теплыми медовыми пряниками.

В одном месте шоссе сблизилось с железнодорожным полотном, обсаженным елками. Замелькали дощатые щиты заграждения, сложенные шалашиками. Домик путевого сторожа, корова, стог старого сена, похожий на грушу, даже с хвостиком воткнутого шеста, гибкое удилице поднятого шлагбаума, переезд, отгороженный выбеленными камешками, далеко на горизонте верхушка водокачки и серый кирпичик элеватора...

Я вдруг сразу узнал это место, вспомнил знойный июльский день восемь лет тому назад и несколько сот новых грузовиков, которые шли под Орел, в танковую армию Рыбалко,— нескончаемо длинную вереницу зеленых

машин с круглым брезентовым верхом, окутанную душистыми облаками неподвижной пыли. Так же, как и сейчас, горячо и сладко пахла гречиха, сухо желтели неподвижные ржаные поля, пекло солнце, и у кювета посередине пыльного голого прутика цикория ласково светилась на солнце крошечная голубая корзиночка одинокого цветка.

Но все это было тогда охвачено грозной тишиной войны. Тишина стояла над землей, как бы предостерегая и заставляя все время вслушиваться в странные колебания воздуха над южным горизонтом, за которым шла Орловская битва. Иногда в стороне вдруг раздавались частые, торопливые железные удары и вставало черное облако, которое потом долго и мрачно висело над рожью,— это значило, что немецкий бомбардировщик-одиночка незаметно проскочил через линию фронта в наш тыл и торопливо высыпал серию бомб на какую-нибудь цель. И в эту минуту казалось, что солнце печет особенно сильно и его блеск имеет металлический оттенок.

Шоссе, по которому мы сейчас ехали, в то время было еще обыкновенной фронтовой грейдерной дорогой, наспех присыпанной мелкой щебенкой. Его часто пересекали другие военные дороги — рокады,— такие же грейдеры, прочно, быстро и прямолинейно проложенные саперами. Вместо красивых синих табличек с белыми названиями городов и сел, выложенными зеркальными пуговками, на шестах в разные стороны торчали дощатые стрелки с условными обозначениями, вроде: «Хозяйство Сметанина» или «Закусочная 897», а вместо новеньких дачек линейных мастеров стояли будки контрольно-пропускных пунктов, и не синий милиционер стоял возле своего синего мотоциклета с целлулоидным щитом, а пыльный сержант в выгоревшей пилотке, с черной спиной, автоматом на шее и красным и желтым флажками под мышкой останавливал машину для того, чтобы проверить документы; и дорога не была веселой, длинной, уносящейся к морю и солнцу, а страшно короткой: она обрывалась где-то совсем недалеко, под Орлом, а дальше уже лежало то невообразимо странное, на первый взгляд пустынное пространство, к виду которого человек никогда не может вполне привыкнуть и где решительно во всем, даже в запахе полевых цветов, разлито дыхание ненависти и смерти.

Места становились все более знакомыми. Я узнавал де-

ревни. Тогда они лежали грудой пепла, под которым розовато тлели уголья. Теперь они почти все заново отстроены. Но я безошибочно узнавал их по отдельному обгоревшему, черному дереву, по особенностям местности: по оврагу или по косогору, по кирпичной коробке с обвалившейся штукатуркой какой-нибудь разбитой церкви, на стенах которой уже вырос бурьян и даже целые деревца. Дорожные указатели с короткими, как бы обрубленными ветками закругленных стрелок указывали повороты на Белёв, Ефремов, Елец, Новосиль. Эти чудесные средне-русские названия до такой степени связаны с войной, что навсегда — по крайней мере для меня — утратили свое тургеневское звучание и стали просто «населенными пунктами» левого фланга великой Орловской битвы.

Я был так поглощен узнаванием местности, по которой проезжали, что забыл все на свете. Между тем за моей спиной шла какая-то своя, особая жизнь. Ребята, которые до сих пор весело болтали, толкались, шумно менялись местами или пели хором, вдруг стали разговаривать вполголоса, серьезно, отрывисто. Время от времени кто-нибудь негромко вскрикивал:

— Ой, что это?!

— Смотрите: опять!

— А вот еще!

Я обернулся и увидел, что они сидят, тесно прижавшись к матери, не отрываясь смотрят в окна. И я понял: они впервые видят развалины. До сих пор война была для них хотя и чем-то вполне достоверным, страшным, но все же отвлеченным. Теперь же они увидели собственными глазами землю, по которой прошла война, оставив всюду свои ужасные следы,— и это их потрясло. А мать зажигала спичку за спичкой, все время закуривая гаснущую сигарету.

Показался живописный старинный городок Плавск, тоже сильно потрепанный и еще не вполне восстановленный. Мы проскочили через него в мгновение ока. Но все же я успел узнать его сады, маленькие домики, заросшую зеленую речку Плавку, каланчу, пожарный сарай. А вот развалины большой кирпичной церкви, еще не восстановленный старинный деревянный трехэтажный дом и вековые деревья за ним. Все это было так знакомо, что я бы не удивился, если бы за кирпичной отвалившейся стеной вдруг увидел танк, покрытый маскировочной сетью. Мы выехали из Плавска, и тотчас зеркаль-

ные пуговики указателя предупредили, что через восемьсот метров будет заправочная станция, и в тот же миг мы увидели ее высокие черепичные крыши, белые стены и несколько бензиновых колонок.

Мы уже проехали без заправки около трехсот километров. Не мешало долить бак. Не без некоторой тайной тревоги дядя Саша въехал на асфальтовую площадку станции и затормозил возле колонки. Дело в том, что он принципиально не взял с собой никаких запасных баков, всецело положившись на единодушные показания знакомых шоферов, что на симферопольской трассе через каждые двести километров — заправочная станция. «Но... кто его знает! — было написано на лице дяди Саши. — И вообще как бы чего не вышло!»

На площадке не было ни души. Новенькие красные колонки загадочно молчали.

— Эй! — слегка дрогнувшим альтом крикнул дядя Саша, тревожно высунувшись в окно. — Тут кто-нибудь есть?

— Есть, — ответила девушка в рабочем халате, выходя с красным ведром из павильона с окошечком кассы и расписанием автобусного движения.

— Станция открыта? — спросил дядя Саша, нервно улыбаясь.

— Открыта, — ответила девушка.

— Колонка работает?

— Работает.

— А, простите, бензин есть?

— Есть.

Наступило тягостное молчание. Дядя Саша нервничал все больше и больше.

— Винти ли, — сказал дядя Саша, торопливо надевая очки и стараясь не выдать своего волнения — Мы, винти ли, следуем, так сказать, по вашей трассе из Москвы в Симферополь и хотели бы заправиться, если это, конечно, возможно.

— Пожалуйста, — равнодушно сказала девушка и переложила ведро из одной руки в другую.

— А что для этого необходимо сделать?

— Платите в кассу деньги и заправляйтесь.

— Гм, — сказал дядя Саша многозначительно и вышел из машины с сатирическим выражением лица. — Посмотрим-с... Посмотрим-с...

Заправка произошла до смешного быстро и отличалась

от московской лишь тем, что здесь надо было платить деньги в кассу, а в Москве как-то там по-другому. Оказалось, что нам пришлось долить всего двадцать пять литров. Значит, на двадцати пяти литрах мы проехали около трехсот километров. Это был приятный сюрприз. Оказывается, наша лошадка потребляла горючего даже меньше, чем ей полагалось по заводской норме. Дядя Саша аккуратно записал в книжечку расход горючего, километраж, пожал плечами, пробормотал:

— Превосходно, — и со спокойной совестью, уже не опасаясь за дальнейшее, поднялся по бетонной лестнице на открытую террасу, где мы ели превосходную сметану, поданную нам в чайных стаканах, со свежими плавскими сайками.

Заправочная станция состояла, кроме известных нам колонок и кассы, еще из двух больших белых, как сливки, коттеджей под высокими черепичными крышами с очень высокими плоскими трубами, которые обращали на себя внимание странной, но красивой формой: их верхняя часть из красного небеленого кирпича расширялась, образуя нечто вроде ступенчатого раструба, что отчасти напоминало ботфорты. Они стояли, окруженные цветниками и газонами, друг против друга по сторонам асфальтированного двора с двумя въездами. В правом доме, по видимому, жил административный персонал, а в левом помещался буфет с открытой террасой под такой же высокой черепичной крышей, без чердака, с красивыми потолочными балками, разделанными под дуб. На террасу вела широкая бетонная лестница. Под балками над столиками висели деревянные крестообразные люстры с четырьмя рожками в виде блюдец. Самый же буфет находился внутри дома. Под согнутым стеклом прилавка стояли вазы с бутербродами, пирожками, конфетами, несколько тарелочек с холодными закусками, маленькие штабеля сложенных, как дрова, сигарет и шоколадных батончиков. За прилавком на полках были расставлены ряды бутылок со звездочками и без звездочек, увенчанные букетами цветов и неизбежным набором советского шампанского — сухого, полусухого, сладкого, полусладкого, очень сухого и до последней степени сладкого. Одним словом, соблазн был велик. Но, чувствуя себя отчасти как бы уже в доме отдыха, мы ограничились сайками и сметаной.

С террасы открывался широкий вид на окрестности.

Но мы уже так привыкли все время ехать, что этот вид показался нам слишком пресным: он был неподвижен! И мы поскорее сели в машину.

Дальше пошли места, еще более связанные с войной. Я узнал населенный пункт Чернь, где тогда находился штаб фронта. Ударив со стороны Новосилия, танковая армия Рыбалко только что взяла Золотарево, последний город перед Орлом. Прямо из пекла сражения, которое количеством техники, плотностью огня, как говорили, вдвое превышало Сталинградскую битву, я к вечеру прилетел на армейском «У-2» в эту самую Чернь с тем, чтобы тут пересечь на фронтовую «эмку» и назавтра успеть в Москву, в редакцию «Правды», с корреспонденцией о нашем наступлении на Орел. Младший лейтенант посадил своего «огородника» где-то тут, не долетая до Черни, возле самой дороги, чуть ли действительно не на огороде, высадил меня, откозырял и сейчас же, не выходя из машины, улетел обратно в пекло. Я остался один в своих пропотевших полотняных сапогах, с портфелем под мышкой. Ни один регулировщик не хотел сказать, где находится штаб фронта. Я бродил по пустым дорогам, пока уже в сумерках меня не подобрал пикет особого отдела. Особисты меня узнали, посадили в свою «эмку» и отвезли по назначению. Все это было где-то здесь, и мне казалось, что я даже узнал огород возле шоссе, где меня высадили из самолета.

— По-моему, это было именно здесь,— сказал я, повернувшись к жене, и она сразу поняла, о чем я говорю.

— А помнишь, в каком виде ты тогда приехал с фронта домой? — сказала она с живостью.— В ушах, за воротником, внутри фуражки, даже в сапогах — всюду земля, руки черные, документы в нагрудном кармане насквозь пропотели...

— Да, да, папулечка, ты потом два дня мылся и никак не мог отмыться, — сказала Женя, нежно положив мне на плечо руку.

— Ну?

— Конечно! Мы еще все время грели для тебя на кухне в большой кастрюле воду.

— И ты еще потом долго ничего не слышал, как глухой, и у тебя болели барабанные перепонки,— сказал Павлик быстро.

— Ну, это ты вряд ли помнишь,— заметила мама.— Тебе уже после рассказывали.

— Почему это Женька помнит, а я не помню? — обидчиво сказал Павлик.

— Потому, что ты еще тогда был слишком мал.

— Не так уж и мал.

— Всего пять лет.

— Пять, шестой, — поправил Павлик. — Но я все равно отлично помню. Помню, как папа приехал на грузовике, и как вместе с ним заходил сержант-танкист, и как папа привез новый трофейный пистолет. Верно, папочка, что ты тогда привез трофейный пистолет, маленький маузер? И еще привез осколок?

Но я не успел ответить, так как зеркальные пуговички известили, что скоро Мценск, а не доезжая до него километр — станция обслуживания с гостиницей. Затем показался цветничок, такой же самый, как перед Ясной Поляной, только с бюстом Тургенева. Стрелка показала поворот направо, в имение Тургенева Спасское-Лутовиново. Но так как не было указано расстояние, то мы не решились свернуть. И совершенно напрасно. Как выяснилось потом, мы сделали ошибку, выехав из Москвы так рано. Мы свободно могли выехать после обеда, с таким расчетом, чтобы попасть в гостиницу Мценской станции обслуживания к вечеру и там заночевать. А теперь было всего три часа дня, и можно было бы съездить в гости к Тургеневу. Но мы тогда еще не знали, что до следующей станции обслуживания с гостиницей — Зеленый Гай — свыше семисот километров. Это обстоятельство нас и подкосило. Но об этом потом. Теперь же, не предвидя впереди никаких затруднений, мы лихо подкатили к станции обслуживания Мценск. Мы увидели ее и прямо-таки ахнули от восхищения.

По сравнению с домиками линейных мастеров и заправочными станциями, о которых уже упоминалось, это была вилла. И какая! Большая, белая, как лебедь, с высокой прямоугольной башней, накрытой карточным домиком легкой черепичной кровельки с выступающими краями, издалека заметная над тургеневскими полями. Обширный асфальтовый двор, газон, много цветов, перед фасадом с аркой главного входа — большой круглый бассейн с фонтаном, сбоку — вход в ресторан и открытая терраса со столиками. Рядом, за оградой, был другой, еще более обширный, асфальтовый двор — собственно станция обслуживания: гараж с четырьмя громадными створчатыми воротами, ремонтные мастерские, ряд электрических за-

правочных колонок и собственная электрическая станция с высокой черной трубой, питающая ток эти бензоколонки, водопровод и вообще все большое хозяйство станции. Позади гаража был третий асфальтовый двор со вторым бассейном — для мытья машин — примерно такой же величины и формы, как бассейн для плавания. Но и это — еще далеко не все. По другую сторону гостиницы и ресторана было выстроено несколько длинных жилых двухэтажных домов с запасными общежитиями для проезжающих, на тот случай, если все номера в гостинице окажутся занятыми. Все это нарядное, ослепительно сияющее на солнце белыми стенами, красными высокими черепичными крышами и такими же самыми оригинальными трубами, как и на всех прочих строениях трассы.

Мы вышли из машины и стали совещаться, что же нам теперь делать: остаться здесь до завтрашнего утра или ехать дальше? Остаться до утра — значило бессмысленно потерять массу времени. Ехать дальше — неизвестно, где же, собственно, ночевать. До Харькова едва ли дотянем до темноты, а ехать ночью не хотелось, да и устанет дядя Саша.

Наконец приняли решение: пока остановиться здесь, как следует пообедать, заправить машину, сменить масло, несколько часов поспать, а там будет видно.

Только теперь мы почувствовали, что, в сущности, очень устали от неподвижного сидения в машине, от быстрой смены пейзажей, от блеска шоссе. Дети, разморенные жарой, шатались и готовы были стоя заснуть. Впрочем, увидев бассейн, цветники, ресторан, девочки несколько оживились, стали оправлять смявшиеся платяца и принимать позы, соответствующие роскоши обстановки. Что касается Павлика, то он откровенно спал, стоя и держась за мамино плечо.

В небольшом вестибюле, уставленном фикусами и глубокими креслами, устланном коврами и увешанном картинами, симпатичная молодая особа записала наши имена в толстую книгу, затем заперла на ключи наши паспорта в письменный стол и поручила другой, не менее молодой особе развести нас по номерам.

Мужчины, то есть дядя Саша, Павлик и я, были приведены в большой номер первого этажа с пятью свободными железными пружинными кроватями, три из которых мы и заняли. Дам, то есть маму и двух девиц, отвели по лестнице на второй этаж, в номер-люкс. Отсюда из

окна с веселыми занавесками открывался вид на бассейн. Везде — в коридорах, на лестницах, в комнате отдыха — было очень прохладно и пахло свежей масляной краской.

Мы основательно вымылись, вычистили зубы и, открыв постели, задернули занавески. Что же касается машины, то она тоже получила особое место в гараже и поступила под охрану специального сторожа. Мы проспали не более двух часов, но что это был за блаженный, освежающий сон!

Было уже пять часов, и мы отправились в ресторан. Пока мы спали, на станцию прибыло несколько маршрутных автобусов, таксомоторов и частных машин. Теперь они стояли в ряд перед бассейном, пустые, с еще не остывшими моторами, пахнущие раскаленной на солнце краской, дизельным маслом, бензином, каучуком, кожей — всеми острыми возбуждающими запахами автомобиля, сделавшего длинный пробег, и над ними дрожал горячий воздух. Во внутреннем помещении ресторана все столики были заняты обедающими пассажирами и шоферами. Девушки-подавальщицы с наколочками на голове, одетые по мценской моде в преувеличенно коротенькие юбочки, что делало их еще моложе, носились туда и сюда с дымящимися тарелками щей и ромштексов. В воздухе стоял гул голосов, как на вокзале. Посетители ресторана делились на несколько категорий. Самая многочисленная была — по летнему времени — курортники, пассажиры автобусной и таксомоторной линии Москва — Симферополь, а также граждане, едущие в дома отдыха и санатории Крыма на своих машинах, вроде нас. Среди последних особенно выделялись энтузиасты автомобильного сообщения, едущие по этой магистрали на своих «Москвичах» и «Победах» во второй или даже третий раз, так сказать, старые автомобильные волки, молодые инженеры, лауреаты с женами, группы стахановцев, путешествующих в складчину, знатные угольщики в парадных мундирах, с орденами, офицеры-летчики. Многие из них уже были между собой знакомы и громко обменивались приветствиями.

— Здравствуйте, Николай Яковлевич, как ваш «Москвич»? Бегаёт?

— Рад снова приветствовать вас на трассе. «Москвич» чудесно бегаёт, дай бог ему здоровья. А ваша «Победа»?

— То же самое. Я ее весной перекрасил в неслыханный синий цвет. Где изволили сегодня ночевать?

— В Зеленом Гае. А вы?

— А мы, знаете, на берегу речки, под звездами. Наловили рыбки, разложили костер... Красота! Советую и вам.

— Примем к сведению.

Но было также немало пассажиров, едущих по делу: геологов, агрономов, радиотехников, представителей заводов, направляющихся в машинно-тракторные станции. Возле буфета стоял маленький независимый нахимовец в сдвинутой на глаза твердой бескозырке и ел большой бутерброд с любительской колбасой, чопорно запивая его грушевым напитком.

Я обратил внимание на двух очень молоденьких и очень розовых девушек в легких белых пылевичках, которые, придерживая ногами свои новенькие фибровые чемоданы с висящими на веревочке никелированными ключиками, сидели за столиком, неумело пересчитывали деньги и горячо шептались над меню, не зная, что выбрать — ромштекс или бефстроганов. По их круглым, испуганным глазам было сразу видно, что они в ресторане первый раз в жизни.

На открытой террасе, где пекло предвечернее солнце, мы дожидались свободного столика и спросили окрошку и рубленые котлеты. Мороженого не оказалось.

— Товарищи, да что же это такое?! — воскликнул Павлик, горестно крутя под столом руки.

— Дети с утра сидят без мороженого, и никто не обращает внимания, — грустно заметила Женя. — Когда же, наконец, будет мороженое, я не понимаю?!

— Потерпите до Орла, — заметила мама педагогическим тоном.

— Граждане! — вдруг со странной непоследовательностью заявил Павлик, и глаза его сверкнули. — Мне пришла одна идея. Давайте купаться в бассейне!

— Только и всего?

— Да. А что?

— Ничего. Пусть она уходит и больше не приходит.

— Кто?

— Идея.

Пока дядя Саша менял масло и заправлялся, а Павлик блудливо ходил вокруг бассейна, я с наслаждением курил, думал о Тургеневе, близ владений которого все это происходило, и вспоминал стихи Полонского, обращенные к Тургеневу в Париж. Как это у Полонского?

«...Но — быть может — (кто знает?!), грустною мечтой

перелетел ты в край родной, туда, где все тебя тревожит, и слава, и судьба друзей, и тот народ, что от цепей страдал и — без цепей страдает... Повесья нос, потупя взор, быть может, слышишь ты — качает свои вершины темный бор — несутся крики — кто-то скачет — а там, в глуши, стучит топор — а там, в избе, ребенок плачет... Быть может, — вдруг перед тобой возникла тусклая картина — необозримая равнина, застывшая во мгле ночной. Как бледно озаренный рой бесов, над снежной пеленой несется вьюга; — коченеет, теряясь в непроглядной мгле, блуждающий обоз... Чернеет, как призрак, в нищенском селе пустая церковь; тускло рдеет окно с затычкой — пар валит из кабака; из-под дерюги мужик вздыхает: «Вот те на!» иль «караул!» хрипит со сна под музыку крещенской вьюги. Быть может, видишь ты свой дом, забитый ставнями кругом, — гнилой забор — оранжерею — и ту заглохшую аллею, с неподметенною листвою, где пахнет детской стариной...»

А сам Иван Сергеевич следующим образом писал о своем Спасском-Лутовинове:

«Крыши все раскрыты, заборы повалились, нигде не видать ни одного нового строения за исключением кабаков...»

Теперь же в укрупненном колхозе имени И. С. Тургенева семилетняя школа, клуб, библиотека, лекторий, медицинский пункт, новые дома, общественные постройки, молодые посадки. Более трехсот пятидесяти детей спасских тружеников в советские годы стали агрономами, учителями, врачами, инженерами, агролесомелиораторами, геологами, художниками.

Во двор въехала «эмка», обогнула бассейн и остановилась в ряду других машин. Водитель, молодой широкоплечий парень в пыльном пиджаке внакидку и виннокрасной полосатой сорочке, вышел из машины, взял с заднего сиденья большой букет полевых цветов, бережно его встряхнул, поправил на лацкане пиджака целлулоидную орденскую планку и строгим, военным шагом направился к Жене и Инне, которые сидели за столиком рядом со мной, сортируя различные полевые растения, собранные во время остановок для гербария.

— Представитель колхоза. Здравствуйте, девушки. Как доехали?

— Спасибо, ничего себе, — ответила Женья, с испугом глядя на букет, который протягивал молодой человек.

— Не стесняйтесь. Берите. Это у нас так полагается. Обедали?

— Да, спасибо. Съели крошку и ромштекс.

— Вот это, девушки, зря. Напрасно тратились. Для вас приготовлен выдающийся обед. Машина подана. Позвали!

— Куда поехали? — пролепетала Женя, вопросительно глядя на маму.— Мы не можем. Нам надо ехать в Крым.

— В Крым? — молодой человек напряженно сдвинул брови.— Позвольте, а вы, собственно, кто такие?

— Мы девочки.

— Из Тимирязевки?

— Нет. Я, например, из пятисот восьмидесяти шестой, а она из балетной.

— Тогда, значит, виноват, произошла ошибка. Мне надо девушек из Тимирязевки, практиканток.

— Это мы из Тимирязевки! — закричали, выбегая из внутреннего помещения ресторана, девушки в белых пылевичках.— Это мы практикантки.

— Точно. Здравствуйте, девушки! Как доехали? Позвольте от имени нашей молодежной организации преподнести вам эти скромные полевые цветы. Обедали? Зря тратились. Вас ждет выдающийся обед! Берите букет и давайте чемоданчики. Машина подана. У нас не пропадете. Вас как звать?

— Зина и Даша.

— А меня, простите, Виктор. Поехали.

И через минуту «эмка», обогнув бассейн, выехала из ворот станции, увозя два беленьких пылевичка, четыре русые косички, связанные на затылке кренделем, два фибровых чемодана с висящими никелированными ключиками, красивого молодого представителя с орденской планкой на лацкане пыльного пиджака и громадный букет цветов.

Мы урегулировали свои счета с гостиницей, получили паспорта, в которые были вложены квитанции, и спросили дежурную девушку, где она рекомендует нам остановиться на ночлег. Она погрузилась в размышления, видимо подсчитывая в уме километры и соображая время. Потом она заглянула в какую-то таблицу.

— До Зеленого Гая вы, безусловно, не дотянете.

— Не дотянем,— подтвердил дядя Саша с любезной улыбкой.

— В таком случае придется вам ночевать в Обояни. Там заправка и буфет...

— А гостиница?

— Гостиница, конечно, не такая, как у нас,— несколько замаявшись, сказала девушка,— но все-таки спать можно.

— Ну, если немножко менее шикарная, чем у вас, так это совсем не так плохо,— хором сказали мы.

— Не такая шикарная,— повторила девушка, озабоченно глядя на ребят.

И через две минуты мы уже мчались по шоссе через Мценск. Здесь еще сильнее были заметны следы войны: заросшие бурьяном пустыри и кучи строительного мусора, обвалившиеся стены, старые воронки снарядов, остатки блиндажей, коробки домов. Ребята опять перестали вертеться, затихли. И по их серьезным лицам снова как бы пролетела тень. Но все же город был так красив по своему местоположению, что мы невольно залюбовались. Мы еще находились под впечатлением его старинной, не то купеческой, не то монастырской красоты, как уже въезжали в Орел.

Только теперь я вдруг понял, почему так приятно путешествовать именно в автомобиле. Ведь это в конечном счете не быстрее, чем на поезде, и, конечно, не так удобно, как в хорошем вагоне. О самолете и говорить нечего. Лучший способ сообщения — безусловно самолет: сказочно быстро, удобно, чисто и, если принять во внимание экономию времени, не так уж и дорого. Но автомобиль имеет то преимущество, что вы все видите. Поезд сужает кругозор. Города проплывают мимо вас в образе почти одинаковых станционных зданий и привокзальных площадей, то есть самого неинтересного, что есть в городе. Самолет, напротив, чрезмерно расширяет кругозор и так уменьшает подробности, что дает представление о местности, над которой вы летите, чисто географическое, почти условное. Автомобиль же пробегает непосредственно по деревенской улице, пересекает колхозное поле — колосья почти задевают радиатор,— кружится по кварталам городов, проскакивает через центральные площади, огибает скверы, словом, дает возможность увидеть вблизи то, что вы никогда не увидите из окна железнодорожного вагона, а тем более самолета.

Мы проехали через Орел не останавливаясь. Шестичасовое солнце, все еще высокое, но уже чуть желтоватое,

жарко освещало большой город, наполовину разрушенный и на три четверти уже восстановленный. Пустые коробки домов стояли рядом с новыми зданиями — жилыми, правительственными и торговыми. Именно эти новые, большие, многоэтажные здания в основном и определяли лицо города. Чувствовался особый, послевоенный, совершенно определенно выраженный архитектурный стиль — основательный, крепкий, хорошо продуманный.

Мне кажется, что до войны у нас как-то недостаточно обращали внимание на детальную отделку домов. Новые орловские строения радуют тщательной отделкой. Особенно хороша их окраска — яркая и вместе с тем строгая. Преобладали тона голубые, бархатистые: вишнево-красный, темно-зеленый, оранжевый. В соединении с белой карнизов, колонн и широких гипсовых наличников, окружающих квадратные большие окна и дубовые штучные двери подъездов с начищенной медью ручек, все это производило впечатление веселое, нарядное, хотя и солидное.

Над множеством еще не вполне достроенных домов, над их кирпичными стенами, высоко в небе висели стрелы кранов. Запах горячего битума, известковая пыль над глухими ограждениями строительных площадок, вывороченные трамвайные рельсы, дорожные катки, с тяжелым пытением ползущие по паюсной икре дымящегося асфальта, говорили, что строительный сезон в самом разгаре.

Всюду было много зелени, цветников, старых деревьев. Возле кинематографов, где шли те же самые картины, что и сегодня в Москве, уже стоят толпы зрителей. Жарко блестя на солнце, с особенным летним скрежетом и визгом поворачивал трамвай. За оградой мелькнули гипсовые статуи, голубые павильоны — по всей вероятности, городской сад.

— А мороженое? — простонал Павлик.

— Мороженое будет в Курске, — сквозь зубы процедил дядя Саша и нажал на газ. — И так опаздываем.

Повинуясь стрелке, показавшей направление на Курск, машина вырвалась из центра и понеслась мимо старинных дворянских и купеческих особняков с гербами и без гербов, — быть может, мимо того самого «Дворянского гнезда», где некогда по аллее шла Лиза Калитина, — тенистой улицей, по-губернски широкой, очень длинной, которая и вынесла нас из города снова на простор орловских полей.

Шоссе оставалось все таким же безукоризненным. Только теперь оно почернело от солнца и восково лоснилось, как оселок, на котором правят бритву. По кромке шоссе разрослась густая трава, полная луговых цветов, и ее косили рабочие дорожного управления. Мы проехали древние Кромы.

— До сих пор третий,— глядя в окно, снова загадочно сказала Женья.— Среднерусская возвышенность...

В этот миг дядя Саша внезапно притормозил, машина вильнула. Шоссе, не торопясь, переходила толстая пестрая клушка, окруженная желтыми цыплятами, которые катились вокруг нее, как шерстяные шарики. Пропустив это трогательное воплощение материнства и младенчества и слегка про себя ругнувшись, дядя Саша повел машину дальше. Я скосил глаза на красный циферблат и увидел, что стрелка спидометра дрожит у цифры восемьдесят. Хотелось успеть в Обоянь до наступления темноты. Однако держать восемьдесят на участке Кромы — Курск оказалось невозможно. Бурное развитие колхозного животноводства встало серьезным препятствием на пути нашего дальнейшего продвижения на юг. Клушка с цыплятами оказалась, так сказать, лишь первой ласточкой. Мы не учли, что это был час, когда скотина возвращается домой. Каждая деревня, каждая колхозная ферма, мимо которых мы пытались проскочить с наивысшей скоростью,— а деревни и фермы, как нарочно, стояли очень близко одна от другой,— бросали против нас весь наличный состав своих конюшен, коровников, загонов и птичников. То и дело приходилось тормозить, пропуская отары овец, стада коров, косяки лошадей. Во все стороны из-под радиатора разлетались хлопотливые куры. Скользя и падая по натертому асфальту, цепочкой переходили дорогу гуси; визжали и терлись друг о дружку застигнутые врасплох свиньи; стуча твердыми ножками, мелкой рысцей трусили перед машиной не имеющие понятия о правилах уличного движения бараны. Только умные лошади вели себя по-человечески и по мере возможности старались держаться правой стороны.

Что же касается коров, то они не обращали на нас ни малейшего внимания, весьма напоминая ту даму из чеховской записной книжки, которую в театре, на премьере новой драмы, сосед попросил снять шляпу, так как она заслоняла сцену; дама не обратила на это ни малейшего внимания; тогда сосед жалобно сказал: «Сударыня, но

поймите мое положение, я автор пьесы». «А мне все равно», — ответила дама. Примерно в таком духе вели себя коровы. Одна из них, толстая, наевшаяся, смотрела на дядю Сашу красивыми, ничего не выражающими глазами. Лишь после того, как дядя Саша дал пять гудков, из которых последние три были очень нервные, корова помахала хвостом и медленно перешла дорогу, полная собственного достоинства и сознания своего выдающегося положения в советском животноводстве.

Такого рода постоянные задержки выбили нас из графика. Но мы не сердились. Слишком приятна была эта вагляндная картина изобилия.

А вокруг продолжали бежать поля уже почти совсем созревшего хлеба и разнообразно живописные уголки южной части Среднерусской возвышенности.

Солнце уже опустилось почти к самому горизонту. Очень длинная тень машины бежала слева, скользя и ныряя по ржаному полю — чистому, без единого василька. Алый свет нежно заливал окрестности — ветряную мельницу, шиферные крыши машинно-тракторной станции, элеваторы.

— Куры, — сказала Женья.

— Что куры? — тревожно воскликнул замечтавшийся дядя Саша.

— Нет, это деревня так называется — Куры.

Действительно, на синей табличке было написано слово «Куры», а потом появилась и самая деревня. Мы еще поострились по поводу того, что по ее улице разгуливало громадное количество самой разнообразной домашней птицы, но, как нарочно, не было ни одной курицы. Прошло минуты две.

— Бутылки! — закричал Павлик.

И точно. Синяя табличка сказала, что мы въезжаем в деревню «Бутылки». Следующая деревня, к общему восторгу, оказалась «Сайки».

— Ну, братцы, — заметила мама, усмехаясь, — теперь еще «Рюмки» — и можно садиться за стол.

Мы стали вслух гадать, какую следующую деревню пошлет нам бог. Ребята кричали, перебивая друг друга:

— Вилки!

— Тарелки!

— Пироги!

— Закуски!

— Гости!

Но фантасмагория кончилась и дальше пошли ничем не замечательные «Воскресенские», «Троицкие», «Выселки» и прочие.

В Курск мы въехали, когда уже солнце село. Город пострадал от войны, пожалуй, еще больше, чем Орел. Я помню, как выглядел Курск вскоре после освобождения. Это были сплошные развалины. Теперь я увидел, что он так же, как и Орел, почти весь восстановлен или, вернее сказать, заново отстроен. При въезде в город мы увидели множество дорожных машин, заканчивающих свою дневную работу. Возле остановки стоял автобус линии «Харьков — Москва». Против сквера я узнал большое красивое здание амбир — желтое с белыми колоннами, в котором во время войны помещался какой-то армейский госпиталь. Тогда здание было основательно побито. Теперь оно заново отремонтировано, и сквер перед ним дышал свежей зеленью. Потом на месте почти полностью уничтоженного центра мы увидели большой архитектурный ансамбль того же нового, послевоенного стиля, который заметили еще в Орле. Обращал на себя внимание великолепный огромный дом — вишнево-красный с белым, чем-то напоминавший здание Моссовета, во всяком случае такой же видный, нарядный. Центральная площадь, залитая асфальтом, легковые машины на стоянке, кованая ограда городского сада, театральные афиши, магазины, поликлиники, многоэтажная гостиница «Курск» с рестораном в первом этаже, множество новых уже выстроенных и еще строящихся жилых зданий, мало в чем уступающих столичным, на месте декадентских сооружений дореволюционного купеческого Курска — все это мы уже видели в других городах, по которым проезжали. Но было и нечто новое. Чувствовалось что-то неуловимо южное в деревьях перед домами, в открытых балконах над подворотнями, в большом количестве парикмахерских, в уличном вечернем гулянии. Южное было также и в том, как быстро после заката темнело. Было девять часов вечера — время, когда летом в Москве еще совсем светло и долго еще не темнеет, а здесь уже по всему городу на темной горе зажглись огни, и когда мы выехали на окраину, то пришлось включить фары.

Закат чуть брезжил. На его светлом зеленоватом фоне виднелись черные профили заводов, чертежи высоковольтных столбов, поднятый шлагбаум железнодорожного переезда, но все остальное небо было уже совсем темным,

ночным, и невысоко над темными полями, откуда тянуло прохладой, вкрадчиво мерцала и переливалась, как слеза, вечерняя звезда Венера. Стороной показались красные огоньки и вращающийся маяк аэродрома.

При свете фар шоссе сразу приобрело вид таинственный, даже фантастический. Пуговики дорожных указателей вдруг засветились в темноте, как кошачьи глаза. Вишневые огоньки идущих впереди грузовиков то приближались, то удалялись. Встречные автобусы дальнего следования со своими синими, как медуница, и желтыми, как львиный зев, сигнальными лампочками наверху проносились мимо с такой быстротой, что мы едва успевали разглядеть в их ярко освещенных окнах фигуры пассажиров, дремлющих в спальных креслах. То и дело на дороге, как призрак, возникала белая, фосфорическая фигура с поднятой рукой, безмолвно умоляющая подвести. Магнием вспыхивали спицы велосипедов. Поминутно гасли и зажигались фары встречных машин, которые обменивались с нами таинственными световыми знаками, как глухонемые. И среди всей этой молчаливой световой симфонии в полосе фар безумно посились как бы раскаленные добела полевые мотыльки и мошки. Страшно хотелось спать. Ребята притихли и только изредка спросонья спрашивали:

— Скоро уже Обоянь?

Дорога в темноте казалась бесконечной. Несколько раз мы подъезжали к указателю, чтобы при свете фар посмотреть, скоро ли Обоянь. Но почему-то всякий раз это оказывался плакат, рекомендующий держать свои деньги в сберегательной кассе или заниматься во время летнего отдыха гребным спортом. Время тянулось томительно. Вдруг, когда мы уже совсем потеряли надежду когда-нибудь добраться до Обояни, которая в нашем представлении успела уже превратиться в нечто недостижимо волшебное, перед нами в черном небе загорелась синяя аргоновая надпись «Бензостанция» и красная неоновая вертикальная — «Ресторан». Потом блеснуло целое созвездие ослепительных электроламп, неправдоподобно зеленые газоны, цветники, ледяной блеск асфальтового двора и уже знакомые нам архитектурные формы белых сооружений запрачной станции. На террасе буфета сияли желтые шелковые абажуры, и по радио гремела танцевальная музыка.

— Ну, граждане, это сон в летнюю ночь,— сказала

начитанная Женя и вдруг, без всякой видимой связи, мечтательно прибавила:— А все-таки есть смысл после окончания школы пойти в Тимирязевку.

Я побежал узнать насчет номеров. Каково же было мое изумление и, не скрою, испуг, когда оказалось, что не только нет номеров, но даже нет и гостиницы.

— Позвольте, но мне сказали в Мценске, что есть гостиница!

— Не знаю, кто вам это сказал.

— Девушка сказала. Дежурная. «Не такая, говорит, шикарная гостиница, как у нас в Мценске, но переночевать можно».

— Так это опа, наверное, имела в виду гостиницу в самой Обояни, в городе, а у нас нет.

— А в городе-то по крайней мере есть? Вы наверное знаете?..

— В городе определено есть.

— И что же, хорошая гостиница?

— Некоторые ночуют.

— А то нас, понимаете, шесть человек — трое взрослых, трое детей, отмахали свыше пятисот километров, дьявольски устали.

— Ничего. Авось как-нибудь переспите.

— А до города далеко?

— Километр.

— Ну что ж... Товарищи, по коням! — с несколько наигранной бодростью скомандовал я своему семейству.— Немножко терпения — и через десять минут я вам обещаю крепкий, здоровый сон в одном из лучших отелей города Обояни.

Мы пополнили бак горючим, и сверкающее видение заправочной станции, с ее аргоновыми и неоновыми весками, шелковыми абажурами, газонами и танцевальной музыкой, пропало за нами во тьме. Минут пятнадцать ездил мы по ночной Обояни, по темным от деревьев провинциальным улицам, останавливая одиноких прохожих. Но никто не мог указать нам, где гостиница. Наконец какая-то добрая женщина в очках и с портфелем под мышкой — видимо, работник местного отдела коммунального хозяйства — подробно объяснила, как найти гостиницу. Мы вернулись назад к нелепо большому недостроенному кирпичному собору — по всей вероятности, начатому незадолго до революции, — мимо которого уже проезжали несколько раз. За собором был какой-

то не то пустырь, не то рынок, окруженные глухим забором. Надо было обогнуть этот забор, свернуть в переулок — и там находится гостиница. Мы так и поступили.

От дальнейшего описания избавлю, так как это была первая и единственная неприятность за все наше путешествие: маленькая гостиница оказалась переполненной. Впрочем, мы сами виноваты. Надо было выехать из Москвы после обеда и ночевать в Мценске. Поторопились! Претензий же к городу Обояни предъявлять не приходилось, так как он сильно пострадал во время войны и еще не вполне оправился.

Едва порозовел самый краешек неба, мы поехали дальше, рассчитывая доспать в гостинице в Харькове, до которого оставалось около ста пятидесяти километров.

Дядя Саша и я на ночь оставались под навесом, в машине, выставив ноги в открытые дверцы. В общем, часа два нам удалось кое-как поспать. Остальных сердобольная дежурная кое-как умудрилась рассовать по койкам. Как и подобает путешественникам, готовым ко всяким дорожным случайностям, они держали себя мужественно. Исключение составил Павлик. Когда его на рассвете вытаскивали из койки приютившего его командировочного майора, он так сонно, так жалобно пролепетал:

— Папулечка, я тепленький!..

Серп заходящего месяца блестел еще довольно ярко, но утренний свет уже приливал. Холодный туман низко висел в незнакомой степи. На телеграфных столбах сидели отяжелевшие от росы ястребы. Солнышко взошло скромно, просто, без театральных эффектов. Слева из-за горизонта брызнули розовые лучи. Сразу потеплело. Туман поредел, утро предвещало жаркий, безоблачный день. Все еще продолжалась Россия, но уже ощущалось что-то украинское. Но что именно? Мы долго не могли понять и вдруг поняли. Белые мазаные хатки. Они еще были с русскими деревянными наличниками, но уже с соломенными, а иногда и камышовыми крышами, подстриженными ровно и аккуратно, чисто по-украински. Напоминали об Украине также мальвы в палисадниках и ветряные мельницы. Свежесть раннего утра разогнала сон. Внимание снова обострилось. Переехали через верховье украинской реки Ворсклы.

Вдалеке показалась гряда низких меловых гор. «Белгород 20 км», — сказало шоссе. Направо в долине проплы-

ло видение громадного завода. Пожалуй, больше всего он напоминал мощный линкор, весь окутанный медленно ползущим дымом. Но только он был не темный, а белый, мутно-розовый от зари: короткие трубы, башни, мостики, решетчатые мачты, даже дым и тот был густо-белый, непроницаемый, меловой. По мере приближения к Белгороду мы обратили внимание на странное явление: соломенные крыши хат были как бы испачканы чем-то белым, будто когда белили стены, то заодно немножко помазали мелом и крышу.

Шоссе пошло под гору, описало хорошо видную внизу широкую дугу, обставленную двумя рядами маленьких бело-черных столбиков, пронеслось по пустынному в этот ранний час городу Белгороду, описало другую такую же широкую дугу в обратную сторону и вынесло из города на простор, некоторое время мчась под горой рядом с железнодорожной насыпью, по которой шел пассажирский поезд. У подошвы холма тянулся длинейший ряд очень маленьких домиков, между которыми по одному росли очень высокие, старые деревья разных пород. Здесь были и грабы, и пирамидальные тополя, и дубы, и даже затесалась одна береза, показавшаяся весьма странной среди этой южной компании.

В небольшом болотце, заросшем рогозой, купались ребята, и утреннее пятичасовое солнце вдруг зеркально стрельнуло в глаза из его тенистой зелени.

Потом я немного вздремнул, а когда открыл глаза, все вокруг уже волшебным образом изменилось. Земля была совершенно плоская, даже на вид твердая, ровная, как стол, и такая черная, что я понял — это настоящий украинский чернозем. Слева тянулось в полном смысле слова необозримое пшеничное поле с высокими деревянными сторожевыми вышками, а справа — ряды еще молодой, только что выбросившей свои бунчуки, крепкой, блестящей на солнце кукурузы, или, как ее называют на Украине, пшенки. А по обеим сторонам шоссе, вдалеке, прозрачно зеленели молодые полезащитные полосы белой акации. Вдруг впереди показалось что-то высокое, ярко-красное. Я сразу догадался, что это такое, и принялся будить семейство:

— Граждане, скорее, а то пропустите редкое зрелище!

— Что? Что такое?

Дядя Саша сбавил ход, и мы поравнялись с большим алым фигурным обелиском, особенно ярким на оранжевом

фоне послевшей пшеницы. На одной грани обелиска блеснул на солнце золотой Государственный герб РСФСР, на другой — УССР.

— А, — сказала Женя, высывая в окно заспанное лицо. — Наконец-то десятый! Украина. Занимает юго-западную часть Восточно-Европейской равнины...

В это время мы медленно проехали мимо столба и дружно крикнули «ура» в честь союзной республики, после чего дядя Саша сразу дал девяносто. Показалась синяя доска на серебряных ножках. Зеркальные пуговицы сказали: «Харьков 20 км». И как бы приветствуя нас, московских гостей, на украинской земле, высоко над нами вдруг раскрылся парашют. Освещенный нежным утренним солнцем, висел в безоблачном небе небольшой белый купол, и мы видели во всех подробностях все его выпуклости, тени, ниточки стропов и крошечного человека, который болтался под куполом, управляя этими стропами. Незаметный ветерок снес парашют в сторону, и он мягко сел, как мыльный пузырь, где-то в поле за полосой акаций. Потом появился новый самолет, и на том же самом месте, где раскрылся первый парашют, раскрылся второй, а через некоторое время — третий. Очевидно, поблизости был какой-нибудь аэроклуб. Мы остановили машину и некоторое время любовались зрелищем, так удивительно одухотворявшим картину этого тихого, раннего утра.

Харьков начался густой дубовой рощей, вернее лесом необыкновенной красоты. Но это был лес не дикий, а хорошо ухоженный, чистый, дерево в дерево, почти парк. Шоссе пересекало его ровно, как по линейке. По обеим сторонам асфальта до стены леса еще оставалось пустое зеленое пространство, по крайней мере в два раза шире, чем самое шоссе. Таким образом, получилась необыкновенно широкая аллея длиной в несколько километров. Еще не старые дубы с короткими ветками, которые начинались очень низко, имели редкую для дубов пирамидальную форму. Уже одно это было красиво. А в соединении с конструктивной красотой безукоризненного шоссе, со всеми его указателями, знаками, стрелками, столбиками, беседками и урнами на специальных так называемых «площадках отдыха», это было просто замечательно.

Этот лес незаметно перешел в какой-то другой лес, уже обычный, но тоже очень хороший загородный парк

с голубыми павильонами, тентами, скамейками, гипсовыми вазами и фигурами. Потом вдоль шоссе появились трамваи. Из-за деревьев слева показались крыши автобусного парка. Потом мелькнуло какое-то здание, похожее на электростанцию. Мы продолжали ехать по аллее, но только теперь эта аллея была обсажена уже другими деревьями, городскими: белой акацией, кленами, каштанами, пирамидальными тополями. Появились большие дома, тротуары. Аллея незаметно перешла в знаменитую харьковскую улицу — Сумскую. Хорошо мне знакомый высокий дом, где помещался ЦК КП(б)У в то время, когда Харьков еще был столицей Украины. Вот университетский сад; бывший Синельниковский театр, а в то время первый театр УССР. На миг в пролете улиц показались корпуса знаменитого харьковского Дома промышленности — первого высотного здания в Советском Союзе. Лет двадцать назад оно производило сильное впечатление. Оно и сейчас бросалось в глаза высотой своих многочисленных четырнадцатизэтажных корпусов с великим множеством окон.

Сумская начала сужаться. Теперь мы ехали в тесном ущелье красивых многоэтажных — старых и новых — домов с гранеными выступами «фонарей», балконами и окнами, украшенными цветами и вьющимися растениями. Одно за другим следовали закрытые ввиду раннего часа кафе с заманчивыми витринами, где среди арктических пейзажей и гигантских фужеров на двух языках — русском и украинском — воспевалось мороженое, или «морозиво»: сливочное, клубничное, ореховое, крем-брюле, парфе и пломбир.

Затем мы увидели разрушенный центр с садиками на месте домов, большую, сплошь залитую асфальтом площадь. Бросалось в глаза множество длинных, узких цветников, разбитых на тротуарах. Окруженные очень низенькими чугунными кружевными бордюриками, сплошь усаженные красной геранью, вербеной и каннами, они придавали городу весьма элегантный, курортный вид. Кое-где виднелись руины кирпичных брандмауэров со старыми, довоенными рекламными. Но в большинстве случаев зияющие пустоты в ряду домов были превращены во временные скверики или уже застроены новыми домами.

Был седьмой час утра, и в городе еще было пусто. Только посередине сияющей, как серебряный поднос, площади виднелись гипсово белые кители милиционеров да фигуры дворников, подметавших вчерашний сор. До вой-

ны Харьков славился своей «Красной гостиницей», но ее уже не существовало. Мы спросили у дворничихи адрес лучшей гостиницы и, переехав мост через Лопань, остановились перед отелем «Интурист». Такое название было вполне естественно, так как мы именно и являлись туристами, прибывшими на Украину из «другой республики». Эта часть города была мне особенно хорошо знакома, так как в 1921 году я жил как раз в этой самой гостинице, в которой жили по ордерам многие советские и партийные работники, в том числе и мы, сотрудники «ЮгРОСТА». В то время маленькая вонючая речонка текла через центр города в своих естественных земляных берегах, вечно заваленных отбросами и падалью; старый деревянный мост дрожал под колесами. Теперь речка была одета в гранит, как Нева, и по широкому бетонному мосту бесстрашно катились трамваи и автомобили. Я вспомнил свою молодость и тот знойный августовский день, когда в пыльной витрине «ЮгРОСТА», где выставляли последние телеграммы, вдруг увидел в черно-красной траурной раме портрет Александра Блока, уже начавший желтеть и выгорать на солнце.

Гостиница уцелела от войны и, в общем, осталась такой же, как была, только, разумеется, была заново отремонтирована. Я ее узнал сразу. Нам дали два больших номера с ваннами, а машину завели в знакомый мне знойный гостиничный двор и сдали под охрану дворника.

О, какое это было удовольствие, даже блаженство — хорошенько намылиться душистым мылом, посидеть в горячей воде, вычистить зубы, а потом лечь в удобную постель и под знойный звон и грохот трамваев, пробежавших под самыми окнами по бывшей Екатеринославской, уже раскаленной, как печка, заснуть по-детски, сразу, крепко, без трудных мыслей и сновидений!

Проспав часов шесть подряд, мы с аппетитом пообедали в пустом, гулком ресторанном зале, который находился в нижнем этаже гостиницы и окнами выходил во двор, на его тeneвую сторону, отчего в зале было приятно темно и довольно прохладно. Обед подали превосходный, вкусный, с легким украинским оттенком: борщ с помидорами, котлеты по-киевски, свежие нежинские пупырчатые огурцы.

Пока дядя Саша ездил по раскаленному добела незнакомому городу в поисках заправочной колонки, мы успели немощко погулять по бывшей Екатеринославской.

Прямо против гостиницы находился шляпный магазин. Множество самых разнообразных соломенных головных уборов — мужских, дамских, детских и «подростковых», — выставленных в витрине, соблазняли нас. Мы вспомнили, что забыли запастись в Москве этими совершенно необходимыми принадлежностями крымских курортов, и купили каждому по так называемому брилю — громадной соломенной шляпе, в которой обычно работают на полях украинские колхозники. Так что, когда мы поехали дальше, машина оказалась загроможденной шляпами, от которых так вкусно и совсем по-летнему пахло золотистой пшеничной соломой.

Мы въехали в Харьков со стороны парков и садов, а выехали из него через промышленные районы. Только теперь мы поняли истинные размеры этого громадного индустриального города. Во все стороны, на много квадратных километров, разбегались старые, восстановленные и новые, недавно выстроенные заводы и фабрики, сверкающие на солнце стеклянные крыши цехов, похожих на оранжереи, водонапорные башни, висячие мостики, трансформаторные будки, сети электрических проводов, фабричные трубы с лесенками и штыками громоотводов, насыпи подъездных железнодорожных путей, горы каменного угля, нефтяные цистерны и невероятно длинный, закругляющийся железнодорожный состав с платформами, уставленными новенькими тракторами «ХТЗ».

На выезде из города наше шоссе расширилось метров до двадцати. Во все стороны от него отделялись и убежали белые асфальтовые ленты на запад, восток и юг. То и дело стрелки показывали направление на Кривой Рог, Днепропетровск, Днепродзержинск, Сталино. За этими названиями крылись понятия: «руда», «уголь», «сталь», «электричество», «чугун».

Из ворот заводских складов непрерывным потоком выезжали на главную магистраль пятитонки, нагруженные ящиками самых разнообразных форм и размеров. На некоторых из них было написано крупными буквами: «Срочно! Для великих строек коммунизма». Поминутно сигналя и тормозя на переездах под светофорами, окруженные громадными дрожащими радиаторами грузовиков, среди которых наша машина казалась совсем маленькой, как речной катерок среди океанских пароходов, мы долго выбирались на простор. Наконец мало-помалу пробка рассосалась. Грузовики с горными комбайнами, упакованны-

ми в длинные ящики с надписью «пневматика», свернули на Сталино и на Криворожье. «Буровое оборудование» покатило на Никополь, на трассу будущего Южно-Украинского канала. Шоссе на некоторое время очистилось. Повинуясь указанию зеркальных пуговичек и синей стрелки, мы повернули в сторону электричества, на Запорожье.

Некогда, может быть, потому, что время было такое суровое, у меня о Харькове и о его окрестностях сложилось представление как о чем-то весьма скучном, неинтересном. Только теперь я убедился, как я был неправ. Окрестности Харькова оказались прекрасны. Шоссе все время плавно закруглялось то в одну сторону, то в другую. Картины природы разнообразно менялись. В них не было почти ничего типично украинского. Зеленые холмы, местами поросшие цветущей сурепкой, как бы густо посыпанные порошком серы; маленькие речки, тенисто заросшие ольхой; высокие острые черепичные крыши; коврики полей; столбы высоковольтных электролиний; дуб, ива, граб; дачные поселки с открытыми верандами маленьких голубых буфетов... Вдруг сбоку — зеленая стена очень высокого, крутого откоса с лестницей, и на его вершине среди дубового кустарника мелькают вагоны дачного поезда, а с другой стороны, внизу, — пионерский лагерь, прямоугольник пруда, окруженный малиновыми телами купальщиков. А через несколько километров уже совсем другая картина: шелковистые песчаные дюны, сосны — совсем Прибалтика, не хватает только моря.

Но вот все это кончилось. Мы въехали в молодую дубовую рощу. Здесь было так красиво, уютно и тенисто, что мы решили сделать маленький привал, тем более что до Зеленого Гая, где предполагалась последняя ночевка, оставалось сравнительно не так далеко — километров триста, а времени только три часа пополудни. Как бы предупреждая наше желание, возле шоссе показалась очередная площадка отдыха — стол и три скамьи под тенью орешника.

И опять, как только остановились, мимо нас, обдавая ветром, учащенно замелькали машины, но теперь среди них было гораздо больше грузовиков. Это Харьков слал на юг, к уборочной, изделия своих знаменитых заводов. Проносились, сверкая в решетчатых ящиках, штабеля мужских и дамских велосипедов, вкусно блестели свежим лаком и никелем мотоциклы. Павлик смотрел на них как

зачарованный. И весело было представлять, как они сначала попадут на какую-нибудь базу, потом в сельские магазины, а потом разбегутся по колхозным шоссе и полевым дорогам, увозя домой своих владельцев — председателей колхозов, счетоводов, учительниц, агрономов, зоотехников, учеников, доярок, бригадиров, — и легкий полевой ветер будет гнаться за ними, упруго наклоняя тяжелые колосья пшеницы...

Здесь мы впервые прикоснулись к нашим домашним запасам. Есть нам не очень хотелось, но мы все же закусили, «чтобы не испортилось». Московские батоны еще не успели зачерстветь и оказались вполне съедобными. Крутые яйца стойко держались. Сыр со слезой уже не просто слезился, а буквально рыдал. Все это мы съели, запив горячим боржомом и оставив после себя на столе груды яичной скорлупы и горку соли. Но ничего нельзя было поделаться: все знакомые, уже успевшие совершить автомобильное путешествие по симферопольской магистрали, в один голос утверждали, что самое изумительное во всем путешествии — делать привалы где-нибудь в лесочке и закусывать, и просто требовали, чтобы мы это непременно сделали. Таким образом, совершив под давлением общественного мнения необходимый обряд, мы сели в успешную раскалительную машину, поехали дальше и вдруг увидели такой ячмень, что даже пришлось остановиться. Во-первых, нас поразила его цвет. Не золотой, не просто желтый, не янтарный, даже не бронзовый, хотя ближе всего подходил к светло-бронзовому. Словом, неопишимо яркий и вместе с тем какой-то тяжелый цвет чистой охры. Поле было очень большое, но совершенно ровное, как поверхность щетки. Колосья прямые, твердые, частые, один в один. Даже не верилось, что это ячмень, а не какой-нибудь другой, еще не виданный нами злак. Для того чтобы убедиться, я сбегал и сорвал тяжелый, твердый граненый колос. Это действительно был сказочный, выставочный ячмень! Именно с этого ячменя по-настоящему и началась красавица Украина.

Впереди, до самого Симферополя, не предвиделось ни одного сколько-нибудь значительного города. Запорожье оставалось несколько в стороне от магистрали. Все крупные центры также были в стороне. Мы мчались среди сплошных бесконечных массивов созревшего хлеба — рослого, частого, чистого. Казалось, что вот-вот, с минуты на минуту, должна начаться уборка. Мы с нетерпением

ожидали появления первого комбайна, но проехали еще километров сто, прежде чем его увидели. Впрочем, мы уже так привыкли к равномерно быстрой езде, что время и пространство утратили для нас свою обычную меру. Они как бы слились воедино и уже не измерялись друг другом: время — пространством, а пространство — временем, а оба измерялись мерой нашего утомления, а также изменениями местности или какими-нибудь мелкими дорожными событиями. Местность была хотя и красива, но однообразна, мы не были утомлены, а потому сто километров как бы промелькнули в один миг.

Шоссе взбежало на подъем, и вдруг на повороте мы увидели комбайн. Было уже часов пять или шесть. Солнце светило искоса, отчего все вокруг со своими удлинненными тенями виделось особенно стереоскопично. По кромке пшеничной делянки медленно ползло довольно громоздкое сооружение, которые тащил на буксире большой гусеничный трактор с трубой, казавшийся совсем маленьким. Над комбайном развевался большой, очень яркий красный флаг, пронизанный солнцем. Под флагом, за штурвальным колесом стоял, подбоченившись свободной рукой, комбайнер в широкополом бриле. За комбайном по стерне волочилась большая железная клетка. Две девушки с лицами, до глаз завязанными платком, как у мусульманок, время от времени помогали вилами вываливаться из клетки кучам соломы. Из какой-то коленчатой наклонной трубы летела солома. А все поле уже на треть было выстрижено, как под машинку.

Мы не знали, что обозначает это красное развевающееся знамя, но можно было предположить, что это неспроста: то ли в честь начала уборочной, то ли боевое отличие за доблестный труд. Так или иначе, но мы высунулись из окон и дружными возгласами приветствовали флаг, в ответ на что комбайнер с достоинством снял свой бриль, раскланялся, и яркая картина скрылась за поворотом. Мы уже стали жалеть, что не остановились, но сейчас же увидели другой комбайн, правда, без флага, потом третий, четвертый... И с этого времени комбайны посыпались как из рога изобилия. Сначала ребята их подсчитывали, загибая пальцы. Но скоро перестали, так как их было гораздо больше, чем пальцев и даже чем в летних номерах «Огонька». Они были разные. Весьма скоро мы научились в них разбираться. Были комбайны на прицепе, такие, как наш первый с флагом и клет-

кой. Были самоходные, которые мы сразу узнавали по косому полотняному зонтику, под которым комбайнер сидел, как раджа на спине слона.

Встречались также и роскошнейшие комбайны, тоже с зонтиком, самого новейшего образца, на резиновом ходу, с никелированными фарами, красные, лакированные — игрушечка!

Ребята то и дело высовывались в окна, крича:

— Наш с прицепом!

— Самоходка!

— Красный под зонтиком!

Да, это была Украина во всем блеске уборочной! Вдруг мы увидели на обочине пыльную коричневую «Победу» и человека в вышитой украинской рубашке с красной ленточкой вместо галстука, который, стоя посреди шоссе, отчаянно размахивал небольшой серой «памятой» из крашеной соломы. Дядя Саша сделал попытку промчаться мимо, даже прибавил газу, но на лице у человека было написано такое отчаяние, что пришлось остановиться.

— Будьте такие ласковые, — нежным, плачущим голосом пропел он, хромающей рысью подбегая к нашей машине, — чи вы не позычите нам на хвилинку-другу вашего домкрату, бо ця скаженна жинка мне сейчас голову оторвет, дуже звиняюсь...

— Нечего отрывать, бо ее у тебя и так давно нема, — скороговоркой сказала молодая женщина с закутанной от солнца головой и треугольной бумажкой, наклеенной на нос, чтоб он не загорел, откуда ни возмись появившаяся рядом. — Он свою голову уже давно потерял, — продолжала она без знаков препинания, обращаясь уже непосредственно к дяде Саше. — Вы, дуже звиняюсь, человек на вид пожилой и солидный, наверное, едете из Москвы, как я заметила по вашему номеру, так вы мне ответьте: может ли порядочный водитель выезжать в рейс, не проверив, есть у него домкрат или нету?

— А в чем, собственно, дело? — любезно осведомился дядя Саша.

— Нет, вы мне сначала, товарищи, ответьте на мой вопрос: может так быть или не может, чтобы колхозный шофер выезжал без домкрата! — обратилась она уже ко всем нам.

— Не может, — хором сказали мы.

— Ага! — торжествующе сказала женщина и быстро

повернулась к товарищу в серой «панаме». — Теперь ты понял? А еще бывший танкист!

— Это сюда совершенно не относится, — жалобно пропел бывший танкист тонким голосом.

— Нет, относится! — грозно сказала она, сверкая темными глазами. — Пускай люди ответят: относится или не относится? Когда ты выезжал на своем танке в бой, так, наверное, у тебя все было в порядочке: и пушка и патроны... А теперь, в самый разгар уборочной, он выезжает без домкрата! И через тебя приходится останавливать на дороге людей и кланяться: «Позычьте нам на бедность домкрат сменить негодное колесо, а то у нас бригады останутся без горячего обеда». Это как называется?

Бывший танкист смущенно махнул рукой и отвернулся. Быстро достали домкрат, и пока бывший танкист при поддержке дяди Саши и Павлика менял спустившее колесо своей коричневой «Победы», в которой на заднем сиденье помещались закутанные, как дети, в стеганые одеяла кастрюли, макитры, термосы и глечики с обедом для комбайнеров, молодая женщина продолжала сыпать своей полтавской скороговоркой:

— Я вам скажу, товарищи курортники, что не каждый комбайнер согласится на холодные вареники и теплый борщ, а в особенности такой человек, как Платон Яковлевич. Звичайно, он через это штурвала не бросит, прежде чем полностью не управится, но я вас спрашиваю: как наш колгосп будет на него смотреть? Платон Яковлевич! Вы лучше спросите, с какими трудами мы его получили из МТС! Насилу уговорили! Товарищ, знаменитый от Запорожья аж до самого Воронежа! Против него, если вы хотите знать, не выстоит ни один комбайнер Советского Союза. А поскольку мы соревнуемся с соседними колхозами на первенство Украины по сдаче зерна государству, то вы ответьте на такой вопрос: должны мы его своевременно обеспечить или не должны? Мабуть, вы думаете, что после этого всего у меня хватит совести подать такому человеку прохладный борщ? Та я лучше в речке утоплюсь, чем позволю себе сделать такую некрасивую вещь. Уж не говорю за другие бригады, которые тоже дожидаются обеда. Позор на весь район! А этот мало того, что баллоны перед рейсом не проверил, а еще домкрат дома забыл! Спасибо, вы нас, товарищи, выручили, а то я уже думала бежать до ближайшего стана и вызывать по радиотелефону аварийную полупор-

ку. А вы сами, часом, не в Крым едете? А куда именно? В Коктебель? Это теперь называется Планерское. Как же, знаю. Ну, так я вам не завидую, для детей, может быть, и хорошо, но для взрослых довольно-таки скучно. Мы там за прошлый год отдохали после уборочной в Доме медсантруда, так там только одни санитарки и старые зубные врачи,— мне не понравилось. В Ливадии куда лучше! Ну, еще раз большое вам спасибо за домкрат. Поправляйтесь. Микола, ты уже сменил колесо? Так сидай за баранку — и поехали. Только веди машину аккуратно, чтобы не разболтался борщ и не побилась горилка.

И через некоторое время, обернувшись, мы увидели в отдалении коричневую «Победу», которая сворачивала с шоссе на полевой грейдер.

Все чаще и чаще наше шоссе пересекали твердые грунтовые дороги со стрелками, показывающими направление на разные колхозы: «Память Ильича», «Светлый путь»,— а то и просто на стрелке было написано: «Дорога в поле». Часто вдалеке, справа или слева, над стеной пшеницы показывались черепичные крыши и маленькая эйфелева башня ветряного двигателя с белым ветряным колесом и хвостиком, как у кометы. То и дело попадались большие колхозные фермы, новенькие силосные башни, цистерны для горючего, очень длинные конюшни или коровники с двускатными черепичными крышами необыкновенно чистых прямых линий и самых различных оттенков красного цвета: вишневых, бледно-розовых, алых, почти шоколадных. Попадались также небольшие стандартные электростанции, конторы МТС, ремонтные мастерские, футбольные площадки. А высоковольтные столбы продолжали своим порядком неподвижно шагать через поля, скрываясь за горизонтом и вновь появляясь у самого шоссе, и по сторонам их, наверху, висели сушеные грибы изоляторов.

В соединении с полевыми просторами, блеском стремительно бегущего шоссе, легковыми автомобилями и междугородными автобусами под небом без единого облачка — все это было удивительно прекрасно, совсем ново. Но в этом еще не было ничего типично украинского. Так могло быть и на Кубани, и на Северном Кавказе, и в Заволжье, и в Восточной Сибири, и где-нибудь под Воронежем.

Но когда машина пролетала непосредственно по деревне, тут уж была самая настоящая Украина: белые мазан-

ки с высокими, толстыми соломенными крышами, глиняными призбами — завалинками, квадратными окошечками, обведенными синькой или охрой, с громадным деревом и колодцем-журавлем, с вишневым садочком, как бы униженным капельками крови, с плетнями и клунями и разноцветными мальвами и чернобривцами, оранжево-черными, как ленточка ордена Славы.

Целые поля подсолнухов, крутятся, пробегали мимо нас, и были они похожи на хороводы веселых украинских дивчат в зеленых развевающихся плахах и желтых венках на чернявых головках, а поля кукурузы стояли поодаль, как толпа молодых чубатых запорожцев с бунчуками и саблями, так что все вместе это было ни дать ни взять финал «Запорожца за Дунаем» в киевской опере.

На дорожных указателях стали попадаться названия вроде «Полтава», «Карловка», гордо проплыла надпись «Киев» со стрелкой вправо. Появились машины с киевскими номерами. С каждым километром наша магистраль приобретала все более нарядный городской вид, который усиливало присутствие милиции, строгой, но вежливой, как на улице Горького. Один за другим следовали «Дорожно-ремонтные пункты», целые усадьбы, состоящие из нескольких трехэтажных жилых домов каждая, все того же общего оригинального стиля — с высокими черепичными крышами, расширяющимися кверху высокими плоскими трубами, балкончиками с извилистыми железными решетками, разноцветным орнаментом вокруг дверей и террас, цветниками, газонами и скамейками. В этих домах помещались ремонтные рабочие, служащие, работники дорожной милиции, инженерно-технический персонал. В громадных гаражах стояли шоссейные машины, аварийные тягачи, грузовики, мотоциклы, которые по первому требованию выходили на магистраль. Эти пункты непосредственного отношения к нам не имели, так же как домики линейных мастеров. Но они являлись составной частью трассы и в значительной мере определяли ее внешний вид. А заправочные станции с буфетами шли своим порядком, аккуратно через каждые двести километров. Словом, это был как бы некий новый, выстроенный в едином стиле и по единому плану, большой благоустроенный город, растянувшийся с перерывами на полторы тысячи километров.

Особенное внимание привлекали мосты через многочисленные речки, текущие здесь с востока на запад. Ино-

гда речки эти были так малы и невзрачны, что казалось, не стоят своих роскошных мостов. А мосты были действительно очень хороши. Широкие, стройные, с литыми чугунными перилами, богато орнаментированными государственными эмблемами, местами посеребренные, они легко, почти незаметно переносили машину с берега на берег, объявляя хорошенькой табличкой название речки. Я сказал, что часто речки не стоили своих мостов. Но я сделал слишком поспешное заключение. Некоторые из этих речушек оказались очень стоящими. Колхозы загородили их плотинами, и получились длинные треугольные водохранилища. Один такой колхозный пруд, видимо, соорудили совсем недавно, так как из него торчал телефонный столб с проводами. В пруду купались ребята, женщины стирали белье, плавало множество уток и гусей, и еще не заросший травой черный земляной берег был усеян белым пухом.

— Граждане, мне пришла идея! — воскликнул Павлик и умоляющими глазами посмотрел на мать.

— Если она пришла, то пусть поскорее уходит, — сухо сказал дядя Саша.

— Да, но вы еще не знаете...

— Знаю. Выкупаться.

— Верно, — с удивлением сказал Павлик. — Как вы догадались?

— Догадаться нетрудно, но, к сожалению, это невозможно: надо торопиться, чтобы дотянуть до Зеленого Гая засветло.

Почему-то у дяди Саши была навязчивая мысль — дотягивать именно засветло, что, впрочем, регулярно не удавалось. И оригинальная идея Павлика молча удалилась.

Цифры на дорожных столбиках менялись быстро и незаметно, как на счетчике такси. Приближался тысячный километр. Мы решили отметить это событие короткой остановкой и торжественно распить последнюю бутылку московского боржома. Однако праздник наш был слегка омрачен. Желая поскорее достигнуть тысячного столба, дядя Саша погнал в гору, с большим мастерством и блеском обошел два колхозных грузовика с зерном, преодолел подъем и вышел на прямую, где посередине шоссе уже стоял пожилой офицер милиции и легким помахиванием полосатого жезла приглашал нашу машину съехать на обочину и остановиться.

— Что такое? В чем дело?

Офицер милиции неторопливо подошел к машине, приложил два пальца к головному убору, представился:

— Старший лейтенант дорожного отдела милиции такой-то, — и радушно спросил, откуда и куда мы следуем.

С видимым интересом выслушав хоровое выступление ребят, которые с большим жаром, но довольно толково изложили ему краткую историю нашего путешествия, офицер милиции одобрительно кивнул головой, а затем попросил дядю Сашу предъявить права. Он долго и внимательно, со всех сторон, осматривал книжечку, а нервное заявление дяди Саши, что мы, «винти ли, очень торопимся, так как рассчитываем попасть в Зеленый Гай засветло», пропустил мимо ушей, видимо вполне разделяя мудрое милицейское правило: тише едешь — дальше будешь. Перелистав книжечку справа налево, а затем слева направо, он постучал ее корешком по ладони и, глядя на облупившийся нос дяди Саши, сказал с мягким украинским акцентом:

— Товарищ водитель, вам должны быть хорошо известны правила автомобильного движения, а между тем вы их грубо нарушаете. Нарушение правил ведет к авариям, что угрожает жизни как лично вашей, так и ваших пассажиров, а равно и других граждан.

— Но что я сделал? — невинно удивился дядя Саша.

— Вы сделали то, что грубо нарушили правила автомобильного движения, обогнав на подъеме попутный грузовой транспорт, что правилами автомобильного движения не разрешается. Подобные нарушения недопустимы... — и т. п.

Дядя Саша сразу стал кроткий, как дитя, и время от времени с любезной улыбкой вставлял в речь офицера милиции краткие замечания, вроде:

— Слушаюсь, товарищ лейтенант. Понимаю. Учту ваши указания. Больше не повторится.

Наконец, получив свои права, в которых офицер милиции, вежливо приложив руку к козырьку, сделал специальными щипчиками небольшую дырочку, дядя Саша снова взялся за руль. Но пожилой лейтенант остановил его и вручил какую-то печатную бумажку, предварительно заставив расписаться в получении. Лишь после этого дядя Саша получил возможность тронуться дальше.

Осторожно доехав до тысячного столба, мы вышли из машины и немножко погуляли, разминаясь, затем выпили

по кружке боржома, еще более горячего, чем под Харьковом, а дядя Саша вслух прочитал полученную от офицера милиции бумажку. Это был официальный талон со штемпелем дорожного отдела Главного управления милиции. На бумажке было сначала напечатано очень крупными буквами: «Вы нарушили правила движения», — а затем помельче, но тоже достаточно крупно: «Дорожный отдел милиции предупреждает вас, что нарушения правил движения дезорганизуют работу транспорта и зачастую приводят к дорожным происшествиям, подвергают опасности жизнь и здоровье граждан. При нарушении правил движения впредь вы будете подвергнуты более строгому взысканию. Дорожный отдел милиции».

Характер местности продолжал оставаться прежним, с той лишь разницей, что стало попадаться больше заново отстроенных деревень. В одном месте мы увидели хату, ровно наполовину снесенную снарядом. Так она и стояла, как бы аккуратно разрезанная пожом, от нее осталась только одна половина, заделанная новой глиняной стеной. Часто встречались хаты с новыми железными крышами, почему-то выкрашенными в черный цвет, а также полуобгоревшие деревья, обросшие новыми ветками. По-видимому, здесь шли сильные бои. Затем мы увидели табличку с надписью «Новомосковск 20 км». Сначала я не обратил на это внимания. Но потом, когда название «Новомосковск» через десять километров повторилось, я вдруг почувствовал непонятное волнение, хотя сразу и не мог понять, отчего оно происходит. Слово «Новомосковск» что-то мне напоминало, но я не знал что. Оно было больше, чем просто знакомое. С ним, несомненно, было связано что-то очень близко касающееся меня лично, всей моей жизни. Но что? Мне почему-то вдруг представились две обожженные венчальные свечи с атласными бантами, пучок искусственных, восковых цветов флёрдоранжа, белые лайковые перчатки и комичный шелковый складной цилиндр, так называемый шапокляк, на атласной подкладке. Они хранились в комодке моего покойного отца, и в детстве я любил их рассматривать, в особенности шапокляк, который так ловко щелкал, когда я его складывал и раскладывал. Именно эти вещи, семейные реликвии, и были самым тесным образом связаны со словом «Новомосковск». Наконец я вспомнил почему. В Новомосковске венчались мои родители. Я ни разу в жизни не был в этом городе. Теперь я почувствовал сильнейшее волне-

ние. Одновременно я ощутил себя и стариком, и каким-то странным существом, еще не появившимся на свет.

— Вот что, братцы,— сказал я, оборачиваясь к детям.— Сейчас будет Новомосковск. Возможно, там сохранилась одна церковь. Так вот, знайте, что именно в этой церкви женились ваши дедушка и бабушка.

Ребята с острым любопытством посмотрели на меня, потом на мать, потом стали всматриваться в даль. Впрочем, было маловероятно, что церковь сохранилась. Здесь шли ожесточенные бои, и почти все церкви, мимо которых мы проезжали, были разрушены войной. Вдруг показался Новомосковск — широко раскинутый, видимо сильно разбомбленный, но уже приведенный в порядок, весь в зелени, и первое, что мы увидели, была удивительной красоты церковь — стройная, белая, со множеством ярко-зеленых куполов странной формы. Никаких других церквей вокруг не было. Эта была единственной. Но только подъехав ближе, мы поняли, что это не просто церковь, а громадный старинный собор изумительного древнеукраинского, черниговского стиля. Множество мелких куполов, тесно расположенных друг над другом уступами, имели не форму луковок, как наши церкви, а напоминали железные шлемы, маленькие украинские кровельки с выступающими острыми краями. Эти купола с лесом высоких железных крестов, каменный фундамент церкви, а также косые карнизы, крытые железом,— все было выкрашено ярко-зеленой краской и необыкновенно резко, но гармонически сочеталось с белизной всего собора. Но самое замечательное было то, что собор оказался весь, снизу доверху, деревянный, без единого железного гвоздя. Он стоял посредине пустынной провинциальной площади и, кажется, был единственным зданием в городе, не пострадавшим от бомбежек. Наша магистраль как раз пролегла через площадь, и я попросил остановиться. Мы вошли за ограду — тоже ярко-зеленую, на белом каменном фундаменте,— в церковный сад. На веранде сторожки, сплошь увитой диким виноградом, нас встретил старик сторож. Он преувеличенно строго объяснил нам, что храм старинный, семнадцатого века, называется Новомосковский Троицкий собор, построен запорожцами из местных деревянных домов, которые богатые запорожцы специально для этого скупали. Сейчас собор охраняется как памятник украинской старины и музей. Я спросил, сохранились ли церковные книги, куда записывались совер-

шенные в соборе крещения, бракосочетания, и где эти книги можно достать. Оказалось, что книги есть, но находятся в местном загсе, который ввиду позднего времени уже закрыт, и мне не удалось увидеть запись о бракосочетании надворного советника Петра Васильевича Катаева с девицей Евгенией, дочерью полковника Ивана Елисеевича Бачей.

Зеленые железные двери церкви были заперты на замки. На белых ступенях лежали предвечерние тени шелковицы. И я вдруг так ясно представил себе летний день и молодого отца в учительском вицмундире с короткими фалдочками, в белых лайковых перчатках, со сложенным шапокляком на руке, в пенсне со шнурком. с бородкой, похожего на Чехова, который стоит на этих самых ступенях, а мама совсем молоденькая, почти подросток, с цветочком в черных, гладко причесанных блестящих волосах, стремительно, радостно идет ему навстречу, отбрасывая шлейф маленькой ногой в атласной туфельке, и слеза блестит под иссиня-черными дрожащими ресницами маминих раскосых, опущенных глаз...

И вот теперь, через столько лет, их сын, почти уже старик, стоит и смотрит на эту церковь, на облупившиеся ступени, и рядом стоят их внуки— мальчик и девочка, которых они никогда не видели и не знали, а вокруг жарко, безоблачно сияет летний украинский вечер и блестит на шоссе светло-серый автомобиль.

Ребята с молчаливым вниманием смотрели на церковь, где некогда венчались их бабушка и дедушка, которых они никогда не видели, и мне очень хотелось узнать, что они чувствуют, о чем думают. Но они молчали.

— Неужели они женились в церкви? — наконец с удивлением сказала Женя и посмотрела на меня пытливо округлившимися зеленоватыми глазами.

— Конечно. Тогда было так принято.

— Лично я, даже тогда, ни за что бы не стал жениться в церкви,— подумав, заметил Павлик и строго прибавил:— Они, наверное, не были революционеры.

Женя подошла, взяла меня под руку и прижалась головой к моему плечу:

— А они очень были влюблены друг в друга?

И мы поехали дальше, сначала через приток Днепра Самару, поэтическую речку, всю заросшую камышом и кувшинками, где на мосту попали в громадное стадо молоденьких племенных бычков бежевой масти, к которым

с берега рвалось стадо пестрых коров, отгоняемых пастухами, а потом — по живописному Приднепровью.

Солнце уже стояло совсем низко на телесно-розовом небе. Дядя Саша гнал вовсю. Жирные суслики как столбики сидели на дороге и проворно перебежали через шоссе с одного поля на другое. Отъевшиеся воробьи тяжело взлетали стаями из-под самого радиатора, неуклюже, бесположно трепетали крыльями, носясь перед машиной, и некоторые из них погибли, разбившись о ветровое стекло, испятнанное мотыльковой пылью. За сусликами и воробьями охотились кобчики. За кобчиками охотились какие-то еще более хищные и сильные птицы, может быть, степные орлы, высоко в безоблачном, почти бесцветном, небе описывающие круги и вдруг как камень падающие вниз. Пролетел аист, неся в красном клюве змею.

А шоссе уносилось вдаль, и нагретый воздух казался на горизонте водой, разлитой по асфальту, и эта вода как бы волшебным образом испарялась по мере нашего приближения, отодвигалась и продолжала блестеть впереди. На обочине дороги стали попадаться яркий степной мак, лиловые шарики дикого чеснока. На каждой остановке Женя перебиралась через кювет, для того чтобы пополнить свой гербарий редкими экземплярами южных степных растений — душистой серебряной полынью, чабрецом и теми мягкими, мохнатыми колосообразными лиловыми цветами, которые здесь неправильно называются васильками, в то время как васильки носят название «волошки», — так что скоро в машине запахло прямо как в украинской хате.

Тень машины бесконечно растягивалась. Солнце село. На том месте, где после него в небе осталось пыльное клубничное зарево, вдоль всего западного горизонта, в золоте последних лучей вдруг показалась дымная, как бы сиреневая панорама Запорожья. Пока мы с ней поравнялись, уже настолько стемнело, что кое-где там задрожали звезды электрических фонарей. В последних отсветах зари проплыл весь объятый дымом из труб силуэт громадного индустриального центра. Розовым зеркалом блеснула излучина Днепра. Где-то там, совсем недалеко, был ДнепрогЭС. Впереди показался большой перекресток с треугольным цветником посередине. Это был крупный узел шоссейных дорог. Стрелки, повернутые в разные стороны, указывали направление на Кривой Рог, Николаев, Запорожье, Симферополь.

Как раз в это время со стороны Запорожья подошла колонна грузовиков и стала перед нами поворачивать на главную магистраль. Один за другим на бледно-сиреновом фоне вечернего неба двигались силуэты машин, нагруженных обсадными трубами, буровыми станками, барабанами тросов, дизельными движками, чемоданами, на которых сидели какие-то люди. Развевались волосы девушек, белели макинтоши. Это выезжала из Запорожья в район Мелитополя, на трассу будущего Южно-Украинского канала, очередная геологоразведочная группа, вероятно студенты-практиканты. Они пели хором, и стройные, молодые голоса летели над вечерющей степью:

Стоит гора высокая,
А під горою гай.
Зеленый гай, густесенький,
Неначе справді рай.

А на последнем грузовике, сзади, свесив болтающиеся ноги через борт, сидели, обнявшись, накрытые одной палаткой, юноша и девушка и тихо о чем-то беседовали.

Мы почувствовали большое искушение повернуть направо, на Запорожье, и полюбоваться Днепрогэсом, до которого оставалось каких-нибудь десять километров. Но уже совсем стемнело, и мы, решив заехать в Запорожье на обратном пути, поехали прямо по симферопольской магистрали.

Над черной степью дрожала знакомая нам вечерняя звезда, и дядя Саша принужден был включить фары. Перед машиной снова заметались как бы раскаленные добела степные мотыльки, но теперь их было гораздо больше, и скоро все ветровое стекло оказалось заляпанным их разбившимися тельцами.

Мы обогнали колонну геологов. Наши фары сначала ярко осветили девушку и юношу на последнем грузовике. Они все еще продолжали разговаривать, но теперь ее голова лежала у него на плече, и освещенное лицо казалось совсем белым, фарфоровым, и на нем дрожало выражение счастья, а он озабоченно хмурил черные густые брови, и на лацкане его пиджака ясно виднелся маленький голубь мира. Потом луч наших фар скользнул по всей колонне, выхватывая из темноты детали буровых станков, фигуры сидящих людей, дымок папирос, большие белые номера на бортах грузовиков. Хор молодых голосов, поющих старую украинскую песню, усилился, вы-

рос, грянул, потом стал постепенно замирать позади нас в степи...

...Зеленый гай, густесенький,
Неначе справді рай...

В бархатной тьме степной южной ночи за посадками акации блеснули фонари и неоновые вывески станции обслуживания Зеленый Гай, оказавшейся точной копией станции Мценск. Мы поужинали в ресторане, выпались в прохладных номерах, а когда поздно утром проснулись и вышли на сияющий асфальтом двор, то сразу почувствовали знойное дыхание настоящего юга. Сухой, почти раскаленный ветер гнул тонкие молодые деревца, шелестел их пыльной редкой листвой, с бумажным шорохом пробегал по кукурузе, по сохнувшим цветникам. Явственно ощущалась близость безводных приазовских степей. Это могло показаться очень тоскливым, если бы совсем недалеко, почти рядом, не было Каховки, реки Молочной, Мелитополя, Васильевки, где уже начинало разворачиваться грандиозное строительство Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов. Туда ежедневно прибывали советские люди со всех концов Союза. Они ехали на поездах, на пароходах по Днепру, летели на самолетах. Многие воспользовались магистралью Москва — Симферополь, ехали на пассажирских автобусах, на попутных грузовиках, на велосипедах, на таксомоторах. Станция Зеленый Гай находилась на бойком месте. Множество самых разнообразных машин стояло на заправочном дворе возле электрических колонок. В ожидании отправки будущие строители сидели со своими сундучками и чемоданами на лавочках возле гостиницы, пили чай и закусывали в ресторане, прогуливались по асфальтовым дорожкам между цветниками. Несколько совсем юных пареньков, видимо только что окончивших ремесленное училище, собрались в кружок посреди заправочного двора. Среди них я увидел и наших ребят. В центре кружка парнишка лет шестнадцати в летней канареечной рубашке с короткими рукавами, с гладко зачесанными назад блестящими каштановыми волосами, присев на корточки, резкими, отчетливыми движениями проводил по асфальту мелом какие-то линии. Проведет линию, выпрямится, что-то скажет и опять проведет линию. Мне показалось, что они играют в какую-то не известную мне игру. Я подошел ближе. Он наклонился, быстро и очень ровно провел

линию, выпрямился — солнце блеснуло в его зеркальной прическе — и сказал:

— Так?

— Так,— ответили хором ребята.

— Отсюда он пойдет вот сюда, прямо на Джанкой,— продолжал парнишка в канареечной рубаше и вдохновенно провел новую линию.

— А как же Сиваш, Гнилое море? — спросила Женя.

— Молчи, не мешай человеку объяснять,— нетерпеливо сказал Павлик.— Тебя не спрашивают.

— Нет, почему же,— серьезно ответил парнишка.— Пускай спрашивает, если не понимает. Через Сиваш он пройдет по трубам. Понятно?

— Такие большие трубы? — с сомнением сказала Женя.

— Чего ж тут особенного? — пожал плечами парнишка.— Ты сама, девочка, откуда? Из какого города?

— Из Москвы,— гордо ответила Женя.

— Раз из Москвы, так чего ж ты удивляешься? Небось под Москвой-рекой на метро ездила? Там оно проложено по такой трубе, состоящей из тьюбингов. Так и здесь. Только по этой трубе пойдет не поезд, а вода. Понятно?

— Теперь понятно,— сказала Женя, обидчиво поджав губы.— Точно я маленькая.

— Маленькая не маленькая, а знать не мешает,— наставительно заметил парнишка и снова провел черту.— А отсюда каждую секунду пойдет шестьсот пятьдесят кубометров воды на поля. Во! — сказал он, выпрямляясь, и солнце опять отразилось в его зеркально зачесанной, гордой голове с прямым упрямым носом.

— Что за дискуссия здесь происходит? — спросил я, рассматривая нарисованную на асфальте карту Южной Украины и Крыма, пересеченную резкими прямыми линиями.

— Да вот, объясняю ребятам схему наших каналов,— сказал парнишка, бросил мел и вытер руки о штаны.

— А вы кто... гидролог?

— Нет, зачем! — добродушно улыбнулся он.— Мы тут разные. Лично я плотник, а другие из нашей группы которые маляры, которые штукатуры, а, например, Зинка у нас — альфрейщица. Где ты, покажись.

— Я здесь,— сказала молоденькая альфрейщица, высовывая из толпы носик, усыпанный золотистыми весну-

печками, и, подумав, прибавила: — Мы в этом году кончили на «отлично» ремесленное училище, подали коллективно заявление на великую стройку коммунизма, получили ответ заказным письмом, что можно, и вот едем на попутных машинах, — и опять скрылась в толпе.

— Думаем закрепиться до конца строительства, — сказал высокий молодой человек в лиловой футболке и тапочках. — Тут и жизнь будем строить, может быть, и стариков выпишем.

— Эй! Которые на реку Молочную? — закричал шофер грузовика, отъехавшего от колонки. — По коням!

Молодые плотники, маляры, штукатуры и альфрейщица Зинка схватили свои сундучки и чемоданы и, становясь на колеса, полезли в грузовик. Через минуту они уже катили мимо станции на юг.

Бассейн против подъезда гостиницы был полон, и пассажиры двух маршрутных автобусов, только что прибывших из Ялты, черные, белозубые и белоглазые, еще не успевшие отвыкнуть от ежедневного утреннего купания в море, брызгали друг в друга бриллиантовой водой.

Пока дядя Саша на заправочном дворе готовил машину к последнему перегону, приехало и уехало множество машин, в том числе ленинградских такси, совершающих спортивный пробег Ленинград — Симферополь, «Победа» двух украинских академиков, следующих на трассу канала, и черный таксомоторчик «Москвич» из Запорожья, который возил двух местных хозяек в Мелитополь на базар за фруктами. От них мы узнали, что в этой фруктовой Мекке уже появились первые абрикосы, хотя еще мелкие, как черешня, но уже сладкие, как мед, три рубля кило, а неслыханная розовая, красная и белая черешня, крупная, как мелкий абрикос, продается прямо-таки ведрами, почти задаром.

Павлик явился с заправочного двора в таком виде, который не вызывал никаких сомнений, что ребенок помогал дяде Саше вытирать мотор, но так как Каховский гидроузел еще не был построен, то вряд ли удалось бы привести мальчика в порядок с помощью местных водных ресурсов, и его решили отмывать уже непосредственно в Черном море.

Мы сердечно простились с приветливой дежурной и девушками из ресторана в таких же коротеньких плисси-

рованных юбках, как и в Мценске. Стало быть, оказалось, что это не какая-то оригинальная мценская мода, а стиль всех буфетов трассы. В остальном же девушки Зеленого Гая коренным образом отличались от мценских задумчивых блондинок в тургеневском вкусе: они были все как одна по-южному черные, с розочкой в волосах, настоящие Кармен.

На станции Зеленый Гай был свой радиоузел, помещающийся в башне. Когда мы выезжали из ворот, возле репродуктора уже толпился народ и слышался голос диктора, который громко разносился по степи:

— ...Широко развернулись изыскательские и исследовательские работы по определению вариантов трассы Южно-Украинского канала и створов плотины на реке Молочной, проведены топографическая съемка на площади тысяча сто квадратных километров, инженерно-геологическая съемка от озера имени Ленина, расположенного у Днепровской плотины, до города Мелитополя. Объем разведывательных работ с помощью бурения превышает тридцать тысяч погонных метров... Самоотверженно работают и строители новой железной дороги.

Дорога до Мелитополя неслась среди ровных полей и фруктовых садов. Каждое поле было окружено низкорослыми посадками. Желтые прямоугольники в светло-зеленых рамках белой акации придавали местности своеобразный характер, который усиливали степные колодцы — деревянные сооружения, состоящие из очень широких ворот, посередине которых на вертикальной оси установлен дощатый барабан с дышлом. Вращая его вручную или при помощи лошади, можно из очень глубокой скважины извлечь на веревке ведро солоноватой воды. Здесь все время дул суховей, и трудно себе было представить лучшее место для пускания бумажного змея с трещоткой.

Фруктовые сады занимали решительно ничем не отгороженные степные участки; каждый гектаров в десять, двадцать, а может, и больше, где в шахматном порядке стояли яблони, груши, абрикосы, сливы. Вертикальные и диагональные по отношению к линии поссе ряды выбеленных стволов стройно уходили в перспективу и мелькали, плавно вращаясь вокруг невидимой оси, как бы спрятанной где-то за плоским горизонтом. Иногда за деревьями появлялся шалаш из новой соломы.

Черешня уже поспела. Ветви гнулись под тяжестью

почти черных, блестящих на солнце ягод, висящих снизу во всю длину ветки грузными кисточками.

Все это было давно известно и хорошо мне знакомо. Но мы увидели и нечто новое: питомники, в которых выращивали саженцы для озеленения поселков строителей трассы каналов — карликовые леса, где среди жаркой степи трепетали на ветру слабые прутики будущих пирамидальных тополей, белых акаций, дубов, шелковицы. Среди них, как добрые великаны, ходили с лейками и мотыгами мелитопольские комсомольцы, защищая свои будущие парки и скверы от губительного дыхания суховея.

Мы обогнали несколько передвижных электростанций, колонну грузовиков с буровыми станками. Потом нас обогнал семиместный красавец с украинскими академиками в серых габардиновых макинтошах и черных шелковых ермолках. Из окна машины высовывался кончик большого рулона синей кальки. Потом мы увидели среди голой степи строительство целого городка: ярко желтел на солнце свежий тес, крутились барабаны бетономешалок, могучая рука передвижного крана переносила по воздуху целый штабель пустых оконных рам, визжала электрическая пила, на стропилах копошились фигурки кровельщиков, и у въезда в «город» на громадном листе фанеры было написано известью «Укрводстрой».

Город Мелитополь начался очень длинной улицей, обсаженной старыми деревьями все той же белой акации. Однако улица эта была так широка, что тень деревьев не могла покрыть ее всю, и середина улицы жарко горела на солнце, и это особенно подчеркивало степной, южный характер города. В виноградно-зеленой сквозной тени акаций мимо палисадников шли с мешками и большими корзинами местные хозяйки и приезжие. Мы спросили, где рынок, но не получили ответа. На нас смотрели как глухонемые. Тогда я догадался, что надо спрашивать не рынок, а базар. Это слово тотчас заставило Сезам открыться, и мы свернули на вторую улицу направо. Мягко покачиваясь на ухабах, покрытых подушками горячей пыли, машина проковыляла с полкилометра и остановилась у входа на базар. Это был, как мы узнали на обратном пути, не главный городской рынок, а привокзальный, что оказалось даже лучше. Именно здесь пассажиры целыми корзинами закупают знаменитые мелитопольские фрукты и набивают ими свои фибровые чемоданы.

Фруктовый сезон только что начался. Первые абрико-

сы, мелкие и не вполне зрелые, хотя и были дешевы, но для еды не вполне годились, и их пока брали лишь на варенье. Зато черешня превзошла все мыслимое в этом роде. Ее было так много, что мы почувствовали головокружение. Мы бегали вдоль базарных столов с громадными круглыми корзинами или просто так, без всяких корзин, заваленных грудями черешни и листьями самых разнообразных сортов, от лаково-черной до желтой, как бледный янтарь, но одинаково спелой и действительно крупной, как мелкие абрикосы.

Прелесть мелитопольского базара, между прочим, заключалась в том, что разрешалось сколько угодно пробовать. Наши ребята довольно широко воспользовались этой южной базарной традицией. Но невозмутимые мелитопольские торговки и бровью не вели. Сложив могучие руки на груди, они равнодушно смотрели на безоблачное, пыльное небо своими красивыми глазами, такими же крупными, лаково-черными, как черешня, которую они продавали, в каждой ягоде которой отражался базар.

Наконец мы купили шесть килограммов неслыханной розовой черешни, заполнив ею кошелку, освободившуюся от московских запасов, и все соломенные шляпы. Мы так навалились на розовую черешню, что даже не заметили, как выехали из Мелитополя, и от города осталось лишь мимолетное впечатление чего-то тенистого, южного, с белыми каменными домиками, бульваром в центре и громадным экскаватором, застрявшим на переезде. То и дело мы выплевывали в окна крупные, как картечь, косточки и вытирали платками липкие рты и щеки. Впоследствии дядя Саша, со свойственной ему педантичностью, подсчитал по спидометру, что шести килограммов розовой черешни хватило нам ровно на шесть километров, так сказать шесть килограммо-километров. Из этого можно было заключить, что если бы мы всю дорогу ехали не на бензине, а на розовой черешне, то давно бы уже, несмотря на ее крайнюю дешевизну, вылетели в трубу.

Часа полтора мы катили среди еще более ровных, совсем плоских полей, отчасти уже убранных и уставленных длинными скирдами новой соломы. В одном месте мы промчались мимо еще одного строящегося городка, в другом сблизилась с железнодорожной насыпью, совсем низкой, почти в уровень поля. Она была обсажена все тем же кустарником белой акации, и по ней рядом с нами долго шел длинный товарный поезд с какими-то громозд-

кими машинами, гусеничными тягачами «ХТЗ», автомобилями и ящиками с надписью: «Стройкам коммунизма». Мелькнула одинокая железнодорожная станция, десятки грузовиков возле нее, семафор, кирпичная водокачка, товарные вагоны на путях, бегающий маневренный паровичок. Все время на пустынном горизонте в разных местах появлялись и прятались в хлебах элеваторы. Это были знакомые мне места старых прославленных колхозов-миллионеров — Акимовка, Ново-Алексеевка. Показались буровые вышки геологической разведки, палатки, бараки, дымки кухонь...

Но вот поля мало-помалу кончились, незаметно перешли в бурую, выжженную степь. Солнце уже не просто пекло, а жгло сильно и беспощадно, будто жалило. На полотно шоссе больно было смотреть. Пришлось спустить дымчатый целлулоидный щиток. Еще хорошо, что машина была с брезентовым верхом, который не так сильно нагревался, как стальная крыша «лимузина». Через шоссе продолжали перебегать суслики, но это уже были не такие жирные, ленивые животные, как вчера, а рыжие, поджарые, степные. Вокруг не было ни единого деревца, только телеграфные столбы, при виде которых становилось как будто еще жарче. Мы проехали мимо голый железнодорожной платформы с длинным рядом белых, немного пожелтевших от зноя изотермических вагонов.

И мне вдруг вспомнились первые месяцы Магнитостроя: выжженная голая степь, новая железнодорожная ветка и на ней одинокий зеленый вагон с колоколом — первый вокзал будущего Магнитогорска. Косые башни смерчей неслись, закрывая солнце. Они были густые и рыжие, будто свалянные из верблюжьей шерсти. Копоть затмения крыла землю. Вихрь срывал и уносил в степь палатки. Казалось невероятным, что через несколько лет здесь будет гигантский металлургический завод, шесть самых больших в мире домен, коксохимический комбинат, социалистический город. Это было на заре нашей индустриализации, незабываемые, героические дни первой пятилетки, и в душе у каждого из нас звучала могучая музыка первых пятилеток: «Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим!» И советский народ не только выдержал, не только вышел победителем из Великой Отечественной войны, но смог быстро окрепнуть и присту-

пить к осуществлению величайшего в истории человечества плана преобразования природы, то есть снова могучим рывком вперед опередить время и выйти на самые ближайшие подступы к коммунизму. Вот почему, пересекая эту сухую, выжженную степь, мы уже как бы видели вокруг цветущие сады, отражающиеся в каналах, слышали свежий шум днепровской воды и не только верили, а твердо знали, что это именно так и будет в самом непродолжительном времени.

Слева, чуть пониже горизонта, дрожала зеркальная полоса раскаленного воздуха, отделяя линию горизонта от остальной степи, что создавало полное впечатление какой-то реки или озера. Это был мираж, все время как бы меняющий свои очертания. Но, кроме того, вдалеке светилось еще что-то плоское, густо-синее, не кажущееся, а уже самое настоящее, и это было Азовское море.

Начались солончаки, розоватая трава, как бы робко тронутая изморозью. А через несколько минут мы уже ехали по берегу высохшего лимана, до самого горизонта покрытого пеленой соли, сияющей на солнце, как чистейший февральский снег. Можно было подумать, что мы волшебным образом перенеслись в какой-то очень яркий зимний день на берег громадного замерзшего озера, занесенного февральскими снегами. Сходство казалось тем полней, что вокруг не было никакой зелени, ничто на вид не напоминало о лете, белая пелена расстилалась, насколько хватал глаз, от белых кучек соли ложились синие тени, и если бы вдруг появились лыжники, то это бы нас несколько не удивило. Но как раз в эту минуту вместо лыжников навстречу нам по шоссе пронеслась — один за другим — длинная вереница черных от загара велосипедистов в трусиках и красных майках, с рубашками, надетыми на голову от солнца, — по всей вероятности, участники какого-нибудь велокросса. И видение зимы рассеялось, как мираж.

— Часть материка изрезана сложной сетью мелких заливов, невысоких кос, лиманов и проливов, носящих общее название Сиваш, или Гнилое море, — сказала Женя.

— Откуда ты знаешь? — удивился Павлик.

— Каждый культурный, образованный человек знает, — сухо ответила Женя, — от Азовского моря Сиваш отделяется узкой и длинной песчаной косой, которая лишь немного не доходит до материка. Видите?

И точно. Мы действительно ехали по знойной, выж-

женной части материка, изрезанного сложной сетью мелких заливов, голубых, как аквамарин, невысоких шелковистых песчаных кос, синих до красноты лиманов и зеленых проливов, что создавало своей раскраской впечатление географической карты.

— Значит, здесь и пройдут трубы,— сказала Женья.

— А может быть, это будут как раз не трубы,— ответил Павлик с живостью.

— Он сказал, что трубы, тубинги,— сказала Женья, с уважением подчеркивая два слова: «он» и «тубинги».

— А я не стал бы делать труб,— ответил Павлик.

— А как же?

— Я бы лично пустил воду по специальной эстакаде.

— А интересно знать, как это ты пропустишь по эстакаде каждую секунду по шестьсот пятьдесят кубометров воды. Ты что-нибудь соображаешь? Это же целая река!

— Ну и что из этого, что река? Пусть река. Что мы, не сможем пустить какую-то несчастную реку по эстакаде? Теперь мы все можем! Вот будет здорово: внизу Сиваш, а поперек на столбах течет река. Скажешь — не здорово?

— Тебе всегда приходят в голову разные идеи.

— Это не моя идея, а я в газете читал, что, может быть, пойдет по эстакаде.

— Мало что ты читал! А он сказал, что пойдет по трубам.

— Мало что он сказал! А я считаю, что лучше по эстакаде.

— Спросим Инку.

— Спросим.

— Инка, как лучше — по трубам или по эстакаде?

Но молчаливая Инна пробормотала что-то невразумительное и продолжала широко открытыми глазами смотреть в степь, где снова появился зеркальный мираж.

Затем шоссе вынесло машину на широкий низкий мост с синими перилами, и зеркальные пуговки сказали, что это Чонгарский пролив. Густо-зеленая азовская вода бурлила вокруг деревянных плугов ледорезов. Черная целебная грязь с серым, наждачным налетом соли покрывала низкие берега. Остро повеяло крепкой рапной вонью.

Едва мост кончился, как Женья захлопала в ладоши.

— Граждане, поздравляю: кончился десятый, теперь

уже девятый! Положение и общая характеристика. Из всех физико-географических областей, входящих в СССР, один Крым имеет почти исключительно морскую границу... Тем не менее это одна из областей Союза, пользующаяся наибольшей известностью среди широких масс населения. Известность Крыму дали своеобразие и красота приро...

— Знаем, знаем!

— Не сбивайте. Красота природы,— быстро заговорила Женя,— его южного берега, теплого синего моря, красивых гор, южной растительности, безоблачного неба...

— Постой! Хоть на минуточку остановись. Ради бога, объясни, что это значит? Ты все время загадочно выкрикиваешь: «второй», «девятый». А что — девятый?

— Ах, боже мой, как вы не понимаете. Билет! Девятый билет. Крым. Я за него получила на экзамене пятерку. Не сбивайте... «Безоблачного неба, ярких красок и солнца. Со словом «Крым» у нас связываются представления юга — тепла и солнечного бле...»

Действительно, мы уже мчались по Крыму. Безоблачного неба, тепла и солнечного блеска было даже больше, чем нужно. Пока Женя без сучка и задоринки горячо описывала будущий Северо-Крымский оросительный канал, который из Каховки пройдет через Сиваш до Джанкоя, а потом одна ветка направится по трубам на Керчь, а другая — на Евпаторию, причем все безводные районы Крыма покроются густой сетью более мелких каналов, мы успели проехать еще километров сорок.

Тут мы сделали свидетелями весьма любопытного зрелища. Вдоль дороги, подпрыгивая, катились сухие кусты перекасти-поля, легкие и упругие, как плетеные корзинки. Иногда они останавливались, как живые существа, а потом снова продолжали кувыркаться. Некоторые перекасти-поле, так же как и суслики, перебежали шоссе перед самой машиной, некоторые подскакивали, ударялись о радиатор и, как мячи, перелетали через машину назад. Это было очень забавно.

Вдруг большое перекасти-поле выскочило из кювета и присело на обочине. Оно некоторое время сидело смиренно, поджидая, когда мы приблизимся, а потом, кувыркаясь через голову, как акробат, ловко бросилось под машину.

— Мировой аттракцион, перекасти-поле самоубийца,— объявил Павлик, и мы не могли не улыбнуться, так как это действительно было похоже.

Под машиной раздался частый стук, как будто кто-то закрутил деревянную трещотку. Дядя Саша пренебрежительно усмехнулся и дал девяносто, уверенный, что перекасти-поле отцепится. Но стук не прекратился, а лишь сделался чаще. Тогда дядя Саша остановился и дал задний ход. Машина проехала назад с полкилометра, но стук не прекратился. Тогда дядя Саша с озабоченным лицом снова остановился, попросил всех выйти, лег на шоссе и полез рукой под машину. Он долго возился, затем шепотом ругнулся и стал доставать из багажника домкрат. Короче говоря, ушло по крайней мере пятнадцать минут, прежде чем удалось извлечь остатки перекасти-поле, накрутившиеся на карданный вал. Вот какой крепкий стебель оказался у этого проклятого сорняка, с которым здесь ведется упорная борьба. Так что когда через некоторое время мы увидели большой трескучий костер, на котором колхозники сжигали кучу пойманных перекасти-поле, разносивших свои зловредные семена на большие расстояния, мы это могли только приветствовать.

Мы проехали мимо еще одного строящегося городка трассы, несколько в стороне от Джанкоя, черепичные крыши которого виднелись в степи. Вообще здесь всюду было много новых черепичных крыш, белых домиков и ветряных двигателей, что очень оживляло степь. Ничто так не украшает местность, как высокие черепичные крыши!

Примерно за восемьдесят километров до Симферополя находилась последняя заправочная станция «Тимирязево». Мы остановились для того, чтобы в последний раз заправиться. Может быть, потому, что эта станция одиноко стояла среди пустой степи, ослепительно освещенная яростным крымским солнцем, до того белая, что на нее больно было смотреть, она показалась нам особенно красивой.

Описывая заправочные станции, я, кажется, забыл подробно рассказать об одной вещи. Посередине цветника возле заправочных колонок на каждой станции, под прямым углом к шоссе, установлен специальный указатель маршрута. Слово «указатель» слишком невыразительно и почти ничего не объясняет. Это белая доска площадью по крайней мере в тридцать квадратных метров, высоко поднятая на тонких стальных трубах, выкрашенных серебряной краской. На ней толстыми прямыми линиями и черными кружочками городов вычерчена по вертикали схема

всей трассы, на одной стороне — от Москвы до Симферополя, на другой — наоборот, с указанием километров. Наличие этих громадных белых экранов, видных издали, придает всей магистрали какую-то особую красоту точности и законченности, как вовремя поставленная точка в хорошо построенной фразе.

Так как нам предстояло через двадцать шесть дней возвращаться этим же путем, то дядя Саша, на всякий случай, аккуратно списал в свою записную книжку все данные этого указателя.

Возле заправокных колонок, обсаженных уже совсем по-крымски ночной красавицей, стояло несколько машин с крымскими номерами и один выдавший виды трофейный «мерседес», только что совершивший прогулку по Кавказскому побережью и возвращающийся обратно в Москву. Шофер трофейного «мерседеса» с жаром убеждал дядю Сашу, что если нам придет в голову мысль прокатиться по Кавказскому побережью, то чтобы мы ни в коем случае не переправлялись через Керченский пролив, так как во время сильного ветра паром не ходит и можно прождать на берегу несколько суток, и лучше всего погрузить машину в Ялте на теплоход и выгрузиться прямо в Новороссийске.

Мы не собирались ехать на Кавказ, но самый факт, что это так легко сделать — была бы охота! — привел нас в еще более радостное, веселое настроение.

— Мне пришла в голову одна идея, — сказал Павлик быстро. — Давайте погрузимся в Ялте, выгрузимся в Новороссийске и доедем до Сочи.

— Верно, — горячо поддержала Женя. — Увидим собственными глазами тринадцатый: Кавказ, его положение и общая характери...

— Не надо, не надо! — сказала мама, замахав руками. — Не все сразу. Надо доехать до конца девятого.

И мы бодро двинулись дальше по девятому. Скоро из-за горизонта показались голубоватые вершины крымских гор — сначала одна, другая, потом выступила вся горная цепь с Чатырдагом, Ай-Петри, Карадагом и волнистой линией Яйлы. И, как всегда в виду гор, местность ожилилась, стала одухотворенней, романтичней. Начались виноградники, табачные плантации, по междурядьям которых кое-где полз, пыхтя, на автомобильных колесах маленький самоходный плужок с сидящим человечком в соломенной шляпе или тубетейке. В долине показались сады и кры-

ши Симферополя, трубы консервных заводов, ряды высоких пирамидальных тополей, которые ребята сперва приняли за кипарисы. В соединении с еще более приблизившейся и заметно выросшей горной цепью и маслянисто-синим небом с одним-единственным маленьким круглым облачком, это уже был настоящий Крым.

Перед самым въездом в Симферополь нас вдруг обдало горячим, сильным запахом каких-то очень ароматных цветов, кажется душистой герани или лаванды. Оказалось, это громадная плантация растений, идущих для парфюмерной промышленности, может быть лекарственных.

Синяя длинная доска на серебряных ножках весело сказала: «Симферополь». Мы промчались — с креном на поворотах — краем белого южного города, утопающего в зелени шелковиц, укусных деревьев, пирамидальных тополей, каштанов, белой акации, и остановились на асфальтовом зеркале симферопольской заправочной станции против больших красных гаражей, возле последнего столба с цифрой «1399». Но нам нужно было еще проехать километров сто двадцать до Коктебеля, и мы, наскоро пообедав в ресторанчике при заправочной станции, отправились, не теряя зря времени, дальше по местному шоссе, уже далеко не такому великолепному, но все же очень хорошему.

Теперь мы ехали по предгорьям Крыма, строго на восток. Послеобеденное солнце светило нам в спину, тень автомобиля, постепенно удлиняясь, бежала впереди. На поворотах она отклонялась вправо или влево, как стрелка компаса. Мы огибали подошвы гор, до самого верха поросших дубовым кустарником, проезжали по долинам в тени вековых пирамидальных тополей, настолько старых, что верхние ветки их уже кое-где стали умирать и торчали голые прутья, мимо крымских деревень с глинобитными заборами, бледно-розовыми или бледно-голубыми, купоросного оттенка, мазанками, повернутыми задней стеной на улицу, с почти плоскими кровлями, крытыми круглой турецкой черепицей. Появилась белая крымская пыль. Местами потягивало кизячным дымком. По склонам косо ползли стары светлых овец. Между гор на каждом сколько-нибудь удобном месте желтели пшеничные поля, ожидающие начала уборки. Наконец при свете заходящего солнца мы увидели гору Митридат и Феодосию. На другой день, сидя в плетеных креслах на открытой терра-

се, под которой росли матово-серебряные дикie маслины, цветущие деревья розовой акации, тамариски, мы уже любовались зеленым от крепкого синопского ветра морем, таким взволнованным, таким айвазовским, как будто оно только что было написано блестящими, еще не успевшими высохнуть масляными красками, а ровно через двадцать шесть дней машина снова увозила нас обратно в Москву. И все плавно закружилось в обратном порядке: сначала девятый, потом десятый, потом третий, как грустно заметила Жeня.

Теперь поля уже были всюду убраны, оголены. Живые отливало на утреннем солнце слюдяным блеском, и таким же слюдяным, степным блеском отливали выжженные предгорья, покрытые коврами бледно-лиловых иммортелей. Пока длились наши путевки, здесь уже всюду прошли комбайны. Местами происходил обмолот. На токах полевых станов были навалены, не преувеличивая, дюны зерна. Кое-где его сушили и веяли на транспортерах, задранных вверх. По движущемуся полотну транспортера, как по шоссе, бежала лента зерна и сыпалась на другой транспортер, потом на третий, пока наконец окончательно очищенное и высушеное зерно не собиралось в громадную, на глазах растущую сопку.

Все время приходилось обгонять грузовики, доверху наполненные пшеницей, или уступать дорогу ползущим на север комбайнам. Это весьма напоминало прифронттовую дорогу в разгар наступления, когда артиллерия меняет позиции и понтонные части спешат к переправам.

Снова мы проехали по тенистым улицам Старого Крыма вдоль садов, увешанных спелыми, пыльно-бирюзовыми сливами, мимо столетних тополей, увитых плющом, мимо мутной, мелкой горной речки, в долине которой среди старых фруктовых деревьев лежали огороды, похожие на черные шерстяные ковры с вытканными зелеными букетами — капустой. Проехали через бывший Карасубазар, ныне Белогорск, город, более похожий на большое село восточного типа, с глухими глиняными заборами, старой черепицей, бледно-голубыми и бледно-розовыми мазанками, что в целом напоминало открытку, чуть покрашенную слабой акварелью. Только теперь все было жарко озарено блеском соломы, укладываемой в скирды почти в каждом дворе.

Снова среди солончаков Сиваша нам явилось видение будущего Северо-Крымского канала, и снова, жадными

глазами всматриваясь в пустую, голую степь, ребята заспорили о том, как пойдет днепровская вода — по трубам или по эстакаде. И снова я вспомнил первые незабываемые месяцы Магнитостроя, «Время, вперед!» и могучую, непобедимую музыку первых пятилеток.

Перед закатом мы достигли Зеленого Гаю, то есть проделали около трети дороги. Однако на этот раз в Зеленом Гаю мы не остановились на ночлег, а лишь заправились.

Снова возле бассейна перед белоснежной гостиницей стояли дизельные автобусы линии «Москва — Симферополь» и «Харьков — Ялта», на террасе ресторана и на скамеечках сидели пассажиры, на заправочном дворе у электрических колонок толпились грузовики, нагруженные электрооборудованием завода «Запорожсталь», а по радио передавалась опера «Евгений Онегин», и на всю степь гремел голос мосье Трике: «Ви роза, ви роза, бель Татиа-на...»

Было решено дотянуть до Днепропетровска, где я хотел повидаться со своей старенькой теткой, единственной оставшейся в живых сестрой покойной матери, и показать ей своих ребят, то есть ее внучатых племянников, которых она никогда не видела. Для этого нам следовало свернуть с магистрали на Запорожье, переехать на правый берег Днепра по дамбе Днепрогэса, затем сделать километров восемьдесят по не известному нам шоссе до Днепропетровска, там переночевать, утром переехать обратно на левый берег, добраться до Новомосковска, а там уже снова свернуть на главную магистраль. Мы так и сделали.

Я помню город Запорожье в то время, когда он еще назывался Александровском. Было лето девятнадцатого года, троица, самый разгар гражданской войны. Наш эшелон со старыми зелеными трехдюймовками уже стоял у перрона. Цвела белая акация, недавно прошла гроза, теплые лужи пахли, как одеколон. На привокзальной площади стояли порыжелые от солнца реквизированные экипажи, бегунки и поповские брички, на которых приехали командиры и комиссары частей, отправляющихся на фронт, а он был уже совсем недалеко, где-то под Лозовой. Жарко пахло кожей экипажей и лошадиным потом. Красноармейцы уже стояли в открытых дверях теплушек, украшенных ветками белой акации. Оркестр играл «Интернационал». Эшелон тронулся. Молодой командарм

стоял на ящиках от патронов, худощавый, стройный, в черном кожаном пальто, туго перетянутом офицерским поясом, в кожаной комиссарской фуражке, с маузером в деревянной кобуре, и махал вслед уходящему эшелону веткой акации, сплошь покрытой мокрыми кистями белых цветов. На фоне разорванной лиловой тучи светилась огненно-фиолетовая радуга, и казалось, что эшелон уходит в ее резко очерченную прозрачную арку, огибая по высокой насыпи город Александровск, его раскинувшиеся внизу почерневшие черепичные крыши, по-южному тенистый провинциальный бульвар с виднеющимися за ним островом Хортица и правым берегом Днепра, где тогда хозяйничали банды атамана Чайковского.

Все это живо вспомнилось мне, как только мы въехали в Запорожье. Город, конечно, сильно изменился, вырос. Но я сразу узнал длинный бульвар, породы деревьев, некоторые дома — все, что сохранилось от бывшего Александровска. Возле нового театра, под густыми деревьями, прогуливались зрители. Вероятно, только что начался антракт между первым и вторым действиями, и публика по южному обычаю проводила его вместо душного фойе на тротуаре. Переполненный трамвай вез куда-то множество спортсменов в синих и красных майках с номерами. На улицах было очень оживленно, как обычно в южном городе вечером.

Мы остановили двух красиво причесанных и нарядно одетых молодых людей без галстуков и без шляп и спросили, как проехать к плотине. С видимым удовольствием, радушием и скромной гордостью они подробно объяснили, по каким улицам надо ехать, поспешив прибавить, что это совсем недалеко — всего семь километров — и мы поспеим на плотину засветло. Но уже проехав два или три километра по пыльной, почти деревенской, хотя и мощеной, улице пригорода старого Запорожья, мы вдруг очутились в соцгороде, среди огромных жилых корпусов с зеленью на балконах. Они следовали один за другим, поодиночке или целыми кварталами, выстроенные в самых разнообразных стилях довоенных и послевоенных пятилеток, причем ни одного не было старше двадцати лет. На некоторых еще виднелись следы войны — обвалившаяся штукатурка или черные пятна пожара. Иные дома были только что выстроены, а иные еще только строились — стояли в металлических лесах, и всюду за ними виднелись серые профили заводов, множество труб, тучи

седого дыма и толпы высоковольтных столбов всевозможных конструкций и профилей: четырехрукие, двойные, тройные. Можно было подумать, что они отовсюду пришли сюда, таща на могучих решетчатых плечах тяжелые сети проводов, с тем чтобы взять электрическую энергию и снова разойтись через поля, реки и горы во все стороны Украины и за ее пределы. Казалось, весь воздух насыщен здесь электрической энергией чудовищного напряжения.

Мы долго стояли перед семафором, прежде чем пересечь длинный широкий бульвар, усаженный несколькими рядами сильно разросшихся деревьев. Когда я приезжал сюда во время строительства Днепрогэса, на этом месте вообще еще ничего не было: дикое, пустое пространство с колючками и сусликами. Теперь это был центр большого соцгорода, построенного целиком и полностью советской властью. А между тем он совсем не казался новеньким, с иголочки. Это был уже вполне обжитой город, с двумя поколениями коренных жителей, прославленный на весь Советский Союз своей могучей индустрией, высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, наконец, своей славной историей. В сочетании с южным многолюдством улиц, южными породами деревьев и мягким говором толпы он производил особое, милое, впечатление.

Мы проехали еще несколько таких же громадных кварталов в сторону от бульвара и вдруг увидели совсем близко плюзовый механизм, какую-то колоссальную, поднятую вверх раму со сложным переплетением тросов, и тотчас за ним — бетонное ребро верхней части плотины, из-за которого било в глаза заходящее солнце.

Так как мы приблизились к плотине сбоку, то не могли видеть ее всю в целом, а увидели только ее крайний верхний срез. В следующую минуту мы поняли, что уже едем по самой плотине. Справа тянулись мощные, высокие ребра с медными цифрами, убывающими по мере приближения к правому берегу: 50, 49, 48... В пролетах появлялось и исчезало большое розовое солнце, сплошным зеркальным сиянием отражаясь в полноводном озере верхнего бьефа. Это было озеро имени Ленина, то самое, откуда должен начаться Южно-Украинский канал. Узнав об этом, ребята пришли в сильнейшее волнение, и я опять услышал за спиной слова «трубы», «эстакада», «тюбинги». Слева, глубоко внизу, как на дне пропасти, струились

жалкие остатки Днепра — мелкая вода нижнего бьефа с торчащими из нее голыми, острыми скалами, покрытыми мрачной, зубчатой тенью плотины, и наша машина ползла по ней, как муха по краю ступени. Какова же была мощь этой бетонной ступени, этого вогнутого зубчатого барьера, удерживающего своим телом Днепр, вес всей его воды и сил у его течения? Какова же вся эта дикая природная энергия, так разумно превращенная человеком в электрический ток, направленный по сети высоковольтных линий в разные стороны, для того чтобы приводить в движение сотни заводов, фабрик и электротракторов? Какова же сила Советского государства, так быстро построившего эту крупнейшую электростанцию и еще быстрее ее восстановившего после войны и приступившего к неслыханному всенародному строительству более десятка подобных же сооружений, из которых одна лишь Куйбышевская гидроэлектростанция в пять раз больше Днепрогэса!

Плавно съехав с плотины на правый берег, мы обогнули целый лес масляных выключателей и глухое бетонное здание пульта управления, где нажатием одной кнопки можно включить или выключить целый район, питающийся током Днепрогэса. Город продолжался и на правой стороне. Такие же громадные здания с настурциями на балконах, такие же бульвары, парки, также много цветов, асфальта, литых чугунных фонарей. Здесь мы увидели целые улицы хорошеньких коттеджей, сохранившихся с того времени, когда Днепрогэс еще был Днепростроем. Я приезжал сюда с Демьяном Бедным, когда только что закончили рытье котлована и вкладывали первые кубометры бетона тела плотины. По дну Днепра ползли паровозы, и колоссальная опалубка, усеянная тысячами бетонщиков, опалубщиков и арматурщиков, окруженная дощатыми сараями камнедробилок, бетономешалками и стрелами дерриков, похожих на катапульты, напоминала осаду Трои. Правый берег соревновался с левым, и по ночам берег-победитель зажигал торжественные огни. Главная контора строительства находилась на правом берегу, и уже тогда было много коттеджей, окруженных хилыми саженцами. Теперь это были уже довольно старые — во всяком случае, двадцатидвухлетние — деревья и кусты, придающие городу обжитой, уютный вид.

Все время сопровождаемые богатырского роста высоковольтными столбами, которые растянулись по три в ряд вдоль всего шоссе, к одиннадцати часам ночи мы приеха-

ли в Днепропетровск, повидались с тетей, переночевали под звук пароходных гудков в превосходной, но до последней степени переполненной артистами двух гастролирующих театров гостинице «Астория» и рано утром переехали по одному из двух мостов обратно на левый берег Днепра, который здесь достигает полутора километров в ширину.

Здесь все носило на себе тот особый индустриальный отпечаток, который в соседстве с огромной судоходной рекой, с ее пароходами, речными трамваями, водными станциями, навигационными знаками и могучими железнодорожными мостами, по которым катятся длинные товарные составы с машинами, создает внушительное зрелище.

Мы долго ехали по пескам Приднепровья, среди заводов и фабрик, пока наконец не выехали за город. Тут нас развеселила забавная картинка. Мы обогнали телегу, в которой два колхозника везли громадную свинью. Свинья сидела сзади. Она не лежала, а именно сидела, сторбившись и развалившись, как человек, и всем своим брезгливо-недоброжелательным видом напоминала какой-то гоголевский персонаж — не то городничего, не то Собакевича. Можно было подумать, что она едет по какому-то чрезвычайно важному делу. Между тем, когда через две минуты мы проезжали через большое богатое село, то увидели колхозный базар со множеством больших унылых свиней, которые уже лежали на земле, связанные, как мешки. Таким образом выяснилось, что нашу высокомерную свинью просто-напросто везли продавать, чего она, вероятно, даже и не подозревала.

В Днепропетровске я узнал от тети, что хотя мои родители действительно венчались в Новомосковске, но не в соборе, а в какой-то маленькой, давно уже не существующей, чуть ли не лагерной, гарнизонной церкви, так как именно в это время полк, в котором служил дедушка, мамин отец, стоял в Новомосковске. Тем не менее, когда около Новомосковска мы выехали на главную магистраль и я опять увидел бело-зеленый собор, воображаемая картина маминой свадьбы с новой силой встала передо мной, и я до сих пор не могу от нее избавиться, верю в ее подлинность.

В полдень, проезжая через большое колхозное село, то самое, которое запомнилось нам половиной хатки, мы остановили пожилую женщину и спросили, где тут мож-

но купить молока или сметаны. Хотя женщина шла в колхозную поликлинику вставлять зуб, она повернула назад, повела нас к себе и вынесла из погреба два потных глечика, а также несколько глубоких тарелок и алюминиевых ложек. Мы прямо на улице, перед плетнем, на мелкой деревенской травке, расстелили свой плед и под звуки Шестой симфонии Чайковского, гремевшей в середине хаты, стали есть такую сметану, для описания которой у меня не найдется достойных красок, несмотря на весь мой многолетний литературный опыт. Это было нечто сверхъестественное!

Из хатки вышла взрослая дочь хозяйки с годовалым толстым мальчишкой на руках, затем появилась девочка, внучка лет десяти, в сопровождении двух малорослых собачек с хвостиками, завернутыми как бублики. Собаки носили, как сообщила словоохотливая внучка, несколько изысканные имена — Роза и Кукла. Возле них, нежно повизгивая, крутились два прехорошеньких щенка с черными носиками и черными глазками.

— А вас как зовут, мальчик? — спросила внучка Павлика.

— Лично меня — Павел. А тебя?

— Наталка. Наш папка говорит, что я Наталка Полтавка.

— Почему именно Полтавка? — строго спросил Павлик. — Разве тут Полтава?

— Потому, что есть такая опера «Наталка Полтавка», ее каждую субботу из Киева передают, а папаша смеется, что я Наталка Полтавка. А вы сами, наверное, из Москвы?

— Откуда ты знаешь?

— У вас на машине московский номер. У нас тоже есть машина, только она велосипед, марки «ХВЗ», вы, наверное, слышали? На нем наш папка ездит «у степ» устанавливая в полевых станах аппараты «Урожай», потому что он у нас, кроме того, радиотехник, а когда наша семья полностью получит на трудодни, то он тоже обещал купить в Киеве автомашину марки «Москвич».

— Это еще не кажи «гоп», — заметила бабушка, поправляя на разболтавшейся внучке кофточку.

— А я кажу «гоп», — быстро ответила Наталка Полтавка, поводя плечиками, — потому что в бухгалтерии нашего колхоза папке сказали, что нам приходится больше чем одна тысяча двести трудодней. И тогда мы до вас

приедем в гости на синем «Москвиче» по симферопольской трассе,— прибавила она, искоса глядя на Павлика.— А вы, Павел, в какой класс ходите?

— Буду ходить в седьмой.

— А я пойду уже в четвертый. А у вас в школе какой язык проходят?

— Английский.

— И у нас английский. Дыс из а уиндев. Дыс из а мэн. Тхэ бук из он тхэ тэбл. Верно?

— Верно, только я не понимаю, что это за такое «тхэ».

— Ну, не «тхэ», а «вэ».

— А может быть, «цзе»?

— Может быть, и «цзе», только вам хорошо, у вас все зубы выросли, а у меня еще один молочный шатается, и через это я не имею правильного произношения.

— Ладно. Хау ду ю ду? — строго спросил Павлик.

— Это мы еще не проходили.

— Ага! — назидательно заметила бабушка. — А берешься балакать с молодым человеком по-английски. Спрячься.

— Я еще знаю «гуд бай», — сказала Наталка Полтавка, но тут разговор на иностранном языке прервался, так как Павлику вдруг пришла идея взять одного из щеночков с собой в Москву.

Женя тотчас подхватила эту идею и стала развивать план образования и воспитания щенка в столице:

— Я его буду купать... Я его буду чесать... Он у меня будет всегда чистенький, хорошенький, воспитанненький...

— Почему это именно у тебя? — обидчиво спросил Павлик.

— Потому, что я его люблю и он будет мой, — пожав плечами, ответила Женя.

— Ну уж нет. Раз идея моя, значит, и щеночек мой.

— Ничего подобного. Попролам. Идея твоя, а щенок мой. Правда, Инночка?

Но Инночка загадочно молчала, только ее черные глаза с материнской нежностью смотрели на щенков.

— Перестаньте болтать глупости! — строго сказала мама. — Не хватало нам еще в машинё щенков. И так друг на друге сидим. Никаких собак!

— Понятно, — неразборчиво сказали ребята и сейчас же стали странно переглядываться, шептаться и хихикать.

Одним словом, когда, съев сметану и облизав ложки, мы снова уселись в машину, в багажнике вдруг раздался жалобный писк.

— Эх, не мог подождать до Москвы! — сокрушенно заметил Павлик, и щенок, осыпaeмый горестными поцелуями и обливаемый слезами, был высажен из машины, так и не получив столичного воспитания.

— Гуд бай! — закричала Наталка Полтавка.

— Хау ду ю ду! — ответил Павлик.

И снова шоссе понесло нас на север, мимо домиков линейных мастеров, заправочных станций, дорожно-рабочих пунктов, площадок отдыха, милиционеров рядом с синими мотоциклами, мимо дорожных знаков — треугольников против школ, красных крестов против больниц, восклицательных знаков на железнодорожных переездах, — по сияющим голубым и серебряным мостам, по насыпям, с мелькающими столбиками, бело-черными, как аисты.

До сих пор я еще ничего не сказал о больших, ярких плакатах, расставленных на серебряных ножках вдоль всей магистрали. Один за другим они плавно набегали издали, бросались в глаза и проносились мимо, каждую минуту напоминая о том, чем живет сегодня родина. Шахтер с лампочкой на голове, бросающей вперед пучок желтых лучей, требовательно говорил: больше угля стране! Красивая молодая женщина со снопом в руках говорила, что высокий урожай увеличивает богатство Советского государства; плотина гидроэлектростанции с пенистыми струями, бьющими из гребня шлюзов, требовала отдать все силы великим всенародным стройкам коммунизма и напоминала, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны; белый голубь, вылетающий из рук девушки в синее небо, говорил о мире; косые зеленые клетки полезащитных насаждений и синие схемы каналов, проведенные среди пустынь, открывали грандиозные перспективы плана преобразования природы; мичуринские плоды, лысенковские злаки, люди разных профессий, книги, нефтяная вышка, электровоз, пальма, микроскоп, корзина с виноградом — все это хорошо знакомое и дорогое сердцу пролетало мимо нас.

Не останавливаясь, мы проскочили Харьков, Белгород, Обоянь.

— Ну, кончился наконец десятый, пошел опять тре-

тий, — грустно сказала Женя, когда мы миновали знаковый красный обелиск.

Проезжая через Обоянь, мы были свидетелями поразительного зрелища. На протяжении примерно трех километров по краю асфальта тянулась лента рассыпанной пшеницы, которую колхозники сушили прямо на раскаленном асфальте шоссе. Стояли шеренги наполненных мешков, проплывающих мимо нас, как на конвейере. Мы обгоняли десятки грузовиков, заваленных такими же мешками. Значит, местные колхозы уже сдали зерно государству, и только что началась выдача аванса в счет трудодней.

Теперь мы видели днем те места, между Обоянью и Курском, по которым раньше проехали ночью. Это были все те же широкие, черноземные поля, но я знал, что приближается левый фланг Орловско-Курской дуги. Слева, возле самого шоссе, показалась ограда сквера и посреди него — очень высокий, белоснежный, четырехгранный столб. Наверху столба статуя советского воина в плаще и каске. Он держал высоко над головой автомат, и вся его стремительная фигура отчетливо и строго рисовалась в пустой синеве летнего неба как воплощение вечной славы и вечной памяти в одно и то же время. У подножия мелькнули венки и ленты. И снова я испытал такое чувство, будто все вокруг опять охвачено грозной тишиной войны и эта тишина — громадная, подавляющая — стоит от неба до земли, как бы предостерегая и все время заставляя напряженно вслушиваться в странные колебания воздуха над северным горизонтом. Видимо, это мое чувство передалось и ребятам, так как они вдруг притихли. Мелькнул дорожный указатель, и зеркальные пуговички предупредили: «Парк Орловско-Курской дуги 10 км». Справа, возле шоссе, — установленный на белом цоколе черный танк с красной надписью на броне — «Колхозник Татарии». По сторонам танка стояли две гипсовые фигуры автоматчиков с откинутыми за спину плащ-палатками. Мимо цветников в глубь степи тянулись дорожки, обсаженные молодыми деревцами, и вдалеке виднелось еще несколько гипсовых фигур, маленькая противотанковая пушка и зенитный пулемет. Мы остановились и вышли из машины.

Павлик подбежал к дорожному указателю и громко прочел:

— «Здесь, на Курской дуге, с 6 по 15 июля 1943 года

Советская Армия нанесла сокрушительный удар по немецко-фашистским захватчикам, стремившимся к порабощению нашей Родины».

Некоторое время он стоял молча и вдруг закричал:

— Товарищи, смотрите, тот самый телеграфный столб, тот самый танк, то самое поле! Я его сразу узнал. Помните картину в Третьяковской галерее «На Орловско-Курской дуге»? Это здесь, на этом самом месте! Только нет пожаров! Смотрите, смотрите!

— Тише! — сказала Женя вполголоса, почти шепотом. — Здесь не надо шуметь: это поле битвы.

С серьезным лицом она пошла на цыпочках и сорвала несколько веток цикория с бледными голубыми цветами, и я понял, что она их сорвала не для гербария, а на память.

Одновременно с нами к парку подъехала другая машина — синий «Москвич»; из нее вышел генерал в красных лампасах, с женой, и теперь они медленно шли об руку по дорожке, мимо цветников и скамеек парка. Генерал снял фуражку, вытер платком остриженную седеющую голову, отливающую на солнце кавказским серебром с чернью. Иногда генерал останавливался и внимательно оглядывался по сторонам, как человек, попавший в родные места и узнающий забытые предметы.

А громадная тишина продолжала стоять над странно знакомым, уже убраным полем, и по другую сторону шоссе, недалеко, как раз против черного танка, среди сияющего паутиной жнивья стоял закончивший работу комбайн, в тени которого, положив под голову свернутый макинтош, спал комбайнер. И этот комбайн тоже казался памятником. И нелегко было понять: как пахарь, битва или, наоборот, как битва, пахарь отдыхает?

Мы некоторое время молча, с непокрытой головой стояли возле черного танка, а потом поехали дальше, время от времени встречая по дороге братские могилы и памятники, связанные с битвой на Орловско-Курской дуге. И среди них особенно сильно, требовательно звучали слова на дорожном плакате: «Миру — мир!» — женщина с суровым лицом, прижимающая к груди ребенка, держит в руке лист бумаги — «Закон о защите мира».

В сумерках проехали Орел. Возле Мценска зажгли фары. Над станцией обслуживания в ночном небе уже горели неоновые и аргоновые вывески и вкрадчиво теплилась Венера. На этот раз гостиница оказалась перепол-

ненной, и нас всех устроили в запасной комнате общежития, где мы превосходно переночевали, хотя и в тесноте, но не в обиде, на удобных кроватях, которые, впрочем, уже назывались койками.

И вот наступил последний день нашего путешествия.

До сих пор над нами все время было жаркое, совершенно безоблачное небо, которое мы как бы везли с собой из Крыма. Но перед Тулой на горизонте показались облака. Они постепенно разбежались по всему небу, и теперь это уже было не южное, а милое среднерусское небо последних чисел июля, не знойное, а просто горячее, с островками тучек, так нежно смягчающими солнечный блеск.

Нас охватило нетерпеливое желание поскорее приехать в Москву. Дядя Саша полностью разделял это общее настроение и, надев очки, жал во всю ивановскую.

Мы промчались по Туле. За Серпуховом навстречу нам грянул торжественный марш духового оркестра. Блестели трубы, развевались голубые знамена, на трибуне виднелись летние картузы «отцов города», шумела толпа, на траве стояло много разных легковых машин, мотоциклов, в ромашках лежали велосипеды. Прыгая по зеленым кочкам, прямо в лес пронеслась колонна мотоциклистов в ярких комбинезонах с большими номерами, в яйцевидных серебряных шлемах, не надетых, а как бы поставленных на голову, так что у каждого мотоциклиста казалось по две головы, одна на другой. Это был старт какого-то большого мотокросса по пересеченной местности. И вся живописная, яркая картина так подействовала на ребят, что они вдруг запели хором: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» — в темпе бодрого марша, причем Павлик весьма художественно изображал губами звуки и тромбона, и турецкого барабана в одно и то же время.

Мы обогнали вереницу грузовиков с большими четырехосными прицепами. Они везли из Крыма в Москву фрукты и овощи. В щелях решетчатых ящиков, уставленных штабелями выше бортов, виднелись яркие, лакированные помидоры, белокурые, крепко завитые головки цветной капусты, крупные черно-лиловые сливы, покрытые пятнами бирюзовой пыли. Потом мы обогнали несколько таких же грузовиков с яблоками из Орловской и белыми вилками ранней капусты из Курской области и из Запорожья. Впоследствии я узнал, что в этом году от-

туда по шоссе завезено в столицу свыше пяти тысяч тонн фруктов, то есть больше десяти железнодорожных составов!

Пронеслись по чеховским местам, и я снова почувствовал в них что-то бесконечно родное, неповторимое, как живопись Левитана, как музыка Чайковского. И я вдруг так живо представил себе усадьбу Мелехово, дружную чеховскую семью, приезжих гостей, двух такс — Хину Марковну и Брома Исаевича — и самого Чехова в полотняном картузе, красивого, с прекрасным белым лбом, который собирает в лопасненском лесу грибы вместе с молодой, необыкновенно красивой девушкой. Лика держит его под руку, а он, пошевеливая тросточкой молоденькие елки, под которыми сидят во мху боровички, похожие на только что испеченные булочки, искоса поглядывает на Лику через пенсне со шнурком добрыми, грустными, немного смущенными глазами.

И мне снова, как и всегда, когда я проезжаю здесь, показалось, что на всем — и на этих густых лесах, и на этом нежном небе с тенистыми тучками — лежит неуловимый свет какой-то давней любви, какого-то грустного несбывшегося счастья.

А вокруг было столько радости, движения! Вот место, где мы обогнали учительницу на велосипеде. Шоссе продолжало стремительно нестись, увлекая назад домики линейных мастеров, площадки отдыха...

Только теперь, проехав туда и обратно, мы полностью почувствовали, какое, в сущности, громадное сооружение эта магистраль Москва — Симферополь, сколько в нее вложено вдохновенного труда, художественного вкуса, технической мысли.

Я не люблю дикой природы. Пустое море меня пугает. Дремучие леса и безлюдные горы наводят уныние. Природа хороша лишь тогда, когда ее одухотворяет деятельное присутствие человека — строителя и преобразователя мира, вооруженного высшим разумом и непреклонной волей. Теплоход в открытом море. Маяк на скалистом берегу. Альпинист, подымающийся на пик. Шоссе, проложенное в тайге. Плотины электрической станции, смиряющая реку. Мичуринская яблоня. Ветвистая пшеница Лысенко. Хлопковая плантация. Полоса зеленых насаждений. Канал в пустыне. Вот что делает природу поистине прекрасной! Природа — это самое консервативное из того, что есть в нашей стране. И мы не зря, для того чтобы

построить коммунизм, приступили к ее коренному преобразованию. Мы заставили ее нам служить.

Казалось бы, что особенно замечательного в шоссе, по которому мы неслись, приближаясь к Москве? Мы уже так привыкли к размаху наших пятилеток, что иногда равнодушно проходим мимо громадных, даже удивительных сооружений, которые на первый взгляд кажутся нам незначительными. Между тем, когда мы начали приблизительно подсчитывать, то выяснилось, что асфальтом симферопольской магистрали можно было бы покрыть площадь примерно в пятнадцать квадратных километров и если бы можно было на эту площадь свезти все шоссе-ские сооружения, то получился бы город в несколько сот превосходных домов и особняков очень красивой, оригинальной архитектуры, покрытых черепицей, с десятком ресторанов, двумя гостиницами, множеством гаражей, собственными электростанциями, водопроводом, канализацией, телефонами, дорожной милицией и радиоузлами — совершенно новый город, построенный в каких-нибудь три года.

Ребята были так поражены этим открытием, что некоторое время молчали, а потом Женя сказала:

— Граждане, выходит, что наша дорога — тоже стройка коммунизма?

— Выходит, что так.

— А мы едем и ничего не знаем,— прибавил Павлик и вдруг закричал: — Подольск!

Мы промчались через Подольск и стали подниматься в гору. По сторонам широкого, закругляющегося шоссе замелькали знакомые серебряные столбики; на каждом из них красная зеркальная пуговичка, блестящая, как малиновый леденец.

— Подождите!

Машина остановилась. Мы вышли из нее, спустились вниз по откосу шоссе-ной насыпи и очутились перед деревянным домиком с маленьким мезонином. На крашеной бревенчатой стене была прибита белая мраморная доска.

Через низенькую калитку мы вошли в палисадник, где вдоль чистой дорожки росли ряды высоких бальзаминов с полупрозрачными голенастыми стеблями. И мы снова испытали такое же, ни с чем не сравнимое волнение, как и в Ясной Поляне, когда из кустов столетней сирени смотрели на белый флигель с зеленой крышей. Только теперь

это волнение было, пожалуй, еще острее, глубже. За уездным домиком находился тесный фруктовый сад, уютный, тенистый, в конце его серебристо трепетали на солнце несколько громадных, старых ив, а за ивами виднелся высокий глухой забор с открытой калиткой, в которую был виден крутой противоположный берег реки Пахры.

Мы поднялись на крылечко. Ребята шли, взявшись за руки, старались не скрипеть сандалиями. Мы увидели кухню с русской печью и запечьем, занавешенным ситцевым пологом. За нею следовала небольшая комната в духе тех уездных столовых, в которых не только обедали, но и спали и принимали гостей: бумажные обои, простые стулья, фикусы, стол и над ним висячая керосиновая лампа под белым колпаком, и все это освещено сквозь белые кисейные занавески мутной зеленью летнего сада.

Посреди комнаты стояло несколько девушек и юношей с сумками и свертками в руках — экскурсия московских студентов, которым давала объяснения директор музея:

— Этот домик принадлежал местной учительнице Кедровой, сдававшей его Марии Александровне Ульяновой, матери Владимира Ильича, которая жила здесь со своими детьми — Марией Ильиничной и Дмитрием Ильичем. Сюда в девятисотом году летом приехал Владимир Ильич после шушенской ссылки и несколько недель гостил у матери перед отъездом за границу. Как видите, здесь семья Ульяновых жила в еще более скромных условиях, чем в своем домике в Симбирске. В нижнем этаже помещались Мария Александровна, Дмитрий Ильич и Мария Ильинична. Сам же Владимир Ильич жил наверху, там он и работал.

— Простите, это все вещи подлинные? — ломающимся юным баском спросил высокий студент в спортивной рубашке на «молнии», который все время что-то быстро записывал шариковой авторучкой в записную книжку.

— Лампа и обеденный стол подлинные, — ответила директор.

И вдруг эти обыкновенные вещи приобрели какое-то новое, необыкновенное значение. Они уже не были просто столом и просто лампой, а именно тем самым столом, за которым обедал в кругу семьи Владимир Ильич, и той

самой лампой, которой он, наверное, не раз касался и даже, может быть, которую зажигал своими собственными руками. Это волшебство подлинности было так неотразимо, что студенты один за другим стали на цыпочках подходить, отворачивать скатерть и осторожно трогать этот «ленинский» стол и касаться пальцами бронзового резервуара этой «ленинской» лампы. Лица у них сделались строгими, полными такой глубокой любви, такого благоговения, что это сейчас же передалось и нашим ребятам, все еще находившимся под впечатлением стремительного движения по симферопольской магистрали: один за другим они подошли, погладили доску стола и, прижавшись к носку, коснулись лампы. Здесь же выставлена копия известной картины: Ленин стоит на балконе; сквозь узкие листья ив внизу сверкает Пахра, за ней простирются беспредельные просторы русской земли; опершись маленькой сильной рукой о перила, стремительно подавшись вперед, зорко прищурившись, он как бы всматривается в будущее.

Затем мы обошли вместе со студентами остальные две комнатки нижнего этажа. В одной стояло пианино, старенькое, потертое, с профилем Моцарта, в другой кровать Марии Александровны, чудесной, благородной русской женщины, матери, воспитавшей целую семью русских революционеров Ульяновых, один из которых стал великим Лениным.

Мы долго стояли перед этой совсем простой, узкой железной кроватью, по-девичьи строго и аккуратно застланной летним стареньким одеялом, и я видел, как у одной из студенток, очень молоденькой и необыкновенно красивой девушки с русыми косами, связанными на затылке, дрожал маленький розовый подбородок. И я никогда не забуду сложного выражения горечи, восторга и гордости на ее суровом и вместе с тем нежном лице и движения ее пальчиков, быстро перебиравших клеенчатую сумку. Потом мы поднялись по крутой некрашеной лестнице в мезонин с оклеенным белой бумагой потолком, таким низким, что я почти доставал до него головой. Ничего лишнего. На белой стене маленькая черная полка с книгами — Добролюбов, Чернышевский, Пушкин. Перед балконной дверью совсем простой столик с маленькой, точно игрушечной, лампочкой под темно-зеленым стеклянным абажурчиком. Рядом — два тома Белинского. Старенькая качалка с потертым ковриком на спинке. Казалось неве-

роятным, что именно здесь, в этом самом крошечном уездном мезонине, жил Ленин, садился на эту самую качалку... Было лето, зеленые отсветы июльского сада скользили по стенам, оклеенным белыми бумажными обоями. Снизу доносились бегущие звуки старенького звонкого пианино с пожелтевшими клавишами и головой Моцарта в медальоне. Позади — шушенская ссылка, идейный разгром народников, впереди — заграница и основная, главная задача: создать подлинно революционную массовую партию нового типа. С чего же начать? Прежде всего — печатный орган, газета. Необходимо создать партийную печать нового типа — большевистскую. Борьба? Да, будет борьба! За это и поборемся! А летний день продолжал сиять, зеленые отсветы скользили по стенам, и Ленин вышел на балкон. Сквозь узкие листья ив внизу сверкала Пахра, за ней простирались беспредельные просторы родной земли, которую он так страстно любил и за счастье которой вступил в смертельную схватку со всеми темными силами старого мира. Опершись маленькой сильной рукой о перила, всем телом стремительно подавшись вперед, зорко прищурившись, он как бы всматривался в будущее и с высоты видел то самое животворное, очистительное пламя Октября, которое разгорелось из его искры над Россией, над всем миром...

И снова навстречу нам, стремительно разворачиваясь, понеслось шоссе. Далеко впереди, над полосой леса, высунулась знакомая крышечка нового Московского университета. Через некоторое время она скрылась, а потом снова показалась, заметно выросши и определившись. Мерцая в солнечном тумане, Москва охватила полгоризонта, и над ней в разных местах стали появляться профили высотных зданий, которые мы узнавали как добрых знакомых: тот, что на Смоленской, тот, что на Котельнической возле Устьинского моста, у Красных ворот, клетчатый каркас гостиницы на Комсомольской площади, стрела над растущим домом у Кудринки. Все они за месяц стали значительно выше, законченнее.

А Москва все ширилась, охватывая уже не половину, а три четверти горизонта. Она заходила с боков десятками километров заводских кварталов, железнодорожных путей, парков, тонула в слоистой пелене дыма. Стаи белых голубей мерцали и переливались над городом, как бы плывась в горячем небе.

— Голуби мира! Голуби мира! — закричала Инна.

Проехал московский трамвай с прицепом. Навстречу бежали автомобили с московскими номерами. Мы обогнали автобус с пионерами. Они были в полотняных шляпах и возвращались из подмосковного лагеря. Из окна автобуса высывалось красное знамя с бахромой.

Проехал грузовик с коротенькой цистерной на прицепе — «Московский квас». Один за другим махнули в глаза большие, броские, такие знакомые плакаты: тарелки сибирских пельменей, виноградная кисть над черной бутылкой советского шампанского, подсолнечник возле кубика маргарина, завернутого в прозрачную бумагу, и, наконец, бокал с двумя нежными шариками мороженого и воткнутой ложечкой — на носу черного моржа.

«Покупайте автомобили, мотоциклы, велосипеды!»

Показалась небесно-голубая таблица с белой каемкой и крупной надписью славянской вязью: «Москва».

И в этот самый миг машина сбавила ход и вдруг остановилась на обочине, десяти метров не доехав до таблицы. Дядя Саша обошел машину и осмотрел покрышки. Оказалось, что задняя левая до того перегрелась от быстрой безостановочной езды, что не выдержала и не то чтобы лопнула, а просто разошлась по шву. Это казалось особенно досадно, так как за всю дорогу это была первая вынужденная остановка.

— Ну, братцы, — сказал я, — вот мы и дома. Здорово прокатились, а?

И вот тут-то тихая Инна, наша племянница, которая за все время не вымолвила почти ни одного слова, высказала плаксивым голосом все, что она думала:

— Да, здорово! Это вам, дядя Валя, было здорово всю дорогу сидеть впереди с дядей Сашей... А мы всю дорогу с тетей Эстой промучились друг на друге, и ваш выдающийся Павлик мне всю голову отсидел! И ничего нам, детям, по дороге не давали: собак не давали, мороженого не давали. Чем так ездить, лучше пешком ходить...

Мы не предполагали, что Инна способна так много и так красноречиво выступать.

Пока дядя Саша с большим самообладанием, сделав неподвижное лицо, менял колесо, мы вышли в последний раз поразмяться в десяти шагах от Москвы.

Мы остановились как раз против какого-то аэроклуба, и каждую минуту низко над нами пролетали, идя на посадку, учебные самолеты, покачиваясь на поворотах и шатко садясь в отдалении на траву аэродрома, зеленую, как бильярдное сукно. Белая бабочка подлетела к нашей «Победе», покрутилась, села на горячий радиатор, сложила крылья и стала маленькой яхточкой. Потом раскрыла крылья и стала: записной книжечкой. Потом улетела.

Мы тронулись и через минуту были уже в черте города.

СОДЕРЖАНИЕ

Я, СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА... Повесть	5
ЖЕНА. Повесть	111
СЫН ПОЛКА. Повесть	209
ПОЕЗДКА НА ЮГ. Повесть	363

Катаев В. П.

К29 Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 3. Я, сын
трудового народа...; Жена; Сын полка; Поездка на
юг: Повести.— М.: Худож. лит., 1984.— 455 с.

В том вошли повести «Я, сын трудового народа...» (1937),
«Жена» (1942—1943), «Сын полка» (1944) и «Поездка на юг»
(1951).

К 4702010200-017
028(01)-84 подшивное

ББК 84Р7
Р2

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ КАТАЕВ

Собрание сочинений
в десяти томах

ТОМ ТРЕТИЙ

Редактор *О. Новикова*. Художественный
редактор *Е. Ененко*. Технический редак-
тор *Е. Полонская*. Корректоры *Г. Ки-
селева, О. Наренкова*

ИБ № 3555

Сдано в набор 24. 02. 83. Подписано к
печати 01. 12. 83. Формат 84×108¹/₃₂. Бу-
мага тип. № 1. Гарнитура «обыкновенная
новая». Печать высокая. Усл. печ. л.
23,94. Усл. кр.-отт. 23,94. Уч.-изд. л. 25,16.
Тираж 150 000 экз. Изд. № III-1312. Заказ
3-95. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени
«Художественная литература». 107882,
ГСП, Москва, В-78, Ново-Басманная, 19
Отпечатано с матриц Львовской книжной
фабрики «Атлас» на Киевской книжной
фабрике, 252054, Киев, ул. Воровского, 24.

